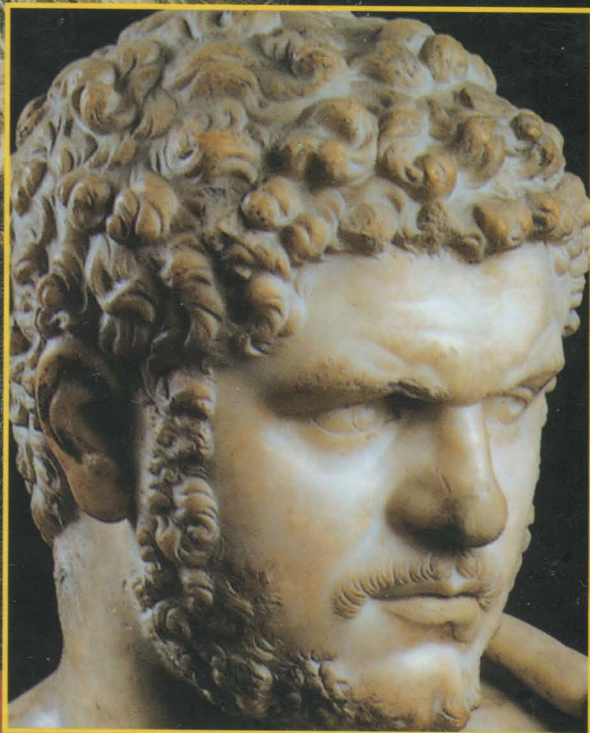


ЮРИЙ
ПЕТУХОВ



ГРОМОВЕРЖЕЦ



Юрий Петухов

ГРОМОВЕРЖЕЦ

Битва Титанов



ГРОМОВЕРЖЕЦ

Битва Титанов

Долгие столетия сурового и яркого выживания, тысячелетия борьбы и сражений с архантропической средой каннибалов, сотни веков неимоверного труда и преодоления дикой первобытной зверомассы выковали из русов к 4 тысячелетию до нашей эры подлинных богов и титанов. Именно к этому времени русы, ломая все законы эволюционного болота, создали Земную цивилизацию и готовились вовлечь в неё множество диких и безъязыких племён и народов, в числе которых были и горяки – предки «древних греков». Великий князь русов неистовый огненноволосый Крон владел престолом Олимпа, правил Средиземноморской Русией и половиной Ойкумены... Но уже шёл ему на смену проклятый им сын-изгой – неукротимый Жив, прозванный горяками Зевсом – и впереди была беспощадная Битва богов и титанов. Новый мир готовился сокрушить мир старый, чтобы объединить все земли русов – от Яровых столпов до Инда и Ганги, от Белого Дышащего Океана до пустошей Синая и Аравии. Зевс нёс русам новую Имперскую Идею – ту мессианскую идею великих русов, от которой они уже никогда не откажутся... Жив добился своей святой цели. И История сохранила его имя – имя громовержца и воина, творца, божества всех подлунных племен и отца-пращура великого русского народа. С тех пор тысячи лжецов и клеветников оболгали Историю Русов, переврали её и умалили, пытаясь вычеркнуть русов из анналов и скрижалей. Но лжецы останутся во веки веков лжецами. А русы – Русами. О них, богах и титанах, эта книга, этот роман.

ГРОМОВЕРЖЕЦ





ГРОМОВЕРЖЕЦ

Битва Титанов



История 6

**Good
as
Gold**

Художники А. Филиппов,
А. Казаров

ПЗ1 Петухов Ю. Громовержец. Битва Титанов. Роман. – М.: Метагалактика, 2004. – 432 с. ил. (Серия «Good as Gold»).- История. вып. 6

Герои и воины, ставшие богами. Они жили и любили само-
забвенно, они бились за престол Олимпа яростно и вдохно-
венно. Они были русами. Крон, Зевс, Посейдон, Арес, Гера...

Увлекательный роман о наших предках русах, которые
обитали в Средиземноморье в 4-3 тыс. до н.э. и которые за-
ложили основы античной цивилизации. Могущественные и
цивилизованные русы в глазах первобытных предков «древ-
них греков» и «римлян» выглядели богами, героями и тита-
нами, о них слагали легенды и мифы. Анализ мифологии
Древнего Мира подтверждает, что первоосновой всех древ-
нейших мифологий была Мифология русов. Язык русов был
первозыком нашей планеты – об этом неопровержимо сви-
детельствует лингвистика и топонимика.

Роман написан на основе новейших исторических откры-
тий. Для широких слоев читателей.

ISBN 5-85141-063-9

© Ю.Д.Петухов, 2004
[www. juri-petuchov.narod.ru](http://www.juri-petuchov.narod.ru)

Юрий Петухов



ГРОМОВЕРЖЕЦ

роман



«Нескончаемый бой»

Предисловие

В последние десятилетия появилось огромное множество фантастических романов в популярнейшем жанре «фэнтэзи». В большинстве из них присутствует некая историческая, а чаще псевдоисторическая канва, внутри которой и развиваются лихие сюжеты во главе с лихими героями. В частности, в нашей стране в считанные годы книжные прилавки оказались заваленными сагами о похождениях бесстрашных «древнерусских» ратиборов, «волкодавов» и прочих одиноких витязей славянского и норманнского племени... При всей «историчности» и «былинности» таких романов, они воспринимаются не иначе, как сказки для юношества и взрослых. Причем, сказки, не слишком далеко ушедшие по своей фантазийности от традиционных легенд и сказаний. Читатель этих романов всегда помнит, что этого не было и вряд ли это могло быть, он помнит, что ему рассказывают увлекательную, захватывающую сказку на «мифологически-славянские» или колдовские темы – и, как правило, сказку с добрым концом «хэппи-эндом».

Романы Ю.Д.Петухова, превосходящие типовые сказки-«фэнтэзи» и по «полёту фантазии», образности, эпичности и по сверхострому, лихо закрученному сюжету, тем не менее воспринимаются как сузубо исторические романы. Сила авторского пера профессионального историка и профессионального писателя (а Ю.Д.Петухов не только романист, но и публицист, эссеист, поэт, мастер блестящих коротких рассказов, критик, философ, автор многих научных историко-этнологических исследований) с первых страниц убеж-

дает нас, что мы попали в абсолютно реальный мир реальной повседневной жизни русов 4-го тысячелетия до н.э. Но эта "повседневная жизнь" столь остра и героична, не похожа на нашу, что просто дух захватывает. Авторская концепция древней истории, по которой исходные русы, жившие в Средиземноморье, воспринимались дикими, «древними народами» (предками древних греков, шумеров, вавилонян, ассуров, египтян), как подлинные боги, не вызывает сомнений. Автор просто и убедительно показывает и доказывает – так именно и было. И это рассказ профессионала-историка, совершившего величайшее в исторической науке открытие, ещё не понятое и не признанное, но уже сделанное. Рассказ в форме высокохудожественного произведения, увлекательного романа, который читается на одном дыхании. Роман-«фэнтези» на тему реальной истории, которую мы просто забыли, которая дошла до нас в упрощённой форме «древнегреческих мифов и легенд». Боги жили на земле. И об этом помнят все народы. Но есть народы, которые помнят своих богов, как предков-пращуров. Это русские, потомки древних русов. Учёные знают, что «древние греки» не имели ни одного своего, местного бога. Все «древнегреческие» боги были принесены или заимствованы, все имели негреческие имена. Кто жил до «древних греков» в Средиземноморье. Топонимика и лингвистика говорят нам – носители славяно-русских языков. Русы. Это они чтили своих предков богами. Это они стали богами для местных зарождающихся этносов. И это та реальность истории, от которой никуда не денешься, от которой не спрячешься за тысячи томов устаревших учебников и энциклопедий. Мифы и легенды сохранили для нас деяния и подвиги наших далёких предков. Но не каждый способен вычлени из мифа крупную подлинную историю.

Ю.Д.Петухов делает это. И делает блестяще. С талантом не только блистательного историка, но и блистательного, непревзойдённого беллетриста.

Редакция



Ю.Д.Петухов

Громовержец Битва титанов

Исторический роман







*«Зевс, меж богов величайший и лучший,
к тебе моя песня!»*

Гомер, «Гимны», XXIII.

Пролог

Ворон долгим взглядом проводил падающего с кручи коня — добрый был жеребец, умный, славный, лучше людей иных — стиснул зубы и медленно, от праха у стоп, по вздымающейся расшитой складке дорожного платья, к золоченому поясу, и выше, к узорчатой перевязи на груди и к тяжелой серебряной гривне под бледным, меловым лицом поднял глаза на княгиню.

Рея глядела отрешенно и пусто, глядела сквозь ближнего боярина, в ту даль, которой никто не видел.

— Дурное знамение, — чуть шевеля синими губами, прошептала Скрева, нянька и повитуха. Торопливо ткнула себя щепотью в лоб, потом под грудь. Качнулась в широком седле. — Ой, дурное...

— Молчи, старая! — осек ее Ворон, не сводя взора с бездонных глаз повелительницы. — Спешить надо, княгиня, смерть по пятам идет!

Чуть не силой вскинул ее на другого коня, низко-

рослого и мохноногого, подведенного смышленным дружинником. Сдавил тонкую кисть, в третий раз заглядывая в пустые и страшные этой пустотой глаза. Намотал повод на руку — коли падать придется, так теперь уж вместе. И ожег низкорослого плетью.

Скрева не отстала ни на шаг.

— А и впрямь, Ореюшка, — зачастила она с придыхом, — болит сердце, чует погоню близкую. Крепись, ладушка, держись, княгинюшка! Обойдется все, Род-батюшка чистые души в обиду не даст! Да ты слышишь ли меня? — Скрева подалась вперед. Кобылица под ней вздрогнула, покачнулась — камень из-под копыта полетел вниз, подпрыгивая на уступах, увлекая за собой другие. Нянька в пропасть не смотрела, боялась — смотри не смотри, коли сорвешься костей уже не соберешь, а душу вырий примет, он тут близко, посреди окиян-моря синего, на острове, среди гор... может, вон за тем пиком дыра разверзтая, господь Род, помилуй! Скрева перевела дух, не ответила на грозный окрик Ворона. А лишь взмолила в спину владычицы: — Ореюшка, прикажи носилки подать! Убьешь ведь себя! И дите погубишь!

— Отстань! — не поворачивая головы, отрезала княгиня. — Погубить бы хотела — в тереме б сидела. Не достать им нас!

Два десятка дружинников в медных да бронзовых бронях понуро, тяжело дыша и сопя, бежали по тропе следом, бежали, придерживая короткие мечи, чтоб не гремели, не выдавали. Но каждый знал, достанут, найдут, по оступившемуся жеребцу, по костям его, что в горней долине лежат сейчас, по багряной крови, что склоны обагрила... Достанут, ибо Великий князь прощать не умеет!

А всего-то три дня минуло, как они прибились к каменистому, поросшему рыжим кустарником Скрытню*.

* Скрытень — древнее название острова Крита. Русский корень «крт-», обозначающий «крыть», «скрывать», «скрытый», т. е. «сокрытый за морем, за окоемом-горизонтом», сохранился и в нынешнем наименовании острова, не имеющего этимологии в греческом языке.

Погони и не чаяли, не ждали ее — скольких беглецов за долгие века скрыл посреди Срединного Русского моря остров этот, скольким приют дал и избавление... Даже лодью крутобокую с горделивой лебяжьей шей прятать среди жалких утесов не стали, на судьбу-Долю понадеялись да первым делом шатры разбили прямо на берегу — руки натруженные, ноги и спины затекшие отдыха ждали. А Доля с Недолею местами поменялись. Солнечный диск в море опуститься не успел, как выбились из-за окоема тугие пурпурные паруса княжьих стругов. Отблесками кровавого зарева полыхнули в лучах заходящего светила над черной гладью.

Княгиня первой узрела вестников смерти. Она знала, — появятся, придут... Но так рано, столь спешно! когда только-только обруч гнетущий спал с сердца!! нет!!! Рея не проронила ни звука, не шелохнулась в резном узорчатом кресле, поставленном по ее приказу у самого обрыва, над бьющимся подобно усталому зверю, роняющим пену прибоем. Она все так же прислушивалась к биению сердца того, кто жил в ней, из-за кого она бросила роскошный и величавый великокняжеский терем на Олимпе, из-за кого загнанной волчицей металась по белу свету вот уже третий месяц ... чтобы ни случилось, какие бы беды и муки ни наслал на нее злой рок, он будет жив! и иному не бывать! Стиснув зубы, Рея смотрела на север, не отводя взора, не мигая, будто не видя пылающих пурпуром страшных вестников. Смотрела как час назад, два, три ... Там на севере за морем, за хребтами и склонами Горицы*, за самим Олимпом, за темными чашами и перевалами, в светлых долинах на берегу неспешной и доброй реки был ее дом, отчий дом. Там жил ее род, древний и могучий, властвующий надо всеми землями до самого Дышащего Океана, до белых льдов, отделяющих от мира живых сказочную Березань, Белый Остров под Белой

* Горица, Гореция — буквально «горная страна», изначальное название Греции, данное ей древними русами тысячелетия назад. Со временем преобразовалось в известное нам «Греция». С греческого и древнегреческого не переводится, т. е. было усвоено местными жителями в готовом виде.

Звездой, навью землю предков... Крон не мог их взять силой, он взял хитростью, придя в дом Великого князя Юра гостем, с дарами и данями, со склоненной головой и посулами. Он был безумно красив. А ей было всего пятнадцать. Но глядя в изумрудно-зеленые чуть косящие глаза огненноволосого чужеземного красавца, Рея уже ведала — в них, в этих глазах, ее погибель. Только потом, позже от няньки Скревы она узнала, что никакой Крон не чужеземец, хотя и говорит странно, с цоканьем, быстро и гортанно, но все слова понятны, обычаи знает — свой, исконный рус одного племени стародавнего с их родом. Скрева и сама не помнила, когда разделилось племя, когда одни роды на севере остались, другие в южные да восточные края подались счастья и воли искать, за долгие века до нее то было... Князь Юр знал все. Но уже не мог поделиться знаниями своими, сидел в подполе, ослепленный коварным красавцем, которого Рея приняла поначалу за посланца самих богов, за их сына родного, за бога, столь прекрасен был, высок, гибок, строен, вкрадчив. Эх, отец, отец! Что могла поделать она, девчонка?! Что она понимала тогда! Спустя многие годы осознала бесшабашность и лихость безумного Крона, захватившего с горсткой витязей отцовский терем посреди княжества безграничного, в коем пропасть бы ему как капле в бескрайнем океане... Нет, не пропал, любимец Доли! Князь Юр, поседевший разом в лунь, немощный, с черными впадинами выколотых глаз благословил их дрожащей рукой. Чего не сделаешь ради дочери любимой! какого изверга не простишь! Крон поклялся Родом и Всесущей Матерью, что убьет ее, Рею, коли Великий князь не назовет его сыном и зятем, не объявит наследником — хитер был по молодости Крон... в зрелости вдесятеро хитрее стал, только вот ум весь поистратил в исхитрениях. Рея вздрогнула, будто увидав злую, безумную муть в зеленых зрачках. Поклялся... видно, пришло времечко исполнения клятв, Рода не проведешь. Тогда-то отец сжалился над нею, назвал палача своего сыном своим и зятем, открыл дорогу через княжество свое к самому синему морю Русскому, Срединному... но наследником не объявил — приставил острый нож к горлу дочери младшей, к ее горлу, аж

красная бусинка выкатилась из-под острия — убивай! Себя не жалел, ее не жалел, землю от прадедов данную берег, знал цену злему зятю. Все помнила Рея, хотя и много лет прошло, восьмерых детей прижила с красавцем-извергом, любимейшей из всех жен и наложниц была, одна над ним власть имела, пусть и не всегда, но могла укротить буйного нравом Крона, умела и приворожить и зачаровать... Но все помнила: как отца пытал, как шестерых воев в огромном тереме отцовском порешил, своих расставил, как дерзил Юру, как глядел на нее, как вел на удавке до самого пограничья, не веря в слово великокняжье и как расступались пред ним исхмуренные и жаждущие мщения дружинники — для них слово вождя законом было, нето разорвали бы зеленоглазого в ключья... Все помнила Рея.

— Очнись, княгиня! Неужто не видишь?!

Ворон резным концом плети указывал на море. Воды пожрали упавшее солнце, но безоблачное небо все еще светилось его уходящим светом. И были паруса стругов в нем черны и зловещи.

Рея поглядела на воеводу. Постарел, сморщился, желтый стал, сутулый, сердитый. А волос черный, и седина не берет, таких мало было в роду их, бабки-вешуньи баяли про чернявых — Велесовы слуги. Пока была маленькой и она верила. Теперь не верит уже. Как приставил к ней отец боярина своего Ворона с тремя сотнями воев, так и прошел он с ней повсюду, ей одной служил, ее одну берег, князя нового, Крона, слушался, не перечил, но служил только ей. Не предал, не отступился и в горький час. От воев, правда, пять десятков всего оставалось, да и тех больше половины в сечах потеряли — кореваны, сыны Копола, такие не предадут. Их жаль! Но Святой Волхв все видит. Где б ни пали сыны Света, повсюду нога дароносиц ступит. И не будет земли чужой, Копола весь мир озаряет. Потому и страха в них нет — рожденные смертными женами, сыны Бога Единого.

— Все вижу, — отозвалась Рея.

Девятое дите, что под сердцем вынашивала, было не Кронова семени. За то и расплата предстояла. Князь не прощал измен.

— В горы уходить надо, — зудела с другого плеча

Скрева, — тут все тропки нашими протоптаны. Тут горяков-то* нету, земля заветная.

— Не хочет меня земля носить, — выдавила княгиня, подымаясь с резного кресла и отпихивая рукой носилки с полупрозрачным навесом. — Коня!

— Горяки везде есть, — будто про себя прошептал Ворон. И снова обернулся на море, на север: теперь и он знал точно — не видать больше дубрав и долин отчих, мал Скрытень, ох, мал! А горяки дикие доверчивы и просты будто младенцы, где им понять, что словом зло творится, ведь укажут на беглецов, еще и по тропам тайным проведут... и суда на них не будет ни пред Господом Родом, ни пред людьми, ибо дети неразумные.

Лодью пустили в море с двумя храбрецами-смертниками — хоть ненадолго да отвлечет погоню. Княгиня сама расцеловала обоих трижды, по обычаю, не прощаясь — зачем прощаться, когда встреча не за горами: то ли в вырии, то ли на пастбищах Велесовых, а будут чисты, так и на Белом Острове — батюшка родной там, где ж ему быть, и ее приветит, и добрых молодцев и... нет, только не сына ее! Жив будет сын, не посмеет Мора коснуться его крылом черным! Ибо сын ее — а княгиня знала точно, наверняка, что будет сын, именно сын и только сын — не от великого князя русов, властвующего по всем побережьям Срединного моря, и не от другого смертного, сын ее зачат от самого Рода Предвечного и Единосущего! Скоро год минет, как было ей видение — небесный свет посреди ночи. И говорил с ней Всевышний — не словами говорил, но она все разумела. А потом был посланец Рода с севера. И в посланце том — Он сам. Ибо должно было свершиться наказание Крону, преступившему законы русов — хоть и через много лет, но должно было придти оно, неотвратимое и праведное. После видения не подпускала она к себе князя, вдосталь ему и иных

* Горяками русы называли жителей горной Горицы-Греции, находившихся на более низкой ступени развития. Данный этноним, незначительно изменившись за тысячелетия, стал самоназванием сначала древних греков, затем греков и дожил до наших дней.



жен, молодых да красивых, пускай тешится с ними. Недобрую весть принесла Скрева, чуть больше трех лун прошло с той темной ночи. А слова зловещие как сейчас в висках стучали, били молотом: «А быть тебе, княже, убиту! И быть твоим землям пояты! И придут те напасти от сына твоего нерожденного! И погубит он тебя и на трон твой воссядет! И сотрет память по тебе в человеках и камнях... Так боги рекут, княже прекрасный!» Скреву било как в ознобе, будто все тридцать лихорадок-трясовиц на нее разом напали. Но запомнила слово в слово, что вещунья Крону нашептывала в келее темной над чаном с огненным варевом, в коем печень жертвенного вола грядущие тайны раскрывала. Первым делом хлестанула Рея повитуху наотмашь ладонью, впервые в жизни руку на нее подняла и опустила, чтоб не таилась за дверями, не подслушивала. А сердце уже обмерло. И слезы на щеках застыли... Кто лучше княгини знал буйного и скорого на суд Крона! Надо было спасать... не себя, младенца не явившегося на свет белый. Уж как она тогда молила Рода Вседержителя уберечь от мужниного гнева, отвести беду! Да, видно, Господь Всесущий кого любил, того и испытывал в тяготах и лишениях, в борениях жизни и смерти. Ворон сразу понял княгиню. Бежать! Что еще могли они, только бежать от лютого гнева все сильного и неукротимого владыки. Прорывались на север — полдружины положили, успел Крон заставы выставить, обложил с трех сторон, одно море синее для них осталось да острова бесчисленные, малые, не спрячешься, не затаишься... На одном Скрытне укрыться можно было. Память о чудном острове в тысячелетиях жила по всем землям русским, никто не ведал, сколько там тайников и кладов зарыто было, сколько беглецы приют свой нашли. Добрая слава о Скрытне шла. И недобрая. Страшились Скрытня смертные, ибо не было его прекраснее, но не было и коварнее, ведь скрывался Скрытень не только за окомом, невидимый в даях синих, но бывали страшные години, когда скрывала его сама пучина морская, поглощая в себя и истребляя все живущее, и насылала она предвестницей беды несметные тучи черного и серого пепла, и засыпала им травы и ручьи, склоны горные, и катила

волну выше скал. Бушевал царь морской, извергая мощь свою и злобу на род людской чрез жерло преисподнее, что высилось пиком Острова-Буяна* в полудне морского хода от Скрытня. Буянил Буян так, что небо застило днем будто ночью и твердь земная содрогалась. Ни один прорекатель-вещун не мог поведать, когда выплеснет наружу мир преисподний свою ярость смертную и пожрет очередных смельчаков. И потому бежали на Скрытень лишь отчаявшиеся, те, кому бежать больше некуда было, кого земля добрая носить отказывалась. Изгой бежали на Скрытень судьбу свою пытаться.

Но бывало когда и там настигала изгоев кара.

Ворон придержал коня Реи, снял с головы бронзовый шлем с оскаленной волчьей пастью забрала, тряхнул черными волосами.

— Гляди!

Рея обернулась. Они не теряли времени и забрались довольно-таки высоко по склону ближней от моря горы, скрывающей за собою целый мир зеленых долов, перевалов и вершин. Позади, как и повсюду, была ночь, покрывающая одинаковой тьмой и воды морские и земли. Но в ночи этой, далеко внизу полыхал огонь — горела лодья княгинина, сомкнувшись в бою со стругом великокняжьем, горел и сам струг, сверкало под ними и округ плавающимся багряным золотом море.

— Господи, упокой их души, — молила рядом Скрева, и голос ее, полный слез, дрожал.

Дружинники-корованы смотрели молча. Там внизу гибли братья, гибли ради них, ради княгини, сдерживая погоню. Была бы их воля, пошли бы на преследователей грудью: меч на меч, копьё на копьё.

— Ну хватит! — прервал вынужденную стоянку Ворон, он первый отвечал за владычицу, за всех прочих. — Н-ну! Пошли!

Рея смахнула слезинку незаметно, будто ненароком —

* Остров-Буян — поэтическое, былинное название вулканического острова Фера, расположенного в Средиземном море неподалеку от Крита. Извержением вулкана Фера была уничтожена, по мнению ученых, знаменитая минойская цивилизация. Нынешнее название — о. Санторин.

никто не должен видеть даже во тьме крошечной, что она умеет плакать. Нет! Она великая княгиня не только по мужу, она урожденная властительница над родами, коим числа нет, недаром ее зовут Реей, что значит Сушая. Так звали и ее мать, великую княгиню, так звали ее бабу, ее прабабу... всех ее праматерей, вплоть до Великой Праматери, Единороженицы рода человеческого, властвовавшей над порожденными ею — и женами и мужами. Она — Рея! И это не о матери ее, не о бабках ходят по всему белому свету легенды и былины, но про нее саму. Это она двадцать с лишним лет усмирляла дикий и страшный нрав царственного мужа, спасая племена и народы, живущие округ русов по всему Северу и Югу, Западу и Востоку. Это она посылала учителей к несведущим, врачей к болящим, это она одаривала неимущих и напояла жаждущих. Это ее при жизни горяки и прочие варвары чтили богиней своею Сушей и Матерью властвующих над ними. И пусть не станет ее, пусть свершатся проклятия... Имя ее светлое, Рея, будет жить в песнях и сказаниях. Будет! И она не имеет права плакать, ронять слезы в пыль, как плачут и роняют слезы простые смертные жены. Она возвысилась над ними не одним лишь рождением своим, но и делом... Род Вседержитель не зря избрал ее... Голова кружилась, сердце стучало тяжело и с надрывом, тягучая боль пронизывала тело, отдаваясь в спине и затылке. Но Рея не подавала вида — никаких носилок! она до конца будет той, какая она есть — владычицей, богиней, дочерью и матерью русов.

Два дня и две ночи, почти без сна и без отдыха петляли они по горным тропам, путая и заматавая следы. Побережье Скрытня было диким, пустынным и каменистым — все видно как на ладони. Но в горах иное дело, буйная зелень да крутые склоны и уступы берегли беглецов. Знал Ворон прямой путь к укрытию, к пещере заветной. Но не решался идти им, убедиться хотел, что Кроновы люди со следа сбились. Трижды видел их из-за укрытий — добрая сотня погоню вершила, без спешки и торопливости, уверенно, точно зная — настигнет. Ворон усмехался, кривил бескровные тонкие губы — на Скрытне бывало и охотнички свою

смерть находили, немало их костей на солнце белело. Но усмешка была горькой, глаза не смеялись.

— Терпи, Ореюшка, терпи, — приговаривала поминутно нянька-повитуха, старая, седая, измученная, невесть как сама терпящая тяготы дороги, — уйдем от иродов-то, там и разродишься, не впервой чай!

Рея стискивала зубы, не отвечала. Не впервой! Не от нее зависело, когда сынок божий свет увидит. Восьмерых до него породила в жизнь на радости и муки, ни один подождать не захотел. И этот не хочет — вон как бьется и ручками, и ножками. Пора! Рея подносила к носу филигранный пузырек с терпкой, бодрящей настойкой, вдыхала из него, жмурилась, терла виски — удержаться на кромке сознания и морока стоило больших трудов. Да, русские жены испокон веков давали жизнь многим: по двенадцать, пятнадцать детей рожали — здоровых, крепких, выносливых — на том и могучее племя стояло, потому и расселилось по всем землям ведомым и неведомым, потому и чтило наравне с Родом-Отцом Великую Богиню-Мать Ладу, чьим отражением в мирах яви и была Рея-Сущая, многоликая и извечная, на востоке рекомая Кибелой, на юге Кивой, на западе Диндеменной, а по всему миру Ма-Дивией. И покрыто имя ее множественное было во всех народах и языках пеленой непроницаемой, тайной неизреченной. Во всех кроме племени русов — дающих жизнь языкам и народам. Вот и ей, Рее нынешней, вскоре предстояло дать жизнь... не племени и не роду, а одному лишь крохотному и беззащитному существу, ради которого уже погибли десятки лучших воев, ради которого все эти тяготы и беды. А она слабеет, она не может больше терпеть, и заговоры причитающей Скревы не помогают. Не вовремя, ой, не вовремя! Да ведь вещунья подлая не напраслину возвела, коли толком судить, как ни поверни, а вина ее, Реина, перед Кроном была. Хоть и изверг он ненасытный, буян и сластолюбец, а все ж муж ей по праву и обычаю, по закону, не могла ему изменять. Но изменила! Родным языком, без цоканий и придыханий говорил с ней посланец Севера, глядел в очи ясными глазами, ласкал и нежил. Струились по плечам ее и лицу льняные длинные пряди, духом своим возвращали в дубравы родительские, и еще дальше, на

север, к неведомому и ждущему детей своих Белому Острову. Человек ли то был? А может, сам Копола, вдохновляющий воинов и сказителей — неистовый, грозный, беспощадный и вместе с тем прекрасный и нежный? Она боялась спросить имени. Это было сном, сказочной грезой...

Она и ныне была будто в грезах. Но в сумрачных, тягостных.

И потому, когда Ворон уже над бездной подхватил ее, сорвал с падающего в пропасть коня, не успела испугаться, глядела отрешенным взглядом в невидимую иными даль дальнюю.

Все старания шли прахом. И где, на самом подходе к укрытию надежному, у горы Диктейской. Сколько перевалов пройдено, сколько долин горних, сколько круч! И теперь пути другого нет, только вверх по тропе, вьющейся змеей, невесть кем проложенной, узкой, еле приметной. Вверх!

— Тише, братья, тише, — вполголоса молил Ворон дружинников, усталых, взмокших под бронями, но не ропшущих. — Они сейчас каждый шорох ловят, сами себя погубим... да за кусты не вылазьте, уйдем, обязательно уйдем!

Опытных воев не надо было учить. Понимали воеводу, не о себе печется, сам бы давно вспять повернул. И они двадцать с лишним годин не видали дубрав отчих, изгоями жили среди Кроновых людей, южных русов, не доверяли им в ответ на их недоверчивость, берегли княгиню, зная, что случись что, порубят всех до единого — двадцать с лишним лет над пропастью ходили, не привыкать к опасным тропкам и кручам смертным. А по ночам видели леса и поляны в лунном свете, и вождей своих в волчьих шкурах с волчьими головами, скрывавшими лица. Их бог Копола был воином-волком, могучим, высоким, сильным витязем, в дни мира слагающим величальные песни богатырские, но в дни войны обращающимся в серого яростного зверя. В Горице не было ни лесов настоящих, ни воинов-оборотней. Зато были они — верные до гроба, горящие по родине, кореваны, дети и внуки огненного, кипящего праведным гневом, прямого и открытого всем врагам первейшего воя племени русского Купа-Копола.

Двое дозорных, что бежали впереди отряда, разведывая дорогу и оглядывая ее, предстали пред Реей будто из-под земли. Один держал крепкого полуголого горяка с проседью в бороде и унылыми карими глазами. Другой горянку — хрупкую на вид, совсем девчонку. У горяка изо рта торчал кляп, кусок грубой мешковины. Девчонке завязали нижнюю часть лица платком, да она и без этого была ни жива ни мертва — прижимала к худой груди какой-то сверток, Рея не сразу догадалась, что это запеленутый младенец. Махнула рукой, чтоб отпустили.

Но выбежавший вперед Ворон остановил ее.

— Нет, княгиня, с собой возьмем. Вот образуется все, тогда и отпустим, нельзя оставлять, выдадут нас, а не выдадут, их Кроновы люди порубят.

— Будь по-твоему, — согласилась Рея. И улыбнулась горянке.

Та глядела на русоволосую и сероглазую красавицу с бледным величаво царственным лицом, разодетую в роскошные, шитые золотом и серебром одежды, невиданные на Скрытне, глядела снизу вверх, восторженно, как на богиню, забыв про страхи и тревоги, едва не роняя из рук запеленутого в шкуру ребенка.

— Горяков не обижать, — предупредил Ворон, когда дозорные ушли вперед, — сам проверю! — И добавил уныло: — Дети, чего с них возьмешь.

Рея отвела взгляд от девчонки. Скольким таким она по всей Горице помогла, скольких выходили ее посланницы, проповедовавшие в племенах горных и долинных — не век же им в простоте первобытной жить. И не такие уж они дикие. Рея ведала дела минувших лет — много поколений назад, века несчитанные, отставали от их племени семьи да роды, оставались в чащобах и горах, мешались с местными, давали язык свой, но дичали наособицу, слова забывали, коверкали — что делать, и так было, нельзя далеко от племени уходить... а может, и можно, чтоб сохранить кровь отчую. Да, Рея знала, что и в горяках текла часть их древней крови, что были они не дикарями пещерными да болотными, а братьями да сестрами, что сошли с пути большого на тропки узкие. И может, и

впрямь, когда придет предел племени огромному и извечному, в них и останется только кровиночка, а заодно и песни-былины о временах славных, сказания добрые, про тех, кто уже далече...

— Постой, девочка!

Рея вытащила из торбы, притороченной к крупу мохноногого коня, сладкий заливной пряник и мешочек со сладостями сушеными. Протянула горянке.

Та ухватила подарки, поклонилась смешно и порывисто, будто боясь даже на миг оторвать взгляд от прекрасной и доброй богини.

— Не задерживаться! — торопил Ворон. — Н-но! Вперед!

Приглушенный голос его не долетал до замыкающих. Но они и сами не медлили — отдаленный, еле слышимый топот копыт говорил о близости погони.

Боль на время отпустила, и Рея выпрямилась в седле, вздохнула полной грудью, откинула голову, обрамленную тяжелыми косами. Девчонка-горянка напомнила ей дочку, большеглазую и тихую Гостию, Гостюшу, пока не выданную замуж, но домовитую и добрую. Глаза у нее были материны, серые, с поволокой, совсем не похожие на черные очи встречной девчонки. Но смотрела она так же, с немым восторгом, будто не на мать... Гостию любили все: и кореваны, и челядь Кронава, и простые русы, и горяки... ее невозможно было не любить, с ней повсюду, даже в непогоду и слякоть было уютно и покойно, будто у очага родного... наверное, потому и вспомнилась первой. А вот старшая, прозванная по обычаю древнему ее же именем, Реей, была отдана в отчие края, тут княгиня перемогла всемогущего Крона, настояла на своем. Дерзкий Крон, горделивый, в имя свое пошел — он верхний, кроной надо всеми и корона на нем подтверждением, одним словом, Крон — царь, Князь Великий, а и он не всегда против воли Рода и Лады шел — первеницу в Юровы земли вернули. Еще две доченьки в дальних краях за князьями-русами, по любви отданы и для дела, чтобы связи не терять с родами племени одного, Деметра и Ликия, о них есть кому позаботиться. Подарка, сына непослушного, не вернуть, в сражении погиб, в знойных песках нубийских — теперь, видно, на Велесовых пастбищах вечный пир

пирует, в отца был сын, да ранний слишком, сложил свою голову огневолосую. Рея закусил губу. Лучше не вспоминать, не рвать и без того надорванного сердца! Но как-то разом привиделись оба живых сына, Дон с Айдом, и полегчало малость, отпустило. Жестокосердный Крон после пророчества черного бросил обоих в погреб, так, на всякий случай... но, главное, живы покуда, а там, даст Господь — и самого Великого князя вперед к себе приберет, чем сынов его невиновных. Веки все же набухли от подступающих слез, ну куда от них денешься, такова материнская доля! И не одни ее сыновья в заключении сидят, от иных жен наследники тоже в неволе томятся, кары ждут незаслуженной... Никто не виноват. Одна она виновата! Не оттолкнула от себя посланца Рода, покорила воле Вседержителя. А видение ей светлое было неспроста. Как осветилась почивальня ее светом неземным, меж вдохом и выдохом одним ощутила она вдруг всю силу и благодать Того, Кто снизошел к ней с небес обетованных. И в озарении этом меж другим вдохом и другим выдохом, в миг кратчайший постигла, узрела внутренним взором, сколь много зла, раздора и непорядка в мире земном, сколь переполняет хаос бурлящий и черный пространство меж людьми, разделяя их и ожесточая друг против друга, как не ожесточаются на себе подобных даже звери дикие, — океан мрака грозил переполнить чашу земную и излиться наружу, потопляя все в себе: канули в Лету времена золотые предков, утеряны обычаи, беззаконие царит и несправедность повсюду... жутко ей сделалось тогда и страшно, ибо бесконечен был этот краткий миг, дольше самой жизни длился он. Но меж третьим вдохом и третьим выдохом, изгоняя смятение и развеивая тревоги, пришло успокоение и понимание — она даст миру того, кто извергнет зло и восстановит закон, она! Свет незримый исчез... Но посланец Севера пришел не сразу, не в тот день, и не на следующий. Так было ли это изменой?!

Рея выгнула спину, застонала от внезапно накатившей боли.

— Носилки! — зашипела грозным шипом недремлющая Скрева. — Носилки, живо!

Четыре дружинника, приставленные к бабке-повиту-

хе, следующие за ней тенью, не заставили себя ждать. Бережно сняли княгиню с мохноногого коня, уложили, подняли на руки. Скрева задернула кисейный полог. И оглянулась на Ворона. Тот все понимал. К пещере, надо как можно быстрее нести княгиню к пещере, на самый верх Диктейской горы — там зев провала, там вход в тайную пещеру, в заветное укрытие, про которое не каждый князь русов знает, про иных и говорить нечего. Там надежный спуск, там ходы-переходы, тайники, залы, лазы путанные, в которых чужой заплутает. Ворон знал, ему доверили тайну, пещера уходит глубоко вниз, почти к самому подножию, и уже оттуда ведут по разные стороны пологие ходы... Планы у княгини да у Скревы в голове. Они успеют, они спустятся вниз, разрушат ступени дубовые, замкнутся в заветных покоях. Там спасение! Крон не ведает про скрытную обитель. А сунется в мрачную пропасть со своими людьми, так и сгинет в ее лабиринтах. Вперед!

Взгляд Ворона упал на дрожащих горяков, ничего не понимающих, растерянных.

— Этих тоже вперед гони, пропадут! — приказал он. И тут же обернулся к дружинникам, снял тяжкий шлем с волчьей пастью, оглядел всех из-под насупленных бровей.

Дробный топот множества копыт нарастал.

— Ну, а нам, братья, придется малость здесь постоять, поразмять руки, душу потешить — не все же бегать зайцами.

— Постойм, — покойно и безмятежно отозвался седоусый кореван из первого ряда, — а надо будет — и ляжем.

Глухо зазвенели мечи, вынимаемые из ножен, заскрежетали по броням палицы, дрогнули копья, загудели снимаемые со спин щиты червлёные. Воинство боя не боялось.

— Тропа узкая, — продолжил Ворон, — мимо нас они не проскочат, другой тут нету. Как подойдут ближе, греми доспехами, бей в щиты, чтоб грохот до небес подымался — пускай думают, будто нас еще много... да и отвлечь надо, братья, чтоб сверху ни писка не донеслося, чтоб думали, все мы здесь стоим... О прочем говорить не стану. Воин умирает с мечом в руке!

Он подошел к краю тропы, укрытой чахлым колючим кустарником, перегнулся, пряча голову меж веток. Сотня конных всадников, горяча коней и перекликиваясь, не таясь, резво поднималась в гору по змеящейся тропе. Ворон выругался про себя: стрелы давно кончились, еще когда отбивались от натиска на острове Дело, ненужные луки повыбрасывали в пучину морскую. А как быгодились и те и другие здесь, сверху осыпать калеными супротивника, придержать ретивого!

Ворон вернулся к кореванам, пробился сквозь их ряды вниз, встал первым. И поднял руку с дротиком.

Долго ждать не пришлось. Отточенная иззубренная бронза, подобно громовому перуну, впиалась в горло передовому всаднику. И тут же грянул гром — полторы дюжины рукоятей ударили в бронзовые щиты, казалось, небо разверзлось над Диктейской горой, земля содрогнулась и скалы обрушились вниз. Острыми копьями ошетинился отряд русов северных, взревел боевым грозным кличем в почти два десятка луженых глоток.

Передние из погони опешили, застыли, глядя, как катится вниз кулем тело убитого товарища. Но и они были русами, не знавшими в бою страха, русами Срединного моря Русского — лишь они могли быть на нем хозяевами.

В два коня, в два всадника ринулись они на выставленные рожны копий, на мечи. И удвоился гром земной, гром смертный.

Вход в пещеру открылся неожиданно, почерневшей вялой зеленью.

Сердце старой Скревы сдавило обручем в недобром предчувствии. Она, охая и кряхтя, слезла с лошади, подошла ближе к провалу в утробу горы Диктейской. И обомлела. Изнизу, из черного зева несло гарью. Не было видно и следов узенькой дубовой лестницы, ведущей вниз. Спалили!

Про спуск знал не каждый, случайный путник прошел бы мимо, не рискнув даже заглянуть в провал... Что же случилось?! Недобрые люди? Горяки... Нет! Молния? Неужто и тут им наказание Господне за грехи тяжкие?!

— Беда, — просипела Скрева, — ой, беда.

Совсем рядом, у каменного склона, металась за кисей полога княгиня. Вслух молила Всемогущего Рода и Пресвятую Ладугу. Стонала.

— Не могу больше, не могу!

Скрева-повитуха принимала всех ее восьмерых чад, уж она-то хорошо помнила с какой легкостью рожала прежде Рея, без охов и стенаний, чистая, стало быть, душа была. И вдруг такое...

— А ну, быстро корчагу с водой, — приказала она дружиннику ближнему, — вон, к седлу приторочена! А ты чего там жмешься! — заругалась на худенькую горянку, отдай младенчика-то мужу, и иди сюда, помогать будешь!

Горянка поняла, подбежала к носилкам. Бородатый горяк уселся со свертком под оливой, съезжился, он ничего не понимал. Но и спрашивать ничего не спрашивал, хотя кляп давно вытащили из его рта.

— Мать моя, Ладуга-о-о...

Княгиня закричала громко, в голос, раздирая ключьями кисею.

Но ее не услышали, даже ближние, — снизу грянул такой гром, что у Скревы ноги подогнулись и в глазах сделалось темно.

— Наши бой приняли, — прошептал один из кореванов, — а мы тут вот, сидим.

Но и его не расслышал никто. Оглушительный лязг мечей, грохот броней, крики, вопли, ржанье, сливающиеся в смертный страшный гул, не оставляли сомнений — на тропе шла сеча, беспощадная, яростная сеча.

Мучения Реи были невыносимы. Она перестала понимать, где находится, что творится с ней, что делается вокруг. Она не видела своей верной повитухи, суевающейся над нею, не видела ее черноглазой помощницы. Господь наказывал ее за измену... Наказывал? Нет, несмотря на все боли и муки, адские страдания, она ощущала, что из ее тела исходит не проклятый плод, но благословенный. И это придавало ей сил.

Один из дружинников стоял на тропе с обнаженным мечом и копьем. Трое других спешно вязали из упряжи и разодранных рубах канат. Они не могли допустить

погибели своей властительницы, родовой княгини, тогда и их смерти не будут ничего значить, тогда не видать им Велесовых пастбищ, не пировать с боевыми товарищами... а бродить тенями в мрачных подземельях преисподней. Нет! Княгиня должна жить, как живет вечно их богиня Рея-Сушая, ипостась Великой Матери Лады. Вервь получалась неказистая, но крепкая, а главное, достаточно длинная, чтобы достичь дна.

— Вот! — радостно осклабился обритый наголо вой-кореван с длинным клоком седых волос, свисающим к уху. — Вот! Мы спасем ее!

Он держал конец верви-связки, толстую петлю, тряс ею и глядел во все глаза на Скреву, разогнувшуюся над носилками.

— Подымай княгинюшку, в миг один спустим! Потом тебя... а нам, нам здесь держаться!

Седые лохмы Скревы распушились из-под черной налобной повязки, лицо покраснелось, на щеках стояли слезы. Но она не утирала их, руки были заняты.

— Ух ты, какой живой! Драчун эдакий! — добродушно ругалась она, отстраняя от лица крепкого, бьющего и руками и ногами новорожденного. — Живчик, неслух!

— Богатырь! — восторженно выдавил вой, забыв и про опасность и про вязанную вервь свою. Таких младенцев он еще не видывал, разве что годовалых... но ведь этот княжонок только-только родился: глаза еще мутные, но взирающие на свет белый, грудь, плечи... одно слово богатырь! Дышит в полную грудь, но не орет, не кричит, не пищит, прислушивается к грохоту сражения, к грому сечи лютой, приближающейся.

— Что медлите! — грозно прозвучало над самым ухом.

Вой скосил глаза — пошатывающаяся, бледная как воск княгиня стояла над ним, прожигала гневным взором.

— Дай сюда! — она вырвала новорожденного из рук повитухи, прижала на миг к груди, оторвала, заглянула в раскрытые широко глаза. А понятливая Скрева уже рвала тонкую, но прочную кисею. Вдвоем они быстро спеленали младенца.

Рея сама сунула его в петлю, затянула ее. И только

после этого тонким платком обвязала подбородок и рот новорожденному. Поцеловала в лоб.

Гул сечи был совсем рядом. Копья и дротики вылетали из-за кустов, падали среди камней, почти у ног.

— Быстро! На уступ!

Вою не надо было разжевывать. Он в один прыжок взметнулся над провалом, застыл на отвесном камне, большом, скользком, покрытом черной гарью. Рея сама бросила ему драгоценную ношу. И тут же отвернулась. Она не могла выдержать жуткого зрелища. Двое других воев помогали первому. Спешили. Им надо было успеть опустить ребенка, а потом княгиню, а потом Скреву... одной владычице будет тяжело в подземельях.

Кроновы люди теснили кореванов, пробивались — и конно, и пеше. На тропе стоял самый сильный, самый опытный и удачливый из охраны. Он уложил четверых. Кто-то, истекая кровью, полуживой бился и ниже. Но сражению приходил конец, слишком неравны были силы.

— К тропе! — закричала Рея истошно, не по-женски. И перехватила конец верви.

Дружинники бросились на помощь тому, что сдерживал натиск. Он упал у них на глазах, разрубленный ударом сверху напополам. Но они успели завалить двоих всадников — бьющиеся в агонии лошади перекрыли путь к пещере. Но не надолго.

— Все! — выдохнула Рея. И бросила конец верви вниз, в черный зев. — Господи, Род Всеблагий, храни его! И ты, Мать Пресвятая Лада!

Она не видела, как Скрева, пораженная страшной догадкой, метнулась к горякам, вырвала дите из рук черноглазой матери-девчонки, бросилась к госпоже.

— Ореюшка! Убьют ведь его изверги! Давай вервь, опускай...

Она не успела договорить — прорвавшийся конник молниеносным ударом снес ей с плеч долой седую, патлатую голову. Но ребенок не упал, всадник подхватил его на лету, вскинул вверх — голого, беззащитного, кричащего.

Рея поняла, что будет дальше, и закрыла лицо ладонями.

Но разгоряченный, израненный всадник не тронул дитя. Напротив, бережно опустил себе на колено. Прыг-

нувшую на него кошкой горянку опрокинул ударом сапога — точным, сильным и безжалостным. И тут же наехал конем вороным на бородатого горяка, оттеснил к провалу, ткнул мечом в грудь. С диким криком, утраиваемым, удесатеряемым эхом полетел горяк вниз.

Рея вздрогнула, открыла глаза.

С бесстрашными воями ее было покончено. Они лежали на грудах поверженных тел бездыханными, сжимающими рукояти мечей.

А на крохотную полянку пред зевом Диктейской пещеры медленно и неотвратно, как сама губительница Мара, на белом тонконогом жеребце въезжал... огненноволосый Крон, Великий князь, властелин Срединного моря, ее муж и господин.

Крон не смотрел по сторонам, его взгляд не касался мертвых тел, горянки, орущего ребенка в руках сотника Горей. Крон смотрел на нее, на жену свою и беглянку. Ему было под пятьдесят, но он оставался таким же сильным, худощавым, прямым как и двадцать лет назад. И копна почти красных волос, огненно-солнечная грива сияла также ярко, неистово, как и тогда. Даже лицом Крон был молод и свеж, лишь две прямые складки от носа вниз, теряющиеся в коротких русых усах, делали выражения лица жестоким, старческим, да два глаза светились не изумрудами словно встарь, а болотной зеленой мутью. Крон смотрел на нее. И улыбался. Он всегда улыбался, достигая цели, добываясь своего, Рея это знала очень хорошо, улыбался именно так, одними губами.

— Вот он, княже! — Горей приблизился, не сходя с вороного коня, протянул трепещущее тельце властителю.

Крон принял его как-то нежно, осторожно, будто боясь повредить тонкую, светящуюся кожу. Поднес к лицу, отрывая, наконец, взгляд от Реи, и будто не вполне осознавая, что делает, будто в полусне. Глаза его на миг прояснились, сверкнули изумрудным блеском, но тут же подернулись болотной ряской.

— Вот он... — повторил Крон вяло, обреченно, словно это несчастное голенькое существо, сучащее ручками и ножками, морщинистое и беспомощное, уже лишило его власти. — Вот он, погубитель мой...

— Не-е-ет! — закричала что было мочи Рея. — Не он это! Не мой сын! Не смей...

Раздирающий небо крик будто пробудил князя.

— И этот жалкий мозгляк, это ничтожество свергнет меня? И усядется на моем троне?!

— Отпусти его!

Рей бросилась к Крону. Но вышколенный жеребец опрокинул ее грудью, не дал коснуться колена своего царственного седока.

С нескрываемой безгливостью, с отвращением на лице Крон сжал руку. Затрещали хрупкие детские ребра, позвонки.

— Не-е-ет!!!

Рей взывала к небесам. Но они ее не слышали. А может, ветер сносил ее слова и терялись они в знойном мареве, не долетая до Матери-Лады.

Крон подъехал ближе к провалу. И бросил мертвое тельце вниз. Поглядел на залитую кровью кольчатую перчатку, сдернул ее и отправил туда же.

Великая княгиня Рей уже не кричала. Она стояла застывшей каменной статуей. И с ненавистью смотрела прямо в глаза извергу.

— Вседержитель накажет тебя! — процедила она, почти не разжимая губ. — Знай, Крон, ты не уйдешь от кары!

Горей отвернулся. Ему некуда было деваться. Но он не мог слышать таких слов, он знал норы князя, не прощающего даже свидетелей своих обид. Позади, у тропы, молча стояли готовые ко всему дружинники, их оставалось полтора десятка, не больше.

— И ты не уйдешь от кары, — выдавил Крон, спускаясь с коня и вынимая из ножен узкий железный меч. — От моей кары!

Удар был короткий и сильный.

Рей вздрогнула, запрокинула голову к светлому небу, к чистому сверкающему в этом небе солнцу... и ощутила, как ее плечи, шею и лицо ласкают длинные, нежные льняные пряди-лучи, почувствовала на губах своих теплые и мягкие губы... Копола! Значит, все так и было!

Она не успела додумать. Ноги подогнулись. Свет исчез.

И богини умирают.

Она упала на спину, лицом к солнцу, будто и после смерти глядя на него широко раскрытыми серыми любящими глазами.

Крон отвернулся. Коротко бросил челяди:

— Сжечь ее. Пепел развеять!

Шесть тысячелетий прошло с той поры, когда на Земле жили предки наши, почитаемые народами окрестными за богов и богинь, нимф и титанов, героев и муз. Шесть тысячелетий! Шестидесят веков! Многое изменилось под вечным солнцем. Многое утратила память человечья, забыв главное, смешав были и небыли, породив толки и кривотолки. Фантазия сотен поколений наплодила новые мифы и легенды. Немало постаралась и сама История, что стала одним матерью родной, а другим злой мачехой — развеяла, разметала по свету племена дерзкие, могучие и славные, оставив на их землях роды тихие и умеющие выживать. Нет числа хроникам и летописям, писанным при дворах для сильных мира сего и в угоду им, тех летописей и хроник, по которым составлялись книги учебные из поколения в поколение, книги, не просветляющие и дающие истину, но уводящие от нее в дебри полутьмы-полусвета, книги, в коих имена и слава одних народов и героев приписана другим, переждавшим битвы и сражения в укромных местах да и возвысившимся над побежденными и победителями, истребившими себя в сражениях... Много тайн в Истории, не ведомых живущим. Много препон и преград жаждущим познать Истину, бесконечно много. Но не в силах остановить стремящегося к знанию никто, ибо найдет он в себе силы преодолеть преграды и препоны, отбросить книги ложные и учения лживые — и познает он себя в предках своих. И проснется в глубинах его сознания-души неимеющее имени, неизреченное, запечатанное семью печатями до толе и дремавшее прежде, и возвысится он над «человеком разумным», над «хомо сапиенсом», ведущим родословную свою от животного мерзкого, от обезьяны безмозглой, и станет он Человеком, созданным по Образу и Подобию, одним из сынов Божьих, посланных в мир ради просветления его и спасения.

Коротка история людская. Не было в ней миллио-

нов лет, что надумывают иные фарисеи от археологии и умники кабинетные, зарабатывающие себе на жизнь безбедную вымыслами об «архантропусах», «человеках прямоходящих», «человеках умелых», проживавших якобы в экваториальных широтах и от коих все мы пошли... С сатанинской гордыней отрицают фарисеи-умники, мнящие себя учеными сведущими, родство свое с Создателем, милее им быть обезьянними последышами... что ж, пусть будут тем, чем жаждут быть — каждому воздается по вере его. Человек же подлинный ни от кого «не пошел» — изначально цепь обезьянью проследили антропологи, от истоков рода ее до наших дней, но не нашли в цепи этой переходного звена к человеку. И генетики, проникающие в тайны наследственности, не нашли. Потому что нет его, звена этого, и никогда не было. Величайшая тайна Бытия!

Человек же явился в явь земную сразу. Без эволюции. Без ползания на четвереньках и мычания животного. Без удара камнем о камень в течение бесчисленных веков. Явился обладающим разумом и душой, имеющим речь и владеющим словом. Непостижимая загадка! Коснувшись ее, многие ученые подлинные, истратившие десятилетия жизни на поиски ответа и не находившие его, но проникающие в непостижимость непостижимого, уходили в монастыри от дел земных, от гордыни. Ищущий пылливо проникает в глубины, недоступные простому смертному, даже не подозревающему о существовании их, и видит там большее, чем способен вместить разум.

Не приемлите на веру писанное в энциклопедиях, учебниках и трудах научных. Ибо писано сомневающимися и не знающими ответа. Ибо не ведома писавшим отсчетная точка. Ибо переписывают из трактата в трактат, из справочника в справочник не имеющее доказательств. Ибо не могут датировать черепок, вырытый из земли, или кость раскопанного могильника, не ошибившись на тысячелетия. Зыбко все и туманно... Кто вы, пишущие историю? И для кого вы пишете ее? Кому служите?!

Неведомо нам с точностью определенной, наверняка — когда появился человек первый, наш прародитель, сорок тысячелетий назад или всего лишь десять. Нико-

му не ведомо сие — даже самым маститым и увенчанным лаврами, издавшим сотни трудов неподъемных и упоминаемым на каждой странице справочника. Не знает ответа наука, не знает его род людской, забывший отцов своих и матерей. Известно лишь, что за пять тысячелетий до Рождества Христова созданный по Образу и Подобию уже жил на планете нашей и был он точно таким же, какие и мы сейчас: не имеющий ни машин счетных, ни телевизоров с самолетами, был он ничуть не глупее нас и не зверовиднее, был он не лучше и не хуже... может, только немного чище духовно да здоровее телесно, его еще не гнули к земле и не понуждали искать в гадкой обезьяне своих родителей семь тысячелетий вырождения...

Жаждающий сюжета лихого, коварных интриг, любовных приключений и кипения страстей в борениях и сражениях пусть пролистнет эти краткие странички отступления, дающего ключик к повествованию длинному и непростому, начатому романом первым. Но ищущий смысла не только в книге этой, но и в тайнах Бытия, не спеши, проникнись — знать Истину, труд тяжкий, страшный и неблагодарный. Ни властителям, ни толпам Истина не нужна. Зная Ее и тая в душе своей, будешь сжигать себя на медленном костре. Не тая же Ее, неся тем, кто не желает знать Истины, станешь изгоем среди них и не поверят они ни единому слову Правды, изреченному тобой. И отвергнут тебя. Так было. И так есть. Будет так ли и дальше? Грядущее нам не ведомо.

...И пришли люди в мир, как и писано было в Священном Писании, одним родом-племенем. Не было никаких «австралопитеков», из которых получились африканцы и папуасы, не было «синантропов», породивших расы желтые, раскосоглазые... Глупостью несусветной веет от измыслов подобных. Будто в одном лесу из орангутанов должны были вывестись одни виды людские, в иных джунглях от горилл — другие, а от гиббонов, мартышек и гамадрилов — третьи, четвертые, пятые... Бред, перепечатаваемый из книги в книгу! Не было «предчеловеков», а были обезьяны вымершие и обезьяны, обезьянами и оставшиеся. И были люди. И были проклятые из людей допотопных, каиново семя, кои мешались с обезьянами «прямоходящими», давая

жизнь человекообразным нелюдям, но не о них речь мы ведем, о них разговор особый. Уже ни один из фарисеев-умников не тщится отрицать Потопа. Был он, никуда не денешься. Гневом Создателя вызванный ли, природными слепыми ли стихиями, но после него сразу раскололся единый прежде род людской на три племени — Симово, Хамово и Иафетово, как в том же Писании писано. Писано и не опровергнуто до дней наших никакими изысканиями и раскопками. Хранилась память о прародителях во времена прежние.

И одно из племен этих, Иафетово, расселилось по всей земле ведомой тогда. И разнесло свой язык повсюду. Ибо дан был Создателем Иафету великий удел — владеть землею. Расселиться по ней и владеть! Так утверждает Священное Писание. Так и случилось. Так и было. Единое племя могучее, движимое необоримыми жизненными силами и исполненное неукротимого и светлого духа за тысячелетия бытия своего породило пеласгов и ликийцев, карийцев и хеттов, лидийцев и лувийцев, этрусков и фракийцев, фригийцев и персов, древних греков и белых индусов, римлян и даков, кельтов и вenedов, скоттов и ютов, англов и саксов, данов и фризов, варягов и франков, моравов и словен, сербов и полян, древлян и латов, литов и пруссов, породило, оставив одному из порожденных родов имя свое... Все роды великие и славные вышли из единого племени. Все языки — из одного языка. И звалось то племя изначальное яриями, ибо ярью и была движущая ими сила, ибо и в труде ежедневном, и в походах многотрудных, и в боях яростных без жизненного святого огня в груди, без яри не выдюжишь, не выступишь, не победишь, и не продлишь рода. Народы, не имевшие в речи своей гласной «я» или утратившие ее, называли яриев ариями, как могли произнести, так и называли. Яр же яриев стояла на трех устоях, на трех началах, породивших и слово само: на оре-оратайстве, умении взрыхлить почву и посадить семя, взрастить жизнь новую во благо своей жизни и пропитания, ибо не звероловами дикими и не разбойниками-вожаками были ярии, а в первую очередь, тружениками великими, земледельцами-пахарями, оратаями и скотоводами, оралами орущими мать-сыру-землю; на юре — любовном страстном жела-

нии, дующем силы безудержно любить жен своих и лелеять их подобно земле-матери, не оставляя без семени живородящего ни на одну годину, юре, который в самые страшные лихолетья бедствий и голода, войн и моров не давал племени вымереть, но еще и умножал его здоровыми сынами и дочерьми; и на самой яри, на пламени внутреннем, которому ученые будущих тысячелетий будут подыскивать имена и звания, сломают себе головы на этом да так и не подберут. На оре, юре и яри держалось и крепло племя яриев, на них стояло, потому что они были в яростном мире тогдашнем всем тем, что давало жизнь. И хотя позже кабинетные умники, бившиеся над переводом и без перевода понятного сынам ариев слова, измысливали его как «благородные», «первые», «воинственные» — все это было лишь эпитетами, шелестом ветра в волосах яриев подлинных, земных, сжимавших крепкими почерневшими в трудах ладонями орала и рукояти мечей. Не «белокуроыми бестиями», не налетчиками лихими промчались они по миру, а прошли тяжелой поступью радетьельных хозяев этого мира, орошающих его потом своим и кровью своею, любящих жен своих и чад своих, умножающих племя свое и несущих свет застывшим в праздности и ленности, не наделенным жизненной ярью, прозябающим и дичающим. Нет, не «бестии», но труженики и воины. Из лона их племени вышли роды прочие, одни раньше, другие позже — отделились, вычленились и зажили своей жизнью, обретая свой язык и свои привычки, забывая про племя отеческое и материнское, расселяясь по землям, погибая и умножаясь.

Много веков и тысячелетий прошло, прежде чем роды отдельные вспомнили, узнали заново, что были едины когда-то, что был тот загадочный народ, который ушел навсегда, дав им жизнь. И заспорили, кто же ближе к нему и роднее, кто сын первородный, а кто сын блудный и седьмая вода на киселе. Истина в их спорах не родилась. Да и не могла родиться. Потому что был еще один род стародавнего племени, который не спорил, не рвался в первые и первородные, не кичился и не раздувал от важности щеки... он, род этот, просто говорил на том первоязыке отеческого племени, немного изменившемся, вобравшим в себя кучу слов новых,

подрастерявшем слова старые, но все на том же. И назывался он так же. Или почти так же — как сын от отца, не существительным подобно всем родам прочим, а прилагательным...

А было так, потому что ярии, прародители народов земных, звали себя русами. Не «индогерманцами», не «протоарийским субстратом», не «ностратической языковой семьей», не «бореалами», не «индоевропейцами», и даже не древними... а просто русами. И говорили они на языке русском, исконном, изначально. И остались нам от них язык наш русский, прозвание наше сыновнее и осознание всечеловечности нашей, боли за весь мир и народы все, роды младшие наши, и еще вселенская миссия наша единителей былой семьи распавшейся, возродителей племени могучего и спасителей вырождающегося, катящегося в пропасть мира. Таково наше наследие.

Но не о нас речь.

А о титанах и героях, богах и богинях, оставивших нам наследие доброе, ярью своей всколыхнувших, пробудивших сонную планету и вознесших нас, сынов своих, к звездам.

Ворон с трудом разлепил глаза. И ничего не увидел. В голову сразу вступила боль — жгучая, сводящая с ума, будто кипящей смолой плеснули в висок. Руки слушались плохо — левая отекала, занемела, но стоило ей пошевелить, как в кожу вонзились тысячи крохотных острых игл; правую он подтянул к лицу, ощупал голову, лоб, висок. Один глаз был цел. До другого дотронуться было невозможно, через всю правую сторону тянулся набухший, горящий огнем рубец. И все же сердце радостно екнуло: живой!

Он перевернулся на спину, застонал, задохнулся от боли... и увидел звезды в высоком небе. Ночь!

Сразу вспомнилась сеча. Неравная она была и злая. Еще бы десятка два воев, и устояли бы, опрокинули Кроновых людей, пустили бы их вниз... Вниз? Ворон приподнялся на согнутых локтях. Нет, в такой кромешной тьме ничего не узишь. Только, скорее всего, он сам внизу. Да, так и было, семерых уложил он на тропе, куда шлем с волчьей пастью не сшибли с головы да

щит не выбили. Но и после этого одному нападавшему голову снес, другого подсек снизу, не встанет больше на свои ноги... а потом? Потом удар был в грудь, аж подкинуло, это конный копьем, не иначе. И меч, занесенный над головой — только солнышко блеснуло на лезвии, ослепило... удара Ворон не помнил. Да, видно, был удар-то, коли голова горит, будто на угли пылающие ее бросили.

Он снова застонал, заскрежетал зубами, уже не сдерживаясь и не страшась, что услышат, добьют. В сердце вонзилось ножом — а где ж княгиня, где Рея-матушка?!

Ворон рывком, преодолевая боль и слабость, вскочил на ноги. И тут же рухнул навзничь, не помня себя и не ощущая.

Второй раз он очнулся днем. Солнце светило в уцелевший глаз, а на небе ни облачка. Ворон зажмурился, нащупал крохотную флягу на ремне, вырвал из чехла, скусил глину — едкое, горькое снадобье потекло в пересохшую глотку. Вот и пригодилось, даром Скрева варила зелье да разливала каждому вою в его баклажку. Ох, пригодилось! А где ж вои-то? Должны быть рядом. Ворон повернул голову налево, направо — никого не увидел. И опечалился. Вся тропа была завалена мертвыми телами. Где ж они?! Ну, ладно, своих Кроновы люди могли унести, для погребения, это понятно. Но где его братья, кореваны лесные, волчьи вои, где остатки его дружины?!

Ворон провел ладонью по груди. Бронь на солнышке разогрелась, вот отчего печет и давит. Он приподнялся чуть, переполз в тень. Все было странным, доспехи и оружие не бросают, особенно, коли они на побежденном, доспехи вещь дорогая... а его никто не обобрал, это дело невиданное! Правда, Крон все себе позволить может, и люди его тоже.

Ворон прислонился спиной к корявому стволу, уселся. Снадобье начинало действовать, боль стихала да и силы прибывали. Он долго крутил головой, шурил заплывший глаз. Наконец сообразил — никакая это не тропа! Задрал голову вверх, обернулся — склон круто вздымался к синему безоблачному небу. Тут и там по склону торчали корявые ветвистые кусты, многие из них

были обломаны, выдраны корнями... Только теперь Ворон понял, что случилось. Тропа была наверху. А он сидел внизу — израненный, ободранный, помятый, с вытекшим глазом и изрезанными в кровь руками. Получить такой удар, сорваться с эдакой высоты... и остаться живым.

— Господи, Род Небесный! — просипел он. — За что наказываешь?!

Браты-кореваны, небось, сидели уже в Велесом Доме* на дубовых скамьях с красавицами, пировали, пили пенное пиво и терпкие меды. Не посрамили себя, жили воинами и погибли в бою воинами. А он?

Ворон привстал, опираясь о ствол, прошел три шага, пять, десять... остановился. Снова поглядел вверх. И чуть не упал — закружилась голова, в глазе единственном потемнело. пришлось присесть, передохнуть.

До тропы он добрался к вечеру, когда уж совсем стемнело. Так и упал возле нее замертво, провалился в тяжкий, наполненный ковами злой Мары сон. Никто не нарушал его, тиха была горная долина посреди тихого Скрытня, скрывающего все: и радостный смех беглецов удачливых, нашедших себе приют здесь, и стенания обреченных, и последние вздохи настигнутых погоней. Да и кто мог нарушить покой мирного, удаленного от дорог людских острова и его долин? Никто... Кроме тихих, боящихся всего на свете горяков, не видимых за густой листвой и уступами, неслышимых, но все видящих и все слышащих, запоминающих события странные, непонятные, грозные и пугающие, о которых можно из поколения в поколение рассказывать детям — о светловолосых, высоких и прекрасных ликами богах в сверкающих доспехах и расшитых жемчугом и янтарем одеяниях, о богинях, скачущих на тонконогих сказочных чудищах, не похожих ни на волов, ни на овец, о блистающих молниях в их руках... и о жестокости, беспощадности этих богов друг к другу, тоже непонятной, странной и грозной.

Чуть свет Ворон пришел в себя, долго разминал,

* Велесов Дом, Велесовы пастбища — загробный мир ариев-русов, царство владыки «того света» Волоса-Велеса. Значительно позже стал известен, как Вальхалла — дословно «зала (дом) Вала-Волоса».

растирал ступни. Сапоги сунул за ремень сзади, все равно разбухшие ноги в них не лезли, еле снял-то. Снова он был у самого начала тропы на Диктейскую гору. Но теперь без коня, покалеченный, босой, готовый отдать жизнь за глоток воды.

Встал. И закашлялся, дыхание сперло, сердце застыло в груди. Мочи идти наверх не было. Но он пошел — падая всем телом вперед, успевая выставлять ногу, удерживаться, и снова падать. Знал, стоит лечь, больше не встанет. До поворота первого тащился, обдирая руки о каменистый склон, ничего не видя пред собою, беспрестанно шепча будто молитву: «Надо! Надо!! Надо!!!».

За поворотом его ждала неожиданная встреча. Поодаль от тропы, пропоротый насквозь обломанной оливой, полувисел-полулежал жеребец, тот самый, что оскользнулся, оступился, упал сверху, чуть не погубив великую княгиню. Ворон вздрогнул, оторопь взяла его. Крепкое, лощеное, холеное когда-то тело коня было изъедено птицами и змеями, желтые кости торчали наружу, изгрызенная морда обнажала в страшном смертном оскале огромные зубы... Сколько же он пролежал тут? Ворон прислонился спиной к камню, прикрыл глаз. За два, даже три дня не могло б такого быть... Значит, он сам провалился в беспамятстве неведь сколько. Колени от жуткой мысли подогнулись. Там никого нет, давно уже нет! Ему незачем идти туда, бесполезное дело, напрасное и глупое!

— Надо-о! — прорычал он сквозь зубы.

Оттолкнулся спиной, локтями. Побрел к останкам жеребца. Дополз до них, цепляясь за кусты. Преодолевая отвращение пнул ногой в гниющую плоть, еще раз, навалился всем телом, из последних сил... и еле успел ухватиться за полуоборванный ремень — костяк с кишасцами в нем змеями соскользнул чуть ниже, завис в кустах. Но торба, что была приторочена к седлу, осталась в руке.

Вместе с нею Ворон скатился на тропу. Затих, прижимая к груди драгоценную находку. В торбе были баклажки с водой, вином, немного сушеных сладостей княгининых и снадобье, Скревино зелье. В торбе было его спасение. Ворон отпил из каждой баклажки по трети, сгрыз половину приторных сушеностей. Потом

полил снадобьем рубец на голове, выдрал из-под брони кусок исподнего, смастерил повязку, концы связал на затылке. И снова провалился в беспробудный сон. Спал недолго, до полудня.

Проснулся посвежевшим и злым на себя — столько времени угробил. Сверху пекло. Но снимать доспех он не решился, мало ли что. Глотнул еще вина. И побрел наверх. Задыхаясь, обливаясь ручьями пота, скрежеща зубами от занудно-нестерпимой боли и изрыгая проклятия безумному и мстительному Крону. Шел он медленно, ноги слушались плохо. Падал и вставал снова. Шел, пока не наткнулся на первое мертвое тело, пока не рухнул на него, зацепившись ступней.

— Гады!

Смеркалось. Воспаленный глаз застило пеленой. И Ворон, не веря ему, ошупал убитого ладонями. Панциря, шлема, поножей и поручей на теле не было, пояса тоже, все поснимали, гады! Вой лежал посреди тропы и, видно, не одно копыто прошло по нему. Вот так бы и он, Ворон, лежал бы легкой добычей для стервятников, голый и холодный, коли не сшибли б его с тропы добрым ударом меча. Кусты помогли, спасли, держали малость... А лучше б сразу, чтоб не видеть всего этого! В трех метрах от первого воя лежали еще трое — рубленных-перерубленных. Ворон выругался вслух, затряс головой. А еще позавидовал было кореванам, сидят, мол, пьют меды с девками... Вот они, лежат — брошенные, застывшие, никому не нужные! И тут же выругал себя за слабость и глупость: лежат-то их тела земные, одежонка телесная, плоть смертная лежит! Сами кореваны в вырии, на зеленых лугах под синим небом... только так! иначе и быть не может! не должно иначе быть! ведь не отступили! не сошли с тропы!

Весь следующий день Ворон из последних сил волочил тела мертвых братьев к найденной расселине, сбрасывал вниз, засыпал камнями. Тринадцать воев насчитал, с каждым простился в отдельности, надо было б по обычаю со стравами и тризнами, но где уж там! главное, чтоб звери тела не сожрали, да птицы не склевали. Поставил знак. Верил, что обычай крепок, нерушим — настанут времена, придут из земель Коп-



ольих дароносицы, умастят могилы павших с доблестью и честью, а стало быть, и здесь земля Кополы будет... как и повсюду, где солнечный лик его, на который и глядеть невозможно глазам, озаряет мир яви. С утра наткнулся еще на четверых, пришлось спускаться, хоронить и этих. Снадобья оставалось все меньше. С ним убывали и силы.

К пещере решил не подыматься. Зачем? Вои порублены. А раз так, княгинюшки, Реи благой на Скрытне не сыщешь, не в пещере, ни возле, не поодаль, не для того Кроновы люди и воев рубили, чтоб ее оставлять. Правда, в пещере и укрытие, и питье и еда... да только за семью запорами, для тех, кто ведает заветы тайные, для прочих там ходы непроходимые, ямы темные волчьи и прочая погибель, залезешь — не вылезешь. Про все он знает, все тайны ведает. Да вот плана-то нету, у Скревы план был... но и бабки-повитухи не видно, ее забрали с княгиней, дело ясное. А может, и не ясное. Может, успели затаиться?! Может, спустились в укрытие стародавнее, о котором князь-надежа, слепой и седой Юр ведал от отцов своих и дедов, а потом дочке тайну ту передал. Ведь всякое бывает... Нет! Не бывает! Оборвал мысли суетные, бабьи мысли Ворон. Коли б затаился кто в пещере, люди Кроновы ни за что б отсюда не ушли, пока бы не выкурили беглецов. Разбили бы шатры, гору б обложили, и не гулял бы он тут привольно по тропке, туда-сюда, быстро б ему конец пришел.

Так и уснул Ворон мрачным, изнеможенным, с мыслью, что утро вечера мудренее.

А наутро, разлепив глаз единственный, увидел над собой лицо смуглое, девичье. Изумиться не успел, как ощутил в руках горшок глиняный, кособокий. Поднес к губам — молоко, кисловатое, козье. Отхлебнул. Горянку-девчонку он узнал не сразу. Такая травить не станет, дети простодушные, они и не ведают, что можно людей травить да пытаться.

— Ну, чего тебе? — спросил он ласково, напившись вволю.

Глазастая девчонка забрала горшок, поставила возле себя на тропу, постучала ладошкой по впалой груди и пролепетала:

— Малфа... Малфа!

— Ну и что из того, что ты Малфа? — не понял Ворон. — Гуляй себе, Малфа, а мне вниз пора, может, к побережью выберусь ден за двенадцать. Пойду!

Он встал, поправил съехавшую на ухо повязку. Побрел вниз.

Но девчонка не отстала. Наоборот, уцепила его за локоть, потянула в гору. Силенок у нее хватало. Ворон остановился, обернулся к глазастой, вопрошающе. Ну что такого могла она, дикая, предложить ему? Горяки гостеприимные, Ворон и сам знал, покормят, согреют, ежели холодно, защиту и кров дадут. Только он уже переборол хвори ратные, ему киснуть нельзя, идти надо к морю, своих, русов искать, есть тут беглецы с большой земли, точно, есть, а пропитание себе добудет... нет, некогда по гостям расхаживать. А может, потеряла своего бородатого? может мужа ищет? Ворон усмехнулся, стар он для нее, пускай помоложе найдет, да чтоб оба глаза целы были.

— Ну, прощай, милая! — прошептал он, намереваясь отвернуться.

Но девчонка замахала рукой наверх, закричала прямо в лицо:

— Тама тита! Тама тита!

— Чего? — не понял Ворон.

Горянка подняла тонкие руки к груди и принялась качать ими, будто ребенка укачивать.

— Ясное дело, — сообразил Ворон, — мальчика своего там оставила? Ну, а я причем?!

— Тама! Тама!!

— Ну и чего с ним тама, — Ворон налег на это слово, — приключилось-то? Помощь моя нужна, или что?! Эх, Малфа, нашла помощничка! Мне б не упасть только, а ты...

Горянка снова вцепилась в руку, поволокла наверх. Не оставалось ничего, как идти за ней.

— Вот тебе и утро мудренее, — бурчал Ворон. И стонал сквозь зубы: голова болела немилосердно, шея и спина затекли. Пришлось допить вино, горянке предлагать не стал, обойдется, баклажку выбросил. Стало немного полегче.

Уже через две сотни шагов они наткнулись на пав-

шего коня. Вся земля вокруг него была черна от запекшейся крови. И тут рубились насмерть.

Перед входом в пещеру возле кустов, с ближнего края уступа лежало безголовое тело Скревы. Ворон не сразу узнал ее, принял поначалу за ворох одежды запыленный и грязный. Потом тяжело вздохнул, склонил голову — изверги, не пощадили старуху старую! Такого он не ожидал. Придется и ее волочь в расселину... только без головы, разве ж это погребенье будет? Ворон выругался непотребно и громко.

— Тама! — горянка дернула его со всей силы, ткнула рукой в сторону провала. — Тита!

— Да погоди ты! — Ворон присел возле Скревы. Призадумался. Ежели не пощадили старуху безвинную, так могли не пощадить и саму... госпожу его! жену Кронову! Рею-княгинюшку! Как он не сообразил сразу еще там, внизу?!

Ворон медленно встал.

— Погоди с дитем своим! — сказал он твердо и грубо прямо в лицо глазастой девчонке. — Никуда оно не денется! В пещеру, что ли, спустила? Со страху?! Вытащим! Ты мне скажи, княгиня где? Где госпожа?!

Он как мог, показал руками красивую, величавую, одетую в длинные одежды повелительницу свою с тяжелыми косами, уложенными за головой, с большими височными кольцами на расшитой жемчугом бархатной кике.

Горянка оказалась смышленной, поняла почти сразу. И ткнула почему-то пальцем в самый дальний край уступа, метрах в семи от того места, где лежало Скревино обезображенное тело. Ничего там, кроме здоровущей черной проплешины, потухших угольев и золы не было. Ворон развел руками. Но девчонка настойчиво показывала туда, на проплешину.

Тогда он подошел ближе. Склонился, прищурил глаз.

В пепле лежало множество обгорелых черных бисеринок, точно таких, какие были и на кике и на дорожном платье Реи. Ворон сдвинул виски, преодолевая лютую боль, даже желая ее, две мутные желтые слезинки выкатились из-под нависшего века. Нет! Этого не могло быть!

— Гады! Звери!

Он дрожащей рукой, с невольным трепетом разгреб тонкий слой пепла, нащупал черное, покрытое сажей колечко, княгинино, резное. Поглядел на Малфу. Та махала руками в сторону пропасти горной, дула с ладоней. И тоже плакала.

— Понятно, — процедил Ворон, — сожгли, изверги. И пепел развеяли!

Он вдруг полез за брони, выдрал клоч рубахи, разложил на камне, стал собирать в него пепел. Пепла было мало, совсем мало, но Ворон все же набрал с две-три пригоршни, бережно сгреб, увязал в узелок, спрятал его.

— Тита! Тита!! Тита!!! — не умолкая, кричала ему в ухо девчонка. — Тита! — Она вдруг показала на пепелище, изобразила кольца височные у себя на голове, косы, качала руками у груди.

Ворон обомлел.

— Ее дите? Княгинино?! — спросил он, холодея. Малфа закивала. И потащила его к провалу.

— Как же так... Нет! — Ворон глядел на девчонку, как на сумасшедшую.

Но та не унималась.

— Тита княги... тита княги! — вторила она, видно, уловив смысл слова.

Они вместе подползли к самому краю провала в пещеру. Горянка приложила палец к губам.

Снизу донесся детский плач — тихий, еле слышный.

У Ворона сердце сковало льдом, горло сдавило, как удавкой. Сын княгинин... или дочка! Там, в этой дыре смертной! А он еще нахвастал, мол, вытащим. Как же, вытащишь тут, лесенку-то деревянную сожгли, одна гарь осталась. Ворон готов был как есть прыгнуть туда, вниз, во мрак беспросветный. Ведь младенец лежит там много дней — в холоде, в сырости! голодный! а он по тропе прогуливается вверх-вниз! мертвые тела прячет в камнях... нет, мертвых лучше не ворошить, не надо! Надо... молока, срочно! И веревку прочную!

— Вот что, Малфа, — наконец изрек он, помогая себе жестами, — ты давай, молоко тащи сюда! Или козу. Живо только! Да сбегай к своим, веревку прихвати, подлиннее да потолще!

Где эти «свои», где коза, есть ли у горяков бечева, Ворон не представлял. И потому, когда Малфа, покивав ему чернявой головой и полопотав по-своему, исчезла, расстроился. Лучше б он с нее рубаху длинную снял, разодрал бы на связку! А так и вовсе пропадет, никакого толку не будет. Потом вспомнил, что девчонка-то была вовсе не девчонкой, это только внешность такая, а она младенца выкармливала — так за каким бесом коза, надо было ее саму на привязи держать, покуда не вскормит мальчика. А может, и вниз спустить — пускай сидит там, выкармливает да греет озябшего княжонка, нето смерть ему! Никогда не был крепок Ворон задним умом, всегда смекал заранее, а тут, видно, совсем мозги мечом отшибли, да и с вышотищи такой упасть, ума не прибавится! Ругая себя так, он не сидел на месте: бегал, собирал обрывки иссохшегося от крови тряпья — лоскуты одеж, из-под коня вытащил плетъ, потом за самого принялся, скрипя зубами, почал резать сырые ремни со спины и с боков — видел бы кто из дружины! Уже тучами застило солнце, стал накрапывать занудный мелкий дождик. А он все возил-ся... И все было мало, совсем мало!

— Эх, прости меня, старая, — взгляд Ворона уперся в обезглавленное тело Скревы, в платье длинное, многослойное. — Прости!

Нарвал веток, забросал нагую плоть. Надо бы в расселину отволочь, да не время, потом. Скревиных одеж хватило еще на три сажени с лишним. Мало!

Ворон вернулся к провалу, заглянул, прислушался. Плача не было, мертвой тишиной несло из пещеры, будто из склепа. Он выждал малость. И крикнул вниз:

— Э-эй, княжич, отзовись!

Дождик перестал. Но тучи сгустились, стало темно и тягостно. Никто не отзывался. Ворон хотел крикнуть еще раз, когда расслышал чуть уловимый ухом сип, слабенький, жалобный. И это укрепило его в решении. Хватит ждать! Будь, что будет!

— Эх, Малфа, Малфа, где ж тебя носит!

Он срубил мечом деревце в ногу толщиной, подтащил к провалу, зажал меж двух валунов неподъемных, примотал конец своей связки... короткая, локтей шестьдесят, вся в узлах, но прочная. До дна не хватит,

намного не достанет, да, видно, придется прыгать во тьму, на Долю положившись, иначе и лезть туда нечего, помрет дитя, уже, небось, помирает.

Ворон проверил меч. Сунул один нож под ремень, чтоб сподручнее было, другой зажал в зубах. Приложил щепоть ко лбу, потом к груди — Род-батюшка не выдаст, не для того от лютой смерти спас, чтоб погубить при деле великом.

Спускался он быстро, сноровисто, откуда только силы столько в ослабших руках взялось да в теле увечном. Спускался, придерживаясь за торчащие из дыр в камнях щепки-головешки — сырые сильно были, не до конца обгорели, только они и остались от бывшего спуска потаенного. Сползал, упираясь босыми пятками в замшелые неровные стены... Так с ходу и налетел на уступ, аж вскрикнул, ушиб больную ногу, отозвалось в хребет, в шею, в голову, обожгло огнем, чуть сознания не лишился.

Уступ оказался большой, троем впору удержаться. Ворон общупал его во тьме. Края были острые, иззубренные, на одном что-то болталось, дрань какая-то. Он не стал ее тянуть. Дернул за связку, конец выскочил из мрака, обвил ногу — на полтора роста конец, дальше спускайся, как знаешь. Надо было решаться: брать оба ножа в руки, припадать брюхом к мху, да и сползать, падать до дна самого. Коли повезет, коли лезвия выдержат и руки, коли не закрутит в падении, можно и живым остаться. Ну, а оплошаешь — костей не соберешь.

Наверху гроыхнуло, полыхнуло — мгновенный синеватый отблеск молнии небесной пробился во тьму, высветил дрань. Хлынул ливень. Несколько капель упали на голову. Ворон задрал лицо к каплям, раскрыл рот. Глотнуть бы глоток свежей, дождевой водицы — и можно в пропасть. Еще один отблеск высветил уступ, бросил страшные тени на далекие стены пещеры.

Ворон присел, отложил нож к стене, потянул за дрань.

Это была связка, не хуже его, только без кож сырых. Он перебирал руками, пока на уступе места не осталось. Вервь натянулась. И тут пальцы у него задро-

жали — не приведи, Господь! Дернешь сильнее, и все кончено!

Внизу сипло заплакал ребенок.

— Терпи, княжич, терпи! — прохрипел себе под нос Ворон. — Великим князем будешь, царем, терпи только! Кто тебя туда спускал, не ведаю, а тянуть обратно я стану!

И тянул. Казалось в ноше вытягиваемой было сто пудов. Но Ворон знал, это от души болящей, от сердца руки слабнут. Им нельзя сейчас рвать да тянуть во всю мочь, теперь надобно потихоньку, с умом, с расстановкою, не приведи Бог, петля сорвется или дитя удавится.

Он и сам не заметил, как в руки ему ткнулось холодное и мокренькое, дрожащее. Чуть не упустил связки, еле перехватил дите, прижал к себе, к груди, благо, что в тяжелой брони не полез в дыру. Княжонок еле дышал. С него свисали обрывки какой-то тонкой кисеи. Ворон ничего не понимал, он отогревал младенца, дышал на него, растирал тихонько. И приговаривал:

— Жив! Жив, княжич, жив!

Сверху снова громынуло.

И одновременно закричал кто-то, запричитал, затараторил.

— Здесь я! — отозвался срывающимся голосом Ворон. — И тита здесь! Э-эй, Малфа-а! Ты, что ли?! Нашел! Нашел мальчика! Жив он!

— Жив! — эхом прогремело со всех сторон. — Жив!

Ворон снова задрал лицо к освежающим, но редким каплям. И прямо в лоб ему стукнулось что-то. Он увернулся, ухватил левой рукой посудинку глиняную с тонким горлышком, принялся, плотнул чуток. Молодец, Малфа, сметливая девка! В черепке было молоко козье, не хуже того, что он пил с утра из рук горянки, только теплое, подогретое.

— На-ка, соси, малец!

Он плеснул немного себе в ладонь, поднес к губам ребенка, осторожно, чтоб не захлебнулся. Тот жадно зачмокал, задрожал еще сильнее, напрягся весь, оживая, теплея.

— Слава тебе, Господи!

Ворон не торопил княжича. Подливал в ладонь. А тот обеими цепкими ручонками сдвигал руку, тянул на себя, и откуда только силенки брались — одним словом, князь. Ворон его не видел, но ощупывал рукой, прижимал, боялся выронить. Наконец молоко кончилось. И Ворон выпустил черепок, принялся пеленать драгоценную ношу в остатки душегреи своей, накрутил в десять слоев связку, чтоб только не расшибить о стенки, когда вытягивать станут. Княжич отбивался, кричал, пускал пузыри. И Ворон готов был кричать с ним на пару. Нет, не зря его Силы Небесные спасли! Петлю делал тройную: и под руки и под ноги. Потом еще посидел немного, прижимая голову детскую к щеке своей колючей, не чуя боли и слабости, боясь качнуться — чуть что, полетишь в могилу беспросветную.

Потом встал. И крикнул:

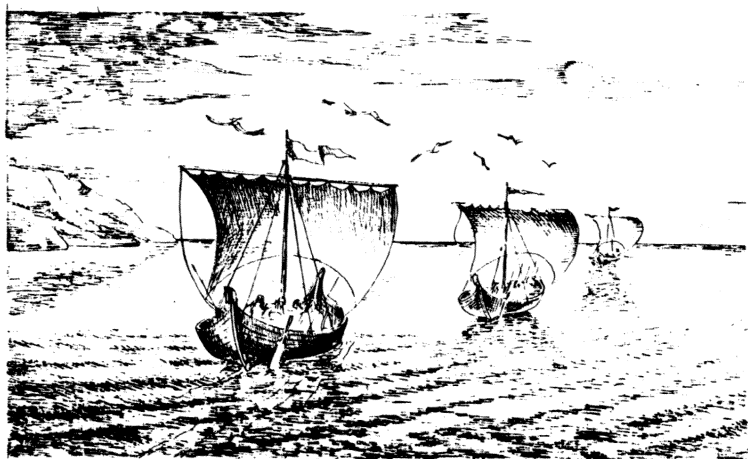
— Тяни!

Горякам верил, особенно Малфе.

Самого его вытянули вторым заходом. Трое борода-тых тащили. А вытащили — и отбежали пугливо, как никак чужак, хоть и полуголый, увечный, а с мечом, с ножами, одноглазый. А глаз синим огнем сияет. Таких не бывает у простых людей, у смертных, это горяки хорошо знали, такие у богов, у демонов всяких... Но Ворон на них и не смотрел. Он сразу же подошел к рыдающей Малфе, прячущейся от ливня под разлапистым кедром, бережно отобрал младенца, спустил с него связку, обрывки лохмотьев, пригляделся, точно, княжич, мальчонка: крепкий, живой, вырывающийся, исхудалый немного и не по дням большой.

Ворон вышел под хлещущие с небес живительные струи, вскинул княжича в обеих руках к темным грозным тучам, омывая его от всего тягостного и страшного в недолгом прошлом, освящая на благую жизнь грядущую. Разлапистая ослепительная молния вырвалась с тверди небесной, высветила их обоих сиянием своим неземным из полумрака, царящего над горою Диктейской, над островом Скрытнем и всем миром людским. Гулом раскатов ударил гром, сотрясая все вокруг.

— Жив! — прошептал Ворон, плача и смеясь. — Жив, княжич. Вот и зваться тебе отныне Живом. Отныне и на века!



«ТИТАНОМАХИЯ»

Синей бескрайней гладью лежал океан-батюшка, бархатом недвижным покрывал пропасти и пучины беспроглядные, клубился по окомам белесой туманной дымкой, сливаясь с синим густым сводом небесным. И не было конца небу и океану, не было предела двум зыбким стихиям.

Четвертый день шли на веслах. Четвертый день Старый* не наполнял ветрами поникшие паруса, берег внуков. Лодья резала крутой грудью своей синий бархат, пенила притихшие воды, млеющие под раскален-

* Старый — одно из древнейших хтонических божеств, повелитель стихий и самого мироздания. Ветры, бури, ураганы, ливни, извержения, стихийные бедствия — его дети и внуки, его посланники. До наших дней дожил в форме Стрибог, т. е., Стари-бог, Старый бог. Устоявшееся мнение, что Стрибог-Старый — бог повелитель одних только ветров, неверно. Стрибог, как и положено «первому поколению» богов, старому поколению, неатропоморфен, т. е. не имеет человеческого облика.

ным солнцем. Вязкую полуденную тишь нарушали только скрип весел да шумное дыхание двух десятков гребцов. На разговоры пустые ни сил, ни времени не травили. Пресной воды оставалось совсем мало, съестные припасы давно закончились... пора было и возвращаться в тихое, уютное море Срединное, не гневить силы неведомые и беспощадные.

Жив греб вместе со всеми. Крутые могучие мышцы перекатывались под его мокрой от пота, переливающейся в прямых лучах солнца, смуглой от загара кожей. Тяжеленное весло послушно ходило в крепких руках. Лняную рубаху, штаны грубые походные, сапоги, плащ-корзно — все оставил Жив в домине на корме, где лежал сейчас, прячась от лютого Купа-солнышка, лесовик Ворон, старый, верный Ворон. Сам сидел на скамье голый и босой, в одной повязке набедренной да с толстым кожаным ремнем на чреслах — меч боевой и нож Жив с себя не снимал даже по ночам, как и свят-оберег, висящий на необъятной груди. Оберег был матушкин, княгинин, успела перед казнью страшной подвязать к руке под мышкой. Тяжелый был свят-оберег, древний, наследный, из руд неведомых... нынче таких делать не могли, нынче все из золота, серебра — блескучее и яркое... матушкин крест животворящий, небесный был черен и темен. Зато густые и длинные чуть вьющиеся волосы Жива полыхали в свете дня спелой пшеницей, искрились, развевались по сторонам — приходилось их стягивать крепким ремешком, крепить узлом на затылке. Русский нежный пушок пробивался на верхней губе, под щеками, на подбородке — юн был княжич. Но серые бездонные глаза его смотрели в даль бескрайнюю строго, взглядом мужа зрелого.

Горяк, которого подменил Жив, сидел рядышком на помосте дощатом, тряс черной головой, разминал затекшие пальцы. Горяк был смышленный, усердный, но хлипкий, как и трое других горяков на лодье. Временами Жив жалел, что взял их в плавание, лучше б коз пасли по склонам. Но не попрекал — горяки не жаловались, не ныли, молчаливо, подобно русам, претерпевали тяготы похода. Кряхтел и охал один только Ворон, ему ширь океанская и неприкрытость были не по нутру, старого воеводу тянуло в родные дубравы. За

неимением таковых на лодье он отсиживался под навесом, карты правил, ворчал, бывало и разговаривал сам с собою, шуря единственный глаз. Было от чего хмуриться и ворчать — уже третий раз за последние два лета выходили из Срединного моря Русского меж столпов Яровых в океан, бороздили гладь поднебесную до полнейшего изнеможения, семерых потеряли в походах, а земель в океане никаких так и не нашли. Видно, ввали старые карты русов — чертежам было не меньше тыщи лет, кожа могла ссохнуться, выгнуть очертания берегов и проливов. Хорошо еще, были они запечатаны в сосуды глиняные, нето бы совсем сгнили в сырости Диктейской пещеры. Много в ее потаенных глубинах добра было накоплено, очень много — не один век копили его беглецы с большой земли. Ворон жалел даже, что показал чертежи княжичу — загорелся тот, ведь не всю жизнь таиться на Скрытне, собственной тени страшась, — у Крона руки длинные, везде достанет — а тут можно было навсегда уйти в края вольные, незнанные, зажить там открыто и широко!

— А ты чего расселся? — пророкотало вдруг из-за спины. — Устал?!

Горяк вскочил на ноги, выпучил карие поблескивающие живым умом глаза на Овила. Тот стоял прямой и высокий, в тяжелом войлочном корзне и меховой русской шапке с широкими отворотами. Овила никакой зной не брал. Но и за весла он не садился, блюл честь воеводскую.

— Оставь его, — приказал Жив, даже не оборачиваясь.

— Ну-ну, — пробурчал воевода, — как знаешь... а только не княжье это дело, веслами махать.

Жив хотел было окоротить второго боярина, уже выпрямил спину, повернул голову, не выбиваясь из общего ритма, продолжая ворочать орудием своим. Но передумал. Пусть говорит, пусть душу отводит. Ведь он ему дядька, с Вороном на пару берег его и учил уморазуму сызмальства, признал за княжича, когда Живу еще и года не было, а до того у горяков гостеприимных жили... Жив вспомнил Малфу, приемную мать свою и кормилицу, улыбнулся, окликнул горяка.

Тот сменил его ловко, не замедлив хода весла. Только шепнул:

— Спасибо, Зивес!

Жив отмахнулся.

Не княжье дело! Прав Овил, всю жизнь веслом махать да земли чужие на отшибе выискивать, когда есть своя, отчая, дедова и прадедова — не княжье дело! Он до крови закусил губу.

И увидел в зыбком мареве белесой пелены выступившие вдруг, будто из-под воды, зубья скал. Яровы столпы! Слава Роду Небесному!

— Земля-я! — закричал с носа впередсмотрящий.

— Земля, — прошептал позади Ворон.

Жив и не заметил, когда он подошел. Походка у воеводы была мягкая, рысья. Волосы и усы стали седыми, сивыми. Но жилистая рука уверенно покоилась на набалдашнике тяжелого меча. Выбитый глаз скрывала черная повязка. Сильно изменился Ворон, постарел, высох — доведись ему попасться на глаза Великому князю, может, и не признал бы Крон княгинино воеводы.

— Наплавались!

— Еще и через наше море плыть, — поправил воеводу Жив.

— По нашему, что по озерцу лесному, — согласился Ворон, — даст Старый хозяин, доплывем.

Овил молчал, теребил ус. Он-то знал, что безопасней по океану ходить, туда княжьи струги не суются, они все больше вдоль берегов... а там, в Срединном, можно в любой миг наткнуться на властелинов ойкумены, на кроновых дружинников. Да и самому Великому князю — далеко с Олимпа видать! А все ж шестнадцать лет минуло с того страшного дня, когда бежать пришлось на Скрытень, а ничего — Бог миловал. Жив вдавил свят-оберег ладонью в грудь, смахнул прядь со лба. Теперь Яровы столпы виднелись ясно, слепой узрит. Гребцы вполголоса затянули песню, повеселели — лодья ходко побежала вперед.

Давным-давно, как рассказывал Живу Ворон, а ему самому волхвы-волохи лесные, в незапамятные времена пращуров сам отец Яр*, имевший пристанище свое у

* Яр — легендарный вождь-прародитель ариев-русов.

Мертвого моря по левому берегу священного Яридона**, не имея сил больше идти по свету, послал две дружины русов-яриев в обход Срединного моря — одну по северному берегу, другую — по южному. И сказал перед смертью: «Увидите дымы костров своих, узрите друг друга. Но не сомкнутся руки ваши... И не будет больше рода единого. Рассеетесь по земле, дабы положить начало народам многим. И забудет брат брата, и не поймет языка его, и поднимет меч на брата. Так будет. Ибо чрез многое прошли мы на торном пути своем. Надо пройти и чрез это...» Немало месяцев дружины пешие шли на закат солнца по пескам и оазисам, взбираясь на хребты горные и спускаясь в пропасти. И пришли к тому месту, где истекало море Русское в океан, увидели дымы костров своих, увидели друг друга с берегов разных, с северного и южного, вздымающихся столпами каменным над синей гладью... но не смогли обняться по-братски, сомкнуть рук своих. Не было ни лодий у них, ни плотов... Так и разбрелись, кто куда. А пики каменные, сглаженные ветрами и временем, стали звать с той поры столпами Яровыми... Часами мог слушать Жив предания старины глубокой. Обученный Овилем, разбирал черты и резы на глиняных и деревянных дощечках, что хранились в сундуках вдоль мшелых стен потайных залов пещеры. Глубока была память рода.

Тяжка участь изгоя.

— Иди оденься, — шепнул Ворон в ухо, — шелом не забудь.

Жив улыбнулся, положил руку на плечо дядьке. Он был на голову выше его. Стоял литой бронзовой статуей под огнедышащим светилом, не человек, не смертный, но спустившийся с заоблачных высот юный бог — кого он мог бояться здесь, посреди волн? Пять раз проходил он меж Яровых столпов. Лишь однажды дерзкая стрела содрала с плеча клочок кожи.

Жив сдернул ремешок со лба — тяжелые светлорусые волосы рассыпались по плечам густыми волнами. Он тряхнул головой и кудри взвились солнечной коро-

** Яридон, Ярдон — река в Палестине, нынешний Иордан.

ной. Меч вынырнул из ножен, взлетел высоко вверх, в поднебесную синь, бешенно вращаясь и сверкая надренной сталью. Прошло несколько мгновений, прежде, чем он застыл намертво в крепкой руке Жива.

Ворон вздохнул, опустил глаз.

— Баловство это, — просипел он настойчивей, — иди!

Делать было нечего. Жив бросил короткий взгляд на приближающиеся скалы. И побрел к домине. Гребцы тоже не теряли времени даром, подтягивали кожаные панцири, клали шлемы поближе, проверяли крепления щитов — береженого Род бережет. Про столпы ходили слухи недобрые, будто чудища там в пещерах надводных и подводных обитали — чуть зазеваешься, стиснут с обеих сторон и сожрут с потрохами. Русы смеялись, подначивали друг дружку бабьими присказками, а сами потихоньку отводили глаза, чтоб не сглазить, не приманить беду. Горяки всему верили, тряслись со страху. Но весел не бросали.

Сильным течением лодью сносило назад, норвило погнать по океанским волнам к югу, до края земного. Течение было странным, не понимали его ни Овил, ни Ворон — то было оно, а то не было, словно владыка морской в свои путанные игры играл. В прошлый раз проскочили столпы с ходу, засветло. На этот — солнышко начинало клониться к окоему. И хотя до заката было еще далеко, но откуда-то взялась вдруг серая туча, хмарью затянула всю западную часть небосвода.

— А ну, навались! — кричал во всю глотку Овил.

Гребцы старались на совесть и без его окриков, всем хотелось проскочить столпы до темноты, а ночевать уж в родном море Русском. Хоть и закрыты земли отчие для каждого, кроме Скрытня-острова, а тянет к ним, близок дом... Вот только поди, поспорь с течением подводным.

Малой поступью продвигались вперед.

Жив давно вышел из укрытия — в корзне тяжком сером, в легких бронях, сапогах расшитых пластинами бронзовыми, с шеломом в руке — а скалы не приблизились, хоть снова за весла садись.

— Ничего, прорвемся, — успокоил Овил, — не впервой!

Прорвались, преодолели течь океанскую только к вечеру, к сумеркам. Дружина вконец изнемогла, обезручала и обезножила от усталости. Но возле самых столпов вода была тихой, как и посреди океана.

— Слава тебе, Господи! — не выдержал один из гребцов-русов. — Добрались!

Он приподнялся над скамьей, чтобы лучше разглядеть возносящиеся вверх, но уже теряющиеся в наползающем тумане нагромождения камня. И тут же осел, запрокинул лицо к небу. Из-под всклокоченной бороды торчала стрела.

— Суши весла! — заорал Ворон. — Вздыхай щиты выше!

Жив подскочил к дружиннику. Но поздно, тот был уже мертв. Из рта его оскаленного струйкой сочилась кровь. Жив хотел выдернуть стрелу, поглядеть на нее. Но Ворон остановил, покачал головой.

— Не надо, не тревожь его.

Резким движением он обломил торчавший конец, вышвырнул за борт.

Подошедший к ним Овил посмотрел в серые глаза Жива, пристально, с вопросом. Помедлил, потом вымолвил:

— Что ж, князь, решай, где ночевать станем. Здесь тихо, можно переждать до утра.

— Он верно говорит, — добавил Ворон, — туман сгущается, попусту бросать стрелы они не станут.

— Кто они? — не ответив, спросил Жив.

Воеводы промолчали, пожали плечами.

Тогда Жив решился.

— В своем море ночевать станем, — сказал он, как отрезал.

И потеснив горяка, сам уселся за весло.

Плыли тихо, стараясь не плескать водой, не бить плашмя, даже дышали не в полную грудь. Правду ли, кривду про чудищ бают, а смерть их коснулась незримой рукой костлявой Мары, унесла одного в вырий.

Ворон почти не видел черных в сумеречном мороке столпов. Но он их ощущал кожей — вот, нависли громадины, зажали с боков, будто поползли навстречу друг другу, чтобы вместо объятий братских пронзить друг друга мечами острыми, будто уже сбывается изреченное

отцом Яром, не проклятие, нет, но нечто лихое и тяжелое, чрез которое не перешагнешь, не переступишь.

Овил стоял на носу, вглядывался в серую хмарь.

Но беда пришла не спереди.

В борта, разом, с обеих сторон, ломая весла и вышибая их из рук, ударило что-то тяжелое. Полетели откуда-то снизу прямо на настил лодьи смоляные горящие факелы. Впились в просоленное дерево острые багры. Засвистели дротики, загудели стрелы. Рухнул со скамьи гребец, сидевший перед Живом. Застонали на корме... И только после этого отовсюду, сверху, снизу, с боков грянул оглушительный боевой клич:

— О-оррр-рр-ра-аа!!!

Он походил на рык тысячи разъяренных барсов.

В одно мгновение Жив срезал из веревочной петли тяжеленное весло, перехватился поудобнее и размашистым ударом опрокинул в воду сразу четверых орущих бородачей. Один из них успел швырнуть в него свой топор — тот просвистел у самого уха, вонзился в мачту.

— Факелы за борт! — кричал Ворон. — Живей, братья, живей!

Овил рубился на носу с тремя разбойниками. Они наседали, теснили воеводу, давая возможность своим забираться на лодью. Теперь Жив ясно видел — это не княжьи люди, не Кроновы, у тех справа одинаковая, шеломы один к одному. А эти были кто во что горазд. Но большинство в волчьих шкурах, с оскаленными волчьими пастями на головах, бородастые, крепкие, остервенелые... Еще троих он уложил на палубу, только хребты затрещали, четвертому снес голову, а об пятого — великана в бронзовых бронях — обломил весло.

Побойище шло от носа до кормы. Взмокший Ворон сбросил шлем. И бился двумя мечами, сдерживая натиск разбойников. Спиной к спине защищал его тот самый горяк, которого менял Жив, он дрался обломком весла, мечей у горяков не было, да и не умели они обращаться с мечами, на все нужен навык. Ворон сил зря не терял, бил точно, в цель, отправляя к праотцам то одного, то другого. Он не собирался сдаваться, хотя нападавших, судя по всему, было гораздо больше. Глав-

ное, не дали огню заняться, пламя сбили, факелы повышвыривали в воду... теперь держаться надо, не числом берут, а умением. Ворон хоть и одним глазом, но ясно видел волчьи пасти на головах. Поначалу решил было, что свои, кореваны лесные, вои Копола... потом пригляделся: нет, не свои, чужие, дикие какие-то, и глаза у них безумные — опились отварами, небось, перед боем.

Он пронзил мечом прыгнувшего сбоку, тут же раздробил челюсть рукоятью другому. Третий выскочил снизу, будто таился во тьме, вышиб меч из левой руки. Но Ворон успел уцепить его за горло — мертвой хваткой. И бросил в лицо:

— Получай, гад!

— Сам гад... — успел прохрипеть бородач, прежде чем клинок вонзился в его брюхо.

Свои! Русы! Ворона аж передернуло. Везде они, разбрелись по белу свету, рассеялись, брат на брата меч поднял... сбылось проклятие Яра. Однако в сече любомудрствованием заниматься было некогда. В сече — или ты, или тебя. Ворон еле успел отсечь руку с занесенным топором, иначе бы не сносить головы. Топор упал к ногам, пригодится.

А из тьмы, с вязанных плотов из огромных бревен, все лезли и лезли на лодью свирепые бородачи с мечами, топорами, палицами.

— Чего лезете?! — заорал вдруг Ворон, теряя поддержку, злобясь. — Не торговое судно! Чего брать тут?! Олухи! — Он не сомневался, что его понимают. Ведь, действительно, брать у них было нечего, только их жизни да доспехи...

Нападавшие опешили на миг, застыли. Но тут же закричали еще яростней, навалились всем скопом, они не собирались упускать победу из своих рук.

Ворон и сам видел, понимал все: дружинников осталось меньше десятка, все выдохлись, многие изранены, бьются на грани жизни и смерти, так долго не протянуть. А эти все прибывают... Вот тебе и чудища пещерные. Одичали, одичали братья! Бог им судья.

Горяк упал с пробитой головой, застыл на настиле, политом кровью и оттого скользком. Ворон чуть скосил глаз, приметил: его место занял княжич, бьется

топором оброненным, хорошо бьется, сдерживает вахлаков, не зря его обучал искусству воинскому.

— Держись, — крикнул Ворон, — будет и им конец!

— Невмоготу, — отозвался силпо Жив. Он тоже был без шелома, в разодранной, иссеченной рубахе да порезанном кожаном панцире. Светлые кудри слиплись от пота, обвисли.

Ворон развалил чуть ли не напополам еще одного, успел сорвать с головы у него волчью оскаленную морду, поднес к глазу, пригляделся — нет, и волк мелок, и выделка не та, все не то!. Руки у Ворона наливались свинцовой тяжестью. Годы! Не век же рубакой быть, пора бы и на покой... только какой тут покой будет. Он отбил удар каменной палицы, опрокинул бившего. Повернулся боком к княжичу.

— Надо держаться, терпи!

— Не могу, — прохрипел Жив, — не могу держаться больше. Хватит!

Он с такой силой отшвырнул от себя топор, что проломил им грудь бородачу, лезшему через борт. Тут же выхватил длинный стальной меч из ножен. Выдохнул гулко. И бросился вперед в самую гущу нападающих.

Отсеченные головы, руки, ноги полетели во все стороны.

У Ворона сдавило сердце обручем, как встарь. Он кивнул одному из воев, тот занял место воеводы. А сам добрал до мачты, оперся спиной, сполз вниз. Вот тебе и княжич! Ворон ничего не видел во мраке. Но очень хорошо слышал, как с лихим свистом рассекает ночной воздух меч, как визжат, орут, стонут, хрипят и отчаянно ругаются раненные, покалеченные, как падают их тела за борт, в воду. Творилось нечто невообразимое, Ворон эдакого еще не видывал... Ай, да княжич! Терпеть он не мог, сдерживал себя! Хороший вой... только бы вот в лютости не перебрал бы лишку, суп-противника тоже иногда прощать надо.

Ворон встал. Ноги держали, голова кружилась меньше. Он хотел было пойти на подмогу княжичу... Но Жив уже сам шел к нему. Шел, тяжело дыша, отдуваясь, отирая локтем пот со лба.

— Все, — сказал он, когда подошел вплотную, — конечно!

Ворон не ответил, только моргнул. Мутная слезинка выкатилась из-под набрякшего века. Старый Ворон плакал. И виделся ему сейчас вовсе не этот могучий, высокий воин, сжимающий рукоять меча, а тот мокренький, вырывающийся, кричащий младенец, которого вздымал он к грозовым тучам под нещадным ливнем. Совсем раскис воевода.

Зато Овил не растерялся. Он выполз из кучи наваленных по настилу тел, встал, пошатываясь, озираясь, ища свою богатую меховую шапку. Потом плюнул в сердцах под ноги. Собрал уцелевших. Таковых набралось семеро, трое из них тоже еле держались на ногах. Да еще два напуганных, ничего не соображающих горяка вылезли из-под скамей.

Но Овил не дал им передышки.

— Трупы в воду! — приказал он. — Своих на нос. Целые весла собрать... да живей! Стоять нельзя, уходить будем!

Среди мертвых нашли одного притаившегося парня, молодого еще, безбородого, израненного. Овил хотел зарубить его. Но Жив не дал.

— Привязать к мачте, — велел он, — утром побеседуем. А теперь... — он послюнил палец, поднял над головой, ощутил холод ветра. — А теперь ставь парус — проснулся Старый, внуков нам в подмогу прислал!

Пока ладили парус, Жив смотрел в черное звездное небо. Хмарь рассеялась. По бокам чернели вершинами угрюмые столпы. Бился о борт лодьи ненужный никому плот, пришлось отпихивать веслами. Ползли седые клочья по черной воде. И не было слышно ни стона, ни плача — будто и не случилось ничего. Жив представил себе пещеры, жен и дочерей, сидящих в них, ожидающих своих бородатых мужей.. им-то каково? Нет, неладно что-то в мире, худо. Там Крон творит расправы. Тут дикари эти... не такой мир оставлял отец Яр сынам своим, не такой.

Ветер набирал силу. Скрипела мачта. И не было воды промыть раны, только на питье. Жив обернулся назад, прошел на корму. Уставился в черный провал за столпами, там океан-бабушка, там земли неведомые. Но

ему, Живу, князю русов, там делать нечего, у него и тут хлопот хватит, пора расставаться с детскими грезами. Пора на Скрытень!

Утро пробудило спящих тихим добрым светом. Один рулевой бодрствовал на корме, напевал что-то под нос, шурился. Лодья шла полным ходом под тугим парусом. И не было видно ни скал, ни столпов, ни берегов. Только морская гладь в белых барашках простиралась округ.

Жив обошел спящих. Совсем мало людей осталось. Один увечный за ночь умер, ушел в царство Велеса. Он сам отнес тело к носу, положил рядом с другими павшими, задернул холстиной.

Потом вернулся к мачте. Исподлобья поглядел на привязанного. Тот тоже не спал, озирался пойманным волчонком, настороженно и боязливо. Был он чуть моложе Жива, но мог сойти и за мальчонку — угловатый, худой, голенастый, только вихры соломенные торчат. Один глаз подбит, заплыл, другой хоть и красный от бессоницы и переживаний, боя и слез, а все ж таки светится васильковым светом. Совсем не страшный разбойничек, даже жалкий.

Жив присел перед ним на корточки. Спросил:

— Ты кто?

— Сбил, — отозвался парень сразу, не заставляя себя упрашивать.

Жив улыбнулся хмуро.

— По-русски разумеешь? Хорошо!

— Росы мы, — пояснил пленник, — и вячем росски.

Речь его была не совсем такой, к какой привык княжич, но он все понял. Росы. А кому ж еще жить на Яровых столпах, повсюду росы, везде русы. Только ряда нет, растерялись наособицу, так, видно, свыше завещано.

Пленник глядел Живу на грудь, глаз не отрывал.

— Свят-оберег, — пояснил княжич, коснувшись пальцами черного креста с загнутыми посолонь концами.

— У мне тако бил, — пожаловался парень, —

помале. Обронил берёгу, потому худо mine, а ти славно.

— Может, потому, а может, и по-другому, — не согласился с ним Жив. — А что имя твоё значит, не слыхал такого прежде, вроде, не русское?

Парень улыбнулся впервые за все время.

— Русское! — Он задрал лицо к голубому высокому небу, попытался пару раз взмахнуть связанными руками.

Жив понял.

— Сокол, что ли?

— Есть, е-е, Сокол, — подтвердил пленный обрадованно, — точно Скил будет. Наш род скилов есть. Мы росы скилы!

Жив протянул руку, ухватил за драный хвост волчьей шкуру, оставшуюся на палубе после побоища ночного, бросил к ногам пленника.

— А чего ж в волков рядитесь, коли соколы?

— То хоривы, они волци. Мы скилы. Хоривы в печерах сиде. Мы на гори, высоко!*

— А как разбойничать, так вместе?! — разозлился Жив.

Скил не ответил, затрясся всем телом, опустил глаза.

— Ладно, не бойся, — Жив распустил узел, сбросил веревки, — гуляй, малый. За тебя братья твои и отцы ответили уже, хватит и того.

«Гулять» было некуда. Скил завертел головой, вскочил на ноги. И тут же упал, скривился от острой боли — все тело за ночь затекло в путах.

Проснувшиеся вои глядели на него недружелюбно, еще болели давешние раны, ушибы, ссадины.

Шли под парусом день, другой, третий. А на четвертый пришлось к берегу пустынному пристать, проводить в путь дальний братьев погибших. Восемь стволов повалили сухих, знатный костер был, высоко к небу

* Племена росов-соколов и росов-хоривов, обитавшие на крайнем западе Европы и северо-западе Африки. Скилы и Хоривы запечатлелись в легендах древних греков как мифические чудовища Скилла и Харибда, пожиравшие мореплавателей.

подымалось пламя, высоко душам героев летать. Там же и воды набрали свежей. Настреляли дичи. Скил ходил со всеми, таскал бревна, бил дичь. Куда ему было теперь деваться. Да и дружине на пользу — две руки никогда не лишние.

Жив тоже таскал бревна для крады. Он знал обычаи русов: мертвых хоронят в земле с почестями, но в земле родной, где живет род — им мертвецов до Скрытня не довести, про Русию и думать нечего — а в походах и на войнах погребают павших в огне, чтобы сразу взлетали на пастбища привольные, чтоб не держали их тела, тяжелые и ненужные уже, душ легких и чистых. Так делали отцы с дедами, так делать и им надо. Отцы... Вспоминая отца своего Крона, Жив мрачнел: ему дал жизнь, а у матери забрал! Помнил завет древний «не суди отца своего». Но не мог не судить. Оттого и бежал за столпы Яровы, подальше от Руси. Уж лучше б Ворон ничего не рассказывал ему, лучше б в неведении жизнь проживать!

До Скрытня еще дважды пришлось высаживаться на земли иные. Не баловал их Старый бог ветрами. А ввосьмером на веслах не шибко побежишь. Видели средь камней людей черных. Одного поймали. Да так и отпустили ни с чем, слов русских не понимал, сам лопотал чего-то невнятное, тарашил глаза, вращал белками, дрожал... что с такого возьмешь. Велик свет белый, много в нем народов всяких, и каждый по-своему живет, чужим умом перебиваться не хочет. Многое познал Жив к шестнадцати годам, много повидал, не сидел сиднем на Скрытне. Где только ни был: и на Медном острове, и на Оловянных, и к верховьям великой реки Ра подымался, и с Вороном пешком к святым местам хаживал, в Яридоне чело омывал... лишь на север был путь закрыт. А возвращался всегда на Скрытень, там родился, там все родное, там силу копил и наращивал в долинах и по перевалам горным, там ума набирался в беседах долгих с дядькой своим, да разбирая письма старые из пещерных кладов, русов-беглецов пытая да с горячками местными об их нехитростях рассуждая. Но больше всего дала ему пещера Диктейская. Знал бы Крон, что там внутри, не поспешил бы назад в палаты великокняжьи.

В трудах и походах время текло быстро. Но покоя на сердце не было. Какой там покой!

— Ничего, лодью подновим. Дружину соберем лучше прежней, — приговаривал Ворон. — Яр-отец нам что говорил? Пусть старые да слабые с женами сидят на земле, холят ее и берегут, плоды взращивают. Молодые пусть за оком идут, ибо племя расти должно, не будет расти — тут ему и конец настанет. А мы еще молодые! — И встряхивал седой головой.

Но Жив-то знал, что воевода и с матерью его, княгиней Реей не сидел подолгу на одном месте, расхаживали по землям Кроновым да и подальше.

А лодья крутым носом раздвигала море, разрезала. Близок был Скрытень. Даже Скил радовался — и его ноги по земле стосковались.

Только радость была преждевременной.

— Чего там? — не понял Овил, глядя на выплывающие из-за окоема горы. Прикрылся ладонью от солнца. И тут же помрачнел, выкринул резко: — Опускай парус! Живей давай! С другой стороны зайдем, с гористой!

Ворон не сразу понял, что случилось, не разглядел, уж слишком Овил глазастым был. А как поближе подошли, как увидел, сердце старое оборвалось. Жива добудился, тот в ночь у руля стоял.

— Дымы!

Жив и сам видел, над Скрытием, над горами дымы стояли. Горяки так дымить не могли. Пожар лесной? Бывали на Скрытне и пожары. Только этот дым иной, недобрый, похуже пожаров будет. Так сердце подсказывало, так глаза видели, не видя еще мелочей отдельных.

— Терема наши жгут, — наконец выдавил Ворон, — леса окрестные с деревнями горецкими...

— Погоди ты душу травить! — сорвался Овил. — Может, и не терема!

Жив пресек спор.

— Нечего гадать. Овил прав, надо скрытно идти, иначе плохо нам будет. А терема... терема новые построим, было б кому топоры держать.

Четыре ночи таились по скалистым берегам южным, по горам и ущельям. А когда вышли к Дик-

тейской горе, не узнали домов своих и пристанищ.

Черным пепелищем их встретила Диктея. Мертва была и долина окрест ее.

— Каратели Кроновы поработали, — прошептал Ворон.

Пока прочие стояли окаменелыми изваяниями, Жив подошел к пленнику. Положил руку на плечо.

— Ну, Скил, ты резвей всех тут. На тебя надежда. Видишь гору вон ту? — Жив указал на перевал, окаймляющий долину, за ним был северный берег Скрытня, было море. — Беги туда, гляди в оба. Они далеко уйти не могли. Беги! А я подоспею.

За время похода Скил привык к языку русов и почти не путал слов, да и как их спутаешь, коли язык-то один, лишь говоры чуть рознились. Скил не держал зла на пленивших его. Другие бы живота лишили и глазом не моргнули бы. А эти даже рабом не сделали, живет среди них как равный, еще и подкармливают, жалеют, заботятся, будто он совсем дите. Скил не заставил себя уговаривать, давно уяснил — княжич знает, что делать, на то и княжич.

Овил, Ворон и дружинники бродили посреди пожара, выискивали, что уцелело, живых. Но живых не было, и тел мертвых не было — видно, в полон угнали всех, а может, спрятались по дальним лесам и долам. Жив не помогал им, обойдутся. Он бегом бежал вверх, на Диктею, к пещере тайной. Крута была тропа, но он не останавливался, не жалел ног. Так и взлетел на кручу, прямо к дозорной башне... Только не было уже никакой башни, а валялись повсюду обгорелые бревна, головешки. Спалили башню. Ну и бес с ней! Не для того спешил Жив. Пещера! Он бросился к провалу... все как и прежде, следов не видно никаких, только брызги крови на камнях. Значит, вниз они не спускались! Да и не спустишься просто так, надо потаенные ходы знать, снасти иметь... Слава Роду, цела пещера! А стало быть, и кожи с письменами целы, и мечи булатные, и прочее добро. Только вот... Жив перепрыгнул на крайний валун, прислушался. Снизу будто стоны доносились, плач чей-то.

— Э-э-ей, кто там?! — крикнул он в черный зев провала.



— А-а-а! О-о-оей-о! — жалобно донеслось из глубин.

Жив пригляделся к брызгам на валунах. Вниз бросали! Живьем! Страшная догадка остудила его. О кожах думал, о вещах... про людей забыл, Малфу, мать свою приемную, забыл, и про Гнета, брата нареченного, и про Вешу, любовь свою первую, сладкую и нежную, не дождавшуюся его.

В три прыжка он подскочил к краю уступа, закричал вниз, не таясь:

— Ворон! Ворон!!

Старый дядька, казавшийся отсюда муравьишкой крохотным, не сразу понял его. А когда понял, побежал куда-то, скрылся за кустами.

Жив постоял немного над провалом. И ринулся вниз по тропе, не разбирая дороги, готовый сокрушить любого, кто подвернется ему под руку.

А когда он спустился, обожег гору к лесу и отвесным скалам, из потаенных щелей, ведущих в пещеру своим извилистым и темным ходом, уже выносили тела. Укладывали на траву, на каменистую почву. Все помутилось в глазах Жива, набежали горькие слезы, затрясло, забило в ознобе. Там, в траве, лежала белокурая Веша в изодранной белой рубаше с одним большим красным пятном на подоле, лицо ее было чистым, лишь на виске синело пятно. Рядом с ней корчилась еще живая, но изуродованная до неузнаваемости Лона, чуть поодаль лицом вниз с переломленной спиной лежал Гнет, другие... А тела все выносили. Последним вышел Ворон. Он нес на руках безжизненную, обвисшую Малфу. Руки у Ворона дрожали.

— Вот, — еле выдавил он, — спрятаться хотели наверху... а их вниз всех! Было уже так. Думал никогда не будет снова... а видишь!

Он положил Малфу в густую траву. Присел рядом.

— Мать!

Жив встал на колени, согнулся, поцеловал холодные губы.

— Мать твоя — Великая княгиня! — поправил его Ворон. — И тебе быть Великим князем. Запомни! А то твоя кормилица, Господь, упокой душу ее. На-ка вот лучше... — он порывшись за пазухой, достал крохот-

ный мешочек тонкой черной кожи, стянутый поверху, на черной шелковой нити, протянул Живу. — Тут прах Реин, пепел, что от нее остался, держи!

Жив взял мешочек, прижал к губам. Потом повесил на шею, заправил под рубаху — старая боль была не тупее новой.

— Значит, у меня две матери, — прошептал он, не споря и не спрашивая, а будто утверждая бесспорную истину. И что-то непонятное, потустороннее и возвышенное тихо отозвалось в мозгу: «...и два отца!»

— И два отца... — вслух повторил Жив.

Ворон поглядел на него пристально, понял по-своему.

— Заговариваешься, парень?

Жив не ответил. Встал резко. Пошел прочь, поправляя на ходу длинный меч.

Скил ждал его на самой вершине. Приметил еще издали, шумнул сброшенным камушком. Жив догадался. Вбежал, прячась за валунами.

— Все углядел, — доложил Скил. — Ушельем оне пошли. Только тама не все. Во-он, полот!

— Не полот, а струг, — поправил Жив.

— Пусть струг, — согласился Скил, — и тама струг! — Он указал чуть поодаль, в сторону.

Далековато было до моря. Синело оно вздымающейся к небесам чашею, так всегда с вершин казалось, Жив знал, но разглядеть алый парус и он сумел. Два струга! С одного каратели к Диктее ходили. Другой наготове стоял... С опаской стали гулять Кроновы люди, значит, не всюду лады у батюшки!

— Сколько их? — спросил Жив.

— Три на десят, — ответил Скил и тут же поправился, — тридцать будет. И еще один.

— Ясно, — кивнул Жив. — По нам хватит. Пошли!

Скил поднял на него расширившиеся синие глаза. Но возразить не посмел. Он хорошо знал поваду княжича, привык верить.

Вниз бежали бегом, поснимав сапоги кожаные, прячась в кустах колючих и бескрайних. Жив придерживал меч. Прикидывал. Тридцать да тридцать, многовато.

Да ничего не поделаешь... Впрочем, худое творили вои с одного струга, другие неповинны, их наказывать не по правде будет, не по правде. А этих... Теперь Жив знал совершенно точно, безо всяких сомнений знал — он имеет право наказывать, карать виновных. Имеет! Оратай приходит в этот мир орать пашню, роженица — рожать сынов и дочерей, воин — защищать племя от врагов, волхв — хранить память рода, князь — княжить... а он послан на свет белый держать ряд, по правде, по справедливости. Для того Вседержитель и отвел руку Мары от его горла шестнадцать зим назад, для того и оставил жить.

— Ты в сечу не суйся, — предупредил Жив Скила на бегу, — спрячься где-нибудь. Ежели меня убьют, вернешься к Ворону, поведаешь. А нет, так я тебя сам позову. Далеко еще?

— За тем склоном, должно быть. По тропе шли, — задыхаясь, ответил Скил.

— Вот и ладно!

Последние сотни шагов Жив бежал, пригнувшись, накинув плащ на голову, чтоб позолота шелома не блистала, чтоб не приманить к себе чужого взгляда. Склон преодолел сверху, срезал петляющую тропу. И, таясь за стволом дубовым, выждал немного. Расчет оправдался — оба передовых дозорных на гнедых лошадках неторопливо ехали по тропе, не чуяли судьбы своей. А была та судьба недоброй.

Два дротика-перуна вырвались из руки Жива один за другим, беспощадными молниями — пробили виски неприкрытые шлемами. Ни крика, ни стога. Только лошади всхрапнули, дернулись испуганно, высвобожда-ясь из-под заваливающихся тяжких в смерти тел.

Жив рысью выскочил на тропу, спихнул трупы вниз, запрыгнул в седло, погладил гнедую по трепетной шее, шепнул что-то в чуткое ухо. Та притихла, успокоилась. Вторую подхватил за повод. Сдавил бока коленями. Теперь вперед — до расщелины, до завала каменного. Там малость обождать придется отряд Кронов. Тридцать мечей! Тридцать копий! Слишком много. Даже для него. И хоть беспечно едут, не ждут отпора на тихом острове беглецов... все равно много! не совладать!

Лошадок Жив оставил в расщелине, пригодятся, им

под скалой в укрытии опасаться нечего, а если и заржут, не беда, отряд на ржанье не остановится, еще чего — три десятка отборных воев, сильных, ловких, обученных, проверенных в боях. Их на испуг не возьмешь. Тут думать надо. Жив полез по шатким камням наверх. Надо было успеть, не так уж и много времени в запасе.

На самой верхотуре завала стоял серый, поросший мхом валун. Жив поглядел на него, как на достойного противника, вздохнул. Но пробовать камень на устойчивость не стал, можно оплошать, погубить все дело, торопливость она всегда во вред.

Сверху он хорошо видел тропу.

И еще кое-что видел. Двое горяков из-за дальнего уступа, скрываясь в колючках и листве, следили за ним. Горяки были незнакомые. Они могли все испортить... а могли и не испортить. Жив широко улыбнулся им, чуть махнул рукой. Дикие тут же спрятались. Нет, они не осмелятся поднять шум. Жив отогнал сомнения. Но тут же навалилось другое. Вспомнилось лицо Вешы — белое, безжизненное. Трех лун не прошло, как он целовал ее губы, щеки, шею, этот висок с тоненькой бьющейся жилкой — теперь на нем черное смертное пятно. Веша была старше его на три года, а головой еле достигала груди. Теперь ее нет. И Малфы нет. Почему? За что?! Разве они перешли дорогу князю и его людям? Они никому на всем свете не мешали! И мать Вешину убили, и отца, все пожгли... Его, Жива, искали? Но Крон ничего не мог знать про сына своего пропавшего, ничего, кроме того, что уже посчитался с ним давным-давно. Откуда они вообще здесь взялись?! Да, Крон и прежде был жесток, расправлялся с непокорными, почитая их за предателей, изменников, перебежчиков, это понять можно. Но карал он своих же, русов. Горяков диких и безобидных никогда не трогал, что толку их трогать, какой смысл на них злобу таить — все равно, что на птиц поднебесных или на рыб морских, кои живут без зла и умысла, как живет. А здесь и их не пощадил. Горяки, правда, умельцы сказки складывать, небылицы всякие говорить да пересказывать. Лет восемь назад еще Жив узнал, что по Скрытню всему ходит сказка про чудесное спасение золотоволосого ребенка,

которого родила богиня беглая, красавица и праведница, преследуемая. И про то, дескать, что сироте этому великое будущее уготовано — мастера были горяки фантазии разводить. Тогда Жив не сразу понял, что про него это поведанье, что он и есть сиротинушка бедная, в пещере таившаяся, молоком дикой козы вскормленная... да какая разница, что болтают. Ныне сердце защемило. Неужто рассказы-слухи до большой земли долетели? Как?! Горяки тихие, робкие, а надо перебраться куда, и в лодью напроятся, и на своих утлых плотиках с островка на островок перемахнут. Всякое могло быть. Значит, докатились сказки до батюшки родного! А может, и нет, может, тут другое. Земля Русская велика, никто из смертных ей концов и края не знает. Но под ногами беглецов горит, ступить некуда. Жив припомнил, как разведывали они с Вороном ходы пещерные. Плана не осталось, вот и набивали шишки заново — Ворон трижды в рвы потайные срывался, камни падали сверху, ловушки всякие смертью грозили. Ничего, старый дядька через все прошел, и его провел, княжич ничего бояться не должен, ему не коз пасти, а державой править. Добрались до залов подземных, скрытных, до хранилищ и сокровищниц. На дубовой двери самой малой тайницы родовой знак его деда стоял, князя Юра — крест в круге. Ворон подле знака этого будто окаменевший застыл — Жив как сейчас помнил. А был Юр на Скрытне или не был, знать не дано. В дрожащем свете факела маленькому Живу сам дядька казался страшным, грозным, совсем не таким как наверху, под небом ясным. Слушал княжич рассказы и, казалось ему, что во мраке за спиною стоят чудища свирепые, ждут, когда обернется... Золото, серебро, камни драгоценные, посудыны узорчатые сверкали в раскрытых сундуках — не счесть богатств! даже сундуков-то не счесть! Откуда столько набралось?! Ворон молчал, головой качал, да затворял назад крышки. Ни камешка, ни золотишки в карман не сунул — все помнил Жив, как сейчас помнил. Сейчас! Не добрался Крон лапами своих воевод и воев до сокровищ подземных, дважды рядом ходил, души губил людские, а так и не познал тайны пещеры Диктейской... Жив заскрипел зубами, сжался в комок. Стало быть, на

третий раз разведает тайну. Крон-батюшка не отступится, придет... Нет! Не бывать третьему разу! Не бывать!

Жив высунулся из-за камня. Тихо. Не спешат конники, притомились, видно. И он спешить не будет, никуда не денутся, приведет их тропка к наказанию заслуженному. Прикрыл глаза. И опять засверкало, заискрилось золото. Засветились тускло мечи, рожны копий, брони, поножи, поручи, зеркала нагрудные, шеломы... и не одни лишь бронзовые да медные, были и редкие, дороже злата любого — железные, стальные, коим и цену не назовешь. Там Жив себе верный меч выбрал. Поначалу тяжел был, длинен, а теперь как продолжение руки, без него будто и не хватает чего-то. Но дороже сокровищ и броней было иное — сундуки, бронзой кованные, с дощечками глиняными да дубовыми с чертами и резами, с рунами диковинными. Одна беда, не все премудрости Ворон разбирал, не всему обучить мог... Часами просиживал Жив в подземельях. Никто про них больше не знал, не ведал: ни горяки, боящиеся нор темных, ни люди Овила, двадцать зим коротавшие на Скрытне, отставшие в походе от заморской дружины великой Пелета, князя восточных земель, да так и осевшие на тихом острове с женами полоненными. Никто не знал! Ибо сокровища те были стародавние, копленные многими поколениями на случай какой-то... Какой? И этого никто знать не мог. Ворон говаривал, что свозили сюда добро на память роду русскому не с Яровых времен далеких, а с самого Борей, про которого вслух поминать боялись, про которого вещуны-волхвы одним сильным мира сего тайну раскрывали, будто так давно жил он, что льды по всему свету стояли и мохнатые, носатые чудища по ним бегали, людей давили... только Борей живым в вырий ушел — и то ли сам Родом стал Всемогущим, то ли Род его в себя принял. Тогда до Скрытня добраться проще было — по льдам да валунам... Выходил Жив на волю, под палящее солнышко, и не верил в прочитанное Вороном с дощечек, не продержится тут лед, растает — ежели и было такое, то совсем давно, не постичь умом глубины лет. Но постигал — потихоньку, не сразу, доводя себя до умопомрачения, до бессонницы и обмороков,

но отводя потом душу в играшках молодецких с мечом и копьем, с палицей тяжелой, в беге многодневном по горным кручам, в прыжках в море со скал крутых, в строении теремов и вышек дозорных, в ученье ратном. Жизнь была ключом из Жива, по прозванию — выжил, значит, должен был жить дальше в полную грудь. Так и жил. Вот только душа рвалась за оком, на бескрайний простор. Тесно ей было на Скрытне, тесно в море Срединном... Все, теперь хватит! Теперь он другой. Прошло детство, пролетело!

Жив все-таки попробовал плечом камень. Тот не поддался. А внизу уже гомонили, перекликивались, смеялись — открыто и беззаботно. Потряхивая конскими хвостами на шеломах в такт копытному перестуку, проходили пара за парой — двое, четверо, шестеро... Рано. Жив перестал считать, уперся ногами в скалу, налег спиной на валун. Пора!

Он не мог испытывать судьбу, всю силушку вложил в камень непокорный... и чуть сам не полетел вниз, вслед за сорвавшимся валуном, еле уцепиться успел за корень, торчавший у края.

Валун увлек за собой кучу камней, больших и малых. В их грохоте потонули вопли раздавленных, сбитых с тропы, конское ржанье. Сейчас главным было не упустить времени. Жив вывернулся, перекатился на грудь, вскочил на ноги и прыгнул на крайний камень, крепко державшийся над обрывом.

Теперь он видел всех. Нагромождение глыбищ разделило отряд, разорвало его на две растерявшиеся, утратившие походный порядок половины. Два десятка всадников из последних сил сдерживали обезумевших коней, давящих друг дружку, срывающихся с тропы. Ни всадники, ни кони ничего пока не понимали, их пугали не люди, но внезапно разъярившаяся стихия. Некоторые смотрели вверх, ожидая нового камнепада, прикрывая глаза руками — больно было смотреть на солнце.

Ничего, сейчас все поймут! Жив сунул руку в заплечную тулу, достал с десятков иззубренных дротиков-перунов, шагнул к самому краю. Выкрикнул громогласно, вздымая в небо стаю притаившихся вдалеке птиц:

— Это я! Тот, за кем вы пришли! Вы видите меня?!

Конники явно видели его — огромного, растрепанного, с нимбом разметанных длинных волос, застывших солнечный диск. Но они не успели вытащить луков. Первые четыре дротика пробили ключицы и шейные позвонки крайним, тем, что могли уйти в сторону моря.

Жив не промахивался. Недаром Овил приговаривал во время забав ратных: «Тот перун, что мимо прошел, ударит в твое сердце, княжич!» И бил его в грудь так, что Жив летел кубарем с ног. Злой был Овил, строгий, беспощадный даже... но он делал все верно.

Еще четыре дротика упокоили тех, кто к лукам потянулся. Счет шел на мгновения. Два копыта взвились, но не достали Жива.

— Это вам за Малфу! За Гнета!! За Вешу!!!

По правую сторону от завала живых не осталось. Только кони бились в страхе, вставали на дыбы, скидывали мертвые тела, сами опрокидывались, ломая себе хребты, катясь под уклон.

— За всех невинных!!!

Жив швырнул последний перун.

И прыгнул вниз, на лету выхватывая из ножен верный меч.

Брошенная медная палица ударила его в грудь, чуть не опрокинула, но только разозлила. Жив отбил копые, другое, увернулся. И с нечеловеческим рыком ринулся в самую гущу...

Через полчаса все было кончено. Ни один дружинник Кронов не ушел с тропы живым. Тела лежали внавалку, головами вперед, к нему. Он плохо думал о воях, они и не собирались бежать, бились до последнего, уже зная, что умрут, но бились.

Жив сидел на уродливом камне, перегородившем тропу, тер ладонями виски. В нем больше не было ни злости, ни ярости, ни обиды. Была только усталость... да еще досада. Высунувшимся из-за кустов сверху горякам он пригрозил кулаком, и те исчезли. Говоруны, разнесут теперь по всему острову! Везде они, везде их глаза и уши.

— Глупец! — выдавил, не разжимая зубов Жив.

Издали, робкой, неуверенной походкой по краю тропы к нему брел Скил. Он был явно ошеломлен. Наверняка, видел все, а теперь боялся, как бы и ему

заодно не досталось, пока рука у княжича не остыла.

— Чего плетешься? — улыбнулся Жив.

Скил пожал плечами. Подошел вплотную. Поглядел вопросительно.

— Глупец, — повторил Жив тихо. И добавил, поясняя: — Я глупец. Ведь они отдали души Велесу, даже не зная, за что их убивают. Ты понимаешь меня, Скил?!

— Нет, — парень снова пожал плечами, растерялся. Он никогда не видел прежде столько холеных коней, столько крепких, ладных и сильных, красивых и богато одетых в брони да кожи воинов, мертвых воинов. Таких нельзя было убить, он знал, они пробовали там, у себя, на скалистых берегах океана, от таких можно было только прятаться и молить Сварога, чтобы пронес их мимо... И вот, лежат бездыханные, властители света белого, непобедимые. Нет, Скил ничего не понимал.

— Тот, кого наказывают, должен знать, за что... — Жив говорил медленно, цедя слово за словом, — иначе и толку нет в наказании. Иначе это просто месть!

— Мечь — это хорошо, — вставил Скил истово, убежденно.

— Хорошо, — согласился Жив, — но суд лучше. Когда-нибудь и ты поймешь это.

Скил упрямо потряс головой.

— Ну, ладно! — Жив улыбнулся, встал.

Поглядел на уродливый камень, взобрался на него, потом на другой, повыше, откуда была видна оборвавшаяся было тропа. Крикнул Скилу, указывая рукой в сторону моря:

— Там княжьи струги. И один из них еще не опустел. Ты пойдешь со мной?

— Пойду, — без промедления отозвался Скил. Он уже взбирался к княжичу. За поясом у него торчал красивый меч, снятый с убитого.

Жив дождался, пока парень поднимется к нему. Потом обхватил руками за плечи, заглянул в васильковые глаза.

— Слушай, Сокол. Ты не раб. И не пленник. Ты вольный человек, и можешь вернуться назад. Будешь долго жить, терема поднимешь, жену-горянку найдешь, козами обзаведешься. Никто тебя не обидит, никто не попрекнет. Русы не держат обид, ты знаешь.

— Я сам рос, — твердо сказал Скил.

— Значит, со мной пойдешь?

— С тобой.

Жив опустил глаза.

— И в Горицу, и в Русию?

— Да.

— А на цепи ежели поведут, на весла посадят?

— За тобой и на цепь!

Жив расхохотался, ударил парня по плечу — тот чуть не свалился с камня. Потом спрыгнул на тропу в сторону моря. Быстро прошел к расщелине, вывел жмущихся друг к дружке лошадок. Вскочил на одну.

— Можешь верхом?

— Попробую, — отозвался Скил, спускаясь с завала.

Гнедая шарахнулась от него. Но потом подпустила, только зафыркала, забила копытом. Скил залез на гнедую со второй попытки. Выпрямился... и чуть не свалился.

— Ничего, привыкнешь, — пообещал Жив. — А меч этот выбрось, не пригодится.

Красив Скрытень, ничего краше на всей земле не сыщешь. Дышится на нем легко и вольготно. Берега каменные, дикие, а за ними, в горных долинах буйство зелени, рай-вырий, каких и не бывает... нет, бывает, вот он! живи, радуйся, наслаждайся! Жемчужина диковинная в изумрудной оправе моря.

Вторую неделю вои предавались безделью и неге: плескались в теплых водах, плавали наперегонки, валялись на прибрежном песочке, вспоминали дев прекрасных, оставленных на большой земле, жарили на вертелах кабаньи туши, потрошили уток диких, ели вволю и снова лезли в синеву прозрачных вод. На стругах охрану меняли раз в день, ближе к ночи — да и от кого тут было хорониться!

Струги стояли у самого берега, благо глубина позволяла. Два из них и не расходились далеко, а третий только вернулся с дозорного плаванья вдоль всего побережья северного да западного. Никого не заметили, вот и вернулись — тих Скрытень. Рай!

Иного Хотт и не ждал. Откуда здесь, в пустыни

морской взяться недругу, грозящему державе Кроновой? Если только из преисподней. Но вход туда, как волхвы бают, запечатан. Неоткуда и людям появиться многим, коих можно было б данями и оброками обложить. Беглецы? Хотт усмехался, шурился на солнце, не понимал он тревог пустых — чем могут повредить державе и поколебать власть великокняжью беглецы жалкие, они теней собственных боятся. Нет, не стал бы он их трогать вообще. Но служба есть служба. Велено обходить с дозором земли подвластные Крону, значит, надо обходить, ряд держать. За то и спрос будет. Не он один блюдет покой по Срединному морю Русскому, по многим сушам. Служба! Три десятка во главе с полусотником Бравоем послал он вглубь острова, в долины горные, пройтись по местам старопрежним беспокойным... Пора бы им и назад вернуться.

Хотт глядел в синеву моря. И легкая улыбка стыла на его губах. Пусть плещутся, пусть отдыхают. Такова доля мужа служивого: сегодня ты беззаботен и весел как дитя, завтра идешь на мечи, смерть приемлешь. Сотник Хотт* хорошо понимал души дружинников.

Хотту было немногим за тридцать. Но суровое лицо его пересекали от подбородка к виску два кривых шрама, память о нубийских побоищах, левая рука еле держала щит — сухожилия были перебиты палицей свирепого дикаря иверийского... досталось Хотту немало за короткую боевую жизнь. Но и сотником в Кроновом войске быть — честь немалая.

— Олен! — выкрикнул Хотт и махнул рукой.

Десятник не заставил себя ждать, подбежал резво, вытянулся перед сидящим на попоне возле чахлого корявого куста сотником. Был Олен полугол, только из моря, но меч прихватил, прижимал к бедру, показывая, что готов выполнить любое задание.

— Возьмешь людей своих, пойдешь на встречу с

* Гекатонхейры-сторукие «древнегреческих» мифов Котт, Бриарей, Гигес и др. в первооснове своей имели совсем не хтонические, а вполне реальные прообразы. Таковыми являлись сотники (сторукие), воеводы небольших, но действенных и боеспособных дружин-сотен.

Бравоем, — приказал Хотт. И пояснил: — Долго их нет что-то, загуляли, небось, с горянками.

Олен широко улыбнулся, обнажая крупные желтые зубы. Он тоже был непротив «загулять». Только медлить с исполнением приказа не полагалось, сотник Хотт не повторял дважды.

— Встретим! — заверил Олен. И побежал прочь, собирать десяток. Ему не надо было растолковывать мелочей, сам понимал, посылают не для встреч, какие еще там встречи, посылают на поиски. Не вернулся в срок Бравой, может, заплутал в горах, чего гадать. У Олена в десятке люди были самые сноровистые, кони быстрые, легкие, кого ж еще посылать в розыск.

Хотт не глядел на уходящий вглубь острова отряд. Сидел, хмурился, жевал стебелек травинки да поглаживал увечную руку. На стругах все было в порядке, стояли они, чуть покачивая голыми мачтами — багряные паруса спустили, нечего им впустую полоскаться по ветру. Но багрянец застил глаза Хотта. Виделся ему огненно-волосый князь, злой, издерганный, исхудавший, с недоброй зеленой мутью во взоре. Зачем вызывал его перед обычным походом дозорным, Хотт так и не понял. Будто хотел князь сказать ему что-то важное, точившее его изнутри, мучился, изводился... да так и не сказал. Только жег все глазами недоверчивыми, колючими.

— Ты Скрытень весь прощупай, — твердил Крон, — ежели что, никого не щадить! Головой ответишь!

Ничего толком не понял Хотт. А переспрашивать не посмел, лют стал князь в последние годы и мнителен, на себя не похож. Изменился, постарел и немудрено, седьмой десяток набегают, усы с бородой сивые. А голова огнем пылает, не рыжая даже, багряная, будто кровью политая, ни единого седого волоска.

— Все сделаю! — заверил Хотт-сторукий. Слышал он прежде, что хаживал и сам Крон когда-то на Скрытень, еще и княгиня в те поры была жива, потом сгинула где-то, что был у князя там интерес свой... а какой, никто не знал — дружину, что с ним ходила, далеко услали, к самому Инду, во власть брату Кронову Варуне, с тех пор о ней никаких вестей не было, даже ближнего своего, Горю, на край света спровадил! Страшился Хотт гнева княжьева, знал, любой вопрос может

бурей отозваться — потемки душа Крона. Он Великий князь, выше его под солнцем нету.

Вот и Бравую Хотт повелел никого не щадить. Сам не пошел, не верил, что в долинах есть враг достойный, не с горяками же босыми воину воевать. Бравой малый усердный, за недоброе слово о князе глотку перервет — вот пусть и усердствует. Его бы в пески нубийские!

Хотт вздохнул тяжко, выплюнул травинку. Глотнул из баклажки вина. Дома жена Влава осталась, семеро детей, да две полонянки, не рабыни, жены младшие — у одной от него двое, у другой дочка годовалая. Работников мало, ртов голодных много, все, почитай, на его плечах. Отца в Лидии убили, он еще мальцом был. Мать в леса ушла, так и пропала, наверное, ведуньей сделалась, в священных рощах молитвы творит Богородице Ладе, Царице Небесной. Пахарям-оратаям проще, они всегда дома, на земельшке своей — коли бесплодной станет, переходят всем родом, всем семейством, новые леса под пашню выжигают, сеют, жнут, плоды труда своего собирают, князю и волхвам несут часть, себя не забывают. У воина судьба иная, лихая. Воем быть ладно, когда молод да здоров. Только уже ничего не переделать в жизни.

Хотт глотнул еще. Вспомнились терема Кроновы, палаты каменные и дубовые. Богато жил Князь великий, раздольно. Но в верхние владения свои, домашние, никого не пускал кроме приближенных, прочих принимал внизу, у подножия горы. Невысок Олимп, а не подняться к облакам, десять колец стражи, засады... Да и кто посмеет?! Хотту хватило и нижних палат, подобных им нигде не видывал, хотя немало стран прошел. Стольких столпов-колонн дубовых, резных поверху и понизу, в красный цвет выкрашенных по нраву княжескому, и не узришь нигде. Своды высокие, светлые. Полы белокаменные, расписные, мозаичные. Сады ухоженные, с ручьями и озерцами. Звери лютые, прирученные... Радовался Хотт за князя — велик, богат, могуч, а значит, и сам род огромный русов могуч и славен под небесами земными, такому князю, такому роду служить — участь завидная, честь большая.

Четыре дня не возвращался Олен с воями. На пя-

тый прискакал — черный, взъерошенный, с горящими глазами. С ходу выпалил:

— Всех порубили!

— Чего мелешь! — озлился Хотт.

— До единого!

Олен спрыгнул с коня. Замер перед сотником, глядя прямо в глаза. Было видно, что не врет. Да и как врать про такое... Беда! Тихий, райский Скрытень, обитель блаженная, жемчужина морская — и на тебе!

— Сбор! — сурово приказал Хотт. И пошел к коню боевому, не теряя времени. Как наяву ожгло злым зеленым взглядом княжым. Не сказал ему Крон правды про Скрытень, а ответ держать придется по всей строгости, не будет прощения, Хотт знал.

Двенадцать дней рыскал он с полусотней по горам и долам. Два десятка оставил струги сторожить. Остальных всех до единого в погон забрал. Весь остров обшарил. Ничего не нашел, кроме пепелищ горелых, трупов да коней одичавших, измученных. Правда, горяков ловили, семействами и поодиночке, многие попадались, нерасторопные да простодушные. Каждого допытывали, что слышал, что видел... так ничего и не допытались. Трогать их Хотт не велел, отпускали несчастных в леса их и норы. Даже самый глупый и обозленный вой понимал, эти люди в косматых шкурах не причем, они б и все вместе с одним дружинником не справились, разогнал бы он их как коз по склонам. Где им уложить три десятка! Хотт готов был землю грызть от ярости и беспомощности своей. Да только что поделаешь?! Убитых похоронили по обычаю, пустили дымом к небу, тризну справили как могли. После еще неделю искали злодеев. Впустую.

Уже когда спускались к стругам, трое воев Олена приволокли на веревках двух диких. Один был ничего еще, человековидный, русоволосый парнишка в лохмотьях и рваной обуви, говорил понятно, улыбался. Зато второй молчал.

Хотт приказал привести обоих к нему. Поглядел на него. И даже присвистнул от удивления, вымолвил:

— Экий ты большой уродился!

— А сильный как вол! — встрял оборванец.

— Помалкивай, пока цел, — осек его Олен.

Хотт глядел на дикого, шурился по привычке. Тот и впрямь был огромен, на голову выше самого высокого дружинника. Литые мышцы буграми дыбились под темной, будто обмазанной чем-то лоснящимся кожей, чресла прикрывала шкура волчья, короткая и свалывшаяся. Вместе с тем немой был строен и гибок, не было в нем и капли жира. Босой, голый, обритый наголо, отводящий пугливо глаза, придерживающий могучей рукой тугой узел на бычьей шее, казался он диким, но не страшным, не зверем лесным, а огромным и послушным ребенком.

— Допытывали? — спросил Хотт у Олена.

— Допытывали, — ответил тот, — не видали ничего, так парнишка сказал. А этот молчит, боится всего. Теленок! — Олен рассмеялся.

— Ну так чего ты телят на веревке таскаешь? — осерчал сотник. — Тут у меня не загон скотий! — Хотт ясно видел, что эти увальни не имеют никакого отношения к гибели дружинников.

— погоди, не спеши, — успокоил его десятник, — такого бросать грех. Князю на потеху пойдет. Может, еще на что сгодится. Мы уже видали кое-чего. Теперь ты погляди! — И тут же перевел взгляд на оборванца, рывкнул грозно: — Давай!

Парнишка подбежал к великану. Шепнул чего-то на ухо. Тот совсем вжал голову в плечи, потупился. Потом будто через силу подошел вплотную к вороному коню Олена, как-то ловко и быстро нырнул под него. И поднял вверх на плечах вместе с увесистым всадником. Конь бил копытами, ржал, крутил шеей, взлягивал. Но ничего не мог поделать, ноги его не доставали до земли. Олен трясся и хохотал во всю глотку. Хохотала и вся дружина. Хохотал оборванец.

Не смеялся один Хотт. Он сразу понял, такого и впрямь грех оставлять на острове. Такой не на потеху, а в дело ратное пойдет. Язык его никому не нужен, главное, чтоб уши были, чтоб приказы слышал. Парень, вроде, не строптивый, послушный... Только вот князя не обойдешь, придется показать ему великана. Может, этим оправдаться хоть малость удастся, отвести от себя гнев.

— Опусти коня! — велел он.

Немой поглядел на оборванца, тот прошептал что-то неслышно, одними губами. И вороной уперся копытами в землю. Хотт понял, что пока силач понимает только приятеля своего. Придется, видно, и оборванца забрать на струг, ничего, места хватит теперь, места много освободилось — Хотт горько улыбнулся. А потом выучится понимать и воевод. Он испытующее поглядел прямо в серые глаза богатыря. Засомневался.

— Не похож чего-то на горяка малый этот! Не будь черный такой да гологоловый, сказал бы — рус.

Оборванец развел руками. Пролепетал нескладно:

— У mine батко рос был захожий, мамка горка. А у Зивы все горки, тока деда чужой был, мы не глядим!

— Зива? — переспросил Хотт-сторукий. — Имя ненашенское, дикое.

— Все они тут перемешались, — встрял Олен, — я вот на Сыр-реке был, там еще хлеще понапутано-понамешано...

— Ну и чего ты еще умеешь, Зива? — спросил Хотт у великана, не дослушав своего десятского.

— Пускай поборется! — предложил ничуть не обиженный Олен.

— Пускай, — согласился Хотт. И крикнул громко: — Эй, братья, слышали? Есть кто желающий?!

Вперед, на зеленую лужайку выступило человек восемь жаждущих померяться силами с диким. Хотт махнул рукой.

— Не все сразу!

И ткнул пальцем в самого крепкого, здоровяка Чуда, валившего быка с ног. Чуд отстегнул ножны с мечом, снял шлем. Тряхнул белесой, коротко стриженной головой, подправил ус заливчатски, и пошел на дикого Зиву, растопырив толстые мощные руки. Чуд был опытным и умелым бойцом, он уже знал, каким приемом хитрым уложит сейчас этого немытого горяка, которого вихрастый малый подпихивал ладонью в спину, выталкивал в круг.

— Завали его, Чуд! — кричали вои, подзадоривая бойца. — Покажи, на что русы годны! Врежь ему! Давай!!!

Чуд дернулся вперед обманным движением, извернулся и собрался было сбоку кинуться прямо под ноги

великану, ухватиться за них, опрокинуть... но не тут-то было, хитрый прием не удался. Чуд и сообразить ничего не успел, как крепкая рука ухватила его выше локтя, вскинула пушинкой вверх, перевернула и бросила оземь. Только он хотел вскочить, как широкая ладонь уперлась в его выпуклую грудь, придавила к земле так, что дышать нечем стало.

Дикий беззлобно улыбался Чуду прямо в лицо. И не наваливался, не давил всем телом. А просто сидел рядом на травке и придерживал рукой.

— Позор! Слабак! — орали вои, не сдерживая себя. — Обабился, Чуд! Гнать его из дружины!

Хотт молча махнул сразу троим. Они стояли наготове, безоружные, но сильные, цепкие, ловкие как барсы. Вои бросились на дикого одновременно, хватая за руки, за ноги, высвобождая беспомощного Чуда. Да и тот, только почувствовав свободу, ухватился обеими руками за кисть, рванул ее под себя... Ничего, с таким бойцом непозорно и вчетвером бороться!

Но и на этот раз никакой борьбы не получилось.

Дикий вскочил на ноги, стряхнул с себя насевших — покатались они по зеленой траве, будто под горку. Поднялись не сразу — ошарашенные и шатающиеся. Но тут же изготовились, пригнулись, выставили вперед руки и двинулись разом на обидчика.

— Чего стоите?! — разозлился Хотт-сторукий.

И еще шестеро побросали мечи и шеломы, скинули плащи тяжелые. Добрый десяток отборных витязей налетел, навалился на великана Зиву, сбил его с ног, скрыл под собой.

Не выдержал и Олен, спрыгнул с вороного, отшвырнул меч, вязался в драку, сиганул в шевелящуюся кучу. И первым вылетел из нее.

— Бей! Дави!! Ломай его!!! — вопили на все лады десятки глоток.

Но бил дикий. Борцы вылетали из кучи один за другим, падали на траву, кубарем катились по ней. Наконец, весь бьющийся, шевелящийся клубок вдруг поднялся, застыл, вздрогнул... и рассыпался. Одним нечеловеческим движением, одним махом Зива стряхнул с себя воев. И тут же дюжина других, уже без окриков, без приказов, в слепой ярости бросилась на

него. Подымались, приходили в себя и кидались в драку и первые. Почти три десятка дружинников пытались обороть дикого горяка. Но ничего не выходило. Тот расшвыривал их, опрокидывал, валил с ног, не ломая при этом, не калеча, не вышибая зубов и челюстей.

Хотту такое побоище не доставляло радости. Он стоял, поглаживал высохшую руку, скрипел зубами. Поглядывал на оборванца. Тот сидел на краю полянки, зачарованно созерцал происходящее. Хотт махнул ему.

— Ко мне!

Оборванец испугался, подбежал не сразу. Склонил голову.

А на вытоптанной траве творилось невообразимое. Уже и те, кто был недавним зрителем, принимали участие в жуткой, немыслимой кутерьме: азарт дерущихся перешел все границы, со стороны казалось, что это не люди, а огромная стая диких зверей, разъяренных волков терзает здорового медведя... и не может ничего с ним поделать.

— Хватит! — прошипел Хотт. — Останови его!

Парень кивнул торопливо, сам кинулся в гущу. Получил несколько оплеух, затрещин, зуботычин. Но все ж добрался до него. Шепнул тому что-то, отбежал... И дикий замер посреди поляны. Его сразу скрутили, заломали руки за спину, поставили на колени. А потом подволокли к сотнику. Шустрый Олен набросил немому петлю на шею.

Хотт поднял руку вверх, призывая к молчанию.

— Все, братья! — выкрикнул он, когда вокруг стихло. — Поразмялись немного, хватит! Готовьтесь, завтра поутру отплываем!

Вои загудели — восторженно, гулко. Хорош всем Скрытень, братская могила их товарищей, а и домой тянет, нагулялись, нарыскались по морям — по горам.

— Ну как, — спросил его, когда гул затих, Олен, — берем с собой немого?

— Обоих берем, — решил Хотт. Поднял за подбородок опущенную голову Зивы, который все еще стоял на коленях перед ним, заглянул в серые глаза — не было в них ни обиды, ни злости, а была одна простота и покорность. — Берем!

Олен цепче ухватился за веревку, потянул на себя, затягивая петлю. Сказал задумчиво:

— Надо бы ему ноги сковать. Ведь глупый совсем, убежит по дурости от счастья своего?

— Скуй, — согласился Хотт-сторукий, — такому молодцу цепь не в тягость будет. А того не трожь, он и так еле стоит, доходяга.

Скил обиделся, насупился, отошел подальше.

Тогда Олен обернулся, посмотрел по сторонам и, убедившись, что никто кроме немого их не слышит, тихо проговорил:

— Может, и не след тебе возвращаться-то, а, Хотт? Сам знаешь, князь скор на расправу... Несдобровать тебе.

— Знаю, — обрубил сотник.

— А знаешь, так можем и уйти подальше, за столпы, или еще куда, земли хватит. Головы зато сбережем...

Хотт передернул плечами. Насупился.

— Сберечь-то сбережем. Только честь потеряем да ряд порушим, забудь про слова свои. На рассвете выходим. Все!

Он опустил глаза. Немой смотрел на него как-то странно и совсем не дико. Хотт улыбнулся. Немой-то он немой, да слух, видно, неплохой имеет. С таким надо настороже быть, разумеет слова... но оно и к лучшему, знатным воем будет. Один заменит три десятка, потерянные на Скрытне!

За четыре тысячелетия до Рождества Христова, когда предки аккадцев, египтян, ассирийцев, вавилонян, ханаанеев бродили в песках Аравийской пустыни, собирая, что Бог пошлет на пропитание, подобно нынешним аборигенам Австралии, когда в горах Синая никто не слышал о племенах колена Симона и безжизненны были еще берега Желтой реки далеко на востоке, когда тающие льды уползали к полюсу и с их уходом вымирали последние северные носороги и пещерные львы, когда на месте Сахары цвели роскошные оазисы и по пустыне Гоби, зеленой и сырой, скитались будущие жители Поднебесной, когда мир был огромен и юн, племя Русское, рассеявшееся в пути своем, обжи-

вало бескрайние просторы от океана Ледовитого до океана Индийского, от Тихого до Атлантического. И не было преград ему, ибо первым шло по Земле, порождая народы многие, исполняя завет.

И не было самого Завета, записанного письменами, ни Нового, ни Ветхого. Не было мудрого закона Хаммурапи, не было эпоса о Гильгамеше, и ни один тайный знак не был высечен в скрытых покоях огромных пирамид, и не было самих пирамид, не было зиккуратов и величественных храмов, в коих поклонялись несуществующему, и не было Авесты и Риг-Веды, а были лишь повторяемые из поколения в поколения гимны и сказания русов, из которых и сложится позже Весть и Изреченное Веданье... Но были уже те, кому предстояло все это создать — и еще многое, неисчислимое, неопишущее и восходящее в выси неземные.

Был род, который помнил памятью волхвов-ведунов, что жил когда-то в Святой земле, где стояла в вышине, прямо над головой недвижимая и прекрасная Белая Звезда, и в вечном хороводе кружились вокруг нее семь иных священных звезд, и день там длился шесть месяцев в году, и ночь покрывала мир своим покровом на шесть месяцев. И стоял Белый Остров посреди Дышащего Океана, и высилась над ним гора Меру, выше которой нет и не было, и жили под прекрасной звездой мудрые, добрые люди, жили открыто и покойно, счастливо и мудро — потому что был Золотой век. И не было Зла.

Но однажды Зло пришло — огромное, страшное, непонятное. И вздыбилась земля, а горы обрушились, доли стали хребтами, а пики опустились на дно морское. И погибли многие. Но избранные вышли из ада крошечного — по опускающимся в океан хребтам горным — вышли на Большую, необъятную землю, покоющуюся меж четырьмя океанами. И вывел их Борей, заповедовавший помнить обо всем. Шли тундрами, лесами непроходимыми, степями, странами горными, пустынями и снова лесами, шли сыны и внуки Борей, умножались в движении своем, орошая потом земли пройденные, бросая семя в них и собирая плоды, не с мечом шли, а с оралом и песней — шли долго, тяжелой поступью хозяев земли, завещанной им. Немало

времени минуло, прежде чем отец Яр вывел их к Срединному морю и Двуречью благословенному, несчитанные века прошли. Стал род большим и могучим, не слабел он, оставляя племена свои по сибирским рекам великим, по Инду и Семиречью, по многим вежам, а лишь наливался мощью и статью, рос, креп... И владел он к четвертому тысячелетию до Рождества Христова, во времена Кроновы, всем, чем можно владеть было под синими небесами на земле-матушке.

И помнили люди рода русов, от мала до велика, от бедного самого до имущего, что все боги, управляющие судьбами и стихиями, ходом времен и движением тел, навью, явью и правью, — предки их, родные отцы, деды, прадеды, пращуры. Знали, что сами они — сыны богов и дочери, кровь от крови, плоть от плоти. И еще знали, что сливаются в Небесах Всесущих их боги-предки в Единого Всемогущего Бога, Вседержителя и Создателя, не имеющего имени произносимого. И потому звали они его Родом, ибо все боги и все пращуры сливались в едином роде. И род этот порождал всех, воплощаясь в Рода. Иное же и прочее, многообразное и бессчетное, небесное, морское, подземное, обитающее в Яви и в Нави, телесное и духовное, зримое и незримое, было лишь ипостасями Неизреченного, вездесущими тенями Рода, порожденными от тела его и от Духа его.

Вера вела род. Вера давала ему жизнь и силы. Ибо порожденный богами не может быть слабым и не имеет оправданий. Ибо он — сильный верой своей, памятью и Духом. Ибо он знает от Неизреченного, что заповедано ему.

И видели племена окрестные, малые еще, нарождающие только и пребывающие в младенчестве своем, видели в идущих по миру русах богов и сыновей богов. И тщились постичь их промысел, но не могли. Ибо для них самих божества их были не отцами и матерями, не пращурами, но господами, владыками — безжалостными, непонятными и недосягаемыми. И было в то время, в четвертом тысячелетии до Рождества Христова, как и во все времена прочие — каждому свое.

И был утрачен ряд, коим держался мир в Золотом веке.

Ибо расходясь в стороны, рассеиваясь по свету, те-

ряют узы племени, удаляются друг от друга внутри себя. И сходясь потом, каждый несет свое, чуждое иному. И нарушается порядок. И зарождается хаос. И царит он повсюду...

Не было ряда, положенного Неизреченным, в державе Кроновой и державах братьев его русов, ибо далеко ушли не только друг от друга, но от самих себя, от предков, в коих Бог.

Не было ряда в четвертом тысячелетии до Рождества Христова.

Ворон стоял на высокой скале и провожал взглядом три пятнышка багряных, скользивших по полотну синьморя, три паруса. Уходили струги. Увозили княжича, в цепях увозили.

Ворон все видел из укрытия. Не сразу понял задумку Жива. А понял, и обиделся. Не предупредил, не посоветовался с дядькой, бросил будто чужих, ненужных, отслуживших свое... Хоть и понимал разумом, что некогда было упреждать и беседы разводить, что на рисковое дело идти надобно без оглядки, без разговоров лишних и свидетелей. Но сердце все равно щемило. Был княжич для Ворона роднее сына родного. Да теперь все, поздно горевать и обижаться. Пропадет головушка бесшабашная, рано ему с Кроном и его боярами тягаться, молод еще, не таких раскусывали — голым, безоружным, скованным по рукам-ногам да и в стан врага лютого, злее которого придумать невозможно...

— Прощай, Жив! — крикнул сипло, не страшась, что услышит кто. — Прощай!

И отвернулся. Постоял немного, усмиряя сердце. Нащупал рукоять меча, сдвинул крепко. Протер глаз, слезящийся от ветра. И побрел восвояси.

Нет, Ворон не собирался рвать на себе волосы седые и впадать в уныние. Впереди работенки много, некогда тосковать и печалиться. Это боярские да княжны дочки в теремах пусть слезы льют, у них времени вдосталь. А ему надо людей собирать, дома заново ставить, пашни подымать, огороды садить... а главное, из молодых да крепких новую дружину сколачивать, обучать ее до седьмого пота ратным навыкам, чтоб было кому отпор

дать налетчикам лихим, коли сунутся. Оружие есть, доброе оружие и доспехов хватает.

Тайным ходом прошел он в пещеру. Завалил камень за собою. Зажег факел, огляделся, дал привыкнуть глазу к сумеркам и теням дрожащим. Долго шел по сырому замшелому полу, обходя ловушки-ямы, не плутая как в первые годы по тупикам и ответвлениям. Природа постаралась на совесть в этих толщах горных, когда-то тек здесь подземный ручей, речушка малая, потом пересохла, а русло осталось, щели всякие остались, полости — люди и приспособили их под себя, новых понарыли, попробовали, лабиринтов понаделали, чтоб чужак, нос сующий куда не следует, нашел бы себе здесь успокоение вечное.

Когда Ворон еще разведывал только ходы, лежали по ним тут и там косточки белые — кем были искальцы подземные, уже не узнаешь. Собрал он их, закопал глубоко, подле озерца темного, что почти под провалом светилось тускло черным светом. Там же похоронил ребенка Малфиного, придушенного Кроном, не стал подымать наверх, душу травить бедняжке, и так убивалась девчонка черноглазая, только Жив и был ей утехой. Много тайн хранила пещера Диктейская.

Ворон распахнул толстую дубовую дверь — со скрипом отошла, нехотя. Откинул крышку сундука огромного, уселся на лавку рядом. В сундуке были мечи. Сколько, он не считал. Много. Видно, и в древности, в пору отца Яра и его сыновей, не все ладно было, раз такие запасы на черный день копили... а может, и ладно, коли негодились, коли далеким правнукам остались. А мечи непростые. Стальные. Такой бронзовый доспех рубит запросто. За один меч булатный сотню простых, бронзовых дадут, десяток коней добрых, полонянок-красавиц столько, что и не прокормишь. Стальной меч — сокровище. А их неисчислимо здесь, добрую дружину можно вооружить, с самим Кроном потягаться впору... Ворон усмехнулся. Прежде воев вырастить надо. Неуч с любым мечом неучем-простофилей останется. Люди дороже железа!

Он вытащил один, другой, третий. Покрутил в руке, проверил лезвие — палец порезал. Умели делать в ста-

рину! И непонятно: как, где? Ворон лучше прочих знал, что по всем странам света куют одну медь, бронзу, и ту, недавно лишь выделывать научились. Ни один известный рудник железа не дает, ни одна ковня не кует его, не плавит. Говорил он с волхвами как-то, те молчали, знали что-то, только ему не ведали. Один просто изрек: «Бронзовый нынче век, вот и весь сказ. Рано людям еще железо в руки давать, не пришла пора Железного века!» Ворон его выслушал, промолчал. А сам подумал — для кого-то и не рано, раз гуляют по белу свету булатные мечи. Давно это было, еще в лесах северных. А вот поди же, здесь, под южным жгучим солнцем пришлось снова себе вопрос старый задавать.

— Ничего! Деды оставили нам, стало быть, знали, пригодятся, — прошептал он вслух и сунул пару мечей покороче за ремень широкий — ножен не было, ножны они и сами смастерят.

Полдня он ходил от сундука к сундуку, любовался воинской справой. Потом пошел в другие каморы, вспомнил про большую добротню выделанную кожу, свитую в свиток — отдельно она в медном плоском сундучке лежала. Давно хотел разобраться, все недосуг было. Нашел. Развернул. Вгляделся. Долго понять не мог, что за холм такой, чего ради полосами изрезан, кружочками испещрен, лесенками какими-то. Потом углядел три руны наверху, черченные резами — «любо», «мать» и «патер». В голове разом прояснилось — «лимп»... Олимп! Вот тебе и холм с лесенками! Ворон оттер со лба холодный пот. И-эх, Жив, торопыга, сперва надо было план разведать, поглядеть в кожу-то свитую... только ведь кто знал! Ворон шурил глаз. Дрожащее пламя бросало тени, делало кожу живой, шевелящейся будто. Но он все видел: и палаты дворцовые, и переходы тайные, и подъемы с подножия, и хранилища... Откуда такой чертеж взялся тут?! Ведь терема на Олимпе начали ставить не так давно, прадед Кронов с братьями начало положили. Да какая разница!

— Ничего, пригодится еще! — Ворон бережно свил кожу, уложил в сундучок. Отвалился на скамье, прикрыл глаз. И увиделись ему горницы и гульбища дворца княжеского, лепота! На широкую ногу жил Крон.



Только его, Ворона, не всюду пускали, как ни как, а чужаком он был хоть и при княгине. Там и своих-то не дальше порога... скрытно бытовал Крон.

Сидел Ворон да отдыхал недолго.

Перешел еще в одну камору. Насилу справился с тяжелой бронзовой крышкой. Заглянул в сундук. Там лежали один на другом дротики-перуны. Много их было, не счесть, а сундук с ними на четырех волах не свезти. Как только вносили сюда!

Ворон достал один — тяжелый, по локоть длиной, с шипами острыми, клювом отточенным. У самого острия набалдашник какой-то, ненужный, лишний... Ворон поднес к глазу — дыра круглая, в ней чернеет что-то. Он принялся, запашок едкий был, неприятный. Потрогал пальцем, сыпется. Даже на язык положил шепоть — горько, выплюнул. Может, яд? Бывало раньше ядом лесным наконечники стрел смазывали. Нет, непохоже. Хотел положить обратно, да увидел на внутренней стороне крышки рисунок резной — будто муж держит дротик в одной руке, другой факел подносит к острию. Дальше — еще один бросает перун. А еще дальше — облако какое-то.

Ворон сунул три дротика-перуна в тулу. Запер сундук. Пошел к выходу. Голова начинала болеть сильно от угара, дышалось в пещере тяжело, да и сыростью пробирало старые кости.

Возле озера он встал вдруг. Задумался, будто решаясь на нелепицу какую-то. Улыбнулся. Потом достал один перун. Сунул его острым концом в пламя гаснувшего факела, подержал самую малость да и швырнул по ту сторону озера.

И вдруг что-то непонятное полыхнуло огнем адским, шарахнуло по ушам, сшибло с ног, отбросило к шершавой стене. Он тут же вскочил, обернулся резко, кто еще шутки с ним шутит, махнул вытащенным мечом прямо во тьму, для острастки, еще! и еще раз! Никто не нападал, не бил, не глушил, не валил с ног.

Тогда Ворон вытащил другой перун, подобрал еле тлеющую головешку, все, что осталось от факела. Но подносить ее близко к махрам, торчавшим из дырочки дротика, не стал.

— Господи, Род Вседержитель, и чего только нет

на свете белом! — прошептал он удивленно и истово, как молитву.

Далеко от Скрытня, за морями за долами, в глухих лесах северных умирал великий князь Юр. Он лежал в своем светлом рубленном из лиственницы целебной тереме, во внутренней опочивальне, куда свет проникал лишь сквозь три верхних резных оконца. Девять десятков лет прожил старый князь, на десятый перевалить не давала ледяная и бесстрастная Мара.

Подле князя сидели два ближних боярина — большие вои старшей дружины да внучка Рея, вдовица несчастная. Муж ее, князь Ясен, сгинул в ущельях Севера, только весточка долетела с гонцом да локон выющийся с головы его. Пришел примаком, без княжества, без богатств, с одной дружиной малой, и ушел, следа не оставив — ни сына, ни дочери. Будто растаял в туманах дальних, только двенадцать лет жизни в пропасть канули. Без наследника умирал старый и мудрый Юр, хотя жен имел немало по обычаю стародавнему — сыновей и дочерей хватало, внуков и правнуков. Только не каждый мог великокняжеский престол унаследовать, верховным вождем, отцом племени многолюдного стать. Это и печалило князя в последние годы и в последние минуты.

— Нагнись ко мне, Реюшка, — попросил старик, пытаясь оторвать седую как лунь голову от подушки, — не вижу тебя, внученька милая, хоть пальцами трону...

Она сама взяла его тонкую, высохшую руку, приложила к своему лбу, к щеке, к губам, поцеловала ее... И старик ощутил на ладони горячую влагу.

— Плачешь?

Рея промолчала. Слезы катились из ее глаз. Губы дрожали. Редко плакала княжна, в мать уродилась — статной, русоволосой красавицей с твердой и доброй душой. Но не могла себя сдерживать.

— Не плачь, милая, — вымолвил Юр, — не жалею меня. Отжил я свое. Деды к себе зовут. И за себя не бойся, Овлур с Зароком тебя в обиду не дадут. Верно я говорю, братья? — голос князя возвысился, зазвенел твердью, почти как встарь.

— Животы за нее положим, — заверил Овлур.

— Не сомневайся, княже, — Зарок коснулся тяжелой рукой плеча Юра, — сам узришь из Велесова Терема!

— Узрю, — тихо согласился старик, — недолго осталось. Как за мной преты из вырия смотрели, не давали против совести идти всю жизнь долгую, так и я за вами глядеть буду. Помните!

Княжна зарыдала пуше прежнего. Не могла она ничем утешить деда в эти тяжелые минуты уходящие. А рука его холодна была, как лед, и легка, будто и плоти в ней вовсе не осталось.

— Прости ты меня, прости! — попросила она еле слышно.

Юр улыбнулся. Из последних сил притянул внуку к себе, коснулся губами лба. За многие годы после Кронова бесчинства лютого князь привык к слепоте, к тьме кромешной, по звукам распознавал больше зрячего. Но сейчас, в миги перед небытием желал он страстно и невыносимо увидеть ее, Реюшку-внуку, любимую, единственную для него после смерти дочери.

— Не за что мне тебя прощать. Это вы все, дети мои и братья мои, простите меня... Нет, молчите. Язык уже отнимается, а я сказать должен...

Рея склонилась ниже. И Овлур с Зароком пододвинулись, замерли, клоня лица свои к постели, внимая умирающему. Последняя воля владыки рода — закон.

Князь заговорил не сразу. Тяжко ему было.

— Мать твою убили. Крон убил, муж родной. Царствие ей небесное Лады Спасительницы! Крону-извергу в тартаре горечь вечно! Не про них сказать хочу... Знайте, носила дочь моя пред гибелью сына. Сама сгинула... но сына родила, жив сын. Жив! Последнее дитя ее. Внук мой! Тот самый, из-за которого и смерть приняла...

Рея отшатнулась. Нет, не могло этого быть. Бредит дед, рассудок уходит из него вместе с жизнью. Сколько лет прошло после смерти матери любимой, сколько слез выплакано, дум передумано. Коли б жив был брат ее меньший, давно бы объявился, или люди добрые принесли бы весть о нем.

Ближние бояре, оба крепкие, жилистые, еще нестарые, но с проседью в русых бородах и морщинами на

челе, переглянулись. Скоро два десятка лет минет, как о дочери князя ни слуха ни духа. Откуда Юр мог знать про внука?

— Перед смертью не лгут, — просипел князь, — истинно говорю вам — жив! А вот и воля моя: до того, как объявится внук, власть держать и ряд править внучке моей Рее! Ты Овлур будешь правой ее рукой. А ты Зарок — левой. Волхвам уже ведомо сие. Право ваше неоспоримо и полно будет. Держать княжество вам крепко, раздоры и распри давить в зародыше... и никому, слышите меня...

— Да! — отозвалась Рея.

— Слышим, — заверили бояре-воеводы.

— ... никому стола княжьего не сдавать, будь-то сын мой кровный, будь брат. Никому! А когда о н придет — е м у сидеть надо всем Севером, над лесами моими и племенами моими!

Князь замолк, задышал тяжело, часто, с сипом.

Обширны и велики были земли, лежащие под властью его. Простирались они от Донепра и Двины Северной на востоке по руслам рек русских Днестра, Припяти, Немана, Вислы, Одра, Лабы, Роны Верхней, Сены, Лавры и Роны нижней, зовомой Родоном, что истекает в Срединное море Русское на западе, где лежат отчины росов Иверийских. По северу никто и границ не знал — уходили они за моря холодные, изрезанными берегами скалистыми и островами дикими, где сидели на стороже дозоры русские, обживались, матерели и кондовели, не обижая племен местных, а беря жен из них, множась, мощь набирая и силу, забывая края теплые, отчие. На юге граничили земли сынов Кополы солнечного с владениями Кроновыми, вдоль Доная полосы раздельные шли, неразмеченные, по Волкановым горам, по Дораве, по краю залива Дорийского, по Новому Яридону, который иные звали рекой По, но Яровы колена окрестили по-своему, в память святой реки палестинской... и до самого стока Родонова.

Густые дубравы и рощи, дремучие леса непроходимые, обильные зверем и птицей, покрывали родовые владения Юра, правнука во многих поколениях Древнего Борея. Нелегко было в них путь торить. По руслам рек и притоков пролегали дороги водные, заповедные.

По рекам жили люди, чтящие князя Юра, как отца своего, как сына Купа-Копола — грозного воина и сказителя, небесного волка-оборотня и заступника, в коего обращается Род Вседержитель, когда к ним снизойти хочет, далеки друг от друга были, разделены переходами долгими и многими, но едины языком одним и верой одной.

Сам великий князь сидел в тереме великокняжеском на главной реке русов лесных, на Донае, по левому берегу. В его терем стекались дары и послания отовсюду. Из его терема исходили положения новые и повеления. Ибо нет жизни и воли без закона и ряда...

— По-твоему будет! — сказал за обоих Овлур.

— По твоей воле, дедушка! — Рея вновь припала к старцу, прижалась мокрой щекой к его щеке. Но мы не видели брата моего, не слыхали даже о нем... как узнаем?!

— Когда придет он, — еле слышно прошептал Юр, — сразу узнаете. В какой день и год, не скажу. Но приход его будет грому подобен и молниям в чистом небе... Ждите!

Рея сама закрыла глаза деду. Овлур с Зароком низко поклонились ей. Она склонилась в ответ. Она еще не осознавала до конца, что с Великим князем Юром ушла в вырий не только жизнь его, не только душа, но и непостижимое, прочное как этот терем из крепчайшей лиственницы, мужественное и праведное время Юрово.

Ждите?! Да, она была готова ждать. Юр знал, кому изречь свое последнее слово.

Струг покачивало на волнах, потом вдруг резко бросало, так, что все в трюме катились по доскам на правый борт. И опять начинало покачивать. И снова бросало. Скил ничего не понимал, злился. Он никогда еще не попадал в бури. И ему не нравилось быть столь легкой игрушкой в непонятно чьих руках.

— Водяной балует, — наконец сделал вывод он.

Жив усмехнулся. Вспомнил, как сам впервые попал в шторм за Яровыми столпами, в океане окраинном. Там водяной не баловал, там он из них все души

вытряс, насилиу переждали бурю беспросветную. Здешняя в сравнении с той, именно баловство, шутки. Жив не боялся моря — свое, родное.

Боялся он другого — батюшкиной подозрительности. В глаза не видывал родителя, но по слухам знал, играть с ним, все-равно, что с огнем, с пожаром лесным.

В трюме было тепло и сухо. Под нижним настилом лежали камни да свинцовые ядра, для веса, для остойчивости струга. Над головой был еще один настил, верхний, туда ходу не давали, только на ночь сажали на весла, в смену. Грести приходилось и при ветре, Хотт-сторукий спешил — на Скрытне задержались, значит, прочие семнадцать островов не осмотренных надо вдвое быстрее осмотреть, за задержку Крон слова доброго не скажет, совсем лютый стал — скольких верных воевод-сторуких, сотников в погреба побросал за провинности малые, из подозрений и неверия. Что ж, от Доли не уйдешь, не убежишь! Крон князь великий, его воля — воля Рода Небесного...

Жив молчал, даже когда они оставались вдвоем со Скилом — мало ли что, везде есть уши, хватит одного самого коротенького словечка, чтобы их разоблачили. Хорошо еще, что у Скила не отобрали мазь из психройской глины. Жив потихоньку мазал ею голову, обриту мечом в кустах, лицо, тело. Глина давала смуглоту, она закрашивала даже пробивающиеся корешки светлых волос, делала похожим на дикаря-островитянина. К тому же, молодому княжичу повезло, что на Скрытне не оказалось умельца наносить узоры разводчатые синие на кожу. Его тело было чистое, не тронутое острыми иглами, как у горяка. Ворон сердился, ворчал постоянно, даже хотел сам было взяться за дело, изукрасить княжича, как и положено ему, да рассудливый Овил отговорил: негоже пробовать на князе будущем, князю наколки делать самый лучшей умелец должен, лучше подождать, чем все испортить! А делали наколки русам сызмальства — сначала на правое плечо знак рода-племени ставили, затем на левое — личные прозвания. Становился старше — ветвистые узоры по рукам до кистей пускали, по ногам до ступней, на груди барсов-рысей и соколов-рогов накалывали, волчьи пасти оскаленные и медвежьи морды, спину не забывали... чем

отважней и удачливей воин был, чем знатнее рус, тем большей синевой причудливо-узорчатой отливало его тело... Дотошный Хотт сам осмотрел немого Зиву — дик тот был, аки зверь лесной и рыба морская, не умел украсить себя, одно слово — дите гор. У Скила нашел на плече соколенка, вскинувшего крылья, разинувшего клюв. Долго в глаза глядел... да что возьмешь с него, сам признался, кем отец был, чего с мальчика спрашивать.

На острове Деле Зива потешал дружину, сносил коней по трапу на плечах. Такое воям в диковину было, смеялись над немым — здоровый парень, богатырь, каких свет не видывал, а умом не вышел, простофиля, дурачина! Жив хохотал вместе с ними. Лучше смеяться, чем плакать, какой бы повод ни был.

Непокойно жили люди на островах, позабыв уставы, данные предками. Кто смел, тот и съел, по праву силы и расторопности жили. И управу на них Хотт-сторуккий силой вершил, сам казнил, сам миловал — Великим князем сполномочен. Скил набрался нахальства на Деле, сказал сотнику:

— А ведь уйдешь ты с дружиной, они за старое возьмутся? — сказал без нажима, будто себе вопрос задал.

Хотт улыбнулся зло, так, что лицо в шрамах скринилось, ткнул наглеца кулаком в грудь, тихонько ткнул — а тот полетел с ног долой.

— Возьмутся за старое, мы снова придем!

Скил только вздохнул. Чего тут скажешь, коль уклада нет, к каждому надзирателя с палкой все одно не приставить, сотник это получше него понимает, нечего ученого учить.

Под утро, когда их меняли с весел, когда русы оставались наверху, а диких с горячками-весельниками загоняли в трюм, давали по бадейке с кашей и по корчажке разведенного вина виноградного, седой, но нестарый еще, полуслепой горяк, сам прибившийся к русам на службу нелегкую, сказки сказывал:

— ...а самым первым в далекие времена еще править над миром Ур стал. Поженился он на Хее, так мне сказывали люди умные, и нарожали они видимо-невидимо детей всяких, потому что не смертные, а боги

были, чудовищ нарожали и великанов, и героев тоже нарожали... от них и Крон пошел, и Рея-матушка, заступница всем бедным и несчастным. То ли наш это царь-батюшка Крон был, то ли другой, никто нынче не ведает, только зарезал Ура этот Крон, чтобы детей больше не было. А когда резал-то, капельки крови отцовой падали в море и из них такие страсти нарождались, что до сих пор мутят пучины морские...

Говорил горяк складно, мешая русские слова со своими, понятными, похожими на русские. Его разумели — слова доходили. А вместе все, из слов сплетенное, непонятым было и странным — нелепицей, сказкой-небывальщиной.

Скил интересовался:

— Когда ж это случилось-то, в какие-такие далекие времена?

Горяк закатывал мутные глаза. Отвечал:

— Давно, очень давно, еще мой отец жив был, а я в люльке лежал!

— Понятно, — успокаивался Скил. И больше не мешал рассказу.

— ...и прогневались за то другие боги на Крона, и послали гонца ему с вестью злой: мол, родится у тебя сын, и вырастет он сильнее тебя и больше, и прогонит тебя с трона, а может, и совсем убьет. Вот Крон и разгневался, стал всех своих детей пожирать. Глотал их целиком, одного за другим, даже дочерей всех проглотил. Хотел и жену свою Рею-матушку проглотить. Но сбежала она от него на остров Крету и родила там ребенка в пещере неведомой, и оставила дите малое на воспитание слугам своим и козе волшебной. А сама вернулась к Крону и дала ему камень большой проглотить вместо сына. Вот Крон и проглотил камень. И успокоился. А как вырастет сын его, так и грянут времена новые... что будет, одним только богам ведомо. А боги русам отцы и матери родные, а иные из русов и сами боги. Вот с них спрос-то и будет. Будут тягаться и биться меж собой. Они такие, коли что, так бьются насмерть! земля трещит и небо ходуном ходит! и перуны у них и громы! Страшные времена грянут... Только мы, люди, попрячемся, тихо сидеть будем, много зим пройдет и весен, богов не останется больше, а мы...

мы останемся, так рассказывают, а я только повторяю.

Хотт вырос над рассказчиком незаметно, будто из-под земли.

— Это чего ж ты, друг любезный, про князя Крона небылицы травишь, а? Чего против него люд заводишь?! Отвечай!

Горяк чуть не помер со страху. До самой Венетии Малой молчал. А была она против горы княжей.

Как вышли наверх, Жив увидел дымку туманную по склонам. И удивился. Не таким Олимп представлялся ему. Думал — высоченный он, исполинский, достающий вершиной до седьмого неба-вырия. А оказалось все проще. Мал был Олимп, ниже гор Скрытня, не страшен вовсе. На острове Буяне вулкан да в Большой Венетии Везувий-гора пострашней были.

— Чего растерялся, увалень?! — окликнул его рыжебородый Олен. — Не видывал красоты эдакой?

Красоты прибрежные да пристани Жив повидал многие, не удивишь. Эта была из пристаней не самая большая да богатая. Стояло в гавани полтора десятка стругов, пять лодей. Три помоста вели в море, на сваях стояли. По берегу высились домины в два-три уровня, не палаты, но хранилища. Да две башни высокие торчали, дозорные. Народу сновало много: со стругов добро в домины перетаскивали по помостам, на малых лодках перевозили. Стражи с копьями порядок блюли, следили строго.

Коней берегли, кони дороги. А своих спин никто не жалел, даже дружинники-вои. И Живу со Скилом попотеть пришлось.

Олен смеялся:

— Гляди, немой, все силы не порастрять! Приведут к князю, а ты и опростоволосишься, придется назад везти, ха-ха!

Смеялся нервно, слишком громко. Знал Олен, не с негого спрос будет.

И не ошибся. В тот же день Крон вызвал к себе сторукого. Уже знал, что трех десятков не привел назад сотник Хотт, донесли. Встретил хмуро, но кричать, гневаться не стал, спросил только вкрадчиво как-то, будто желая услышать новость желанную:

— Что там на Скрытне? Кто объявился... нет ли?!

— Беглецов пожгли, — ответил простодушно Хотт, не смея разогнуть руки больной, ломоту терпя, — горьки тихо живут, не обижают никого... Тридцать душ не уберег. Но то дело не людских рук, не родились еще такие, кто воев Кроновых оборет. То злые нави, видно, преты черные из вырия вышли тартарского, не иначе! Там вырий рядом. Голову на отсечение даю, не люди, сгубили воев. Мы все прочесали, княже!

Крон сдвигал цепкой рукой плечо сотнику.

— Не высоко ценишь голову свою, Хотт, — просипел прямо в лицо, — только я тебя не про воев спрашиваю, не про навий бесовских. Неужто не понял?

Неуютно стало сторукому в палатах княжких, резным дубом обшитых, коврами рукотканными выстланных, посреди столов со снедью богатой, не для него выставленной. Скривился от боли, прижал руку увечную к боку. Неужто и впрямь неладное с Кроном творится, неужто болен разумом он, поставленный над родом править — не бог, не господин всевластный, не вершитель судеб, а лишь первый среди равных, старший рус над русами младшими? Вгляделся Хотт в глаза зеленые, ясные, без мути болотной, в зрачки расширенные, в нервную жилку, дергающуюся у виска, в губы трясущиеся, змеящиеся не в улыбке, но в оскале болезненном, в прядь густую, желто-пегую возле левого уха. Да, неладное с князем творится. Но он не баба-сплетница, чтобы слухами больную душу тешить, не сочинитель баек.

— Тихо все на Скрытне! — сказал твердым голосом.

— Тихо, говоришь, — повторил князь как изнутри, отрешенно, словно из могилы, — тихо... И что растет там погибель моя, что придет скоро грому подобно, чтобы царствие мое сокрушить, а меня живота лишить, не слышал, значит?! Со Скрытня придет!

Хотт только головою покачал. Что тут скажешь еще.

— А ведь я надеялся на тебя, сторукий! — с горечью в голосе изрек Крон, опустил на скамью дубовую. Налил себе кубок, выпил. Тряхнул головой. Взял другой кувшин, серебряный с длинным горлышком. Налил в тот же кубок доверху. Встал. Протянул его Хотту.

— Все сказал?

— Как есть все! — ответил сотник.

— Тогда пей. Вот тебе моя награда за усердие твое и старание!

Сторукий поглядел в зеленые искрящиеся глаза князя. Понял судьбу свою. Побледнел. И увидал вдруг птичку-воробышка, бьющегося под потолками резными, балками узорчатыми и красными. Залетела кроха в княжьи покои, перепугалась, выхода ищет и не находит. Успел пожалеть даже божье создание. Но усмехнулся еле заметно, грустно: воробышек-то отыщет путь, вылетит, а ему из палат этих выхода не будет.

Поднес кубок к губам. Запрокинул голову в бронзовом, изукрашенном чеканным узором шеломе с белым конским хвостом в наверху.

Но отпить не успел. Резкий удар выбил кубок из рук, расплескал вино по доспехам, по полу мозаичному.

— Нет, ты не умрешь, — сказал Крон почти ласково, — хотя ты и не выполнил моей просьбы. Я строг, но я справедлив.

Он хлопнул в ладоши. Взял со стола из блюда широкого гроздь винограда, отщипнул одну ягодку, сунул в рот, сморщился, но дожевал ее, проглотил, отщипнул другую.

Стражи подошли к Хотту-сторукому неспешно, с двух сторон, взяли за локти, уставились на князя.

— В погреб его, — равнодушно произнес Крон. И отвернулся.

Волкановы горы, Волканы* красивы, лесисты и благодатны, мало чем уступят они райским горам и долам Скрытня. Жить бы средь чистых, прозрачных родников, лугов высокогорных, холмов, тешащих глаз, средь пения птиц и шорохов непуганного зверя, жить бы и радоваться ясному солнышку, высокому небу. Так и живут те, чьи предки, устав странствовать по белу

* Волканы — исконное название Балкан, Балканских гор (типичная трансформация: «Вавилон-Бабилон», «Аравия-Арабия», «вивлиофика-библиотека» и т. д. Отсюда же слав.-рус. Волкан, из которого образовался «Вулкан» (Гефест).

свету, осели среди красот здешних, пустили корешки пока еще неглубокие, но цепкие. Живут себе и радуются, про труды насущные не забывая, отсылая десяти-ну главе рода, князю на вершение ряда и землеустройство, вдалеке от хлопот и суеты живут... те, кто повер-ху Волкан.

Иным глазом видит жизнь здешнюю люд подневоль-ный, которому наверх доводится лишь ночью выпол-зать, во мраке, при свете далеких звезд мерцающих. Не доносятся до слуха их ни шорохи лесные, ни пение птиц, ни журчание родниковое. Даже по ночам пресле-дуют их во снах тяжкий гул молота, звон рубила да окрики стражей. В норах подземных проходит жизнь добывающих руду, в рудниках Волкановых. Подобно червям, истачивающим яблоко изнутри, истачивают в алчи и несыти люди малые исполинские горы, вторга-ются в залежи несметные, в сокровищницы бога Во-лкана, крадут добро его — руды, богатые медью, свин-цом, оловом... Разные судьбы у них: одни сами прихо-дят наниматься в работу за пропитание, одежду да плату крохотную, не умеющие жизнь свою править, других ссылают за преступления тяжкие, души спасти, третьи — пленники, коим не может быть прощения, причи-нившие горя и ущерба многого в набегах на земли русов — хоть и нет рабства у внуков Борея и Яра, внуков Дажьбоговых — нигде нет и никогда не было — но не всякого отпускать с миром можно, аки воя, захва-ченного в плен с оружием, ибо есть воины, а есть тати в бронях, вдвойне страшные люду мирному. Чет-вертые, ведуны-мастеровые, урядники да стража — на службе, таков их удел, жить с семьями при рудниках, на благо племени утруждать себя. И всякому есть вы-ход из нор глубоких, всякому есть прощение по исходу срока или немощи телесной ли, душевной. Отовсюду выход имеется...

Нет выхода лишь с рудников тайных, с рудников железных. Ибо обладающий железом, обладает и миром всем, правит им — в руках его тайна, унаследованная от богов-предков, тайна великая на многие и многие века, вплоть до наступления Века Железного, коий и пойдет с Волкан, с русов-железодельцев, мастеров бу-лата.

Полгода прошло с тех пор, как привезли Жива и Скила с мешками на головах, чтоб дороги не помнили, в рудник железный, таящийся вдалеке от троп хоженных, от глаза человеческого. Полгода Скил долбил породу, а Жив таскал наверх тяжеленные корзины с рудой-землицей. По ночам исхудавший пуще прежнего парень из рода Соколов Иверийских стонал, размазывал грязь по немытому лицу со слезами вместе, не таким видел он на столпах Яровых будущее свое, совсем не таким.

— Перехитрить князя удумали, — жаловался он Живу шепотом, не дай бог, услышит кто, — вот тебе и перехитрили! Да разве ж можно вообще того обойти, кто надо всеми поставлен, и-эх-хе-хе! Помрем тут ни за что, ни про что!

Жив молчал. Терпел. Нет худа без добра. Раньше все размышлял про мечи булатные, откуда берутся да где их выделывают, умом не мог постичь... Теперь горбом постигал, руками натруженными — хоть и на Скрытне не бегал ни от какой работенки тяжелой, но здесь вкусить ее пришлось вдесятеро. Терпел Жив. Знал, любой урок в пользу. Таким рудникам цены нет, они дороже всех золотых и серебряных. Столько железа! Аж на зубах скрипит, во рту привкус! Ничего, надо терпеть. Помахал мечом-то булатным вдосталь. Иные всю жизнь в воях, а кроме медных да бронзовых и в руках не держали. А он все испробовал... вот теперь надо испробовать, как дается булат. А потому и терпеть надо, благодаря Рода за урок.

Три дня и три ночи их на пристанях венецских продержали — все выгружали, носили, загружали, перекладывали — бочки, сундуки, мешки, цепи, канаты — со стругов в домины, из домин на повозки, голова кругом шла. Все прежние знакомцы пропали куда-то: и Хотт-сотник, и Олен, и дружинники. А пришли новые княжьи люди — быстрые, злые — как узнали, что со Скрытня, разговоров больше не было, мешки на голову — и в путь-дороженьку. Жив молчал, он немой, дикий... ему признаться, что княжич, смерть лютая. Скил кричал что-то, за то его и били куда придется и чем ни попадя. И не рабы вроде, не преступники, а волю свою утратили — закрутило, завертело их по чужой воле.

Скил все приглядывался, принюхивался — можно ли сбежать с рудников. Жив и не думал об этом. Носил корзины неподъемные, наливался еще большей силищей, сгонял юношеский жирок, матерел на глазах, скоблил голову заточенным бронзовым скребком, нащупывал зашитые в шкуру волчью мешочки с материным пеплом да свят-оберег, долго сжимал в ладони, не вытаскивая на свет Божий. И молчал. Терпел. Думал о дядьке старом, о Вороне — ругает его, наверняка, обиду таит — есть за что! Стражи дикого и молчаливого Зиву не подстегивали, не подгоняли, видели, что и сам он радеет о деле. Ведуны-ковали на него поглядывали. А еще через два месяца плавильщик, широколобый уса-тый мужчина с руками-бревнами, вытребовал немного себе, в помощники — приглянулся усердием. Заодно и Скила вытащили из нор подземных пособлять немому. Полгода Жив корзинами руду в печи сыпал, запоминал премудрости, вбирал в себя жар нетерпимый, какого и в самых знойных песках нубийских не бывает. Ковня тут же рядом была. Без седого длинноволосого и долгобородого волхв ковню не отворяли. С засветла благословлял волхв на работу тайную, изгонял черных бесов и навий зловредных, снимал кову с коваля Драга, которого за глаза звали Волканом и рассказывали про него всякие страсти, очищал двух помощников. Только после этого приступали. Живу со Скилом в ковню заглядывать не полагалось — не бронзу там ковали и не медь, а священное железо, булат яриев-русов. Только случилось так, что пособику Драга молот на руку пал, раздробил кисть. Увезли несчастного... а может, и счастливого доживать жизнь в селение горное, вольное и богатое, закрытое для прочих. А Волкан на Жива пальцем ткнул. Семь дней его в шалаше продержали без пищи, на одной воде ключевой. Семь дней волхвы младшие над ним песнопения древние пели — очищали от всего суетного, наносного, лишнего. На восьмой повели в ковню на заре. Научили молот держать. Скила так при плавильне и оставили. На ночь в одну хижину водили. А ели отдельно, ковалей кормили отменно: и мяса, и рыбы, и хлеба с овощами давали вволю, только на вина, меды хмельные да браги с пивом запрет был — нечистое внутрь принимать творящему

оружие богов нельзя! И еще полтора года не менялось ничего в жизни княжича — стучал молотом, учился и сам умению редкому, Волкан делился мастерством своим — может, замену готовил, может, забавы ради, в душу не залезешь, а слова из Драга Волкана вытянуть было невозможно, как из немого Зивы — на том, видно, и сошлись повадами. Через восемь месяцев обучения выковал Жив свой первый меч. Только бросил его Драг о наковальню, и разлетелся тот на три части. Долго смеялся коваль. Смеялся с ним вместе и Жив. Обломки в плавню пошли. Зато следующий меч вышел добрым, не хуже того, что Жив на Скрытне спрятал перед тем, как поймали их люди Олена — долго тогда они со Скилом по следам воев шли, то сбоку, то спереди заходили, выжидали момента, чтобы высунуться поудобнее, наверняка. Вот и высунулись. Три года в неволе — и конца ей не видно.

— До смерти тут мучаться, — ныл Скил ночами.

Но днем виду не подавал. На рудниках и ковнях скулящих не жаловали. Как-то раз, по прошествии трех с лишним лет, Жив, убедившись, что рядом никого нет, тихонько шепнул:

— А помнишь, что говорил?

Скил помолчал немного, помрачнел, но ответил:

— За тобой и на цепь!

— То-то! — Жив улыбнулся, во мраке ночи чуть блеснули белые зубы. — Крепись, Сокол, это только начало!

— Начало... — недоуменно протянул Скил. И закатил глаза. Переспрашивать не стал, знал, что бесполезно, больше княжич ни словечка не промолвит до срока. А там... Придет ли он вообще, этот срок!

А Волкан обучал подручного одному секрету за другим — парень надежный, правильный парень, да и немой к тому же, кому он тайну выдаст?! Работа шла долго, медленно, впопыхах добрую вещь не сотворишь. Жив заглядывал в глаза учителю, ловил его желание и повеление. Знал, как имя свое, первый закон: коли подчиняться не научишься, никогда тебе наверху не быть, никогда других в подчинении не удержать, ибо души у всех равные, Родом сотворенные и в тела вдохновен-

ные им, что у оратая, что у воя, что у князя. Душу каждого понимать надо.

Волкан молчал. И Зива-немой молчал. А такие вещи выделявали на пару — мечи харалужные, перуны-дротики убойные, палицы-ваджры шипастые, шеломы и щиты непробиваемые, поножи и поручи тонкие, но прочнее тяжелых и толстых бронзовых, панцири-зеркала нагрудные, коих мечом простым и копьем не возьмешь, орала ковали, даст Род-батюшка, придет время и такими всю землю поднебесную перепахать можно будет — такие диковины сотворяли, вот и пошла среди знающих людей да вельмож, что означает мужей властвующих, слава про них, молва красная, добрая. А вслед за ней и посыльный от князя появился.

Жив и глазом не моргнул, когда в ковню к ним, широко распахнув дверь, в сопровождении урядника рудничного ступил рыжебородый Олен — как бил молотом, так и продолжал бить.

Олен остановился, замер, обождал, пока мастера работу окончат. Потом ткнул Жива кулаком в грудь.

— Ну что, немой, думал, не свидимся с тобою?! — и расхохотался, пуча глаза. — От меня никуда не денешься. Я нынче сторукий, вместо Хотта!

Олен тряхнул шеломом с белым конским хвостом, концы которого были выкрашены в красный цвет. Ударил кулаком в бронзовую, надраенную львиную пасть на груди. И Жив невольно улыбнулся, хлопнул слегка сотника по плечу. Тот пошатнулся. Но обиды не выказал, чего, мол, возьмешь с горяка дикого.

Волкан шагнул вперед, показывая всем видом, что ученика не отдаст. Но урядник сказал мягко:

— Не перечь княжьей воле, Драг!

Не родился еще на свет смертный, что мог бы перечь Великому князю Горицы и Руси Срединноморской. Волкан знал это, отступил.

А Олен вывел Жива на воздух, оглядел при свете дневном, пощупал налитые мышцы, с размаху стукнул кулаком в живот — кулак отшиб.

— Ну, брат, да ты здоровее прежнего стал. То-то князю потеха будет! Что, поедешь со мной? Не оплошаешь?! Ну-у, гляди, коли подведешь... мне еще и в тысячники выбиться надо. Гляди! — И снова расхохотался.

Жив почуял от Олена дух бражный. Но руку выдернул, замычал, мотнул головой в сторону.

— Чего тебе? — не понял Олен-сторукий.

— Да вместе их привезли с каким-то, — пояснил урядник, — то ли брат, то ли прихвостень просто. Он тут в плавне работает.

— Тащи сюда, — приказал Олен. — Тащи этого оборванца!

Скила тащишь не пришлось. Да и не был он похож на прежнего оборванца на парнишку голенастого и вихрастого. Одежа на нем была справная, рудничная.

— Возмужал, — признался Олен, — совсем мужем стал, а был волчонком каким-то!

— Соколы мы, — поправил сотника Скил.

— Это мы еще поглядим, какие вы соколы! — заверил Олен с хитровой усмешечкой, — поглядим! — И спросил с прищуром, заговорщицки: — Ну что, слушается он тебя... или своим умом зажил?

Скил подбоченился, надулся.

— Еще как, — сказал.

— Тогда обоих и заберу, — подтвердил свое решение сотник. Обернулся к Живу.

Тот попрощался с Волканом — два богатыря стискивали друг друга в объятиях, казалось, вот-вот кости захрустят, грудные клетки полопаются. Нет, обошлось. Но совсем посмурнел Драг, лицом черен стал — где ему такого ученика теперь отыскать. В утешение Олен оставил ковалю баклажку браги, отторочил с седла. Да тот прислонил к порогу, не пригодится. Пошел в ковню.

И Живу больно было прощаться с учителем. Да только срок пришел. И так долго слишком в подневольных застряли. Сколько еще выжидать предстоит?

— Ты шибко-то не радуйся. Здесь покойно было. При князе невесть как придется, — предупредил Олен, когда Живу натягивали мешок на голову, чтоб обратной дороги не упомянул. — Из огня ковни, в полымя придворное попадешь — гляди, малый, сгореть в один миг можно!

Жив улыбался, не отвечал — что может ответить немой, тем более, с мешком на голове. Затянулась его

дороженька на Олимп, к отцу родному, ох, как затянулась!

Две двери дубовые Хотт пропустил. А в окошечко крохотное, прорезанное на уровне глаз, в третьей заглянул. Покачал головой рано поседевшей, сдвинул на затылок плоскую медную шапку-шлем.

Станный был Дон. К другим посмотришь — кто спит, кто сидит, привалясь к стене бревенчатой, кто шагами узилище, свое мерит, кто рукоделием каким занимается, чтоб с ума не сойти в одиночестве, а этот все камень тягает здоровенный, как испросил себе лет пятнадцать назад еще, так и не отходит от него, будто он волшебный: то приседает, положив валун на плечи, то руками вверх вздымает, то катает туда-сюда, то на спину взвалит, сам лежит, руками упирается, словно подняться хочет... и до полнейшего бессилия, пока не падает в изнеможении. Всякое видал Хотт на занятиях воинских, знал, как силу и ловкость развивать камнями да бревнами, мечами да копьями, бегом да метанием. Но что Дон вытворял, не вмещалось в голову его. Не щадил себя сынок Реи покойной, больше стал на статую бронзовую похож, чем на человека — казалось, ткни его мечом, и звон услышишь.

А вот Айд совсем высох, завял, хотя и помоложе брата. Был крепким когда-то, быстрым. А ныне сидит на скамье и глядит в одну точку, словно видит в ней что-то диковинное, от чего оторваться нельзя. Жалко было Хотту, разжалованному в простые надзиратели, узников несчастных. Он за дело сидел. А они! Гостию особенно жалел — такую на руках носить надо, украшение и радость в любом доме, что князем, что простым, черном...

А в целом, славная темница была. И совсем не темная. В каждую камору сверху колодец идет, через него свет попадает, а дождик польет — и он попадет, прямо на скат и в желоб. С умом делали темницу под Олимпом, на западном склоне. Сверху уступ гладкий, широкий, на нем своя стража службу несет, ей внутри не положено — гляди себе, чтобы никто из колодца не выполз в бега, да чтоб посторонние чрез колодцы

эти в темницу не проникли. Да как проникнешь, ведь забраны отверстия тройными решетками, а по Олимпу, что внизу, что наверху — заставы. Хорошо было верхним, свет Божий видели.

Но и Хотт уже привык к участи своей. Да и как не привыкнуть — пока службу несешь, жену Влаву с семью детишками да полонянок заодно с их чадами не забывают люди Кроновы, подкармливают. Сотворишь что непотребное, плохо им придется. Так ему прямо и сказали, когда сунули в «погреба»:

— Не шали, сотник, весь твой выводок под княжьей рукой ходит. Береги их! — Крон отходчив. Может, и простит когда...

Четвертый год в темнице пошел, а прощением и не пахнет. Четвертый год обходит он каморы-узилища, следит, проверяет... Семеро из узников за срок этот души Роду отдали. Он их выносил, на руках собственных с Хисом, сменщиком своим. Хис тоже когда-то сторуким был, не угодил князю в походе, оплошал в засаде, вот и попал в темницу нетемную. Однажды и сам Крон приходил, поглядывал в окошки, хмурился, зубами скрипел... так и ушел, ничего не сказавши. Хотта в тот день самого заперли накрепко в его каморе, чтоб и на глаза не попадался. Князю своей охраны хватало.

— Следишь все?! — спросил вдруг зло разгоряченный Дон.

Хотт не смутился, ответил прямо:

— Слежу.

— Ну, следи, следи. У тебя доля такая! — Дон расхохотался. — Вот помрет батюшка, я тебя наверх возьму, там следить будешь. Будешь?!

Мороз прошелся по спине у бывшего сторукого. За такие речи запросто можно с жизнью распрощаться. Но и поучать княжича, перечить сыну Кронову, хотя и заточенному, не его забота. Промолчал Хотт. Но понял кое-что, не забавы ради тешится Дон с камнем своим неподъемным, готовит себя к чему-то... Тщетные надежды! Лет ему уже за сорок, из них двадцать в «погребе» просидел. И еще двадцать просидит. И помрет здесь. И придется выносить его холодное, бронзовое, звенящее тело. Ежели только самому раньше околет не доведется. Нет. Хотт твердо знал, тягаться с Великим

князем бесполезно, да и доли ждать доброй тоже, Доля она всегда на стороне сильных, властью наделенных.

— За что тебя сунули сюда? — спросил Дон. Голос у него был зычный, княжий. — Казну, небось, пропил?

— Не пропивал я казны, — ответил Хотт, — и в руках не держал. А посадили сюда за то, что слово прямое понимаю, а не намеки да недомолвки... вот за что. А ты, княжич, будто только приметил меня. Прежде что-то не спрашивал...

— Правильно посадили, — оборвал его Дон, — не умеешь разговаривать со стоящими выше тебя!

— Мое дело молчать!

Дон снова рассмеялся. Потом сказал примиряюще:

— Да ты не обижайся, служивый, я не со зла. Скажи лучше, как там, наверху?

Хотт растерялся, отпрянул от окошечка. Шутит княжич, надо же такое спросить у острожника, который больше трех лет в одном с ним подземелье сидит. Но ответил:

— Наверху хорошо.

— Как батюшка мой, здоров ли?

— Крепок Крон и здоров, здоровее двадцатилетнего.

Дон откатил камень в угол. Уселся на лавку литым изваянием, надул мышцы бугрящиеся. Но голосом помрачнел:

— И долго еще жить собирается? Не пора ли и честь знать?!

— Дай Род князю Великому долгих лет жизни! — нарочито громко выкрикнул Хотт и повернулся лицом к проходу. Там двое стражников волокли упирающегося здоровяка, волокли к дальним, полутемным и убогим узилищам, в одном из которых и жил Хотт.

— Ничего, попомнит князь слугу своего Оврия, лучшего воя державы, сторукого... а еще братом называл, и-ех! — кричал здоровяк беззлобно, с дрожью в голосе. — Попомнит!

Хотт слышал про сотника Оврия, лет семь назад его в верховья великой реки Ра посылали, земли разведывать. Но сам его в глаза прежде не видал. Теперь вот пришлось. Люует князь. Но и жаловаться на него грех. Ряд вершит. Без ряда народу смерть.

— Эй, ты где? — позвал из-за двери Дон.

Хотт подошел ближе.

— Ты вот чего, мил человек, распорядись-ка, чтобы мяса не жалели и дичи. Вин не надо никаких, только воду да пиво! — Дон говорил, как приказывал. Долгое заточение не сломило его.

— Передам, — ответил Хотт.

Узников кормили хорошо, без ограничений. Скрягой Крон никогда не был, и коли оставлял жизнь, то не превращал ее в мучение. Раз в неделю узников мыли в здешней баньке, давали поплескаться в озерце, вырытом самими охранниками. Каждый день выводили в небольшие дворики без крыш, выгуливали, разрешая любоваться небом. К мужчинам приводили дев дважды в месяц... не ко всем, Айд давно отказался от их услуг, все сидел, смотрел зачарованно куда-то. Жить было можно в темнице. Но за побег следовало одно наказание — смерть. Безвыходная темница!

Это поначалу Хотт ничего не понимал. А потом, как разузнал, долго диву дивился, с кем рядом ему томиться жребий пал. Княжичи да княжны все! От Рейматушки — Айд, Гостию, Дон. От Заревы — Яра, Дорида, Талан и Свенд. От Тилиры — Хирон, Стимир, Прохн, Владан и Доброга... От наложниц Крон побросал в заточение только старших сыновей, младших услап в такие дали, что сто зим и сто весен добираться обратно, не доберешься. Но не одни князьи дети сидели в темнице, много было людей знатных, известных в Горице и Руси, воевод да сановных мужей, чьи имена прежде гремели по всему морю Русскому Срединному, чья слава долетала до Инда далекого и окраинных скал Иверийских, до Оловянных островов и пиков Сиянны. Не сам Крон огненноволосый бросал сподвижников своих и сынов в подземелия горные, но мнительность его, растущая снежным комом час от часу, год от году. В темнице, в стенах каменных, обшитых досками лиственничными и дубовыми, во глубине горы Олимпийской, вдали от мирских утех и людского гомона постигал Хотт тайны мира, катящегося в пропасть Хаоса, растерявшего обычаи свои древние, пожираемого страстями человеческими, страстями, которые способны погубить и тысячи миров подобных. Многое начинал понимать бывший сторукий, много узнавал сокровытого

прежде, неведомого народам, бродящим по поверхности — боярам, воям, воеводам, пахарям, купцам, женам, беглецам и преследователям. Будто нарочно все тайны вселенной собрали вместе и заключили их сюда, подалее от любопытных взглядов, от ушей.

Но среди многих тайн многосложных и вселенских познал Хотт одну тайну маленькую, простенькую, невидную и ненужную для верхних жителей, но страшную тайну, смертную тайну для всех них, для узников темницы. Высоко наверху, над головами их и над толчками их, над уступом-площадкой, по склону горы, удерживаемые настилами бревенчатыми на цепях толстых, висели, лежали, громоздились один на другой тысячи валунов огромных, многопудовых, мхом поросших от старости... И стоило Великому князю Крону изречь слово единое — и навеки окажутся они погребенными заживо в недрах Олимпа. Все. И узники и стражники! И княжичи и сторукие! И не доберутся уже до их тел искалеченных ни шакалы, ни стервятники. Ибо сидят они ныне не в темнице, а в огромной вырытой для них могиле. Сидят и ждут, когда сама земля сверху обрушится, когда засыпят их могильщики на века, живьем засыпят.

Огромный кулак, перетянутый сырой кожей, пролетел возле виска. Жив еле успел уклониться. И тут же черное колено ударило ему в пах, заставило согнуться от боли. В спину будто молотом долбануло, потом еще раз. Он полетел в песок. Но, чуя, что через миг будет поздно, крутанулся волчком, перекатился в сторону... На то место, где он только что лежал, рухнула десятипудовая туша разъяренного нубийца.

— Держись, Зива! — выкрикнул кто-то издали.

Он не сразу понял, что кричит Олен, поддерживает. Да и какое это имело значение. Нубиец был черен как сажа, только безумные глазища сверкали да зубы. Ростом он не превышал Жива, зато толщиной превосходил в два раза. Но сейчас ему не повезло, нубиец совершил ошибку, ему не надо было прыгать сверху на сбитую с ног жертву.

Жив успел вскочить раньше и мощнейшим ударом,

пяткой в бедро, завалил поднимающегося бойца. Отскочил, дал ему опомниться, изготавился, сделал еще одно движение, на этот раз обманное, левой ногой и, когда нубиец совсем немного раскрылся, резко выкинул вперед правую руку. Удар пришелся прямо в широкий, приплюснутый нос. И это был последний удар. Черный гигант откинул голову назад, замер и начал медленно оседать.

Он так и не смог подняться. Четверо здоровенных воев уволокли его за руки и за ноги прочь из круга.

Жив глядел на скамьи. Дружина рукоплескала ему: и сотники, и десятники, и вои многочисленные. И даже семеро думских мужей в длинных одеяниях приветливо улыбались, одобрительно покачивали головами.

— Зива! Зива!! Непобедимый!!! — вторили многие луженые глотки. — Награду дикому! О-о-о!!!

Даже с женской половины ему махали платочками, бросали на песок цветы, сладости в мешочках, колечки. Вольготно по всем землям русским жили жены и девы, не сидели под запором в теремах и замках, бывало, и в думах принимали участие. Но вот на забавы молодецкие ходила не каждая, не всем по вкусу они приходились.

Ликовали зрители — стоящие, и сидящие по кругу на скамьях дубовых во дворе приемном нижних княжьих палат.

Один Крон сидел мрачный, теребил сивый ус, глядел мимо, будто и не видел вовсе великана дикого, привезенного ему на потеху. Далеко витали мысли князя. По старому обычаю не выделялся он местом среди прочих, сидел на средней скамье, будто равный среди равных. По правую руку от него возвышался охранитель ближний, по левую — сотник Олен. Сотник был в восторге. Он и сам не ожидал эдакого. Одиннадцать боев подряд, без передышки, с лучшими бойцами державы, собранными со всех концов ее, богатырями непобедимыми... и одиннадцать побед! Да каких побед! Глазам своим не поверишь! Дикий Зива расправлялся с бойцами, играючись, легко, красиво, забавляясь с ними поначалу, будто кошка с мышью, и обращая их в безвольные мешки ослабленной плоти к концу боя. Лишь последние четверо валили его самого по несколько раз.



Но тем и азартней поединки были, тем интересней. Он всегда вставал — перебарывал супротивников, вызывал шквал восторга.

Олен косил налитой глаз на князя. И ничего не понимал. Может, болен Крон? Может, порчу на него навели?! Ведь всегда любил боевые потехи. А сейчас сидит с кислой миной, скривился весь, словно змею ядовитую проглотил.

— Награду ему!!! — орали отовсюду.

— Рано еще награду, — вяло отозвался князь.

Все разом затихли от этого тихого, еле слышного слова. Погасли улыбки на лицах бородатых и безбородых, поникли платочки надушенные в тонких пальчиках, униженных сверкающими кольцами.

— Рано! — повторил князь. — Пусть покажет, как с мечом обращаться умеет. — Сказал и повернул голову к сторукому Олену. Тот одеревенел мигом, напрягся... но тут же тряхнул головой кудлатой, подниматься стал, потянул руку к рукояти меча, сотнику ли дикаря бояться.

Крон остановил его одним движением легким, усадил.

— Не спеши, брат, — шепнул.

И хлопнул в ладоши.

Живу принесли меч — тяжелый, бронзовый, незаточенный, какими быются обычно не в сечах, а на играх. Нож дали короткий и широкий, вполруки. Шелом с забралом решетчатым... Он вздохнул тяжело, огляделся. Лучше б дали передохнуть, ведь он из мяса да костей слеппен, не из камня. Только с волей княжьей приходилось считаться. Батюшка! Отец родной! Сегодня утром Жив впервые увидал его. Великий князь! С первого взгляда понятно. Прямой, величавый, неспешный... не только ростом повыше прочих, статью особой выделяется, волосами огненными с сединой пепельной, ликом застывшим в скорби непонятной и отрешенности... Но не это высматривал Жив, не это все нужно ему было. Вглядывался, родное увидеть хотел, думал — вот-вот дрогнет сердце, признает отца, ведь должно ж признать оно его, коли плоть от плоти, кровь от крови?! Нет! Не содрогалось ретивое. И в душе отзвука не было — будто чужого увидал. Одно звание, что

батюшка! Тяжкие часы переживал Жив. О многом передумал за годы в работах на руднике, старые замыслы злые свои отбросил, мальчишеские они были — пусть плох отец, пусть хуже некуда и сама мать-сыра-земля его носить не должна, а он не имеет права судить его... не то что руку поднимать на давшего жизнь ему! Думал увидит, дрогнет сердце... отклика дождется, не может быть, чтобы не дождалось, и откроется он тогда ему, простят друг друга — один за свершенное злодейство, другой за несвершенное, за только замысленное. И наладится все. Лад дело главное во всем и повсюду!

Но чужого видел. Ледяного, нездешнего, будто мертвого уже... и равнодушного. Хоть бы жилка на лице дернулась! хоть бы один-единственный «ох» из груди вырвался! Нет... чужой, далекий, неживой сам и живых нелюбящий.

— Покажи им, Зива! — закричал первым дружинник слева, вскинул вверх руку.

— Давай! Не оплошай! — гроыхнуло справа.

И загомонили все. Ожили.

Жив в который раз удивился. Эти люди, большинство из которых вои старшей княжьей дружины, поддерживают почему-то его, чужака, коего видят-то впервые. Поначалу, до третьего боя выжидали. А потом разом на его сторону встали, будто заморозил он их, будто отвернулись от давно знакомых, своих бойцов, приятелей многим... Почему?! А почему на Скрытне его разом за князя признали, едва ему двенадцать исполнилось, ведь были там постарше, посильнее, поопытнее, могли оспорить право по рождению данное и никем кроме одноглазого дядьки Ворона не подтвержденное. Но не оспорили. И на руднике приветили, не оставили в норах погибать... Почему все это?!

Жив отогнал липучие мысли. Не время. «Покажи им»? Кому это «им»? Он поднял глаза от песка истоптанного. И увидел шестерых воев с такими же бронзовыми мечами, в шеломах. Были они высокие, крепкие, все как один постарше его лет на десять-двенадцать — видимо, из отборной дружины. Видно, дошло до того, что не его проверять удумал князь-батюшка, а своих охранителей-надеж.

Но не пошли все против одного. Выступил средний,

со щитом червленым, двумя извивами пересекающимися украшенном. В него княжий палец уперся издали.

Вышел. Взмахнул мечом. Но не ударил. Отступил. Улыбнулся.

— Мальчишка! — прошептали одни губы.

Но Жив расслышал.

Он бросился на воя. Рубанул раз, другой... и ощутил вдруг, что меч вырвался из руки, взлетел вверх. И почти сразу в горло уперлось острие.

— Щенок! — еще тише шепнули губы.

Жив вздрогнул, хотел вывернуться, отбить меч рукой. Но острие дернулось, лишило его дыхания, из-под кожи потекла кровь, он почувствовал ее горячую струйку. Опустил руки. Надо уметь и проигрывать.

Князь молчал. Молчали на скамьях сидящие, молчали стоящие кругом подле скамей. Только кричал где-то в садах теремных павлин, кричал пронзительно и нетерпеливо, будто его резали. Да ветерок перебирал листвою, заставляя ее шуршать мягко и томно.

Вой убрал меч от горла. Отступил на два шага.

— Что же ты, Зива?! — не выкрикнул, а сказал почти шепотом Олен. Но его все услышали, как громом прогремело среди чистого неба.

Жив подобрал свой меч. Подкинул в руке — тяжелый, непривычный, рукоять хоть и витая, а скользкая. Утер кровь на шее — пустяки, главная жила не задета, царапина. Еще раз подкинул меч, рубанул воздух наотмашь, развернулся вокруг себя, веером ведя тусклую бронзу.

И с разбегу ринулся на воя.

— Сопляк! — шепнул тот в ухо, уклоняясь и ударяя рукоятью в плечо.

Но Жив не оплошал. Развернулся. Нанес удар разящий. Вой еле отбил его. Сам пошел в наступление.

Бились они долго. Не слыша ора, крика неумолчно, воплей, советов и ругани. Бились не в шутку, катаясь по песку, вскакивая, отбиваясь и наседа. Давно был разбит в щепы крепкий щит червленый, измяты шеломы, окровавлены тела. Но не сдавался ни один, ни другой. Смотрящие и кричащие начинали уставать, а они все бились... пока Жив не увидел вдруг небо прямо над собой, а в нем оскаленное, искаженное

судорогой лицо то ли человека, то ли зверя, без шлема, изодранное, горящее, с кровавыми безумными глазами. И вновь острое меча давило в горло, не давало подняться. Вновь ему грозила смерть.

— Все! — пробился сквозь шум голос князя. — Хватит!

Лицо скривилось. Жарким дыханием пахнуло изо рта. Вслед вылетело злое, силовое:

— Ничего, шенок, обожди, я еще успею убить тебя! Запомни, меня зовут Кей. И я клянусь, что убью тебя!

— Нет, ты не убьешь его! — грозно и громко прозвучало сзади.

Жив почувствовал, что на шею, грудь, живот больше ничего не давит. В голове гудело, не хватало дыхания, ноги дрожали. Но он начал подыматься. Он видел теперь не одно только небо.

За спиной у Кея стоял князь — отрешенный, скорбный и бледный.

— Ты не убьешь его, — повторил он тихо, но властно, — ты будешь его учить!

Жив встал, пошатываясь, потирая ушибленный бок. Он тоже был весь в кровопотеках, ссадинах, синяках. Глаза заплыли, распухшие губы горели огнем. Все мутилось вокруг. Но Крона он видел четко.

— Подойди ближе, — приказал князь.

Жив подошел.

— Вот теперь я награжу тебя. Держи! — Крон снял с указательного пальца большой перстень с зеленым камнем, светящимся как и его глаза тусклым, но тяжелым, нутряным светом. Протянул Живу.

— Держи, немой! А через три луны я погляжу, научился ты чему-то или нет, там и решим, что с тобой делать...

Он вдруг уставился пристально в серые глаза немого. Будто увидал в них нечто непонятное, странное и влекущее, пугающее одновременно. Страшен был его взгляд, будто не глазами, а ножами пронизывал... Но Жив не отвернулся, стерпел, и яри не выказал.

— Ладно, — устало прошептал Крон, — раз выжил, живи. Может, сгодишься на что. До встречи!

И ушел — прямой, сильный, тридцатилетний со спины, но неживой, замороженный будто.

Жив разжал ладонь. Посмотрел на перстень. Зеленый огонь, неяркий, гнетущий... что за камень? Не разбирался он в камнях. Да и не имело это значения. Первый отцов подарок! Жив покрутил перстень в пальцах, надел на мизинец. Ничего не поделаешь, на указательный и другие он не налезал.

— Еще сотню! — приказал Куп, не оборачиваясь.
— Давай! — И поднял руку ладонью вверх.

Расторопный паренек лет четырнадцати вложил в нее сразу десяток стрел. Побежал за новыми. Загонял его сегодня молодой вождь.

— Получай!

В черную морду беса-демона, высунувшуюся шагах в ста из-за ствола березы, вонзилась стрела с черным оперением, прямо в красный прищуренный глаз. И тут же совсем с другой стороны, из кустов выскочил серый бес, увешанный зелеными ветками для скрытности — стрела настигла и его, повалила в траву. И еще две вырвались из тугого лука, одна за другой, сшибая с ветвей дуба двух уродливых, рогатых существ... Куп за сегодняшнее утро опустошил всю заплечную тулу, восемь дюжин стрел выпустил по целям. И не мог остановиться, сегодня руки плохо слушались его, не как обычно, но нельзя было смиряться, давать им поблажки, он должен их заставить работать как прежде, и он заставит! Левая цепко сжимала лук. Правая, не выпуская пучка стрел из ладони, перебирала их пальцами, укладывала очередную на тетиву, натягивала... спуск! и жертва валилась в траву. Быстрее! Еще быстрее!

Бесы-демоны выпрыгивали со всех сторон. Иные таились с дротиками, метательными топорами, луками, метили в него... Он должен опередить каждого, поразить с первого выстрела! Еще быстрее!

Подручные валились с ног не только от стрел, но прежде всего от усталости. Непробиваемые маски на лицах защищали их. Но княжич не давал покоя, все бил и бил, бил и бил, не останавливаясь, не опуская лука. Он не стоял на месте, перебегал от ствола к стволу, нырял в кусты, распластывался на траве, посылая стрелы вверх, в затаившегося над головой, уже

готового обрушиться всей тяжестью тела с ветвей. Парнишка, подающий стрелы, был весь в мыле, бегал с высунутым языком. Но поспевал. Куп не мог к нему придраться, такой в бою незаменимое подспорье.

— Весть для Копола!

Громкий крик застал княжича на открытой поляне, заставил вздрогнуть. Что еще за весть? Кто посмел остановить ратные учения?!

Гонец на каурой лошадке, загнанной вконец, под скакал вплотную, сполз с седла. Уставился на княжича — высокого, сухощавого, беловолосого, безбородого, гневно глядящего на него своими светло-голубыми глазами.

— Говори! — разрешил Куп.

— С Доная весть, — задыхаясь, начал гонец, легкий, поджарый малый, не достающий княжичу и до плеча, в посконной рубахе и таких же штанах, но с витой гривной на шее, знаком посланца. — Великий князь Юр, батюшка ваш, представился!

Что-то содрогнулось внутри у Купа, будто жила какая оборвалась, хотя давно ожидал вести подобной, готов был... Умер отец! Ушел на Велесовы пастбища. Миротворец! Праведник! Никто не вечен под луной и солнцем. Что ж тут горевать, коли в лучшую жизнь ушел, беззаботную и счастливую, какую и заслужил всей жизнью брenneй своей, земной.

— Давно?

— Девять ден минуло, коли не сбился я со счету, — ответил гонец.

— Стало быть, резво ты доскакал! — похвалил Куп.

С Доная до низовьев Лабы путь не близкий, торный. Куп сам этим путем хаживал. Двенадцать лет назад услал его князь Юр великий в северные владения свои ряд держать, княжить его и своим именем, как и полагалось по уставу. Недаром, Купом-Кополой прозвали с рождения, так всегда делали, в честь бога-стреловержца, покровителя воев и сказителей — каждого третьего по старшинству сына в честь светлой, солнечной ипостаси Рода Всеблагого именовали, поближе к Борею княжить отправляли. Третий сын — богу угодный сын! Издревле считалось, что как дочь старшая не только матери родной дочь, но прежде всего богини Сушей Реи дите единокровное, так и сын третий — от самого

Копола Солнцеликого зачат бывает, сын его и тень его на земле среди людей, а может, и он сам, кто знает. Чтили люди заветы предков, уважали — на них, на заветах и уставах этих, на обычаях и повадах родовых ряд держался в мире Яви. И блюсти ряд этот он был обязан по всему Северу, где русы жили.

Крепко стоял Куп на Лабе. Не было ему ни соперников, ни противников среди племени своего, среди племен прочих, живущих одной охотой да ловлей рыбной, собиранием ягод да грибов. Незлобивы и тихи, дики были лесовики северные да прибрежники. Своих, неугомонных в яри, держать приходилось, мирить и замиривать. Всякого хватало...

— Что сказал отец перед смертью, — спросил Куп, глядя в глаза вестнику, — в чем воля его?!

Глухо ответил вестник-гонiec, зная, что не по нраву ответ его придется, что доброго слова и награды не видать.

— Повелел великое княжество Рее держать, племяннице твоей...

Куп окаменел, до скрипа сжал зубы. Но сдержался. Отцовская воля, воля князя великого свята.

Не с пустого места начинал Жив. Многому обучил его Ворон, передал мастерство свое и Овил. Семижды семь потов пролил он еще мальчишкой на Скрытне. А теперь приходилось начинать чуть ли не сызнова. Кей исполнял княжье поручение на совесть, про угрозы свои не вспоминал больше, только поглядывал иногда на него, будто тот и не немой вовсе.

В первый же день ученья подошел вплотную, сказал в глаза:

— Ни один дикий так биться не может, как ты бился со мной, для этого десять поколений искусных мечников за спиной должно быть. Хитришь ты, Зива!

Жив помотал головой. Но взгляда не отвел.

И началось мытарство беспрестанное, до ряби в глазах, до дрожания рук. Такого прежде не было, ни в рудниках, ни в ковне. Поначалу Жив решил, что злопамятный десятник личной охраны Великого князя, лучший боец Олимпа, чернобородый Кей решил его

уморить, загонять до смерти. Потом, смирив досаду, понял — нет, просто Кей не знает ни в чем середин, он делает все до конца: живет, рубится, гуляет, учит других... Кей не понимал, что такое милосердие. Не щадил себя, не щадил прочих.

— Я из тебя, мальчуган, сделаю мужа! — приговаривал он, когда Жив на закате солнца, еле держащийся от усталости на ногах, стоял перед ним. И добавлял: — Или дух вышибу!

Вышибить дух из Жива было невозможно. Хотя напарники его менялись один за другим, хотя боевую полосу он пробегал за день по тридцать раз. Была эта полоса далеко за задним постеном нижнего дворца, утопающего в зелени. Сотни деревянных столбов, перекладин, косых балок, вращающихся кольев, навесов, щитов, бревен были утыканы десятками тысяч больших и малых лезвий, крутящихся цепей, кос, шестоперов. Тут же, под уродливыми нагромождениями этими таились в земле и в настилах ловушки, ямы, капканы и прочие неожиданности. Рвы и канавки, пересекающие полосу, змеящиеся вдоль нее, были заполнены горючей жижой, которую поджигали всегда внезапно. Местами провалы достигали десятков метров, приходилось цепляться за брусья руками, ползти поверху. И повсюду таились мечники, лучники, прашники и метатели дротиков... Страшна была полоса! Необученный человек ломал себе шею на первых же метрах. Обычный дружинник, простой, редко когда добирался до середины. Отборные проходили полностью, но после этого их уносили на руках. Сам Кей мог преодолеть сотворенное им детище семь раз за день, с передышками. Жив повторял его достижение за полтора часа... и после этого мог оставлять за спиной полосу без счета, пока не валился с ног. Секрет был прост — за первые семь проходов Жив выбивал с полосы всю живую силу, он просто опустошал ее, не убивая никого тяжелым бронзовым учебным мечом, но надолго вышибая из строя.

Следующий день, а то и два Кей показывал немому дикарю от трех до пяти новых, неизвестных тому приемов оружного боя. И начиналось бесконечное обучение... Вслед за Кеем в круг выходили его пятеро братьев, один за другим, сменяя уставшего. Жива никто не менял.

Ему не давали вздохнуть полной грудью, выматывали до изнеможения. А сам Кей хохотал и кричал:

— Терпи, щенок — волкодавом станешь!

Княжич схватывал на лету. Он еще не знал многих премудростей, но уже сейчас не уступил бы в поединке учителю своему. И тот чувствовал это, иногда в карих глазах Кея вспыхивало тусклым, почти неуловимым для окружающих огоньком, но понятное Живу, сомнение.

В последний день, когда они бились в учебном бою, когда Жив выбил меч из каменной руки лучшего бойца Олимпа, когда он наступил на него ступней, не дал поднять и резко выкинул вперед свой меч, упер его в горло Кея острием, сомнение это переросло в нечто более сильное и заметное — страх мелькнул в глазах учителя.

Жив опустил руку. Отошел. Он ожидал, что сейчас ему покажут еще какой-нибудь прием, еще что-то новенькое. Но чернобородый Кей выкрикнул издалека:

— Все! Хватит! Теперь ты постиг боевую науку полностью. Мне нечему учить тебя!

Жив растерялся. Улыбнулся широко. Пошел навстречу десятнику охраны, склонил голову, намереваясь, не смотря на пролитые пот и кровь, на обиды, досады и боли поблагодарить его, хотя бы взглядом, поклоном.

Но Кей прошел мимо. Лишь чуть приостановился, взглянул искоса и шепнул, неслышно для других:

— Не слишком задирай нос, сопляк. У меня еще осталась в запасе пара приемов, чтобы убить тебя... если понадобится!

Улыбка на мокром от пота лице Жива погасла.

А еще через неделю его привели к Крону.

Великий князь сидел в огромной белокаменной горнице с низким дубовым потолком — простым, не узорчатым, не расписным. Сидел в углу на грубой скамье и перебирал почерневшие от времени дощечки, считывал что-то неведомое, древнее. Лоб князя был изборожден глубокими морщинами. Седины в волосах стало больше. Жив это сразу заметил, хотя и прошло, вроде бы, не столь уж много времени, а постарел батюшка, чело еще бледнее сделалось. И многие перстни драгоценные на белых, словно восковых пальцах заметнее стали.

Сжалось сердце у Жива. Столько дней и ночей копил

он нелюбовь к этому человеку, к убийце его матери, жены собственной, столь долго ненавидел его за глаза... а теперь пожалел вдруг, чуть слезу не пустил.

— Вот он, княже, — доложил Кей, снимая шелом, перьями украшенный, — можешь хоть сейчас ставить немого на мое место! Превзошел учителя!

Жив вздрогнул. Не ожидал такого поворота.

— Ну уж и на твое, — недоверчиво выговорил Крон. Поднялся, одернул длинную и тяжелую зеленую рубаху, перетянутую в поясе золотым поясом, провел ладонью по княжьей гривне сверкающей на груди. Сам подошел к Кею, положил руку на плечо, привлек к себе, прижался щекой к щеке.

— Погодим пока менять тебя, брат. Не было у меня еще в охране из горяков-то. Хочешь, чтоб первого взял... А может, он и не горяк вовсе, может, не дикий он, а?!

Кей не ответил, чуть развел руками — не его об этом спрашивать надо, он свое дело сделал. А там пусть другие решают, много мудрых и сановных людей вокруг князя, им виднее. А дальше всех видит сам Великий князь.

— Молчишь, брат?

— Не соглядамай я тайный, — ответил Кей, — и не волхв всезнающий, чтобы насквозь чужую душу зреть. Одно сказать могу — стражем добрым будет, сотню отборных заменит. Вот мое слово.

Крон кивнул. Повернулся к приведенному. Оглядел пристально, не заглядывая в глаза, будто лишь силу и стать изучая. Улыбнулся вдруг криво.

— А ну, дайте меч немому! — приказал.

Один из подручных тут же сунул бронзовый меч Живу. А все пятеро братьев чернобородого Кея вытащили свои мечи, боевые, встали наготове, если что, и жизни положить за князя.

— Да не такой! — поморщился Крон. — Булатный дайте!

Кей вытащил из ножен свой, протянул немому Зиве. И принял сам от одного из охранителей длинное копьё с узким, отсвечивающим сталью рожном.

Жив поглядел на него, стиснул зубы. Не доверяют. Что ж, такая у них служба, обижаться не на что. Он

подкинул меч в руке, примериваясь к нему, ожидая, что же будет дальше, с кем придется на этот раз биться, доказывая умение. Оглядел всех пятерых, недавних наставников своих, и семерых других — могучих и ладных, в тусклых серых бронях, стоящих поодаль от князя, но провожающих взглядами каждое его движение. У двоих в руках были дротики-перуны. Еще у двоих луки с положенными на тетиву стрелами. Трое стояли, опираясь на длинные копья. Мечи у каждого торчали прямо из-за поясов, короткие, узкие, сверкающие хищно...

И проглядел. Не заметил, как оказался у князя в холеной руке длинный булатный меч. Застыл от догадки смутной, неужто... сам?!

— Что, немой, оробел? — спросил Крон. — Позабыл со страху хитрости свои и навыки мудреные? Говори! — Голос князя звучал ехидно, подначивающе, вызывающе.

Жив чуть не раскрыл было рта. Но вовремя спохватился. Здесь пригодился бы Скил, отвлек бы на себя внимание. И Олен не помешал бы. Да только нет их. Скила держат где-то, как сообразили, что немой и так все понимать стал, так и упрятали парня. Олен, наверное, ненужным оказался... Кто теперь за него слово скажет?

Кей выжидающе молчал, не вступался.

И тогда Жив поднял свой меч. Будь, что будет! Он знал точно, одно неверное движение — и в него со всех сторон вонзятся копья, стрелы, мечи, дротики... Его убьют в мгновение ока!

— Что ж, испытаем молодца!

Князь сделал резкий выпад. Жив отбил его. Замер.

— Ну что ж ты?! — рассмеялся в лицо Крон.

И точным, молниеносным ударом рассек кожу на левом плече полуобнаженного дикаря. Вторым ударом он хотел проделать то же самое с правым плечом. Но Жив подставил меч. И тут же сам сделал выпад. Крон увернулся. И рассек противнику кожу над коленом. Отскочил, дразня открытостью, незащищенностью. Но когда Жив прыгнул на него, норовя достать мечом, он снова с непостижимой легкостью ушел от удара, отступив всего на полшага. Следующие три выпада князя были ложными. Они только отвлекли внимание Жива,

заставили его почувствовать непонятное головокружение, будто он оказался внезапно на тонкой жердочке посреди бездонной пропасти. И Жив бросился сам вперед. Теперь он наступал без опаски, не щадя князя, забыв, что пред ним его родной отец. Он колол, рубил, нырял под меч, исхитрялся в приемах, крутился волчком... и не мог достать Крона ни одним касанием. А потом он сам не заметил, как стал отступать, защищаться, еле успевая подставлять меч. Он ничего не понимал. Как могло происходить такое?! Почему?! Ведь ему не было равных! А этот старик, почти старик, которому далеко за шестьдесят, теснил его, не давая опомниться, перевести дух. И не было никаких особых хитростей, не было неведомых Живу приемов, было нечто иное — какая-то нечеловеческая уверенность в своих силах, полнейшая уверенность, был не понятный ему дух победы. Живу казалось, что Крон даже не смотрел на него, что он где-то в ином мире — безучастное лицо, полуотсутствующий взгляд, остекленевшие глаза... Да, глаза! Они были странными, очень странными. И эта матовая белизна кожи! Жив понял: кроме желания победить, доказать свое княжеское превосходство, кроме таинств владения мечом, есть еще что-то, что движет сейчас князем. Снадобье! Или колдовство! Не иначе! В обычном состоянии человек не может увернуться от прямого разящего удара, он просто не успеет. И нанести ответный столь быстро не дано смертному!

— Ну чего ж ты, немой! — подзадоривал Крон. — Моли о пощаде, скажи что-нибудь. И я не убью тебя!

Острие меча рассекало Живу кожу на груди, на предплечьях, на боках, ногах, даже на спине — разрезы были совсем неглубокими, царапины, а не раны. Но они выводили из себя, раздражали и разъяряли больше, чем настоящие раны.

Жив бился в полную мощь, уже и не думая о нацеленных в него стрелах, мечах, копьях. Из последних сил он пытался сдержат натиск, перейти в нападение. Позади была белокаменная стена. Он уже ощущал ее холод лопатками. Впереди был сверкающий, почти невидимый в движении меч и бледное улыбающееся потусторонней улыбкой лицо отца, не узнающего его, не способного узнать его ... но чего-то ждущего.

— Смелей же!

Жив, улучив мгновение, бросился под ноги князю, норовя повалить его. Не получилось, Крон перескочил через сжатое в комок тело. Развернулся. Теперь он чуть не упирался спиной в стену.

Жив вскочил барсом, будто и не падал вовсе. И бросился на Крона — разъяренный, обезумевший, не помнящий себя.

Это был его последний бросок. Меч вдруг вылетел из руки, взвился высоко вверх, перевернулся несколько раз... и рукоять его оказалась в княжьем кулаке. Это был конец схватки.

Крон, бледный, переставший улыбаться, стоял с двумя мечами. Их лезвия ножницами захватывали горло Жива, достаточно было одного движения, самого слабого усилия, чтобы душа его отлетела в вырий или же канула в тартарары.

— Кто ты, немой? — неожиданно спросил Крон. — У тебя серые глаза руса. Где-то я видел точно такие глаза... давно, не могу припомнить. Они были холоднее этой стали, которой я перережу сейчас твою глотку... нет, не помню. Но я видел, видел. Говори, немой!

Жив молчал. Он уже знал, что умрет в любом случае. Князь, его отец — он просто безумен! в него вселились бесы-преты! а может быть, дух самого Велеса! он не человек! в эту минуту, в этот миг он кто-то другой, беспощадный, невидящий и ненавидящий! Пусть убивает! Пусть!

Мечи медленно сползли по ключицам вниз, коснулись остриями груди, живота. Князь подержал их еще, совсем недолго. И вдруг отбросил от себя. Повернулся к Кею.

— Он мне нравится!

— Прикажешь зачислить в стражу! — тут же отозвался десятник.

Крон ткнул кулаком Живу в грудь, будто пробуя его на устойчивость и крепкость. И быстрой походкой пошел в свой угол, к темным дощечкам, усеянным чертами и резами.

— Нет, сперва покажи немного волхвам, — бросил он, не оборачиваясь.

Безумец! Жив глядел в прямую спину удаляющегося

отца. Род помутил его разум... Но что за странная сила таится в его груди, под этими огненно-седыми кудрями? Жив был в полнейшей растерянности. Все его тайные планы, далекие замыслы рушились один за другим. Он уже совершенно точно знал, что никогда не подымет руку на отца. Никогда! Даже если придется с ним сразиться не на жизнь, а на смерть.

Потом его вели лестницами и переходами вниз, в темные подвалы. Он сидел там один, не зная, какой участи ожидать. Сидел четыре дня. И ему приносили одну воду. И больше ничего. Жив ошупывал руками стены темницы, шероховатые и холодные. Он не мог никак нащупать даже следов проема или двери. Как его ввели? Как выходить отсюда? Да и удастся ли выбраться?! Он совсем не представлял себе княжьего быта там, на Скрытне. Все казалось простым, понятным... Оказалось иначе. Какая тут простота! Первый день он терзался вопросами, на которые не находил ответа. На второй начал успокаиваться. На третий понял, что ничего не изменилось в его судьбе к худшему — и на самом деле разве на руднике, в черных норах он был в лучшем положении, разве там не могла окончиться не только его опрометчивая затея, но и сама жизнь?! Он ничего не обрел. Но он ничего и не потерял. Напротив. Он перестал быть изгоем, он больше не беглец. Он пришел к тем, от кого бежала его мать, унося в себе и его — тогдашнего и будущего. Он пересилил себя. И он здесь! На четвертый день он ощутил необычайную ясность ума, стал видеть во тьме, будто в вечернем сумраке. Стал вспоминать свою короткую, но насыщенную непростыми событиями жизнь. Он вдруг ощутил смятение, что царило в душе Великого князя — ощутил его как в своей собственной душе — именно смятение, не лютость, злобу, жестокость и жажду крови, но смятение, не дающее ни мига покойного, не дающее самой жизни: отрешенность — маска, страшная и нелепая маска, за которой съедающий заживо, испепеляющий огонь вовсе не безумия, как показалось ему, а чего-то непонятного, чудовищного и необъяснимого... время, только время могло поставить все на свои места.

На пятый день Жив ощутил, что он не один в узилище подвальном.

Он сидел на широкой скамье за грубым столом, сколоченным из досок в ладонь толщиной, что стоял посреди камеры. Он мог поклясться, что никого еще минуту назад здесь не было, не могло быть. И вдруг явственно увидел за противоположным концом стола, на расстоянии двух протянутых рук от себя, старца, седого, с длинными прямыми волосами по плечам и груди, и такой же длинной белой бородой, струящейся вниз. Серый балахон скрывал тело старца и руки, открывая лишь жилистые кисти, тонкие высохшие пальцы, покойно и открыто лежащие на досках стола. Откуда здесь взялся этот странный гость, Жив даже не представлял. Но сразу пришла твердая уверенность — это не призрак, не видение.

Старец смотрел на него в упор светлыми немигающими глазами. И молчал. Молчал и Жив. Он начинал догадываться, что это и есть тот самый волхв, про которого говорил Крон. Но князь-отец сказал «волхам...» Старец же был один. Взгляд его не пронизывал Жива, не прожигал и совсем не приносил никаких неприятных ощущений, будто его и не было вовсе. Временами Жив закрывал глаза, погружался во тьму, начинал считать... Но до какого бы числа он ни добрался, открыв глаза, он видел упирающийся в него светлый взгляд. Старец сидел все так же, не меняя положения тела, не мигая, не отводя глаз. Наступали минуты, когда Жива неумолимо тянуло спросить старца — зачем он здесь? почему молчит? чего хочет?! Но Жив не мог заговорить первым, он был «немым», он не мог открыться в этом последнем... он надеялся, что оно последнее... испытании. Он молчал. Иногда он вставал, начинал ходить по темнице, разминать затекшие руки и ноги. Отворачивался от стола, будто и не было за ним никого. Потом резко поворачивался. Но ничего не менялось. Старец сидел все так же, вперивая взор свой в пустоту перед собой. И тогда Жив садился на прежнее место. Молчал. Думал о своем. Он не мог вовсе ни о чем не думать. Хотя и начинал понимать, лучше б ему быть камнем, травой, стеной, этими шершавыми досками, в которых не живет мысль. Но он мог быть только тем, чем был, чем его сотворил Создатель и родители его.

На восьмой день старец неожиданно заговорил. Беззвучно. Не открывая рта и все так же глядя в глаза Живу.

— Я знаю, кто ты, княжич, — полились прямо в мозг слова голосом благостным и тихим, — и я знаю, почему ты молчишь, хотя дана тебе речь человечья Господом нашим Родом и ипостасями его, чья кровь в тебе течет. Молчи. Не надо ничего говорить. Не в словесах пустых суть. Ведь доступны тебе и писание, и чтение рун-резов, и понимание их, и далеко ушел ты в учении от населяющих мир окрестный. Ибо ты есть идущий на смену, ибо ты не сам по себе, но за тобой многие, за тобой род и племя наше. Молчи! Я не выдам тебя отцу твоему, который не отец тебе...

Жив вздрогнул, похолодел. Как это не отец? Что говорит этот старец, как он смеет! И как он вообще узнал, что немой Зива — княжич? Нет! Наваждение! Морок!

—...Не спрашивай ни о чем! Все узнаешь в свой час. Много я видел в тебе. Но главное, что вижу — помыслы твои чисты, не корысть движет тобою и не зависть. Все прочее суета. И потому там, наверху, я не солгу ни словом, ни полсловом — чиста твоя душа. Так и скажу, Не опасайся ничего. Всеблагой будет с тобою рядом. Прощай!

В голове и глазах у Жива помутилось, зарябило. Он тряхнул головой. Всмотрелся. Никого за столом не было. Морок! Ни один старец, ни один смертный, никто на всем белом свете не мог исчезнуть бесследно за какой-то миг! Волхвы? Он слишком мало знал про них. На Скрытне не было волхвов. Но и волхв не сможет просочиться сквозь стены!

В этот вечер Живу не принесли воды.

А на следующее утро он увидел белый свет, да так, что с непривычки будто ножом по глазам резануло, когда сняли повязку.

— Тебе повезло, малый, — процедил чернобородый Кей, — волхвы тебя признали. Да еще исцелили вдобавок. Верно я говорю?

— Верно, — ответил Жив. И сам поразился, как слабо, как непривычно звучит его голос.

Второй раз Ворон испытал громовый перун наверху. И не в тот же день, а много спустя. Все никак не решался не верил, что эти дротики для смертных приготовлены, им в наследство оставлены, боялся навлечь гнев богов-предков. Мужем он был неробким, доводилось биться одному против дюжины, и не раз, нигде не отступал Ворон перед силой и опасностями... Только тут не сила была, а что-то неведомое. Вот и противилась душа этому неведомому, хотела привычного, обыденного, ведь старость подступает, покою просит... Но зудело в груди что-то, не давало покоя.

Ворон ушел в горы спозаранку, бросив подручных своих на Овила, им дел еще надолго хватит, пока хозяйство восстановят. А сам побрел по тропке дикой к перевалу, туда, где места нехоженные. Шел и думал о доле своей — не видать больше родных мест, была одна надежда, на княжича, теперь и ее не осталось, растворилась как туман утренний, росой выпала в осадок. Старые раны болели, ныли надсадно. Но Ворон привык к ним, только крепче сжимал зубы, забывался в думах, работе, ходьбе, охоте. Вот и сейчас он брел подальше от поселения, к кручам, где водились непуганные дикие козы. А думал про Жива, про кого ж еще было думать старому дядьке-воеводе, не нужны ему самому были перуны громовые и сокровища с чертежами старыми, поздно затевать что-то. А вот княжичу, ох как бы пригодились! Ради него и ног не жалел.

Первых трех коз он спугнул — шарахнулись от незнаемого двуногого зверя, сиганули, и след простыл. Зверь? Да, для них он зверь, а кто ж еще, Ворон давно понял — не все любят в мире подлунном человека, страшен он и дик для гада морского, обитателя лесного, рыбы речной и птицы небесной, даже не знают когда, все одно бояться, будто вложил в них с рождения кто-то страх этот.

Наконец он нашел доброе укрытие на приступке за облезлым кустом, чуть пониже был склон пологий, травянистый, весь в следах козых. Присел, дух перевел, ноги уставшие вытянул.

Только ждать долго не пришлось. Выбрали из зарослей прямо на склон зеленый четыре козы — одна облезлая, драная, с бородатой перекошенной мордой, и

три молоденьких, гладеньких, по таким загон страдал в поселке. Ворон достал перун, изготовился. Но тут из кустов выскочил резво и прытко козел — крупный, круторогий, важный. И первым, горделиво вскидывая голову, побежал вверх. Это была подходящая цель. Ворон высек искру, подпалил фитиль, дал ему затлеть хорошенько. А потом встал в полный рост. И с криком, мощно, уверенно, как и надлежало старому вою, метнул дротик в жертву.

Козел не успел отскочить. Он не успел даже испугаться. Бронзовое острие вонзилось ему в бок, чуть ниже хребтины... Удар был сильным. Только козел не успел и упасть. Потому что в тот же миг громынуло громом небесным, полыхнуло пламенем, отшвырнуло куда-то коз, оглушило самого Ворона, он чуть не сверзился с приступки.

— В бога-душу-мать-сыру-землю! — выругался в сердцах, сам не слыша себя.

Потом спустился вниз. Долго бродил по склону, собирая разбросанные тут и там останки козла. Голова с оскаленной мордой лежала в одной стороне, копыта в другой, задние ноги в третьей... и повсюду разорванные ошметки внутренностей. Досталось бедолаге! Ворон вздохнул горестно, обтер руки о траву. Нет, для охоты, для добычи пропитания перуны явно не годились, после них только стервятникам пиршество, но не человеку. Сам Ворон не ожидал такого действия. Неподалеку валялись две оглушенные, полумертвые козы. Две другие убежали. Но Ворон не стал касаться коз. Он вернулся к тому месту, где стоял козел. Присел, всмотрелся — и не узнал дротика: был тот искорежен до неузнаваемости, будто изнутри его разорвало-разодрало силой нечеловеческой, незвериной. Второй раз в дело перун не годился!

Ворон сразу стал считать в уме, сколько ж их осталось в том кованом сундуке. Сбился. Но все равно ему показалось — мало, совсем мало! ведь бросать их можно только раз, один-единственный!

— Ух ты, вражина! — Ворон погрозил кулаком оторванной козлиной голове, будто та была виновата. — Извел на тебя перун целый! Да по тебе и стрелы древесной много! Велесова морда!

Только злиться надо было на себя. Сам виноват.

Ворон пнул сапогом скалющуюся будто в насмешке над ним голову. И побрел восвояси.

Когда шестилетнюю дочку любимую, золотоволосую и улыбчивую Ярушку, веселую и беспечную, так широко и доверчиво глядящую на открывающийся перед ней мир своими огромными синими будто васильки глазами, забрали от матери — не выдержала разлуки Зарева, не вынесла — на седьмой день выбросилась из дозорной башни терема вниз, на острые камни. А до того шесть дней молила Крона, мужа родного, все верила, что раскается, что будет течь жизнь их счастливая и легкая по-прежнему, широкой рекой без берегов... Нет! Любил ее Князь великий не меньше других жен своих, может, и поболее. Но перечить ему не смел никто. И воля княжья была нерушимой. Одно только сказал: будет ей в заточении лучше прежнего житья, ни в чем отказу не станет. Даже сводил Зареву в нетемную темницу эту, что под камнями смертными таилась, ждала его слова. После посещения узилища расстроилась княгиня пуше прежнего. Потеряла надежду, но все молила еще... А потом, потом схоронили ее в царской могиле, выкрашенной красной охрой, схоронили с драгоценностями ее, одеяниями богатыми, кобылу любимую белую рядом положили, двух служанок ближних опоенных смертным соком, камнями заложили, землей засыпали — только холм с изваянием наверху остался, вот и вся память о Зареве, избраннице Кроновой с Малорусского Черного моря, из степей таворских, где водили еще по-старопрежнему табуны и стада воловьи кочевые русы, не осевшие на земле, блюдущие давнишние законы Яровы, им данные в завет — идти на запад, идти на восток в вежи незнанные. Только кочевье их не походом Яровым стало, а в кружение кругом обратилось — от Семиречья прадедова до границ лесов Юровых, до Донепра и Донестра.

Тосковал Крон по Зареве, как тосковал и по Рее-любимой, наказанной им жестоко за измену. Но ничего не менял — коли княжье слово менять, станет оно ветрилом на ветру, и не будет ему цены. Шесть лет он

терпел дите свое, Яру, подле себя, пока не заметил блеска яростного, горячего в синих глазенках крохи. И решил — в поруб! Не должно было исключения делать: всех детей, всех внуков — предсказания на то и предсказания, что сбываются неумолимо. Коли он не защитит себя, кто же его защитит?! И пусть радуются те чада, что успели рассеяться по белу свету — дочери, что замуж повыходили в дальние края, сыновья, что ушли в места нехоженные торить пути с дружинами — кто погиб, кто осел по берегам океанов бескрайних. Господь с ними! А прочим доля часа своего ждать. Не смерти он их жаждет, не горя им желает и беды, все равно суждено пережить батюшку! Так и пусть переживают, не зарясь на власть... Только так! Заревины томятся чада, его дети — Талан со Свенон, Дорида, большие уже, взрослые, но сызмальства отлученные от матери. Не печалилась по ним Зарева, как по Яре! Все в жизни круговерть и суета. Суета сует!

С тех пор минуло шесть лет. Но Яра все так же доверчиво и открыто глядела на мир, на тот крохотный кусочек мира, что был ей доступен. Она ни в чем не имела отказа. И горница ее в нетемном подземелье была самой светлой, и спальня ее была самой уютной, и сладостей всегда приносили вдоволь, и подружек приводили для игр и забав. И было у нее даже свое оконце зарешеченное, выходящее на склон горы, на холмы зеленые. И забыла уже золотоволосая Яра мать свою, будто не в жизни протекли те годы в светлом тереме, а приснились только.

Двенадцать лет. Много это или мало? Человеку умудренному — не срок, не возраст. А для Яры эти двенадцать лет были всей ее жизнью, прочее существовало до нее, не видимое и не осязаемое ей, а стало быть, не совсем настоящим оно было. Настоящее здесь, в темнице роскошной, в четырех стенах, в окошке заветном, из которого виден закат солнышка ясного. Часами просиживала Яра у окна. Видела свет белый. Но не верила уже, что в свете том вольно расхаживают, спят, едят, ругаются, любят друг друга люди... большие, и маленькие, рекомые детьми.

Еще краше стала Яра за эти годы — не девушка пока, но девочка, расцветающая цветком неземной кра-

соты. Не обесцветили годы заточения ее золотистые густые кудри, расчесывать которые была приставлена особая служанка. Морским бархатом синим полнились глаза. И не нужны были ей ни румяна, ни помады, ни благовония — не сравнилась бы с ней ни одна напoмаженная, нарумяненная красавица, ибо от природы, от самого Господа Рода, была рождена она прекрасной, нежной, игривой, томной, стройной... Всем хороша была дочь Крона и Заревы двенадцатилетняя Яра. Но не имела она в сердце своем покоя телесного, а в душе светлой — душевного. Жег ее изнутри огонечек крохотный, не давал лада, лишал благости и неги, терпения и смирения. Неодинакова была дочь Кронова снаружи и изнутри. Добра, честна, умна, красива, незлопамятлива, приветлива... но горел, теплился, чуть затухая и разгораясь заново, огонечек яри, унаследованный от отцов с дедами, от матерей с бабками.

Хотт долго стучал в дверь, прежде, чем ему было дозволено приоткрыть ее.

— Входи! — пригласил певучий звонкий голос.

Он вошел. И серебряная кружка ударила его в грудь, отлетела в угол. Девчонка хохотала, хлопала в ладоши — попала!

Хотт улыбнулся, склонил голову в плоской медной шапочке.

— Пора в сад, княжна, — напомнил он.

Из опочивальни вышла пожилая женщина в платке до самых глаз, сурово поглядела на стража-надзирателя, прошипела:

— Твое дело за дверями стоять!

— Молчи! — оборвала служанку Яра. — Пусть здесь стоит!

И запустила в Хотта тарелкой серебряной с золотой насечкой. Попала в сухую, увечную руку. Хотт сморщился, но ту же заставил себя улыбнуться: зачем огорчать несчастное дите, сироту острожную.

— Попала! Попала! — обрадовалась Яра. Вскочила с подушек. Ей и самой хотелось поскорей в сад, к подруженькам, поразмять резвы ножки, дать себе волю, наиграться всласть.

Хотт ухмыльнулся, помахал служанке рукой. Но та, прихрамывая, поспешила вслед за девочкой.

Сад находился тут же, на самом краю уступа, огороженного белыми стенами. В саду росло много деревьев, кустов, сюда залетали птицы, тут стрекотали цикады вездесущие, даже ручей чистый журчал в саду. Но никогда в него не водили всех узников одновременно. Были и такие, кто вообще не знал о нем, томясь в застенках, проклиная свою жизнь... не прошлую, но будущую.

Все чаще Крон оставался на ночь в верхних палатах, в тереме-крепости на вершине Олимпа. Гнал прочь жен и наложниц. Поднимался в башню по крутой лестнице, сам возжигал огонь, укутывался в тяжелое шерстяное корзно с алым подбоем, залезал с ногами на дубовую широкую скамью, устланную коврами цветастыми. И часами смотрел в даль ночную. Не спал. Думу думал.

Необъятные владения принял он от деда своего, тоже Крона, тоже Верхнего, Вышнего, Кронного надо всеми. Отец погиб за Яровыми столпами, так и не дождавшись короны великокняжеской, все новых земель искал. Перешло дедово хозяйство в руки внука. Мало чего смыслил тогда юный красавец в жизни быстротечной и путанной. Но видел, что не все ладно в княжестве, что зыбко оно и устойчиво мало, что трещит по швам как одежда долгая, но непрочная. Стал крепить силой и грозой гнева княжьего, трудов не жалел, сам все роды и племена русские, пустившие корни по берегам моря Срединного объезжал, суды вершил и расправы... на чужие отчины посягал, вознамерясь раздвинуть границы, больше силы занять и силой той ряд держать повсюду. Метался, рвал жилы и сердце, терял близких и верных. Но видел: в одном месте крепит швы — прочно, навека, в другом расползаются они. Туда ринулся латать дыры, по прежним швам все поехало. Велика была держава Кронова. Но не было с ней сладу. Русы кругом. Ярые, неумные, жаждущие и алчущие — роды, племена, общины, семьи, дружины... расползающиеся, то бегущие друг от друга, то встающие меч на меч, строптивые и непокорные, своевольные, угомона не знающие ни в труде тяжком, ни в сече жестокой, ни в походе

бесконечном. Тяжко было с ними, с братьями и сестрами родными, ищущими своего ряда и права. Порой казалось Великому князю, что остались бы в державе его только горяки да пустыnnики, лесовики дикие — племена малые, тихие, одни из коих в древние времена отпали от самих русов-яриев, другие вообще невесть откуда в горах да лесах взявшиеся, ни оружия, ни огня, ни ряда не знающие, живущие как дети малые, будто в жизнь играющие... остались бы одни они, и воцарился бы порядок по всему Срединному морю, настал бы век благодатный и тихий... только море это нельзя б было больше назвать Русским. Ну так что ж! Зато горя б никто не знал. А так... Яры были соплеменники, неуживчивы, непослушны, горды чрезмерно — рушили содеянное Кроном. Будто в лицо смеялись ему.

Один Князь великий видел все сразу, с высот своих. Один он знал тяжесть власти своей. Ему одному держать ответ в палатах загробных, палатах Велесовых. И не уйти никуда от ответа этого!

Крон отворил дверцу короба навесного у изголовья скамьи. Достал связку дощечек тонких. Раздул лампу поярче. Раскрыл связку наугад...

Тридцать с лишним лет назад он засадил с согласия Волхва Великого за написание славных деяний предков семерых умудренных годами и ведами волхвов, дал им в подручные многих мужей смышленных, дал право вершить розыскания везде и повсюду до самых земель окраинных, сверять сказания и песнопения древние с былинами сохранившимися, с кожами старыми и досками, с плашками глиняными... Один род одно прошлое иметь должен. И ему сызмальства каждого руса учить следует. Ведь пока были едины при Борее ли, при Яре — ряд держался по всем вежам и станам, от океана до океана. Надо бы и ныне так.

...волхвы писали искусно, резами мелкими, четкими, без витийств и изукрашений, так, чтобы легко списать можно было для прочего люда. Крон взгляделся в раскрытую дощечку: «...и пришли они малым племенем, отрядом дозорным в благословенные долины, где не было людей иных кроме них. И поселились там, взрыхляя почву и засевая семенами ее. И стали ждать прихода отцов и матерей своих, братьев и сестер, люда

русского. Но не пришел в те годы никто. И дали им долины и поймы плоды обильные, и умножилось племя яриев. И назвали они, собравшись вечем, реку жизнеобильную — святою рекой русов, Яридоном. И расселившись по берегам ее, возвели город укрепленный, где хранили запасы на годы черные, и где собирались чтить бога своего Рода и богиню-мать Ладу, и жертвы им клали бескровные, а Волосу-владыке, коий был не богом, но лишь тенью черной Всемогущего Рода, грозою неправедных, жертвы клали за стенами градскими... И прозвали тот город Яригоном*. И было то за шесть тысяч лет и зим до правления князя нашего Крона, когда Род еще милостив был к русам...» Милостив! Князь поднял глаза к потолку белому, затаил дыхание, не давая гневу закипеть в груди. Все знают, что неблагоприятные нынче времена, недоброе княжение. Пусть и не пишут напрямую, а поймут читающие, что немилостив и к нему, Крону, Вседержитель. А раз так, значит, виновен он в чем-то немалом, за малое и простить мог Создатель, не прощают лишь за великое зло. Так в чем же виноват он? Почему злой рок преследует его?! За что наказание немилосердное?!

Крон перевернул дощечку. «...И умножились они, и послали молодых искать племени своего. И ушли они на восток, чрез пустыни и горы. И не все дошли. Но дошел кто, узрели, что сидят их родичи по берегам двух рек великих, в низине плодоносной, и имеют города свои Юр и Вавал, и еще многие. И узрели, что никуда больше не идут они, что забыли завет и уклады в трудах тяжких и рощении сынов. И много говорили они с родичами, и волхвами их, и князьями их, и боярами... и никто не ведал про малое племя, про отряд дозорный, стерлось прошлое, а новые пути молодых в иные новые земли вели... назад не возвращался никто. Было то спустя три тысячи лет от закладки Яригона в святой земле яриев». Крон перевел дух. Все знакомо ему, ничего не ново — был и в Междуречье сыром, жарком, бывал и на Яридоне... его земли, не до всех руки

* Яригон - один из древнейших городов на планете, заложенный русами-яриями. В исторической науке больше известен в трансформированной форме «Иерихон». Стоял на реке Иордане-Яридоне.

дотягиваются, но его, от предков-пращуров данные. Ныне туда из пустынь племена странные приходят, не похожие ни на русов, ни на горяков, говорящие языками непонятными... мало их, совсем мало. Но идут семьями, смотрят, перенимают ремесла русские, селятся, видя, что не тронут их, не обижают. А молодежь русская, вои юные, все исходят и исходят из святых земель, не сидится им! Крон перевернул еще страницу. «...и прозвали ту реку могучую ярии Идоном или Индоном — Иною рекою святой, второю, новою. И встретили там людей многих черных и ликом страшных. Но не тронули их, ибо тоже люди, от Бога, от Рода Всеблагого, акий лишнего не сотворит. И от жара и лихорадок-трясовиц сгнули иные, а иные упрочились здравием, сели на земли, орая их и семена бросая в них, оберегая себя... А реку стали звать Индом, стала она им родной матерью-рекой, другой уже не помнил никто, кроме волхвов-вещунов, хранителей Вед древних, неписанных, но передаваемых из уст в уши. И пришли они на Инд третьим приходом, до того еще два было. А после того — три больших и нескладно малых. За полторы тысячи зим и лет до правления отца нашего Крона, а точный год не ведом никому ныне». Не ведом. Много чего неведомо теперь! Позабыли! Порастеряли память!

Крон отложил связку. Загасил лампу. И снова устался в ночную темень. Далеко Иная река, не углядишь отсюда... А все равно, мало написали волхвы, дощечки, что ли, жалеют? Надо было поговорить с ними. И про Святую землю совсем кратко, не помянули даже градов исконных русских, прапрадедовых: Ярусы, Яра, Ярада, Ярхова, Ярова — как шли ярии по свету, как корни пускали, все по названиям слышно. И реки округ Яридона — Ярмук, Ярон, и горы — Ярмон и Ярисим... еще, правда, Тавор-гора, и Хорив-гора, и Сиянна... — свои, родные, от имен их на сердце теплеет, всех не упомнишь. Но в писаниях должны все быть! Сама река ведь святая Яридон по Ярову ущелью течет, в Ярово море впадает, которое еще и Мертвым морем кличут... а иные, пришлые, стали звать Араба-маре, не под силу им звуки русские выговаривать, по-своему переиначивают, Бог с ними, они и пустыню безбрежную Ярову зовут Арабой, не запретишь, всяк свой язык иметь может. Но в летописях и ведах все доподлинно должно быть, верно,

без искажений — сколько русов за долгие века да тысячелетия в землю Святую костями легли, не счесть. Разве гоже о них забывать! Крон сдавил виски. Нет земли, в коей бы косточки русские не лежали, где бы нога яриев не ступала. По всему свету белому живут русы. Но ему держать ответ только за своих. На Инде не его власть, и по Донаю не его, в Таврии он не князь, и в Иверии, двуречные русы начинают жить наособицу, раз в три года дары шлют, по реке Ра — малые поселения до самой Нубии, а там дикие, с ними беглые русы, тоже наособицу жить хотят, дружины стрелами встречают... Нет лада! Каждый глядит на сторону, норовит своим умом зажить, свои уклады ввести — казнишь его, другой приходит, хуже прежнего. Крону припомнился поставленный им самим вельможа Аласии-острова*. Двух посланников княжских в погреба упрятал, со своими лъстивые весточки слал, заверял, что процветает остров и умножается население его, хвалу пел Великому князю и его посаднику, и многих лет желал. Дары прислал. Но почуял Крон сердцем недоброе, сам нагрязнул коршуном — и пепелища узрел, тела неубранные на дорогах, поля вытопанные — разбоем жил вельможа Бахорь, вчистую обобрал люд, уморил, сам хотел бежать с казной и сокровищами. Не успел. Крон его живьем собакам скормил, всю дружину его разбойную в землю врыл, одни головы торчали. Хоть и мало живых на Аласии осталось, но каждый мог подойти к иродам, плюнуть в глаза, ударить ногой... так и сгнули бесчестно, провалились в тартарары, ибо извергам вырия и пастбищ Велесовых не видать, как ушей своих.

Многих покарал за несправедную жизнь Великий князь. Скоро сорок весен, как покой и мир держит по державе. А ряда нет! Крон сжимал виски руками, кривил лицо. Сила порождает страх. Страх — слабость, малодушие, ложь и обман. За обман и ложь карают силой, иначе нельзя. Круг замыкался. И выхода из него Крон не знал. Черная ночь окружала Великого князя. И был он один в своей каменной башне высокой на неприступном Олимпе. Один в одиночном заточении узилища своего.

* Нынешний Кипр.

— Эй, Сокол! — прогремело за спиной.

Скил медленно обернулся, прищурил глаза на солнце. Оно поднималось из-за окоема, будто цепляясь за плоские крыши, и глядеть на него было больно.

— Не узнаешь друзей старых?!

Здоровенный княжий дружинник в матово поблескивающих бронях и гривастом шеломе стоял шагах в двадцати от Скила, оперев руки в бока. Был он похож на недвижимый утес, выросший внезапно посреди улочки, застывший солнцем... только длинный меч чуть покачивался, нарушая полное сходство.

— Ты ж немой? — ошалело пролепетал Скил и тряхнул всклокоченными волосами.

Больше года он не видел Жива, как забрали того в княжьи терема под горой, так и не встречались. Скил думал порой, что костлявая Мара прибрала к себе «увальня Зиву», она и не таких прибрать может, с ней не потягаешься. Сам Скил за этот год многого натерпелся.

— Был немой, — разъяснил Жив, подходя ближе, — добрые люди исцелили! — И подмигнул, мол, не забыл еще уговора?

Скил понял с полувзгляда, насупился: какой там уговор, он изгой, перебивающийся случайными заработками, а Жив... чего равняться с Живом, он княжич, хотя об этом никто и не знает, он всегда будет наверху — вон, доспех какой богатый! время разделяет людей. Да и на лицо Жив изменился, короткую бороду отпустил, светло-русую, вьющуюся колечками золотистыми, из-под шеломы волосы светлые выбиваются — не боится, стало быть, привыкли к нему, чужим не считают. На каждом плече по наколке синей, замысловатой — два сокола хищных и дерзких глядят в разные стороны — Скил хоть и сам из рода соколов, а таких не видывал, да только расспрашивать негоже.

— Значит, прижился наверху? — спросил Скил, улыбаясь криво, безрадостно.

— Прижился, — кивнул княжич. Положил тяжелую руку на плечо парня. Впрочем, теперь бывший «соколенок» больше походил не на угловатого и



голенастого юнца, а на входящего в пору своей крепости молодого мужа. — Нашел какую-нибудь?

— Прикипел к одной вдовушке, — прямо ответил Скил, — вместе лямку тянем... А ты, княжич, не женился случаем? — Скил исподлобья, украдкой заглянул в серые глаза Жива. Он еще не верил в эту встречу, все казалось, что морок растает, расползется клочьями тумана, и останется он один на пустынной улочке полузаброшенного поселения, из которого мужчины поразбрелись в поисках славы и удачи воинской по белу свету, а женщины, растерявшие родовые узы, не стали их слишком долго ждать. — Наверное, женился...

— Нет, сокол, — признался Жив — не женился я. Мои жены нынче — мысли мои потаенные, думы нелегкие — все ночи с ними провожу*.

— Изводишь себя по-прежнему, старые надежды лелеешь?

Скил убрал руку с плеча своего, выпрямился, будто давая понять, что теперь он вольный человек.

— Пуще прежнего!

— А чего ради, Жив? Это там, на Скрытне, казалось, что стоит только захотеть, и мы перевернем мир... А тут мы песчинки. Тут нас сдует ветром, никто не заметит... — Скил махнул рукой в сторону моря, безмятежно синеющего за его спиной.

— Не песчинки, — тихо, еле шевеля губами, прошептал Жив, будто убеждая самого себя. И вдруг воззрился на Скила вопрошающе и яро. — Ты помнишь, я велел тебе выбросить меч, дескать, не пригодится, помнишь?!

— Помню, — растерянno отозвался Скил.

— Так вот, скоро он тебе может понадобиться... если ты, конечно, не песчинка на ветру.

— Я все понял! — просипел парень. — Когда?!

Жив ткнул его кулаком в грудь, рассмеялся.

* В традиционной «древнегреческой» мифологии первой женой Зевса была Метида. Однако для лингвиста вполне очевидно, что это явная аллегория, т. к. имя данное означает «мысль», «дума» (в русском языке сохранился корень «мет» в словах «сметка», «сметливый» и т. д.). То есть, Зевс, прежде чем пойти на открытое противостояние с Кроносом, очень долго обдумывал это, переживал, осмысливал.

— Не спеши, подумай о своей вдовушке... может, увезешь ее к себе, на столпы Яровы, позабудешь про все старье-былье. А мы тут сами управимся...

Скил встрепенулся.

— Кто это мы?

Жив пожал плечами, давая понять, что лишнего не скажет, и так слишком много понаговорил.

— Нет, я с вами! Я с тобой! — зачастил Скил. — Своя голова, могу и ее на кон поставить... а там, глядишь, вперед Кронова башка рыжая отвалится! Злой я на них, ох, злой!

Жив поднес к глазам руку, взгляделся в горящий потаенным зеленым огнем перстень отцов, что будто сросся с мизинцем, нахмурился.

— Скорый ты, сокол, дерганный, и впрямь, злой...

Желваки заходили по желтым скулам парня, глаза стали колючими, отрешенными, будто на взлете его, сокола, подбили да о землю шмякнули.

— Я на Олена от зари до зари спину гнул, а потом и впотьмах еще надрывался, похлеще, чем на рудниках, — завел он глухо, бесстрастно, — а как в жару да бреду с ног свалился, так подхватили меня люди его за руки за ноги, на свал отхожий отнесли и псам бездомным на съеденье бросили, будто нелюдь я поганая. Спасибо, вдовушка подобрала, выходила, а то б видал ты меня, княжич!

Жив сграбастал парня обеими руками, привлек к себе, прижал, шепнул в ухо:

— Это они нелюди, сокол. Только ты обиды долго не таи, а то на всю жизнь обиженным останешься, а на обиженных воду возят. И зла не держи, сердце много зла удержать не может, лопнет! — Он отстранился. Поглядел в глаза прямо. — И про Крона не говори так. Будто не знаешь, что отец он мне!

Скил опустил глаза, ссутулился. Лучше было промолчать, но не таким уродился он на свет белый, не получался из него молчальник. За то и страдал частенько. За то и мучился.

— Не отец он тебе!

— Молчи.

— Не отец! Все знают!

Жив приложил ладонь к груди — поруч звякнул по

брони зеркала нагрудного, не дало оно коснуться мешочка потертого, того самого, с пеплом материнским. Ничего! Жив вздохнул. Улыбнулся натяжно.

— Отец! — отрезал он, прекращая спор. И добавил мягче: — А ты, Скил, рано с вдовушкой сжился, хоть и спасла она тебя, прежде надо было с мыслями своими поладить, им пару ночек подарить, чтоб в голове ряд да лад настал. Ну да хватит об этом!

— Хватит, — согласился Скил. И будто вспомнил внезапно: — только мечта-то у меня нет...

— Была б голова, меч найдется...

Жив смотрел в море, туда, где за синими волнами таился где-то вдалеке не видимый отсюда остров Скрыть. Там были верные, надежные люди, там были братья, там был Ворон, и Овил... и мертвая Веша, с которой любился он одну лишь весну. Но и здесь он был уже не один. Год в ближней охране Великого князя. Под взглядами всевидящих и молчащих волхвов... почему они молчали?! Нет, пора было решаться на что-то. И он давно бы решился... Только б еще разок, напоследок, повидать ее, узнать, как зовут, услышать нежный и звонкий голос, коснуться бархатной кожи... А там хоть в омут с головой!

Верхушки высоченных елей чуть покачивались в темнеющем небе. Но внизу, на просторной лесной поляне было тихо, безветренно и благостно. Лес ждал ночи, тихой и сонной для одних его обитателей, и безжалостной, может быть, последней для других. Лес был вечен и безмолвен, его не интересовали чьи-то жизни и смерти — все приходят в эту жизнь и уходят из нее, а он остается.

На поляне тоже ждали. Двадцать семь воевод, съехавшихся сюда, в княжью вотчину, со всех северных земель, сидели молча на древних замшелых валунах, невесть кем и когда выложенных по кольцу, зябко кутались в медвежьи и волчьи шубы. Ночь была холодной, скоро зима. И хотя на каждого со всей его свитой хватало вдосталь места в теремах, князь собрал их тут, ибо поляна была непростой. Звали ее Соборной Поляной — здесь и только здесь в последние десять веков человеческих разрешались все споры и думы Севера,

сюда собирались старейшины, вожди лесных и прибрежных родов русов. Над Поляной не было сводов и куполов кроме свода и купола небесного, но именно под ним, по поверьям и преданиям, обитал Дух самого Рода Вседержителя в ипостаси Его праведной и неистовой, ярой и справедливой — сам солнцеликий Копола царствовал незримо среди дремучего и вечного леса.

Воеводы ждали слова.

Но князь Куп, застывший на плоском валуне посреди кольца, молчал. Он сидел на трех седых волчьих шкурах, в одном багряном корзне, тяжелыми складками ниспадающем с плеч. Светлорусые, почти седые волосы его были расплетены, распущены. Недвижные руки покоились на коленях. Сквозь смеженные веки не пробивался даже сумеречный уходящий свет. Куп ждал, когда на него снизойдет благодать, дарующая ясность и трезвость мысли, когда в душу его, сердце и мозг войдет Дух великого покровителя и брата старшего Кополы. Ибо и сам он — тень бессмертного бога на земле.

Костры вокруг кольца сидящих вспыхнули одновременно — и теперь невысокое, но ровное и жаркое пламя со всех сторон оберегало Собор от чужих глаз и ушей. Поляна сразу высветилась неровными дрожащими бликами, снопы искр потянулись к уже черному небосводу, словно воздаяние небожителям от прозябающих внизу, на земле... небожителями были отцы, деды, прадеды, прашуры... Воеводы воздели руки вверх, шубы сползли с их спин, теперь и без них было тепло. Дух Кополы нисходил на Священную Поляну.

Куп медленно открывал глаза. Будто пробуждаясь с трудом и нежеланием. Но в душе его царило умиротворение, прежнего гнева, ярости, растерянности и злости не было. Больше года эти недобрые, толкающие на необдуманные ходы чувства-бесы терзали сына великого и благого Юра. Больше года он сдерживал себя — воля отца и великого князя нерушима, а значит, нерушима и блага власть надо всеми землями Юра Великой княгини Реи, его племянницы родной — так было угодно Роду, а стало быть, и его покровителю Кополу. Рея держала в своем маленьком кулачке огромное, бескрайнее княжество, ближние бояре Юровы

помогали ей... но резвые гонцы приносили порой вести безрадостные: посягали на отцовы земли с юга и с востока, посягали Кроновы дружины — разведывали силу и крепость, нагло, бесстрашно, не по ряду, посягали бродячие вольные ватаги, бродники, малые князья, племена чужие. Не всем отпор достойный давался. Женская воля! Бабья власть! Куп изводился, страдал — ведь трещало по швам Юрово наследие. Он посылал к Рее многожды людей немалых своих, помощь сулил, защиту и ограду. Но ответ всегда был суров и короток: блюди свои земли, свои рубежи, исполняй волю отца и Великой княгини! На своих землях был ряд и лад, дары и справу на Донай отправляли богатые, вовремя, как и было заведено... Но, чуял нутром Куп, не только от гонцов знал, — дрожит земля под ногами у Реи, качается. И первый, кто сотрясает ее — Крон. А против Крона Рея слаба, не устоит она, не выдержит, дело только во времени... Они все могут опоздать. Вот тогда уж, точно, воля Юра будет порушена, ибо Крону он завещал ни пяди... Да и кто еще там придет на смену Рее. Все сразу узнают его! Что ж, выжидать теперь? До каких пор? Пока все прахом пойдет?! Нет! Сейчас Куп был спокоен как никогда. Он верил в могущество и мудрость Копола, он верил в мудрость и опыт воевод лесных, братьев своих. В эти нелегкие минуты принятия решения — последнего решения — с ним и в нем самом был Дух Рода Вседержителя. Так было, потому что иначе быть не могло.

Куп столь же медленно поднял лицо к черным с багряным отсветом небесам, долго вглядывался в них — и когда ощутил на себе тяжелый и пронизывающий взгляд сверху, взгляд потусторонний и вселяющий силы незримые, нетелесные, встал — один, посреди Соборной Поляны.

Его слова ждали. И он должен был изречь это слово.

— Всю душу ты из меня вымотал, черт лесной! — выругался Овил. — За каким рожном нам эти крепки?! Люди просвета не видят, выдохлись все!

Ворон кивал седой головой, будто соглашался с доводами воеводы. Осматривал кладку, проверял верви на камнеметах, поторапливал работных.

— Успеют еще отдохнуть, — отвечал он добродушно,

но твердо, — и с тобой, Овилушка, ничего не сделается. Зато встретим теперь врага загодя. Только сунься к нам!

Овил стучал себя кулаком по лбу, кривился.

— Да они в другом месте пристанут, вот и всех дел! Не глупее нас Кроновы вои, неужто понять не можешь!

— Пристанут, — соглашался Ворон, — коли их известит кто. А ежели нет, так и не успеют пристать, тут и на дно пойдут, на корм гадам морским.

Ворон не договаривал, что и в прочих удобных бухточках по северному берегу Скрытия у него припасено кое-что для непрощенных гостей. Перуны громовые носили скрытно, в мешках да сундуках малых, прятали ладно — чужой не найдет, а свой достанет быстро. Дозорные на вершинах — чуть где завиднеются кровавые паруса, ясно будет — куда идут, где пристанут. Вот там не плошай, времени не теряй. Что-то внутреннее, тяжкое, муторное, гнетущее, но не обманывающее подсказывало старому воеводе — будут дела ратные, да еще какие! в хороминах укрытых да пещерах не отсидишься! А еще сердце подсказывало, что не погиб княжич, жив. Далеко он где-то, но живой, невредимый, ждет от дядьки верного чего-то, помощи-подмоги какой-то, а какой — поди догадайся. Ворон делал, что мог, что умел, что ему опыт ратный да жизненный подсказывал.

Работали на крепях все. Но молодежь сильную да здоровую на шесть часов каждый божий день отвлекали — на учение. Сам Ворон с Овилем на смену учил парней рубиться в бою, стрелять из луков, метать перуны-дротики, ставить засады, идти по следу... и снова рубиться. Даже семерых горяков, крепких да отважных, вовлек в учение, доверил — пускай обвыкаются, пускай жизнью живут, как русы, хватит по горам да долам прятаться от нее. Пугливы были горяки и доверчивы. Коли опускал меч в поединке учебном супротивник их — и они опускали, улыбались... тут им и доставалось, тут им урок шел, чтоб не зевали, лихой бой раззяв не любит. Еще пятеро пробовали, да не выдержали, сбежали в горы. А эти пока не ноют, не просят отпустить. Своих набиралось под сотню — весь Скрытень облазили, всех

русов переписали, заставили стряхнуть сонь и одурь мшелую. Да стариков еще с полсотни, да жен и девиц четыре десятка — тоже сгодятся: и припасы подносить, и побитых выносить, а будет совсем худо, рядом встанут. Хватит прятаться да таиться! Ну, если уж большая рать пристанет к острову, тогда малая горсть воев молодых прикроет отступление, тогда женам да старцам, детям да увечным время будет уйти. Ворон кивал патлатой седой головой. А сам-то знал — все так, все верно, но не в одном этом дело! еще кое-что будет! вот Жив придет. все и прояснится! Непременно придет!

А Овил ворчал:

— Загнемся мы прежде, чем сюда сунутся враги наши. Сами себя погубим, изведем вконец!

Ворчал, но работы тяжелой не бросал. Хотя и ждала стареющего воеводу в зеленых долах Скрытня, в теремке рубленном, уютном молодая женушка, Мила любимая и ненаглядная. Все теперь у Овила было только здесь, на скрытном острове. Прочий мир для него стал чужим и ненужным.

Яра топнула ногой на прислужницу-бабку, загнала ее в тесную каморку-спаленку, в ее обиталище убогое. А сама белкой перескочила широкую светлую горницу узилища своего, припала к окошечку решетчатому, узорному.

Охранника не пришлось ждать долго. Хотт нес службу справно, мерил ногами из конца в конец узкий ход нетемной темницы, думал о своем, повесив голову в плоской медной шапочке-шлеме. И грезились бывшему сторукому дети его, сироты при живом отце... время шло, а надежды на освобождение не прибывало. Увечная рука болела все сильнее. Только боль эта отдавала в сердце... может, эта, а может, и другая. Хотт гнал черные мысли прочь, его дело нести службу, какой бы она ни была, на то он и не пахарь, не волхв, не горшечник, на то он и служивый.

— Эй, Хотт! — приглушенно крикнула в окошечко Яра. — Слышишь?!

Охранник обернулся на зов, подошел к двери с окошечком, поглядел вопрошающе в лицо княжне-узнице.

— Иди сюда! — потребовала та.

— Не могу, — прошептал Хотт, покачав головой.

Яра рассмеялась.

— Да ты не бойся, — проговорила она сквозь смех, — не буду в тебя бросаться! Что я, дите, что ли... Иди!

Хотт опустил глаза.

— Не могу. Нельзя мне к княжнам заходить. Узнают, накажут...

— Трус! — выпалила Яра.

Хотт поднял глаза. Нет, он не трус, он бывал в таких сечах, в таких переделках, какие и присниться не могли бы этой взбалмошной девчонке. Он ничего не боялся по-настоящему, всерьез... но терпеть обиды ни за что, по прихоти опальной дочки Кроновой. Нет!

И все же он достал ключ, отворил дверь. Вошел.

Яра глядела на него своими огромными васильковыми глазами девичьими. Но горело в них эдакое, что Хотта взяла оторопь: прикажи она ему сейчас отступить, выпустить ее из темницы или, пуще того, бежать с нею, и думать бы не стал. Девчонка! Тринадцатилетняя взбалмошная и капризная девчонка... Но сидит в ней что-то непонятное, нечеловеческое, что позволяет вертеть людьми, как ей вздумается, по прихоти своей.

— Не бойся, я не выдам тебя, — сказала вдруг Яра тихо, почти нежно, как любимому старшему брату. — Только ты мне пообещай, что выполнишь одну маленькую просьбу, ладно? — Голос ее стал медоточив, вкрадчив.

У Хотта закружилась голова. У него, познавшего десятки жен и девиц, смотревшего на них как на добычу или мимолетное увлечение, нечто несерьезное и нестоящее, у него, отца кучи детей-сирот! Непонятная, страшная девчонка!

— Нет, — ответил бывший сотник, — я никогда не даю обещаний, даже если мне сразу говорят, чего хотят. Нет.

Яра положила узкую теплую ладонь на его плечо. Хотт вздрогнул, дернул кадыком. И медленно, но решительно покачал головой. Эх, коли б она не была княжной, он говорил бы с этой девчонкой совсем иначе. Старшая дочь у него почти такая же... должна быть такой, если только жена Влава не сотворила что-нибудь

с детьми, трудно семерых тянуть на себе, даже при помощи княжьей... есть ли она, эта помощь?! Хотт приоткрыл глаза, поглядел на Яру.

За год она изменилась, но не слишком. Подросла, золотистая голова до плеча ему достает, волосы — чудо, и в темнице искрятся будто на солнышке, волнами стекают по шее, спине, плечам, колышутся — совсем живые. Лицо светлое, чистое, чуть тронутое загаром, не зря в садике время коротает, тонкий нос, трепетный, густые темнорусые брови-змейки, алые губки — без помад и красок... а глаза! небо синее, бездонное — есть от чего голове закружиться. Стройная, былиночка длинноногая. Но ноги крепкие, ровные, бедра налитые, упругие, кисея шелков уже не может скрыть девичьи высокие и полные, чуть колышашиеся в такт шагам груди. И все же девчонка! девочка! дите! Хотт стряхнул с себя оцепенение.

— И чего же ты желаешь, княжна? — спросил он, склоняя голову.

Яра улыбнулась хитровато, но по-детски, шаловливо. Еще раз огладила крепкое плечо, навевая на стражника мысль трепетную и сладостную, но недопустимую, страшную, смертную

— Две луны минуло, как гуляла я в саду с подружкой, — начала она, — а ты с двумя воями отцовыми выводил в дальний конец брата моего сводного, бедного Дона... помнишь?

У Хотта отлегло от сердца, его даже бросило неожиданно в холодный пот, но он не посмел утереть испарину. Слава Роду, искушение отступало, избавляя его от гибели.

— Помню, — прошептал он.

— Один из воев, Хотт, молодой был, светлородый, сероглазый, высокий — тебя на голову выше...

— А тебя — на две, — вставил совсем смело стражник.

Яра прикусила алую губку. Глаза ее начали отливать не синью, но сталью. В голосе появилась хрипотца:

— Я хочу видеть его, Хотт. Молчи! Слушай! Ничего не говори! — она приложила два пальца к его холодным, плотно сжатым губам. — Мы должны

встретиться, поговорить! Проси чего хочешь, все дам, все исполню... только не говори больше нет!

Хотт отстранился, пошел к двери.

Но Яра опередила его, уперлась спиной в дубовые доски, выставила вперед руки, ощерилась будто волчица юная. Страшный, потусторонний огонь яри запылал в ее синих глазах.

— Стой! — прошептала она грозно. — Сдвинешься с места, скажешь «нет» — и я закричу, расцарапаю тебя и себя! Ты не выйдешь отсюда, Хотт!

Он не выйдет... Это точно! Она на все способна. Хотт заскрежетал зубами.

— Но зачем тебе этот дикарь?! Ты же княжна!

— Дикарь? — повторила Яра.

— Да, его поймали в горах на Скрытне, мои люди, твоего отца дружинники! Он был немой, диким, кусался и ничего не понимал! Это сейчас его приделали немного, обучили, как вести себя! Но внутри он все тот же дикарь! Он горяк! Его взяли в охрану за силу невиданную... но в груди, в голове у него пусто! Уймись, княжна! Дай мне выйти отсюда! Не пара он тебе...

— Молчи! — осекла охранника Яра. — Молчи! Я знаю, что ты не трус, я пошутила тогда, хотела просто позлить немного! Ты ничего не боишься, Хотт. Так почему ж ты испугался какой-то мелочи? Тебе ничего не будет. Ты просто дождешься, когда его снова пришлют в темницу. И ты выведешь меня. А там... не твое дело! Я княжна, Хотт! И я буду княжной повсюду — и в заключении, и на том свете! Я буду приказывать! А ты будешь исполнять! — Яра заговорила тише, нежнее, как прежде, как со старшим братом, — ведь будешь, Хотт?

— Буду, — покорно ответил бывший сотник-сторукий.

Крон возвращался из похода веселый, бодрый и осененный надеждой, светлой надеждой. Теперь он знал, что нужно делать. Последние сомнения оставили его. Эх, дочка, дочка, родимая кровиночка! Рановато тебе быть великой княгиней... и вообще, должен быть один Великий князь, один во всем поднебесье.

Поход этот к северным рубежам княжества, к Донаю и притокам его, был тайным походом. Даже из ближних

больших людей, бояр, мало кто знал, что возглавляет его сам Крон. Считалось и принималось на веру, что дружины вел темник-тысячник* Олен. Крон ехал в свите, в доспехе обычного всадника-охранителя, лицо его наполовину скрывала личина шелома, выпуклое забрало в виде оскаленного злого барса. Огненно-седые волосы были забраны под шлом, связаны в пук, а русая борода ничем не выдавала Великого князя. Даже если кто и догадается, будет держать язык за зубами, каждому ведомо, что с Кроном шутки не шутят... Да и какие там шутки! Последние годы вымотали князя до предела — все вокруг рушилось, разваливалось, бродило, кипело и готовилось взорваться безумным, вселенским взрывом, погружая мир в окончательный и беспробудно-безнадежный хаос. Казалось, повсюду, от самого Олимпа до дальних концов великого княжества, люди, населяющие его: и вельможи и черный люд, позабыли про ряд и совесть, про заветы, уклады, обычаи, про самого Господа Бога! Не хватало никаких дружин и ратей, чтобы слать их на запад, восток, север и юг — восстанавливать лад и покой. Да и сами рати, видя бесчинства и беспределность властвующих и безвластных в провинциях, впадали в бесчинство и несли уже неизвестно что: то ли добро, то ли зло, то ли порядок, то ли раздор... а что уж точно, страх! да, тот самый, который порождает слабость душ и сердец, а вслед за этим — измену и предательство, воровство еще большее и буйство, обуянных ужасом, буйство тех, у кого земля горит под ногами, которым судьба злодейка, а жизнь копейка. Хаос! Он один видел все это, он один понимал до конца, до тоскливо-мучительного, неостановимого конца — куда Доля катит камень их судеб. Пропать! Черная, страшная пропасть. Без стен. Без дна. Могильная пропасть, откуда ни за что не выкарабкаться... Нет, Крон не жалел себя и не по своей доле страдал, две жизни не дано прожить даже Великому князю. Держава! Не для того Ее крепили и строили тысячелетиями, вели к

* Существует ошибочное мнение, что слова «тьма» (тысяча), «темник» (тысячник) занесла на Русь «татаро-монгольская» орда в XIII в. На самом деле это исконно русские слова. А вот слово «орда» представляет собою искаженное, германизированное русское слово «рада» (сравни «работа» = «арбайт»).

могуществу и славе, чтобы в считанные годы, годы его власти, его правления, а стало быть, и его ответа за все, рухнуло здание, созданное прадедами, пращурами всеми Кронидами и теми, кто был до них. Ни днем, ни ночью Великий князь не находил себе покоя. Все перепробовал за десятилетия: и кнут, и пряник, и мед, и меч... сокровищницу отчую опустошил, сил извел несметно, жизнью положил тысячи, а ничего так и не добился. И не его вина! Не его! Крон не знал ни сна, ни отдыха, не щадил себя, лишь изредка забываясь в коротких и буйных пирушках да в объятиях многих жен своих и наложниц. Он сделал все, что мог... Люд подлый! Народ... виновен во всем: от мала до велика, от пахаря и воя до темника, советника и волхва. Души истлели, ржой покрылись, сердца и мозги черви выели. Ничего не сотворишь с ними, ничего не выправишь, ибо сами стали червям подобны! От бессилия и лютовал Крон частенько — в гневе топил бессилие это. Страдал. Мучился. Хотел лучшего, светлого, великого... а впереди яма зияла черная и бездонная. И чем дальше, тем чернее и шире был зев ее. И вот — надежда! Наконец-то! Помер Юр старый, жадный и злопамятный, скаредный тесть, ненавидящий зятя своего. И пусть душа его упокоится в выри. Пусть воздастся ему на пастбищах Велесовых! Крон не держал зла на усопшего. Но и пускать все на самотек не собирался. Посылал к дочке, Рее любезной, послов важных, дары богатые — намекал, что нынче сам Род Всемогуший велел объединяться под его, отцовской дланью. И он не обидел бы ни саму дочку гордую, ни бояр ее, ни воевод, ни сынов и дочерей других праведного Юра, всем бы воздал по чести их и достоинству... Нет, гнала послов прочь дочурка, не желала уважения родителю выказать. Гордыня! Вот тогда и стал посылать Крон отряды малые и побольше по всей границе с владениями Реи — боем разведывать крепость северного соседа. И доносили ему, что нет прежней крепости, что слабеют рубежи — далеко вглубь задонайских земель пробивались дружины, сея раззор и смятение, отпор получали слабый, поздний — видно слаба женская рука, слаба! Да только Великий князь все не верил, все мнил себя, не допускал мысли, что за год с небольшим все порушилось на севере, не могло

того быть. Потому и решился сам пойти походом, тайно, хоть и негоже то было, не княжеское то дело — князю или в прямой бой «на вы» идти, или в тереме сидеть, но уж не примериваться, что да как. Но смирил Крон гордыню. Дело важнее было гордыни его. Олена прикрытием поставил — и прошел с дружиной двенадцать переходов по Донаю — семь застав порубили да пожгли, два городца на копье взяли, штурмом. Только добычу за собой не тащили. Не золото-серебро для Великого князя добыча, а разведанье сил соседа, противника будущего. Мысль-спасительница завладела Кроном, когда увидал воочию все. Надеждой воспылал. Сомнения прочь ушли. Теперь в его воле большим ратным походом скрепить силы Державы своей: сильных и верных еще приблизить, воодушевить, делом единым сплотить, а слабых да подлых наказать безжалостно, как во время мира не покарнешь. Походом великим влить новую веру в люд подвластный, новых сил дать ему, надежд. Общее дело всегда крепило народ. Вот и теперь скрепит, оздоровит, излечит! Да, так и должно быть, так и будет, Крон верил, точно знал! Но не только общее дело. Еще и другое кое-что... В войне с Севером кровь их родов очистится, заиграет с новой силой. Но северяне лишними не станут. Крон знал нравы и обычаи северных русов — суровых, неприхотливых, честных, прямых, любящих во всем ряд и справедливость. Он станет их Великим князем. И они примут его — как победителя, по праву крови и силы. Они подчинятся ему... И вот тогда... Вот тогда он пошлет их дружины, их рати на запад, восток и юг. И они мечами своими, честью своей и правдой своей восстановят порядок повсюду, они скрепят железными дружинами земли Державы бескрайней. И не в пропасть черную канет она, а возвеличится и упрочится на земле... Да будет так!

Крон гарцевал на сером неказистом жеребце, будто ему было двадцать лет. Никогда он не чувствовал себя столь молодым, сильным и жаждущим боя. Все, хватит набегов. Пора возвращаться. Пора собирать большое войско, да не одно, пора приступать к великому делу, к подвигу воинскому и державному.

Олен ехал на черной кобыле чуть впереди. Не

оглядывался. Знал, что лучше ему князя не замечать, пока сам знака не подаст. Ехал, закинув за спину позлащенный шелом на ремне и думал думу горькую: сколько богатств оставили, сколько добычи бросили, эх, совсем Князь великий ума-разума лишился, пора бы ему замену себе подбирать... сколько сокровищ, эх! Не понимал этого Олен.

Но совсем растерялся он, опешил, когда что-то тяжелое круглое ударило в грудь, прямо в зеркало чеканное. И отскочило, упало под копыта коню посреди тропы лесной, широкой. Оглянулся на одну сторону — стволы да кроны багряные, на другую — кроны да стволы, кустарник пожухлый, трава. А тут еще взлетело вверх... упало рядом.

— К бою, братья! К бою!!! — заорал во всю могучую глотку темник.

С обеих сторон разом, прикрывая, подскакали воедружинники, в тройное кольцо взяли Олена с ближними, с князем, укрылись за щитами червлеными, ошетинились копьями и мечами.

Олен нагнулся, пригляделся.

— Головы, — прошептал кто-то сзади, один из хранителей, — вон та Скурата Длинного, а эта — Улева. Посек кто-то!

— Посек, мать твою! — озлобился Олен, хотел ткнуть говорившего в лицо, уже кулак в кольчатой перчатке поднял. Но опешил.

Прямо на него глядели пылающие зеленым огнем глаза Крона. Они светились из глазниц личины, будто там горело пламя неведомое.

— Дозор это, доглядные наши, — пояснил кто-то с другой стороны. — Там еще четверо были...

Все поглядели разом на стволы деревьев, вверх, будто ожидая, что вот сейчас оттуда вылетят и падут еще четыре головы. Но случилось неожиданное — с двух сторон ударил град стрел. Нападение было внезапным. Ведь ехали по своей земле, не ждали пого-ни.

Трое воев упали с коней. Их места заняли другие.

Крон молчал, хмурился, кусал губы. Дурной знак — срубленные головы в пыли под копытами.

— Засада! — закричал темник. — Браты, не робей!

Запыхавшийся вой остановил лошадь подле Крона. Но выкрикнул Олену, вперед:

— Позади сила вражья!

— Сколько? — ощерился Олен.

— Больше сотни, дале не видно за лесом, может, и две, три.

— Может! — темник заскрипел зубами, но сдержался. — Где задние доглядные были, где застава, олух?!

— Побили всех, — тихо ответил вой, — головы на рожнах держат — девять голов, одна к другой. Сотник Черн спрашивает, что делать. Он развернул сотню, хочет отход прикрывать...

— Прикрывать, мать твою! — разъярился пуще прежнего Олен, тыча под нос вою плеть, — ты гляди вперед, гляди!

Лесная тропа впереди была перекрыта конниками — только трое умещались на ней в ряд, неширокая была тропа, но за ними посверкивал шеломами целый лес голов. А стрелы, не столь густо как в первые два раза, но продолжали падать, бить, вырывать из рядов то одного, то другого дружинника. Положение складывалось незавидное. Олен насупился, опустил тяжеленную до груди личину бронзовую, волчью. Достал меч огромный, положил поперек колен, сгорбился.

Все смотрели на него. Молчали.

— Будем выжидать, — наконец процедил Олен, — как пойдут на нас, отбиваться станем. С божьей помощью отобьемся...

— Браты! — вдруг прогремело рядом.

Серый жеребец взвился на дыбы. Ближние к темнику невольно отпрянули. Кони заржали испуганно.

— Браты! — Крон сдернул шлем, тряхнул им над головами и забросил далеко вперед, на тропу, будто пренебрегая вызовом смерти. Вылетевшая из-за стволов стрела с черным оперением с силой вонзилась в кожаное оплечье доспеха, затрепетала. Крон не стал ее выдергивать. Он резко откинул голову назад — огненно-седые волосы рассыпались по плечам, в лесу будто светлее стало от этого, будто малое солнце вспыхнуло. — Вперед, браты!

Со всех сторон раздались возгласы:

- Князь!
- Великий князь с нами!
- Чудо! Господь Род прислал нам спасение!!!
- Вперед, братья, с нами всемогущий Крон!

Натиск был безумен по своей мощи и смелости. Их на самом деле поддерживали боги-предки. Задние еле успевали за передними. Но каждому казалось, что он видит сверкающее рыжее солнце огненных волос впереди.

Сам Крон видел, как летят в его лицо стрелы, дротики-перуны, копья. Но он несея вперед — один, опережая самого быстрого из своей дружины на два конских туловища. Он отбил сверкающим стальным мечом три копья, увернулся от перуна. И врезался в гущу противника. Теперь пришел черед слетать чужим головам. В сече Великий князь был холоден и расчетлив, но вместе с тем яростен и необуздан. Опомнившийся Олен настиг князя в гуще битвы, среди множества живых и мертвых, но еще не упавших на землю тел.

— Держись, батюшка! — завопил он блажным голосом. И перерубил пополам сразу двоих. Олена трудно было раскатать, но и он не был трусом. И он знал, что когда врага числом больше, когда он везде и повсюду, спасти может только смелость и воля. — Братья! Великий князь с нами! Опр-а-а!!! Мы давим, ломим!!! За мной!!!

Крон сек направо и налево, не щадя рук. Два меча сверкали подобно двум молниям. Щитов он не признавал. Владел одинаково прекрасно, что левой, что правой. Но и он успевал замечать растерянность на лицах воев-сопротивников. Он не сразу даже понял причину их растерянности — и они не ожидали узреть своими глазами Великого Крона, властелина полумира и самого полубога. И вот этот полубог, будто снизошедший с небес, двумя разящими молниями карал их. Они били, кололи, рубили... Он опережал их, прокладывая посреди тропы лесной тропу кровавую, страшную. Стрелы пронзали, губили людей. Палицы дробили черепа. Копья прошибали груди. Мечи разрубали плечи, отсекали руки и головы. Но Крон был словно заговоренный — ни копья, ни мечи, ни палицы, ни стрелы не брали его.

И он первым пробился сквозь гущу засады. Первым повернул вспять. И ударил в спины. Он не дал остановиться своим людям.

— За мной, братья! — закричал он победно и дико.

И помчался на выручку сотнику Черну, помчался назад, через нагромождения конских и людских тел.

Задняя сотня держалась стойко, отбивалась из последних сил. Северяне напирала на нее — и не только числом, но и умением. Это были опытные вои.

Огненноволосый Крон с лету изменил направление сечи. Вои Черна расступались в немом изумлении, пропуская вперед серого жеребца с его царственным седоком.

— Князь! Великий князь!

— Он с нами!

— За ним!

— За мной, братья!!! — яростно выкрикнул Крон.

Не меньше двух десятков стрел торчали из его доспехов, обгаренных горячей кровью. Казалось, что и лицо его было алым от нее, и волосы. За князем следовал сам бог войны. И его необузданный и всепобеждающий дух вселялся в сердца и души.

— Победа-а! Вперед!!!

Бой был короткий и лютый. От сотни Черна осталось не больше двух десятков. С Оленом подоспело на подмогу около трети его воев. Враг был сокрушен — начисто, беспощадно. Никто не считал погибших северян. Но их было много, очень много.

В боевом запале Крон проскакал по тропе к Донаю еще четверть перехода. Лес был чист. Дружина, чуть больше сотни, все, что осталось от «тьмы» Олена, скакала за ним. Лишь малая горстка осталась с ранеными, увечными.

А когда Великий князь развернулся, вздыбил своего серого коня, все увидели, что доспехи на нем избиты и изрезаны вдоль и поперек, тело иссечено, лицо покрыто ссадинами и порезами. Но глаза князя горели неземным огнем, грудь тяжело вздымалась. И столько из него исходило силы и мощи, воли и яри, что все невольно застыли, отпрянули.

— Братья! — выкрикнул Крон, приподнимаясь в стременах. — Засада сия и сеча смертная были нам

великим испытанием, посланным от отца нашего Рода! Ничего не бывает просто так. Верно я говорю?!

— Верно! Верно!! — отозвались десятки голосов. Грохом ударили рукояти мечей по щитам.

— Испытание стало нам знамением добрым! — Голос Великого князя зазвучал торжественно и трубно. — Мы одолели врага, преобладавшего числом, напавшего внезапно, из засады. Одолели на своей земле. Но теперь мы пойдем на него не малой дружиной, а великой ратью. И одолеем его раз и навсегда на его земле! Великому походу на Север быть, братья!

— Быть! Быть!! Быть!!! — прогрохотало над лесом.

Крон разом видел десятки горящих глаз, одержимых страстью лиц. Теперь никто не сомневался! Теперь все были заражены его верой, его волей, его силой. Они, и тысячи других, пойдут за ним хоть на край света. И это движение станет началом, первыми ступенями лестницы его величия. И величия вверенной ему Родом Державы.

Дона выводили в сад на краткий час, раз в неделю, по велению князя. Хоть и узник, но сын родной. Прежде Дона берег от его собственной лихости сам Кей на пару с братом. Хотт с Оврием приглядывали, чтобы в случае чего на помощь придти. Здоров и крепок был Дон — мечом бить его запрещено, копьём колоть нельзя, голубая кровь, Кронов отпрыск — только завалить если, оглушить, руки скрутить, заломать... так для этого дела четверых может мало статься, даже крепких и дюжих. Выпуклыми буграми перекачивались каменные мышцы под белой, не знающей солнца кожей Дона. Такой и медведя оборет, и льва, человек-скала. Не любил Кей того дня, когда выводить приходилось Кронида на прогулку — не только силен, но нравом дерзок, трижды прикладывал руку к стражникам, за грубое слово и недобрый взгляд, не терпел пренебрежения, мечтал, видно, о троне отцовском, себялюбие тешил. Потому-то сам Кей, когда привык к новенькому в своей дружине охранной, как пообвыкся с ним, так и доверил Зиве-дикарю муторное дело — такой и один управится с человеком-скалой, как раз ему пара. Правда, к бывшему немому Кей приставлял брата младшего Скарга, да и Хотт с Оври-

ем всегда были наготове... Переживал поначалу Кей, потом свyksя — ну куда бежать Дону, некуда, везде дозоры, повсюду заставы, не выберется он из нетемной темницы — той страже, что у самого терема великокняжеского стоит, дан наказ рубить в ремни каждого, кто осмелится мимо прошмыгнуть... а мимо них не проскочишь!

Жив сам растерялся, когда ему доверили эдакое дело. Но виду не подал. Только приглядывался поначалу к брату старшему, заматеревшему, огрубевшему в неволе, но не утратившему царственной осанки.

Дон не признал в огромном стражнике родной крови. Только смерил взглядом с ног до головы, когда увидел впервые — силен, могуч, высок, на полголовы выше... но молод, такого можно свалить неожиданным ударом. Дон ждал только часа своего, звездной минуты. И Жив сразу понял это. Брат живет одной мыслью — о свободе! Да и по саду не гуляет, расслабляясь душой и телом, а все присматривается, приглядывается, примеривается, как и куда сподручнее... Жив давал Дону волю, не ходил по пятам, да Скарга придерживал — их дело не вести за руки Кронида, а быть постоянно меж ним и выходом наверх, в лаз потайной из нетемной темницы, в ход заветный.

Давно утихла в груди Жива неукротимая ярость, злоба на отца, на батюшку Крона, пришло спокойное понимание жизни... и его, Жива, места в этой жизни, в грядущем. Нет, не собирался он сидеть сложа руки, плестись в хвосте у Доли коварной и изменчивой, знал, что делать будет. Но не было жажды слепой, жажды мести. А вот старший братец не охладился в темнице за долгие годы, Дон пылал лютой злобищей к Крону, ненависть переполняла его, кажется, дай волю — разорвал бы отца голыми руками на части и собакам скормил бы. Жив все видел, все понимал. А еще он видел на шее у Дона пятнышко малое, родимое. Точно такое же было и у него самого, под ошейной гривной защитной. Точно такое же было по сказам Ворона у матери Реи, у матушки покойной. Многих повидал за последний год Жив, многое узнал. Жалел Айда, высохшего и несчастного, утратившего волю к жизни — тоже брат родной. Любовался дважды Гостией, Гостюшей,

сестричкой милой — такая и в неволе всем отрада. Но пред глазами стояла одна-единственная, будто и не узница, будто хозяйка узилища... Впервые узрел ее, когда с Доном выгуливаться разрешили.

Дон тогда гулко шлепнул его тяжелой ладонью по броне нагрудной, улыбнулся криво, просипел сквозь зубы:

— Здоров, мальчуган! — И добавил, сурово глядя в глаза: — Быть тебе в войске моем сотником, а то и темником, как там тебя, э-э...

— Зива, — подсказал Жив.

— Странное имя, — проговорил Дон будто про себя, — не наше.

Жив смолчал. Шел поодаль, не утомлял навязчивостью стражника. А Скарг уже сидел на скамеечке меж кустиков и камней, болтал с девицей кареглазой, смеялся. Жив знал девицу, ее приводили в подружки княжнам заточенным, чтоб не скучали. Падкий Скарг был до красавиц, про дело помнил, оглядывался, косил глазом, а сам ус рыжеватый подкручивал да в любезностях рассыпался, норовил поближе губами к ушку розовому дотянуться, шептал горячо нежности... Жив не прислушивался, не его дело. Да и недолго то было — синеглазая девчушка стрелой выскочила из-за стволов тонких, из-за цветников, ухватила подружку за руку, увлекла куда-то, к озерцу, наверное. Только по Живу взглядом скользнула, с глазами его встретилась своими васильковыми очами — и будто перетекла вся из своих глаз в его. Убежала прочь... и осталась в нем. Замер Жив истуканом каменным.

Старший братец сам ткнул его в спину кулаком.

— Нет, служивый, не доверю я тебе сотню, — рассмеялся тихо, — проспишь ты ее, проворонишь!

Жив обернулся, поглядел на Дона в упор, будто не видя его, насквозь, все еще падая в синь бездонную, промолчал.

— Ладно, ты не теряйся, — добродушно успокоил Дон. — Давай-ка, служивый, силой с тобою померяемся. Или слабо тебе?!

Жив стряхнул оцепенение.

— Не положено, — ответил коротко.

— Ух ты какой! — Дон отступил на полшага, оценивающе приглядываясь к стражнику, пре-

зрительно кривя губы. — А ежели я вот так?!

Он резко взмахнул левой рукой у самого носа Жива, и неожиданно и сильно толкнул его правой в плечо, наступив на ногу. Жив невольно ухватил обидчика за туловище, обеими руками, сдавил, приподнял. И тут же две мощные ноги, согнувшись, уперлись ему в грудь — Дон вырвался из объятий, отскочил и, перевернувшись через голову, встал на ступни, подогнул колени, готовый к борьбе. А Жива отбросило назад, он еле удержался — старший брат весил не меньше быка-полутонна. Хотел было ринуться на него, попытать силы... Но преломил себя, заставил смириться, положил ладонь на рукоять меча, давая понять — он стражник, для охраны присланный сюда, а не для забав и потех.

Дон тут же выпрямился. Рассмеялся. Он был доволен собой и, судя по всему, большего ему уже не требовалось. Он лишь подошел ближе, хлопнул служивого по плечу — снисходительно, по-княжески. Сказал:

— Нет, быть тебе все же сотником, Зива! И ты им будешь, помани мое слово. Все изменится. Все очень скоро изменится!

Молчавший и несводящий стального взгляда с Дона Жив при последних словах неожиданно кивнул.

Дон не оставил незамеченным это невольное, а может, и вольное движение, он подступил вплотную, сдавил плечи стражника, пристально заглянул в самую глубину глаз, в самую глубину души... и все понял. Там был ответ. Да, скоро, очень скоро все изменится! И не надо лишних слов. Этот служивый думает о том же, что и он. И Хотт с Оврием думают так же — Дон сблизился с обоими за последний год. Они были невиновны. И они не желали гнить в темнице вечно, даже ее стражами. С Хоттом Дон говорил прямо, не таясь. Бывший сторукий уже перестал ждать и надеяться... Да, каждый начинал осознавать, что не для того Великий князь бросил их в поруб, чтобы потом на белый свет выпустить, не для того! Но ведь они не могли почти ничего. не было у них ни сил, ни власти. А Крону достаточно произнести одно слово — и неминуемая смерть настигнет их, будь то меч стража или нависшие над головами глыбищи.

И Жив не солгал Скилу, когда отшутился, что, дескать, живет со своими мыслями и думами, они его жены первые и пока единственные. Конечно, были у него после Веши и другие девушки, женщины — как воли немного получил после проверок да испытаний, как приняли за своего в дружине Кея — стал ходить в поселения, на игрища, на плясы-хороводы. Негоже было отличаться от прочих, подозрения вызывать. Любил красавиц разных — ночью ласкал их, днем и не узнал бы, наверное. Но подлинными женами — были думы его. Столько разного, светлого и черного, поверхностного и глубинного было передумано за годы, как со Скрытня уплыл, что и передать невозможно. И все одно ум занимато. Его доля ряд восстановить, справедливость. Но не мстить при том — это еще давно понял. Не мстить. но судить. Все решил, все продумал, просчитал наперед... И вдруг эти глаза синие, эта бездна васильковая. Безумие! Он переставал видеть мир, терял рассудок, когда глазища резвой и взбалмошной девчонки загорались пред его мысленным взором. Да, она вошла внутрь него, перелилась колдовской сутью своей. И он, могучий, закаленный, повидавший столько тягот и радостей в жизни, бессилен перед ней.

Он видел ее еще дважды. И снова взгляды их сливались в единое. И он немел, каменел. Она была совсем девочкой, едва достигавшей своей золотоволосой головой его груди. Она была крохой в сравнении с ним. Но она властвовала над его душой, его сердцем — властвовала, не произнося и единого слова. Он не мог сам подойти к ней. Он знал, что это будет концом всего — и надежд и стремлений, его тут же выставят наверх, а может, и вовсе прогонят из дружины охранной. И она не подходила, и она знала, что под приглядом. Жив хотел уже было сам отказаться от права приходить сюда, упросить Кея дать иную службу, ближе к Великому князю. Ведь хранил он покой его в верхних теремах, один среди других, но имел доверие... Нет! Не было сил у него на такую просьбу. Жив ждал.

И дождался. Хотт, с которым перебрасывались доселе недомолвками и намеками про волю и неволю, про жизнь узилищную для обоих для них, подошел как-то раз, шепнул:

— Сегодня она будет в саду, подойдет к тебе у озера, за валуном. Милка отвлечет напарника, заманит его на травку, она давно уж без ума от него, боялась все. Дон вам не помешает...

Жив уставился пристально в изуродованное шрамами лицо сторукого бывшего. Ему открывалось все больше, они заодно, они все заодно. Значит, жены его верные, мысли потаенные, верны ему, значит, правду говорят обо всем — приближается час заветный.

— ...только меня не выдавай. Иначе смерть. Бабу Ярину в келье оставим. Оврий приглядит, и я на дозоре встану. Ну все, Зива! — Хотт обернулся испуганно. Но тут же добавил: — Эх, дурит княжна. Моя б воля...

Он не договорил. Сник под прожигающим взглядом, понял, что Зива не позволит говорить лишнего про нее, синеокую взбалмошную девчонку с недевической ярью в сердце.

Дон. и впрямь, в этот раз ушел к краю обрыва, к огороженной пропасти. Застыл на черном валуне таким же валуном, только сплетенным из жил и мышц. Уставился в серый просвет неба. Окаменел.

Скарга и след простыл. Только откуда-то из кустов доносился приглушенный смех его и девичьи повизгивания, шуршание.

— Ты и впрямь дикарь?! — неожиданно прошелестело за спиной у Жива. И легкая холодная ладонь коснулась его локтя, неприкрытого наручем.

Он вздрогнул, медленно повернулся к ней.

Яра подкралась тихо, змейкой. И стояла сейчас меж двумя кустами с диковинными голубыми цветками, каких Жив нигде не видывал кроме этого странного сада.

— Тебя поймали в горах, на Скрытне? И ты не умеешь разговаривать по-нашему? Ты только рычишь и кусаешься?! — она улыбнулась, обнажая ровные белые зубы.

— Я не рычу, — ответил Жив пересохшими губами. — но укусить я могу... даже княжну.

— Ну так сделай же это быстрее! — Она подошла вплотную, невысокая, стройная, хрупкая девочка, ребенок, задрала голову вверх, глядя на него влажными, приобретающими бередающий душу лиловый оттенок,



глазищами. Положила обе ладони на его грудь в панцире. Встала на цыпочки. — Укуси меня, дикарь!

У Жива начали подгибаться ноги. Ребенок. Она совсем еще ребенок! Золотоволосая, глазастая кукла в шелковой кисее, во всех этих ненужных украшениях, в золоте, парче и жемчугах.

— Укуси!

Он подхватил ее словно пушинку. Поднял. Прижал нежно и бережно. И впился губами в ее алый рот. Это было сказкой, невозможной, чудесной, волшебной сказкой, о которой он и не мог мечтать. Но это было, это случилось! Он опустился вместе с ней в густую траву. Ощутил горячими и сухими ладонями ее упругую и трепетную грудь, скользнул ладонями по тонкой, осиной талии, к полным и жгучим бедрам.

Он целовал, целовал, целовал ее. И не мог насладиться этой сладкой, дивной и юной кожей. Девочка! Жив уже не понимал, что делает. Она же совсем девочка! Дите! Он падал в синюю бездну, в васильково-фиолетовый омут, он задыхался от терпкого духа ее светлых и чистых волос. Он уже был в райских, небесных кушах, он предчувствовал блаженство невиданное и дивное, он весь был в ее власти... когда она оторвала свои губы от его губ, уперлась руками в щеки, потом в грудь.

И тяжело, теряя дыхание, прошептала:

— Нет! Не сейчас! Потом... Когда ты свершишь то, что задумал!

Жив замер. Его будто молнией пронзило. Откуда она знает, что он задумал?! Это бред какой-то, этого не может быть. Или она сумасшедшая или... колдунья! Он нависал над ее телом, утонувшим в высокой и густой траве, он смотрел в полуприкрытые глаза. И ничего не понимал.

— Ты сделаешь это, — прошептала она чуть громче, будто приказывая ему, огромному и всесильному в этот миг, нависшему над ней горой распаленной и жаждущей любви плоти, горой стали, силы и воли. — И вот тогда я буду твоей, навсегда... Запомни это — навсегда!

— Навсегда?! — обескураженно повторил Жив.

Она промолчала. Ответ горел в ее полных сдержанной яри глазах. «Навсегда. Именно так, на все времена, пока

будешь жив. На век твой человеческий и век...» Жив неожиданно ощутил себя чем-то большим, чем он был на самом деле. Он увидел такую даль, что голова снова закружилась.

И все же он нашел в себе силы подняться, взять ее на руки, еще раз коснуться губами ее губ. Он отнес ее к узорчатой лавочке у валуна, под густую крону. Бережно опустил на сафьян. Сам встал рядом, на коленях.

Она запустила тонкие пальцы в его короткие еще, светлые волосы, шаловливо перебирая прядями, улыбаясь.

— А ты не такой уж и дикий, Зива, — сказала она, — ты мог съесть меня, проглотить... и не съел. Хотя нет тебя сильнее никого на белом свете и бесстрашнее. Ты ведь чувствуешь то же, что и я, правда?

— Да, — ответил Жив. — И я не сильнее тебя, ты знаешь это. Я люблю тебя, как никого не любил прежде... и никого уже не полюблю потом!

— Не зарекайся, — Яра еле заметно улыбнулась, будто предвидя в будущем то, что еще недоступно было его сердцу.

Он положил голову ей на колени. Зашептал:

— Ты девочка! Ты княжна! А я... простой стражник, дикарь. горяк, подневольный и смертный...

— Молчи! — она резко сжала в кулаке светлую прядь, дернула. — Молчи! И хватит играть в эту игру... Отвечай, кто ты? Я сразу поняла — ты не дикарь! И не стражник! Я сразу поняла, что ты пришел сюда за мной! Ты один, кто может вызволить меня отсюда, кого я буду любить всю свою жизнь! Кто ты?!

— Я брат твой сводный, — еле шевеля губами, ответил Жив. И поднял голову заглянул ей в глаза — изнизу, с болью и страданием.

— Брат?!

— Я сын великой княгини Реи. Меня не убили, как говорят... Я Жив.

— Ты жив?

— Я Жив. Так меня зовут. А ты Яра, дочь Заревы и Крона. У нас один отец.

— Молчи! — она прижала его губы ладошкой. — Молчи... твой отец не Крон. Это знаю даже я, твой отец пришел с Севера... за это и мать твоя, великая

Рея, тень Всесущей Богини на земле, умерла лютой смертью. Мы не брат и сестра, нет!

Жив почувствовал, как горячие слезинки обожгли кожу его щек. Сердце сжалось, горло сдавило набежавшей судорогой. И она знает обо всем, и она... Все все знают.

— Не плачь!

Яра припала губами к его щекам. И Жив ощутил, как его слезы мешаются с его слезами. Она плакала. И неостановимо целовала его, прижимая голову к груди, будто укрывая могучего и всесильного, слабого и беззащитного ото всех напастей грозящего им бедами и тревогами света.

— Это сплетни все, это легенды, Яра, — наконец выговорил Жив, — Крон мой отец, родной отец. Все прочее выдумки! И я пришел не только за тобой. Я пришел воздать должное... каждому! По делам его! Понимаешь?

— Да, — она ответила сразу, с такой верой и горячностью, что его бросило в жар. — Я верю тебе. Так будет. И ничто для нас не имеет значения, если мы любим друг друга. Ничто, правда?!

— Правда! — ответил Жив.

— А теперь уходи..

Жив поднялся с колен. Встал в полный рост — сильный, ладный, царственный даже в одеянии стража.

— Я скоро приду, — сказал он.

— Знаю.

— Совсем скоро!

Он всмотрелся в Яру. И увидел... нет, узнал. что и его часть перелилась в нее, что он там, в ее сердце, в ее душе. И что они на самом деле неразрывны отныне и на века. А райские куши, дивное наслаждение и беспредельное счастье еще будут, все впереди, надо лишь не раствориться в них прежде времени, не потеряться до срока. Ибо срок близок. И они оба знали это.

Двенадцать дюжин человеческих черепов*, торчащих на

* До I тыс. до н. э. у русов, позже у славян, сохранялся обычай хранить черепа сраженных в бою врагов. Считалось, что они придают силы победителю и отгоняют злых духов. Кроме того, оскаленный череп один из основных атрибутов «гневного бога» Копола-Аполлона, покровителя русов-гипербореев, их вождя и отца.

черных высоких кольях, обрамляли Священную Поляну. Восемь костров высоких вздымали языки пламени к небу, образуя восемь лучей пресветлой восьмиконечной звезды Матери Лады, Великой Богини и Богородицы. По три волхва застыли с воздетыми руками вокруг каждого костра. Багровые блики играли на валунах, замыкающихся в кольцо. Никто не сидел на них в ожидании княжьего слова, лишь стояло на каждом пошелому, по чаше с терпким легким медом, да лежали мечи со щитами — после этой короткой ночи щиты и шеломы станут непробиваемыми, мечи нещадно разящими, а мед вольет кровь самого Копола в жилы воевод. Гневный и радостный бог-отец, своим могучим и легким сыном снизошел в их вожда, в их князя. И теперь Куп стал самим Кополо — живым богом на земле. Воеводы лежали ниц пред огромным и плоским валуном, на котором стоял гневный и радостный, пресветлый сын божий. Они лежали с закрытыми глазами, но они знали, что именно теперь, сейчас, ведуньи-волхвицы подводят к кострам юных дев — числом восемь. И что стекается по краям поляны огромное, бесчисленное племя, горят тысячи лиц, и не только от лежащих на них огненных бликов, горят огнем внутренним, изжигающим душу. Богородица Лада ждет. И Род-батюшка ждет. И Кополо-стреловержец и сказитель тоже ждет. Нет, им не нужна кровь. Им не нужны жертвы. Ибо не изверги они и не людоеды, не чудовища, пожирающие двуногих. Лишь воли их ждут боги, коим имя общее Единый Бог, Непроизносимый и Всемогуший. Прежде, чем даровать свою благосклонность и покров во всем, знать должны — кому даруют — сильным духом и телом, или же страждущим и мятущимся, слабым и неспособным. Нет, всемогушим ничего не надо от детей их, от люда, обретающегося на земле, в лесах и полях, в горах и на водах. Ибо отцы и матери с сыновей и дочерей не жаждут иметь ничего, кроме веры в них. Ибо люди верят в богов своих. А боги верят в людей, в сынов своих. Но верят лишь в сильных... слабых жалеют и утешают, но не верят им и не верят в них. Сильный род, сильное племя не жалеет себя, преодолагает недуги и слабости.

— Мать Лад Небесная, услышь нас!!! — разом воскликнули жрецы.

— Услышь! Услышь!! Услышь!!! — многим эхом отозвалось отовсюду, будто сам вечный лес пробудился тысячами голосов.

Куп-Копола стоял неподвижно, смотрел в черное небо. Его белокурые длинные пряди развевались по ветру, словно охваченные инеем, но не скованные им, а живые. Куп знал, что восемь молодых жизней, которые могли бы дать еще дважды и трижды по восемь жизней иных, оборвутся этой ночью, вот сейчас, и сердце его совсем не заledenевшее было пронзено болью невыносимой. Он один мог остановить начавшееся. Но он и не мог сделать этого. Копола услышал его, послал на Юг — своей всеразящей стрелой послал. Значит, он был прав в сомнениях и тревогах. Значит, душа не напрасно билась и страдала в груди его. Он должен идти на юг. И он должен принести эту жертву. Не им заведено. Не им поставлено в ряд вечного Хоро жизни. Не ему и менять полученного от пращуров. Надо терпеть. Ибо каждому своя доля. Они, там вокруг, думают, что он каменный, всесильный и всезнающий. Не ведают они, доверившиеся ему, что с большей легкостью ступил бы в пламя костра вместо дев юных, чем стоял бы здесь. Но надо стоять. Боги проверяют его. И слабым они не помогают.

— Род Небесный, Отец Всевышний, узри нас!!!

— Узри! Узри!! Узри!!!

Валун поплыл под ногами, сдвинулся, задрожал... Но Куп-Копола не шелохнулся. Это слабость. Это нави-преты испытывают его крепость. Да! Сейчас волхвы взовут к юношам... Но он не юноша, он муж. Он вождь! Он князь! Он бог!

— Внуци наши, дети пречистые! — обернувшись каждый в свою сторону, взмолили волхвы седые в белых одеяниях. — В вашей воле вызволить дев, вызвавшихся смерть приять за род. В вашей воле взойти на костры во благо наше, смертью смерть поправ и жертву принеся искупительную. Придите же!

Сотни светловолосых крепких и гибких парней в одних белых рубахах выступили вперед, резво бросились к кострам, прыгая сквозь страшный тын с оскаленными

черепами. Но лишь четверым из них волхвы старшие возложили руки на плечи.

— Возлюбленные чада наши! Господь призывает вас, ибо любит!

Да, четверо юношей и четверо девушек. Счастливы! Они не будут страдать, они уйдут прямо сейчас в радостный и светлый вырий, в Дворец Велеса, к лучшим из лучших их рода. И они докажут, что оставшееся в жизни земной племя имеет право на эту нелегкую, мрачную и злую жизнь. Они, лучшие и чистейшие из этого племени.

— Бог наш всемилостивый и всеблагий, Род-отец! Богиня всепрощающая и дарующая блага, Лада-мать! Они идут к вам!!!

Воеводы встали одновременно. Повернулись к кострам, шуря от яркого огня глаза. Волхвы вешали на шеи юношей и дев свят-обереги. Ведуньи подносили чаши со смертным отваром... Это были последние миги. Последние видения для уходящих из ускользающей жизни.

Они сами восходили на костры. И пламя принимало их, живых и трепетных. Оно охватывало светлые тонкие тела, и, казалось, взлетало вверх вместе с ними, к еще черным небесам... и со снопами уходящих ввысь искр небеса начинали просветляться.

Скорей! Скорей!! Молил Куп про себя. Даже его беспредельные силы, его воля твердокаменная, стальная были на исходе. Каждым нервом своим ощущал он боль смертную мучеников, объятых пламенем. И взлетал к небу с ними искрами, снопами света. Он чувствовал сразу все, что чувствовал по отдельности каждый стоящий за тыном, каждый воевода, каждый волхв с ведуньей. Все силы их душевные и телесные, извергаемые в этот ослепительный, мучительный миг, всю эту человеческую и нечеловеческую мощь он принимал в себя. И рвался к небу преисполненный мощью рода. Рвался к Роду... И к Нему, к своему Небесному Брату.

— Сияющий, кипящий всеочищающим гневом в огнях и пламени! Стремительный и Всепобеждающий свет мира нашего! Великий Воин, поющий песнь Жизни! Солнцеликий Бог наш Копола, явись к нам! — взревели громогласными голосами волхвы — в изнеможении, из

последних сил, падая на колени и воздевая руки.

Последней изнурительно-сверкающей, необузданной ярью взметнулись языки пламени к просветляющимся небесам, огладили их своим светом, облобызали... и сникли, отдав души чистые и ясные Небу, опустились к черным угольям и останкам тел смертных.

И воздели высоко чаши свои воеводы. Но прежде, чем первый луч восходящего солнца озарил Священную Поляну со всеми стоящими на ней, он коснулся своим обжигающим золотом седой, заиндевевшей головы Купа-Копола, возвышающегося на валуне, растопил иней, согнал седину, превратил взметнувшиеся нимбом волосы в огненные лучи восходящего солнца.

И стало светло.

Заиграли блики радостные на чашах, на лицах. Осветили их добрые и чистые улыбки. Восторженный ропот прокатился по кругу над Поляной, перерос в гул ликования. Воеводы пили меды терпкие и священные, пили кровь солнечного бога, царившего над ними — они становились его лучами, его руками, его пальцами, его силой и его властью. А вслед за ними наполнялись небесной, солнечной силой и ярью все русы, от мала до велика, от волхва до мальчика, которого привела мать, не убоявшаяся холода и страха зимней навьей ночи. Солнцеликий прогнал все страхи, все немощи и туги.

— Сыне Божий! Кополо! Ты с нами!!!

Ликование перерастало сам лес, вечный и не имеющий краев. Племя возвращалось к Жизни, становясь еще сильнее, добрее, живучее... И оно жаждало Жизни, жаждало свершений. Озаренные солнечными лучами стояли тысячи грозных и добрых душой лесных воев. И не хватало им Поляны. Не хватало Леса. Не хватало Мира Поднебесного... Много люда на свете белом, неслитано и не меряно по пустыням далеким, рекам, морям-окиянам, долам горним... Но только с ними Солнцеликий, способный даровать жизнь и забирать ее. Вот он — в Небе и на земле!

— Я с вами, дети мои! — выкрикнул что было мочи Куп-Копола. — И вы со мной и во мне!!! Мы пойдем на Юг, ибо пришел наш час! И не будет нам преграды! И отец наш Род, и мать наша Лада, и прашуры наши Яр и Борей со всеми отцами и прадедами нашими

пойдут с нами! И те, кто останется, будут хранить наши жилища и земли здесь! Ибо мы вернемся! Вернемся еще более сильными! И одно солнце будет надо всем миром!!!

Куп знал, что многие гонцы, разосланные воеводами, уже близки к вежам своим и родам, что не пройдет двух лун, как и с востока и с запада всего мира северного начнут стекаться рати воинские. Но он не говорил об этом людям своего рода. Он знал, что они верят лишь в себя и в него, а братья им подмога.

День был ослепительным, сияющим. Таких давно не было, еще с лета, с великого стояния Кополы, когда самое долгое время светлое над лесами и поймами Севера. И это был знак. Копола вошел в него... Еще раньше, чем он взошел на небо. И это знали волхвы. Это знали воеводы. Это знали все. И если прежде Куп был князем и тенью своего покровителя небесного, то теперь он уже не принадлежал себе. Теперь его судьба и жизнь были в руках отца его Рода. И он знал тайну волхвов и тайну прашуров — отцом-Родом, Всемогущим и Всеблагим, Единым и Единственным, был его род — род русский.

— Не разговаривать, не положено! — нарочито сердито потребовал Скарг и набычился, уставился на Дона немигающим взглядом. Сегодня брат Кея получил поворот от ворот, кареглазая Милка отшила его за милую душу, упорхнула куда-то, вот Скарг и был не в духе.

— Ты на кого голос повышаешь, — тихо, но грозно выдавил Дон. И тоже окаменел, готовый в любой миг сломать шею наглецу-стражнику. С Доном шутки были плохи, неуважения к себе он не терпел ни от кого.

Скарг начал медленно, не спуская холодеющих глаз с узника, вытаскивать из ножен меч. Он тоже не слишком любил шутки: не в меру разошелся княжич порубный, в полный голос, на весь сад похвалялся, что обоих их уложит без оружия, придавит как котят, бахвалился, потешался, издевался, будто они узники бесправные, а он хозяин их судеб.

— Спокойно!

Жив встал между ними. Но лицом повернулся к Дону, чуть глазом моргнул — тот заметил.

— Прогулка закончена, хватит на сегодня! — сказал он громко, больше для Скарга, чтобы тот охладился, понял бы, что не время и не место с узником гордыней меряться. — Пошли! — Он указал головой на выход из сада.

И Дон, тяжело вздохнув, послушался, переступил с ноги на ногу, повернулся к ходу в темницу.

— А ты стой, подыши, — бросил Жив напарнику, — я сам сведу, никуда он не денется. Вон, дожидаются уже!

Жив махнул рукой в сторону скалы, там у прохода стояли Хотт с Оврием, ждали.

— Ладно, пускай идет в свою нору, — согласился Скарг. И с надеждой оглянулся, может, Милка еще где-то здесь. С ней про все на свете позабыть можно.

Дон повернул голову, ожег стражника гневным взглядом, но не поймал ответного — Скарг уже не думал о нем, о сваре, Скарг был молод и отходчив.

— Мальчишка, — прошипел Дон, запахиваясь в серое толстое корзно. Он тоже думал о другом.

За кустарником возле корявой старой оливы он приостановился, поглядел на Жива. И столько в этом взоре было надежды и немой мольбы, что Жив внутренне содрогнулся.

— Один удар! — страстно прошептал Дон. — Всего один точный удар — и все будет кончено! Ты понимаешь меня?

— Понимаю, — отозвался Жив.

— Я стану Великим князем! А ты будешь моей правой рукой... а хочешь, наместником в любой провинции. Ты должен сделать это! Его надо убить! Его давно пора убить! Это чудовище не имеет права жить на свете!

— Ты так говоришь про отца своего? — переспросил Жив.

— Не отец он мне! — отрезал Дон.

Жив покачал головой.

— Отец.

Дон вытаращил на стража изумленные глаза. И этот

учить хочет, и этот перечит! Мальчишка! Дикарь!

— Я вдвое старше тебя, мальчуган, — сказал он, стараясь быть спокойным, выдержанным, — и я знаю, что говорю. Да, по крови он родитель мой. А по сути — враг злейший и губитель! Если бы ты просидел в порубе столько, сколько просидел я, ты понял бы меня с полуслова...

— Он твой отец, Дон, — повторил Жив, потупя глаза. — И мой.

— Твой?!

Дон ухватил стража за плечи, встряхнул, подобной наглости он не ожидал: или конец света близился и люди переставали оставаться людьми, или коварная Мара уже набросила на него сеть своих мороков.

— Повтори, что ты сказал!

— Крон мой отец. А покойная Рея — мать, — твердо, но очень тихо, чтобы никто не услышал, произнес Жив. — И здесь, на моей груди ее пепел.

Дон испытующим, пронизывающим взглядом впился в серые глаза того, кто хотел называться его братом — самозванец? наглец? подосланный?!

— Покажи!

Жив принялся расстегивать боковой, стягивающий ремень панциря. Он возился недолго. Уже через минуту на широкой ладони его лежал небольшой черный мешочек, туго стянутый крепкой и тонкой бечевой. Плотная ткань была потертой, местами линялой, сквозь нее на швах проглядывала кожа.

— Держи!

Дон взял мешочек обеими руками, и они задрожали, затряслись будто у больного, бессильного старца. Он с трудом развязал узел, развел края кожи... Пепел был серый, почти черный, крохотные съежившиеся бусинки-бисеринки стыли в нем.

— Мать... мама... — простонал Дон. Он сразу поверил в то, что это прах Реи, его матери, он видел, нутром чувствовал, что этот стражник не врет.

— Вот пятно, — Жив отогнул ошейное защитное кольцо, — у тебя такое же. И у Айда с Гостией. И у нее... было такое же.

Он взял мешочек из дрожащих рук, стянул его, убрал под панцирь, застегнул ремни. Время шло, и мог появиться-

ся Скарг, долго он не просидит в одиночестве, как только убедится, что Милки нет в саду, бросится разыскивать напарника, Скарг хоть и горячий малый, но служака, весь в старшего брата.

— Отец сам пронзил ее мечом. И приказал сжечь, — поведал Жив брату.

— Чудовище! Изверг! — прохрипел Дон, сжимая виски руками. — Я был прав, ты должен его убить! Немедленно! Или я убью тебя, вырвусь отсюда и сам прикончу его...

— Нет! — Жив сильно сдвинул локоть брата. — Он отец нам, и мы не можем судить его. Боги ему станут судьями. И она... мать наша.

— На том свете?!

— Пусть и на том свете. Но лишь она ему судья!

— Ты трус, брат!

Жив не ответил. Что тут ответишь.

А могучий Дон наливался яростью, гневом, казалось, его вот-вот разорвет в клочья. Лицо сделалось багровым, глаза безумными, выпученными, по огромным мышцам, перекатывающимся под корзном, пробежали судороги. Дон дышал тяжело, с надрывом и хрипом... И было непонятно: то ли он сейчас набросится на Жива, то ли упадет и забьется в припадке падучей.

— Верь мне, брат! — Жив обнял его, прижал к груди. — Все будет как надо! Я не случайно оказался здесь, понимаешь?!

Дона перестало трясти. Как он сразу не догадался — да, да, этот малый не случайно здесь под чужим именем, этот его объявившийся столь внезапно брат. Это провидение, это воля богов, это чей-то большой и пока не доступный его пониманию замысел. Еще год назад он, Дон, седеющий княжич, узник, смертник, был один, без надежды, без опоры, а теперь он не один. с ним бывшие сторукие-сотники, с ним братья и сестры его, кто делом, кто пока еще только душой, с ним теперь он, Жив, сын его матери и его брат! Не отчаиваться надо, а радоваться! Сам Род послал его сюда, и Всесущая Лада!

— Верю! — отозвался он, ответно стиснул в объятиях Жива. Но тут же отстранился — не время и не место. — Пошли! Пора!

Они направились к проходу.

Хотг с Оврием поглядели на обоих вопрошающе.

— Скоро уже, — тихо обронил, проходя мимо, Дон, — будьте наготове.

Живу, затворяющему за ним дубовую дверь узилища, он шепнул горячо:

— Подумай... Один удар! Один точный удар мечом! И все!

Жив промолчал. Улыбнулся ободряюще.

Он заглянул в окошечко к Гостии. Сестра пряла пряжу, вся была в работе — тихая, милая, ладная, даже отсюда, из-за узорной решетки, светлая ликом — подлинная добрая гостья на земле этой. Айд лежал на скамье, устланной одеялами мягкими. Был он изможден и немощен, запавшие глаза глядели в потолок. Жив оторвал взор, холодок змейкой пробежал по его спине. Айд уже мертв, он сам убил себя. И он не должен знать ни о чем.

У двери Яры синеокой он замедлил шаг, даже приостановился на миг. Но не нашел сил заглянуть внутрь. Нет! Потом! Все будет потом! Еще рано в куши, еще не время блаженства и неги! Прочь, прочь отсюда!

Скарг ждал его на выходе из темницы:

— Я уж думал, этот буян прибил тебя, Зива! — со смехом провозгласил он. И тут же поинтересовался поделовому: — Замкнул его?

— Замкнул, пускай остынет малость!

Ответ понравился Скаргу. Он улыбнулся самодовольно. Скарг давно оставил все печали позади, он все-таки поймал красавицу Милку, и она не сумела устоять против его ухищрений любовных, все прочее имело малое значение.

— Мне бы так жить в темнице этой! — сказал он, разминая могучие руки, потягиваясь словно кот.

Жив долгим взглядом пронизал напарника. Но ничего не сказал, промолчал.

Все подвластно великим правителям. По мановению руки их воздвигаются исполинские дворцы и храмы, которым суждено пережить создателей своих в тысячелетиях. По велению их и негромкому слову поднимаются над степями, долами и пустынями города

новые, и тысячи людей стекаются в них, чтобы дать жизнь десяткам и сотням тысяч, дать жизнь в веках городам этим. По иному слову владык сдвигаются с места рати несметные и сокрушают города и селения, оставляя за собой черные пепелища и смерть. По воле власть имущих вырастают на пустошах сады бескрайние и леса, дающие тень и пропитание, по воле их рассекают пески знойные рукава каналов и встают по-обочь цветущие оазисы, по воле их реки поворачивают вспять или высыхают навеки, меняя лик земель. Все подвластно великим! Так есть ныне. Так было и шесть тысяч лет назад. Ибо никогда для держащих в руке своей державу не было преград и препон, не существовало морей, океанов, пропастей и пиков горных. И лишь в сражениях с себе подобными проверяли они власть и силу свою, погибая, растворяясь в пустоте небытия или же возвышаясь, становясь недосягаемыми. Поднявшийся над смертными перестает быть равным им, ибо уже восходит к богам, ибо уже полубог.

Много было великих властителей до Крона. Много их, сдвигавших горы и поднимавших города, превращавших пустыни в сады, а цветущие страны в пепелища. Множество великое, повелевавших тьмами подданных и неподданных своих, распоряжавшихся их жизнями и смертями, их скарбом и их кровом. Все ушли в никуда... То ли вырий открыл им свои врата, то ли черный зев преисподнего мира теней. Ни один не прислал с того света повеления нового, приказа строгого и грозного, даже весточки не пришло. И никому не грозны и не страшны они, ушедшие, только память про иных живет, переживая их, добрая ли, худая, но всегда лучшая, чем забвение. Ибо все подвластно великим правителям, пока пребывают они в мире этом, пока живы, пока разум и воля их слышны и видны вельможам, а чрез них и прочим, пока воеводы чтут слово их и исполняют его покорно и истово. Но умирает властитель великий — и с ним умирает власть его над прочими, и ничем не отличен он от них; умерших, такой же тихий и ненужный лежит он день, другой, третий среди живых, а потом прячут они его подальше с глаз — в склеп ли, могилу глубокую, по ветру пускают ли с дымом и пеплом. Все знают, где тело его. А где душа... тоже

знают, в мире ином. Только не дотянуться ей из мира иного своей властной рукой до них, до живущих, не изменить их судеб и жизней, не наградить, не возвысить, не унижить и не умертвить. Властвуют только живые. И бодрствующие. Ибо все подвластно великим правителям, но и они смертны. Все подвластно, но и они не лишены слабостей человеческих.

Крон знал, что время утекает — быстро, стремительно. Сколько лет жизни даруют ему боги? Сколько он успеет вместить в них?!

Еще не дойдя до града своего стольного, с порубежья северного, придонайского погнал он вперед гонцов с наказом ближним воеводам готовить Поход Великий, слать повсюду его непреложное слово: от Иверийских скал до горных отрогов Тивета и порубежий Иной реки, где властвует Варуна-брат, от Яридона Северного до нубийских желтых песков, повсюду. Нет, не замышлял он оголять рубежи дальние, лишать застав и дружин, но отовсюду каждый десятый, самый искусный и отважный вой должен был прибыть к Олимпу в полной боевой выкладке, да привести с собой молодежь, юных и отважных русов, которые родились вдали от матери городов русских — им тесно в родных стенах, им время мир повидать, себя показать, добыть себе добычи и чести, а князю — славы! Придут отовсюду русы. Хотя и нет лада и ряда, хотя царит неправда по землям русским, а придут. Крон знал. Но он их ждать не будет. У него десять больших ратей наготове стоят, дела ждут. Ему сборы недолги. А кто придет, коли Поход тяжким выдастся, те на смену павшим встанут, так заведено — волнами идут русские рати, нет им конца и начала, нет им преград, и никто не в силах остановить их натиск... разве что такие же русы. Русы! В них все добро этого мира. И все зло! Но теперь Крон знал, что ему делать. словно молодость вернулась, словно вновь с горсткой храбрецов в погон рисковый за судьбой и удачей, за женой-красавицей Реей к старому Юру. Только теперь не жены ему нужны, не в женах счастье правителей, хотя и смертны, подобно прочим, хотя и не лишены слабостей человеческих.

Великий князь знал, что верный Кей меняет стражей-хранителей часто, дабы не привыкали к месту, не

утрачивали чутья. И все же когда увидел у дверей опочивальни дикаря критского в доспехах с его, княжескими вензелями, чуть было не растерялся. Но подошел, ощупал зеленым пристальным взглядом.

— Изменился ты, немой, — проговорил, не спуская глаз со светлой курчавой бородки Жива, — обрусел в дружине Кея?

— Был немой, — кротко ответил Жив, — ныне волхвы твои дали язык. Спасибо тебе, княже.

Крон усмехнулся. Не лести он ждал. Да и не похожи были слова охранителя на лесть. И сам он не похож совсем на льстеца. Верный малый, крепкий, умелый, Крон хорошо запомнил его, такой в предстоящем походе сотни доброй стоять будет. Таких и брать с собой надо. Взгляд князя упал на перстень подаренный, на зеленый камень.

— Носишь?

— Ношу, княже, — ответил Жив. И прижал руку, на которой был перстень, к груди, к сердцу.

Крон улыбнулся доброй улыбкой, тихой и открытой, редкой для него.

У Жива внутри перевернулось все — отец, батюшка. Вспомнилось: «Один удар. Один точный удар мечом! И все!» Князь был безоружен. Он мог убить прямо здесь, сейчас... отца родного. Нет! Капли холодного пота выступили из-под шелома.

Крон заметил.

— Не робей, — сказал добродушно, — не такой уж я и страшный, верно?

— Не знаю, княже, — тихо вымолвил Жив.

— А ты знай, — добавил Крон, — я страшен только для врага и для изменника. Ты ведь не враг мне, не изменник?

У Жива перехватило горло.

— Не враг...

— Вот и ладно, — не дал ему договорить князь. — Не верил я тебе прежде, думал не тот ты, за кого себя выдаешь. Сразу узрел — горяк будто бы, а глаза руса, в глазах много чего такого, у диких не бывающего... Не верил. А теперь вот верю.

Крон положил руку на плечо стражу, откинул голову — багрянцем заиграли выющиеся волосы, в

полумраке сеней теремных седины и не было видно. Масло в лампах напольных и потолочных горело ровно, не дергались язычки пламени, не мигали. Красные колонны дубовые казались темными, будто гладкие стволы деревьев, проросшие сквозь дощатые полы и потолки терема. Уютно, мирно и тихо было в нем.

— Верю, — повторил Крон.

И ушел в опочивальню, тихо притворив за собою дверь.

Днем Жив не встречал Великого князя, тот был в каких-то нескончаемых делах, невозможно было застать его, встретить в покоях и у нетемной темницы. Князь готовил что-то, это было ясно. Время уходило.

А в сердце тупой болью ныла рана незаживающая, растравленная этим тихим: «верю». А в душе сидела игла острая: один неверный шаг, и погублены будут все — братья Дон, Айд, другие, сестры, Гостию тихая, любимая синеокая Яра, — не только он один. Тяжко, тяжело душе разрываться меж близкими ей, тяжело гореть на двух огнях.

Наутро чернобородый Кей сказал Живу:

— Вечер последний раз пойдешь в темницу со Скаргом. Два дня тебе отдыха. А с четвертой ночи будешь на смену стоять в княжеском тереме... вверх идешь, малыш, на мое место метишь, небось?! — Кей злорадно и как-то странно улыбнулся.

Жив поглядел на него с вызовом, положил руку на меч.

— То воля князя, — пояснил Кей. — Он повелел. Все, ступай!

Воля князя... Жив окаменел внутренне. Воля! Значит, пора. Чему быть, того не миновать. Надо еще поблагодарить Долю, что у него есть время предупредить Хотта, Дона, Яру, Скила, прочих... Пора! Пред глазами Жива встал вдруг, будто в яви, тот давний солнечный день, когда его увозили на князем струге со Скрытня. Синее небо, пропасть над головой. Синее, бархатное море — пропасть под ногами. Чужие вокруг, лишнее слово, движение — смерть! Сколько времени прошло, ему уже за двадцать. А все так же приходится идти по краю над пропастью. Кругом чужие. Кругом сама смерть!

А добрые зеленые горы все дальше и дальше, вот сейчас они исчезнут за окоемом. И пути назад не будет... А был он вообще, этот путь назад?!

Нет! В прошлое дороги нет. Только в будущее.

Жив поднял к глазам руку, выпрямил мизинец. Зеленый камень на отцовом перстне заиграл магическим блеском, будто внутри него таились неведомые силы... Так оно и было. С недавних пор. Месяц назад Жив отдавал перстень Скилу, всего на три дня. Умелец, знакомый Скила и его вдовушки, успел справиться со сложной задачей, ему это было непервой. Теперь там, внутри камня крохотная, в полнаперстка полость... Жив нажал большим пальцем той же руки на край оправы, выгнутый стебелек — и перстень раскрылся. Черный мелкий порошок, малая щепотка. Но ее хватит, чтобы отправить на тот свет десятерых. Отрава. Яд! Стоит коснуться кончиком языка этой пыли, вдохнуть ее — и все, смерть, неминуемая и страшная! Жив защелкнул перстень. Ледяной ужас сковал внутренности. Он. Только он должен это сделать. Устранить стражу... устранить Великого князя, отца. Он. И никто другой! У него остались считанные дни. Чернобородый Кей с каждой встречей глядит на него все с большим подозрением. И Скарг присматривается, шурит глаза. Недавно во дворе повстречал темника Овила, был тот в повязке на глазу, память о сече недавней, но разглядел его, обошел стороной, странно как-то кося уцелевшим глазом... Ему не верят. Никто до конца и по-настоящему не верит. От него отворачиваются. Его побаиваются и сторонятся. Но князь... князь верит в него!

Сегодня он свободен. До вечера. Но спать не придется. Жив быстрым шагом пошел к Священной роще.

Волхва он нашел под раскидистым старым дубом, чья крона давно осыпалась — голые корявые ветви вздымались к небу словно руки молящие о помощи. Ничего, нынче не лето, так и должно быть. И если осыпался священный дуб, на то есть свои причины.

Волхв сидел на белой овечьей шкуре. Глаза его были закрыты. Руки с длинными тонкими пальцами лежали на коленях. Но Жив услышал его голос: «Погоди, не спеши, сын мой. Дай мне закончить мое общение со

Всевышним — не часто Он отверзает уши свои моей душе алчущей и убогой. Сядь!»

Жив молча сел подле. Он даже не знал толком, тот ли это волхв, что прознал его тайну еще в порубе, во мраке темной темницы, или совсем другой. Он видел здесь многих дивных кудесников... но все они были похожи: седовласые и седобородые, с просветленными и праведными ликами людей чистых, ничего для себя не жаждущих. У них было одно лицо... когда Жив заметил это непонятное необъяснимое сходство, его осенила вдруг мысль внезапная и пугающая своей простотой: они приближаются к Нему, они и есть подлинно созданные по Образу и Подобию, они почти достигли этого, все прочие еще далеки, бесконечно далеки! Рядом с ними он ощущал себя младенцем, который ползет по пыльной и грязной дороге, ничего не зная, ничего не понимая на ней, видя только эту пыль и эту грязь под собой и вокруг себя. Волхвы появлялись в людных местах лишь в дни праздников, освящая их своим присутствием, блюдя обряды вековые и правя их. Но они и не прятались от жен и мужей русских, вельмож и пахарей, воинов и князей — всякий мог найти их в священных рощах и дубравах, в бревенчатых скитах и каменных кельях, в пещерах горных — каждый знал, где они, тропки к хранителям памяти и мудрости были протоптаны издревле. И каждый рус пред важным начинанием непременно шел с поклоном к ним, к волохам Великого Владыки Мира Яви и Нави Волоса, ибо никто иной как он был первым отражением Вседержителя на земле и под землею, ибо Волосу-Велесу было изначально предопределено властвовать над смертными и их плотью при жизни их и после смерти. И были волхвы-волохи теньями его, а стало быть, и теньями самого Рода Единого.

Жив плохо знал волхвов, не было их на Скрытне, он жил там изгоем, отщепенцем. Но здесь, под Олимпом, и он разведal дорогу к ним, незаказанную ни для кого. Мир людской стоял на четырех столпах. И были теми столпами не слоны и черепахи, не драконы и единороги, как пугали друг дружку в племенах диких и несведущих. Нет! Первым столпом, на коем покоилась земля человека, была вервь волохов-волхвов, в восточных краях

рекомых брахманами*, им дано было хранить и множить знания, память и sprawy рода, без чего этого рода-племени и быть не могло. И потому Первым столпом был Столп Разума человеческого. Вторым столпом являли себя в мир князья-властители, ибо без власти единой человек есть лишь животное мятущееся, себя-любивое, алчное и слабое пред животными иными. Князья вервь несла на себе тяжесть тяжкую Столпа Власти. Третьей вервью были воины-дружинники, чей ряд стоял в защите своей земли и в добыче для рода земель новых, каждый в верви этой получал право наивысшее — умереть первым, с мечом в руке, грудью встречая смерть. И потому Третьим столпом был Столп Долга и Чести. Но больше всех оставалось пахарей и ремесленников, торговцев честных и работных людей. Они крепили столп Четвертый, Столп Труда повседневного, изнурительного и праведного. На Разуме, Власти, Долге и Чести, на Труде человеческом стоял весь род людской под небесами земными. Все прочее лишь ползало, копошилось, суетилось и мельтешило бесцельно под столпами этими, изъедая их и не творя ничего путного и ладного. Каждый мог держать мир на труде своем кроме больных и ослабленных духовно, кроме двуногих животных. Многие могли крепить мир честью своей и долгом. Избранные, те, кому верят прочие, умели направлять мир силой дарованной им власти. Но никто не знал никогда — откуда придет волхв и почему именно он волхвом станет, чтобы освещать мир разумом.

Жив жаждал света. Сомнения и тревоги превращали бытие его в ночь. Хотя воля его и ум не знали сомнений. Хотя он знал, что делать... Душа его покоя не обретала. Жив ждал благословения... или проклятия. Он сам не ведал, чем обернутся его мытарства.

— Я помню тебя, сын мой, — неожиданно произнес волхв.

Жив встал и почтительно склонился перед старцем.

— Значит, ты уже все знаешь? И ты знаешь, кто я?!

— Это тайна лишь для незрячих, — ответил волхв,

* Знакомое нам слово-понятие «брахман» происходит из русского «волхв», из его краткой архаичной формы «влах» (лингвистически «в» переходит в «б», «л» в «р»). «Брах-ман» — «влах-человек».

приглашая княжича рукой сесть рядом, на шкуру.

Жив не посмел послушаться. Присел.

— И не спрашивай меня больше ни о чем. Ты тот, кто уже пришел!

Слова волхва были непонятны, в них таился какой-то смысл, но Жив его пока не улавливал. Тот, кто уже пришел?! И ни о чем больше не спрашивать... зачем тогда он пришел?!

— Ты желаешь знать, как тебе следует поступить. И не возьмешь ли ты грех на душу свершением задуманным? Ты хочешь, чтобы я взвалил на себя груз твой тяжкий?!

Жив напрягся, он не ожидал такого оборота, он не думал перекладывать своей ноши на чужие плечи... но старец не ошибался, не суесловил, он говорил правду. Становилось ясным, что благословения получить не удастся. Сам! Каждый за все должен отвечать сам и только сам.

— Я понял, отец, — тихо сказал Жив.

— Нет, — не согласился с ним волхв, — ты еще мало что понял. Но ты будешь понимать происходящее по мере хода его и времени. И не я, но твой разум, твоя воля и Единый Неизреченный, что живет в каждом из нас, они подскажут тебе, что следует делать. Запомни это!

— Я запомню! — Жив снова поклонился, собираясь уходить. Он чувствовал, что ему еще не было места под священными ветвями, как рано ему еще было в райские кущи наслаждения... его место — жизнь, во всем ее кипении, борьбе, во всей ее многотрудности и грязи, которая перемешана вместе с ослепительной чистотой, там его место.

— Постой! — волхв остановил княжича.

И когда тот встретился своим взглядом с прозрачным взглядом старца, в уши его полилось беззвучно: «Коли решился свершить задуманное — спеш! Тебе, как и каждому в жизни брэнной, отведен свой час, звездный час. Промедлишь, упустишь его — и боги отвернутся от тебя. Решай сам!»

Жив поклонился в третий раз, по древнему обычаю коснувшись рукой земли. Когда он разогнулся, волхв под священным дубом не было.

А был ли он вообще?! Жив тряхнул головой, протер глаза. Ничего не изменилось... только шкура овечья лежала, примятая и взъерошенная.

Хотт осторожно, чтобы не звякнуть связкой ключей, отворил тяжелую дверь. Дон стоял за ней наготове, сдерживал тяжелое дыхание.

— Давай их сюда!

Оврий за ноги втащил в камору обмякшее, но тяжеленное тело Скарга. Второго стражника тащили вдвоем, Дон помогал, вязал накрепко руки, вбивал кляпы во рты — вот придут в себя, пускай подергаются, посопят. Дело делали надежно, без спешки. Еще четверых оба бывших сотника затащили в свои каморы. Брили их по одному, врасплох. Но били не до смерти — служивый люд, в чем его вина! Малейшая оплошность могла стоить голов всем — прознает о дерзости неслышанной Великий князь, и обрушатся на их спины тысячи многопудовых камней, погребая навечно в могиле каменной, безысходной! По лезвию ножа шли.

— Добро, братья! — просипел Дон. Стиснул обоих в объятиях, по очереди. — Добро!

Княжичей опальных Свенда, Талана, Сtimiра, Хирона, Владана, Рада, Прохна и прочих, малых, упредили заранее, еще засветло. Ни один стражу не кликнул, каждый знал — пощады не будет, а смерть одна — вдруг ее обмануть удастся?! Из княжен про страшное дело знали Яра да Гостию, других пугать не стали, Дон запретил, не бабье это дело бунты устраивать, побегі вершить из темниц.

— Теперь без промедления давай! Но тихо!

Дон с первых минут взял на себя управу. Он старший по годам, по рождению, полуседой уже, а все княжич. Ему не прекословили. Теперь спасение только в сноровке общей, в слаженности единой.

— Отворяй двери! Первым делом братьям! Мечи, ножи, копыя — каждому оружие. А ты, Хотт, и ты, Оврий — наверх! К ходу! Кто сунется, режь втихую, без шума. Ясно?!

Сторукие кивнули молча. Еще бы им не было ясно. Исчезли во мраке словно тени навьи.

Сам Дон уже был в доспехах, шеломе Скарга. Но

щита не взял. Один булатный меч в руке, второй за ремнем широким — теперь его запросто не возьмешь.

Княжичи выныривали из камор тихо, без слов лишних и расспросов. Каждый в первую очередь тянул руку за оружием. Один Айд лежал безвольно, то ли спал, то ли хотел остаться в нетемной темнице навсегда.

— Прохн, — позвал Дон. — Ты крепкий малый, бери его на плечо. Нельзя оставлять тут на смерть!

Прохн, невысокий, но широкоплечий и с руками-бревнами, кивнул покорно, только в глазах зеленоватых мелькнул огонек обиды. Издали, с девичьей стороны донесся слабый испуганный плач. Но тут же затих.

— Донушка, братик, все готовы! — пропела еле слышно Яра.

— А бабка твоя? — усмехнулся тот.

— Бабка в каморе! Она будет тихо сидеть! — Яра дрожала всем телом, ее било в жарком ознобе. — А где Жив? Пришел он?!

— Всему свое время, — Дон бросил на младшую сестру грозный взгляд, — иди к княжнам, и давайте, потихоньку вперед — кустами, за деревьями, ежели надо, ползком, к проходу за скалы, но не толпиться, чтоб каждая за своим деревом! чтоб как мыши!

Яра убежала, растворилась в полутьме.

А княжичи уже шли за Доном. По стенам шли, будто призраки, словно тени претов. Долгое заключение сделало их не по годам мудрыми и ловкими.

— Это я, Дон!

Хотт вынырнул из-за кустов. Пригнулся.

— Двоих мы придушили... так получилось. Проход свободен. Можно...

— Нет! — оборвал его Дон. — Ждать! Надо ждать! Оружия мало, совсем мало! Ты вот что... держи ключи, беги отворяй нижние уровни, только тихо! кто заголосит — меч в брюхо, без разговоров! Сколько там воевод и сотников опальных?!

— Полторы сотни наберется... без старых и увечных, восемь десятков, — Хотт запнулся, — но там своя охрана! там другой проход!

— Оврия возьми. И княжичей... — Дон махнул рукой Свенду и Талану. — Давай, сторукий, семь бед один

ответ! теперь нету назад пути! а малым числом не пробьемся! Давай!!!

Хотт убежал.

Кто-то дернул Дона за руку.

— Это я, сестра Яра! Где Жив? Почему ты молчишь?!

Дон прижал к себе хрупкое трясущееся тело. Успокоил.

— Не бойся. Жив не подведет!

— Эй, Зива, иди сюда! — донеслось из-за тяжелой дубовой двери, окованной узорчатой бронзой.

Жив приник ухом к крохотному слуховому отверстию, не ослышался ли? Прежде Великий князь не звал его в свои покои опочивальные.

— Ты что, не слышишь меня?! — прозвучало громче.

Жив отворил дверь. Вошел.

Не такой прежде он представлял себе княжью опочивальню. Постель под навесом высоким была в самом углу, неприметная в этом помещении. Зато посреди него стоял огромный, бескрайний стол на крепких резных под львиные лапы ногах. И был он весь завален дощечками письменными, свитками папирусов, кожами расправленными, еще чем-то наваленным в видимом беспорядке.

Великий князь стоял, опершись о стол обеими руками. Но глядел он на вошедшего, добродушно и весело глядел. В ударе был князь-батюшка, и не от вина вовсе, не от медов.

— А ну, подойди ближе, Зива! — приказал он.

Жив подошел, не спуская глаз с повелителя.

— Да ты не на меня гляди, а сюда вот!

Большущая карта-чертеж, на которую пошли, наверное, три бычих тонко выделанных шкуры, лежала под руками Крона. И были на ней рукой мастера-искусника вырисованы в сочных красках и горы, и реки, и леса с полянами и перелесками, и моря, и пустыни... весь мир. У Жива с непривычки голова закружилась — хотел все сразу вместить в нее, да не смог, велик свет Божий, непомерно велик даже на карте.

— Вот здесь мы с тобой, страж верный! — Тонкий



палец князя уперся в гору посреди хребта длинного. — Здесь Олимп, град стольный Руси. А вот... — рука князя перелетела через пол-моря синего, — твоя Крета-остров.

— Скрытень, — поправил Жив невольно.

— Молодец, Зива, — похвалил Крон, — ты скоро по-русски лучше меня говорить будешь. — И уставился искоса. повернув голову от карты на стража, уставился испытующе, пристально. И смотрел долго, молчал, не кривил губ тонких, не хмурился, а будто просто понять хотел. — Ох, непохож ты, Зива, на горяка, непохож! Ни один горяк чертежа большого не уразумеет. А ты, вижу, все в толк берешь! — Князь улыбнулся добродушно, добавил: — Быть тебе воеводой, ближним боярином... Как, служивый, потянешь?!

— Твоя воля, — ответил Жив.

И тесно ему в просторной опочивальне сделалось, воздуха не хватало. Не выдержал, опустил глаза.

— Да ты не робей, не смущайся!

Князь положил руку ему на плечи, привлек ближе.

— Гляди! — он распростер руку другую, правую, над многими морями-окиянами, над горными цепями бесконечными, лесами и озерами, от одного края выделанной и расцвеченной кожи до другого. — Это все Держава наша. Великая! Славная! Могучая! От прадедов, богами нам данная... породителями нашими. И нет ее больше, нет пространнее, и несчетно люда в ней живет... Разумеешь?

— Разумею, — ответил Жив. Не карта стояла сейчас пред глазами его. А сам мир, в котором немало постранствовал он: бесконечная и привольная река Ра — от моря Срединного до нубийских песков, до гор и водопадов далеких; святые Яровы земли, где дух иной, чистый, где сами предки великие с тобой рядом незримо, столпы граничные, и океан-батюшка, берега, кривые, изрезанные бухточками и заливами... все видел Жив. Но еще больше на чертеже большом было тех мест да стран, которых он не видывал — далеких, на восток от Святой земли и на юг, на север...

— Добрая держава, — продолжил Крон, — одна она такая на свете, другой такой нету! От нее свет во все земли идет, понимаешь?! Она мир за собой в грядущее

тянет... Тяжко ей, трудно, больно, а все равно тянет! Потому что сильная... духом своим! А теперь гляди вот сюда, на север! — Рука князя взметнулась вверх, над лесами бескрайними и непроходимыми, над морями северными, не ярко-синими, а блекло-голубыми, над реками полноводными, к самому Океану Дышащему, к Белому острову... Но не дошла до него, вернулась к лесам, ниже, вдоль реки извивистой заскользила. — То рубежи наши. Там, за Донаем Юровы вотчины. Там тоже русы живут — много племен, много родов. Но все нашего корня, все по-русски говорят! Там ныне душа моя! Знай, Зива, ты верный, не упредишь, не выдашь, тебе сердце раскрою — пришла пора единить всех, иначе ряда не будет. Уже и рати готовы. Скоро поход, понимаешь, Большой Поход! Вслед за душою и тело рвется туда... Нет, не будет крови mnogой, увидят силу мою, власть, могущество братья наши, сами под длань мою вступят. И тогда...

Великий князь растопырил пальцы над лесами — засверкали огнями камни самоцветные в перстнях. И лицо его стало иным — просветленным, истовым и праведным, будто у тех седовласых и седобородых волхвов, что были отражениями в мире земном смрадном чего-то высшего и недоступного. Страшно стало Живу, пустота черная закралась в сердце. На кого руку подымает он! И когда?! В какой час?!

— Всю жизнь, Зива ты мой дикий, шел я к этому, к вершине сияющей правления Кронидов всех, от пращуров великих до меня, грешного и малого, сквозь неурядицы и хаос, чрез смуты, ложь, грязь, смерти, подлость человеческую и алчть, чрез бунты нелепые, животные, дурость несусветную и предательства... И вот я близок к этой вершине! Разумеешь? Близок, как никогда! Эх, Зива... Поддай-ка вина, брат! Видишь, там, в углу корчага да кубок. Пора возлияние богам принести!

Князь опустил руку с плеча на спину, чуть подтолкнул Жива меж лопаток, улыбнулся. Никогда еще в последние десятилетия его зеленые, подернутые болотной мутью, глаза не светились столь чисто, яро и молодо.

На негнущихся ногах Жив подошел к дубовому столику-ларцу. Приподнял чеканную серебряную крыш-

ку. Дрожащим отблеском языка пламени настенной лампы засветилось густое темное вино. Будто кровь стылая в позлащенном сосуде. В углу царил полумрак да тени. Живу померещилось, что он сам только что из мира живых переступил в мир сумеречный, в мир теней. Ледяной коростой сковало кожу, ознобом затрясло, холодные пальцы сделались непослушными, чужими. Вспомнилось, «тебе отведен твой час. Решай сам!» Поздно. Уже все решено. Наверняка, там, в темнице уже началось, как было условлено. Теперь все зависит только от него. Все!

— Ну что ты там медлишь?! — послышалось от стола. — Я сейчас умру от жажды!

Жив зачерпнул вина черпаком с узорчатой гнутой ручкой, налил в высокий кубок. Пламя лампы дернулось под дуновением легкого сквозняка, тень упала на его руки. Пора! Жив надавил на стебелек перстня, отцова подарка, камень-изумруд, хранящий и берегущий любовь, раскрылся. Из крохотной черной полости пали в темное вино четыре крупинки черные, всего четыре, больше внутри камня и не было. Легкие пузырьки пошли поверху тонкой пеной, тут же лопаясь, исчезая. Пора!

Жив обернулся. Пошел к князю с большим кубком в руке.

— Ну, ты, брат, в виночерпии не годишься, — рассмеялся Крон, — с тобой не скоро захмелеешь, Зива. Давай!

Он протянул сильную и тонкую руку, снова заиграли всеми цветами радуги драгоценные камни. Их блеск отразился в горящих изумрудным огнем глазах, отцовских глазах... И в них не было иного огонька, отец не чувл близости родной крови, совсем не чувл сына своего, плоть от плоти своей. У Жива задрожали губы.

Он поднес кубок ко рту, сделал малый глоток, показывая — не отравлено, можно пить.

— Ну, давай же! — князь чуть не вырвал у него кубок. Вскинул его высоко вверх. И почти выкрикнул: — За поход! За Великий Поход на Север!

Он пил долго, будто и впрямь утоляя внезапную, обуявшую его жажду. Вино текло по светлым усам, по короткой русой бороде, по расшитой бисером рубахе

белой с алыми отворотами. И когда допил, с силой, будто припечатывая недоступные пока леса своей великой княжеской печатью, поставил кубок в густую зелень чертежа. Выдохнул тяжело, с хрипом:

— Скоро! Скоро мы будем там! — Поглядел на охранителя своего мутнеющими глазами, спросил: — Ты веришь мне, Зива?

— Верю, — ответил Жив тихо. Ему стоило огромных трудов удерживаться на кромке сознания, сон завладевал его душою, его мозгом, глаза слипались, веки тяжелели, будто на них положили по бревну.

— И я верю! — Крон подошел вплотную. Прошептал: — Устал я сегодня... немудрено, четвертый день без сна. Устал. Отведи меня к постели, Зива, что-то ноги не слушаются. Спать! Спать! Все прочее утром, завтра, утро вечера мудренее...

Он говорил, еле шевеля тонкими губами, опираясь на Жива. И тот, сам слабеющий, обезноживший, теряющий сознание, с трудом довел отца-князя до постели, застланной грубым полотном, с одной единственной низенькой и жесткой подушкой в изголовье. Положил на спину, прикрыл корзном. Отошел.

— Спи, отец, — сами прошептали губы. — Спи!

Ноги подогнулись. Но падая, Жив сунул в рот желтый корешок, зажатый в кулаке. Он успел его вытащить. Пригодился дар вдовушки Скиловой. Впился зубами в горкую мякоть.

Очнулся он от грохота шагов — кто-то бежал по огромной горнице-залу к опочивальне. Этот грохот был невыносим, он отзывался болью в ушах. Но Жив нашел в себе силы, вскочил. Перебежал к дверям дубовым, неприкрытым. Грохот в голове его стихал — шаги как шаги, просто кто-то идет. Надо придумать что-то...

Дверь отворилась осторожно, совсем немного — чьи-то глаза осмотрели спальню князя, только после этого страж вошел, мягко ступая, боясь разбудить повелителя. Это был Гран, один из братьев Кеевых, такой же чернобородый, такой же верный. Увидав Жива, он чуть расслабился, вздохнул свободнее. Но спросил все же:

— Что за шум был, слышал?!

— Нет! — ответил Жив. Он и в самом деле не слышал никакого шума. Лишь мгновенье спустя смек-

нул — это он сам упал, вот и шум был. Значит, в забытьи был совсем недолго. Чудо-корень! Во рту все еще стояла бодрящая, едкая горечь. Но голова была ясной, свежей. И силы вернулись в руки и ноги.

— А чего ж ты тут делаешь тогда? Твое место за дверями!

Удар был короткий, внезапный. Жив пронзил Грана насквозь, тот и охнуть не успел. Придержал за плечи, медленно опустил. Теперь каждая секунда была дорога. Крон будет спать не меньше трех суток. Но у него есть бояре и воеводы, у него есть темники и, главное, его стража во главе с Кеем. Надо спешить!

Связка ключей висела у изголовья. Княжеский жезл, малая палица с кровавым рубином в навершии лежала на столе. Жив взял и то, и другое. Замер над спящим. Сейчас тот был в полной его воле, достаточно коснуться острием меча этой вздрагивающей на открытой шее вены — и все, все вопросы будут решены, мать отомщена, и никогда больше, никто не посмеет... Да, он вправе открыться, он будет единственным законным наследником! И его поддержат княжичи и княжны, даже старший брат, Дон. Он станет Великим князем! Надо решиться! Один только удар — короткий, точный, безжалостный! И свершится то, о чем он мечтал долгие годы — там, на Скрытне, и в скитаниях, в мытарствах своих тяжких. Один очищающий, праведный и справедливый удар! И придет все сразу. Власть! Могущество! Почет! Сила! Безграничное право вершить судьбы... Власть! Власть!! Власть!!! Загудело в голове, застучало: «Тебе в жизни твоей брэнной отведен час, твой звездный час. Промедлишь, упustiшь его — и боги отвернутся от тебя! Отвернутся!! От тебя!!!

Жив склонил голову. Что-то горячее, будто капелька олова расплавленного, обожгло его щеку. Слезы? Пора! Там его ждут — Дон, Яра, Айд, Хотт с Оврием... а еще дальше — Ворон, Овил, все беглецы... все русы. Пора!

— Прощай, отец, — прошептал Жив.

И быстрой, твердой поступью вышел из опочивальни.

Навстречу ему шли четверо. И у каждого в руке был зажат обнаженный меч. Жив признал их — двое

братьев Кея, и еще два стражника из ближней дружины. Видно, отсутствие Грана переполошило их. Теперь мимо не пройдешь.

— Я за вами! — крикнул им вполголоса Жив, с тревогою, будто произошло нечто страшное. Он не мог допустить побоища здесь, тогда кто-то побежал бы за подмогой, тогда всему конец. Надо было заманить их в сени пред опочивальней, в длинную и узкую полутемную камору, где он и стоял обычно. — Там есть кто-то, Гран побежал за ним!

— Где?! Быстрей показывай, Зива!

Они ринулись в проход. Спины их были открыты. Жив потянулся за мечом. Нет! Он не подлец, чтобы разить в спину... Он захлопнул дверь.

— Смотрите! Вот он!

Все четверо обернулись разом. Двое упали тут же с рассеченными глотками. Жив не давал времени опомниться. Он бил точно, сильно, наверняка... даже схватки не получилось, лишь острие одного меча успело чуть оцарапать ему локоть. Еще четверо! Своих! Русов! Ничего не поделаешь, так надо, они не должны были становиться на его пути.

Пока добрался до внешнего прохода в темницу, еще семерых уложил. Четверо стражей из дружины Олена, выдавшие его прежде лишь издали, не приближенные к князю, пропустили, увидав вознесенный над головой жезл с рубином. Жив их не тронул, хотя и знал, опомнятся, бросятся в погоню. Жив спешил. Он должен давно уже быть в темнице. Любыми путями, но должен! Если там что-то случится, им всем не миновать расправы, никто их щадить не станет.

— Стой!

Из-за деревьев выскочили трое, перекрыли путь. Подвижный дозор. Жив совсем забыл про него.

— Кто такой?!

— Княжья воля! — Жив вытянул вперед жезл. Рубин полыхнул мрачно в свете луны.

Еще трое вышли откуда-то сбоку, стояли с копьями наперевес.

— Исполнители княжьей воли в одиночку не бегают, да еще по ночам! — рассудительно сказал средний, рыжебородый и малорослый, но неохватный вой.

— Не тебе судить! — грозно произнес Жив. — Пропусти! Нето худо будет!

— За служебное рвение худо не будет, — еще рассудительней и еще тверже проговорил рыжебородый. — Проверить тебя надо, человеке, хоть и булава у тебя, похоже, великокняжья.

— Проверяй! — Жив опустил руки.

Дозорные подступили к нему. И это стало их роковой ошибкой. Меч веером засверкал в руке у княжича. Три головы скатились на песок. Двое пали, держась за животы. Рыжебородый удивленно глядел на обрубок руки, из которого хлестала кровь. Он не мог сказать ни слова.

Но и Живу задерживаться было некогда.

— Простите, братья, — обронил он, кусая губы.

И уже стремглав побежал вперед и вниз. К проходу.

— Воля Великого князя!

Оба стража обомлели. Отступили от кованых ворот. Но Жив бросил одному под ноги связку ключей.

— Отворяй, живо!

Своих ключей у стражей не было. Только доверенным полагалось иметь их. Но провозились они недолго. За первыми воротами были другие. А за ними дверь, обитая листами меди. А за ней дверь дубовая с оконцем. А за ней... Жива схватил за плечи потный и разгоряченный Дон.

— Где ж тебя носит?! — с ходу засипел он. — Тут уже с нижнего уровня охрана пробилась, пока опальных освобождали. Оружия-то мало! Но перебили всех!

Рука у Дона выше локтя была стянута серой тряпицей.

Пока они говорили, тех самых стражей, что отворяли двери, полностью разоружили, связали, хотя сопротивления они и не оказывали, растерялись до онемения.

— Жив!!!

Яра бросилась ему на шею с разбегу. И он еле успел подхватить ее легкое и упругое тело, прижался щекой к щеке.

— Яра...

— Я думала, никогда не дождусь тебя!

Дон сдавил локоть. Заглянул в глаза сбоку.

— Хватит, брат! Потом! Лучше скажи, как там дела — ты убил это чудовище?!

Жива передернуло. Он ничего не ответил, только заскрипел зубами.

— Значит, все в порядке?!

— Все!

— Тогда надо уходить отсюда. Пока не поздно!

— Надо пробиваться вниз, к подножию, — согласился Жив. — Самых сильных вперед. Нужен ударный кулак. Княжон в середину. И прикрытые позади, из сторуких... Оружия добудем! Все готовы?!

Яра скользнула вниз. Но не отошла от любимого, стояла прижавшись, будто боясь, что он снова исчезнет.

— А может... — Дон осклабил крупные белые зубы, — может, навверх. В терем! Пока они не опомнились, свернем шею строптивым, покладистых подчиним себе... Лучшее бегство это наступление. Мы возьмем власть, Жив!!!

— Нет! Не возьмем! Еще рано! Мы слишком слабы пока... Но мы вернемся!

Дон расхохотался в полный голос.

— А ежели рискнуть?!

В свете факелов, которые держали освобожденные из застенков воеводы, старший сын Крона казался огромным изваянием, высеченным из сверкающего базальта. Он оставил где-то корзно, выбросил панцирь, помятый в драке и сплюснутый. Он был гол до пояса. Страшен. И дик.

— Не советую, — Жив отвернулся.

— Кто со мной?! — крикнул Дон в толпу.

Два десятка узников бросились к нему.

— Мы пойдем навверх! — сказал Дон тоном не терпящим возражений. И поднял вверх сразу два меча в обеих руках.

— Как знаешь, — Жив отвернулся. — Мы уходим! Но помни, струги вас долго ждать не будут! — Внутри у княжича все дрожало. Сейчас старший брат мог подвести под них подо всех плаху. Но спорить с ним бесполезно, он знал очень хорошо — Дон упрям до невозможности.

На выходе из темницы они разделились. И когда Жив убедился, что никого внутри не осталось, что даже

старую бабу-прислужницу Ярину вынесли наружу, он махнул рукой. Хотт с Оврием забежали в проход, в тайную дверцу. Долго впотьмах искали рычаги. Наконец нашли.

Оглушительный грохот сотряс землю и ночное небо. Он не смолкал долго. Беглецы успели спуститься до половины горы. Но даже самый радостный и самый испуганный, больной, увечный или здоровый, неважно, каждый через несколько шагов хода своего вниз, все оборачивал и оборачивал голову вверх, туда, где еще недавно была страшная тайная темница, засыпанная теперь валунами, песком, землей, не существующая больше для прочих смертных, но живая и зримая в их памяти.

Лютый огненный смерч бушевал над водами Срединного моря, над гаванью. Два десятка больших стругов княжьих полыхали ярим пламенем на стылом зимнем ветру. Высоко вверх взлетали горящие обломки мачт и снастей. Скил сделал свое дело.

Но не дождался благодарности. Жив со слезами на глазах смотрел на гибнущие корабли. И пусть тут не было даже сороковой части всего флота Кроновой державы, все равно, сердце щемило.

Лишь пять стругов стояли под парусами целехонькие, ждали беглецов. Каждый охраняли еще час назад по три воя. Ни один не сдался, каждый смерть принял за князя великого, за державу его, еще за что-то, непонятное... Скилу помогали сторукие, один стоил десятка, а то и сотни. Семеро погибли. Зато княжны все до единой, спеленутый Айд, раненные сидели в надежных и прочных трюмах, ждали.

— Надо уходить, княжич! — настаивал Скил. — Беду накличем! Скажи спасибо, что Крон дружины отвел в равнинные лагеря, к походу готовится. Но погоня придет! Помяни мое слово!

— Без тебя знаю! — отрезал Жив. — Не на чем им гнаться будет! Вон чего, сам видишь.

Огонь не стихал, будто намереваясь поспорить с самым бездонным и необъятным морем. Дерево на стругах было доброе, горело отменно, жарко, шумно.

Набежавшую береговую охрану встретили в мечи.

Порубили беспощадно. Холодные брызги летели с моря, охлаждали разгоряченные тела. Но дольше ждать было опасно. До княжьего терема три часа хода конного. Они домчались быстрее. Но и погоня домчится.

Однако за треском и шумом пожарища не расслышали, как подскакали всадники, конно и на колесницах трех. Бросились навстречу, отпор дать лучше в наступлении, отбить сразу охоту... И чуть со своими не сошлись в сече.

— Дон, ты, что ли?! — взревел Жив, опуская меч.

Старший брат чуть не снес ему голову. Хотя у самого у него теперь левая рука была замотана от кисти до плеча, штаны изодраны в клочья, лоб перевязан, а правый глаз заплыл полностью под синюшным пухлым рубцом.

— Насилу ушли, — признался Дон. — Прав ты был, рановато еще тягаться... Только придет и наш час! — Он вдруг застонал от боли, сморщился. Рана напомнила о себе.

Вои его, бывшие узники, сторукие и воеводы опальные выглядели не лучше — избитые, израненные, ободранные, окровавленные. Но злые и веселые, готовые снова в пекло сечи. Все глядели на пожарище лютое, на затихающее пламя огненное, вздымали лица — и багряные страшные отсветы играли на них.

Погоня выскочила из ночи внезапно. Свист стрел резанул по ушам. Четверо упали сразу. Но стрелы все сыпались. Вслед им полетели короткие копья и дротики.

— Вперед, братья! — заорал Жив, не помня себя.

Не отбиваться, но бить! Вот главное, что он запомнил в жизни своей короткой. И они пробили железный град. Встретились с погоней грудью в грудь. Завязалась кровавая битва, бой нещадный.

Меж тем на струги перебирались те, кто не мог уже держать меча. Сколь не цепляйся за берег, а он пока что не твой, все одно уходить в море.

А княжьи люди давили, ломили. Сила перебарывала силу.

Жив рубился, не жалея себя, рядом с Доном и Свендом. Скил прикрывал его сзади. Но приходилось отступать. На место порубленных дружинников Кроновых заступали новые, свежие, полные сил.

Отступали, теряя тех, кто только получил свободу, кто прямо здесь пал за нее. И уже унесли обескровленного, рухнувшего без памяти Дона. И проткнули плечо Скилу... Когда явилось из тьмы внезапно пред глазами Жива, будто из вырия черная душа чья-то навья, чернобородое лицо Кея.

— Щенок! — прошипел сквозь зубы наставник бывший и учитель.

Был он без шелома, в одном панцире. С длинным мечом в руках и ножом. Он глядел прямо в глаза Живу — холодно и зло, не замечая никого вокруг. — Вот и пришел твой черед! Сейчас я покажу тебе еще кое-какие приемы!

Жив еле увернулся от разящего выпада. Нанес боковой, наотмашь. Но только воздух разрубил меч. В тот же миг он почувствовал, как нож скользнул по панцирю, еще б немного, и холодное жало вонзилось бы ему в пах. Жив рубанул сверху, снова не достал чернобородого.

А за спиной была вода. И узкая шаткая доска-трап. Только семеро самых выносливых сражались на кромке моря, сдерживая натиск погони.

Четыре струга уже отплыли. Их струг был последним.

— На борт! — успел выкрикнуть Жив.

И снова жало ножа сверкнуло изнизу, распарывая кожу штанин, вонзаясь в плоть. Одновременно рукоять меча ударила ему в подбородок, запрокинула голову.

— Учись, щенок!

Кей наступал. Теснил к воде. К трапу. И все же Жив запрыгнул на доску последним, когда убедился, что все семеро успели убраться с суши.

— Получай!

Острие меча разорвало кожу у глаза, на виске, прошло мимо, обжигающее и ледяное, как костлявая рука самой смертной Мары. Жив чудом увернулся. Этот удар должен был отправить его в вырнь. Но за ним последовал второй, ножом... и снова в неприкрытый панцирем пах.

— Подлец!

Жив упал на спину, увертываясь, и одновременно ударяя обеими ногами в грудь чернобородому. Нож вонзился в сырую доску застрял в ней. С оглушительным

ревом и проклятиями Кей полетел в ледяную воду.

Но на его место прыгнул другой. Жив мгновенно охладил пыл смельчака, пронзая его мечом. Он снова был на ногах. И он отступал. На корабль метали горящие факелы, дротики. Но там сидели дошлые люди, воины. Ни одному факелу не дали разгореться. Обе стороны осыпали друг друга невероятной, страшной руганью. Ничего другого уже не оставалось: ни стрел, ни копий.

Струг, важно покачивая багряными в ночи, в свете утихающего пожара парусами, отходил от берега. И казалось не только земля, само море горело под ним.

Страшна ночь во мраке пустынь и степей, лесов и гор. Но втрое страшней в непроглядной тьме морской. Будто сама пучина Стрибожья, нераздельная, истекающая из тьмы во тьму, поглотила струги беглые. Давно отпыхали вдаль зарницы затихающего пожара. И тьма небесная слилась со тьмою беспросветной бездны, словно две пропасти, поглотив друг друга, обратились в пропасть единую, смертную, не имеющую конца и края.

Пять стругов висели посреди этой пропасти. Внизу чернота, вверху чернота. Ни луны, ни звезд, ни надежды... Только холодная зимняя ночь. Да унылый леденящий ветер.

Огней не жгли. Опасались погони. Лишь прочные верви, от мачты к мачте, по всем пяти стругам единили беглецов — до утра далеко, а теряться нельзя, на стругах мало опытных мореплавателей, дорогу на Скрытень, почитай, никто и не знает.

Скил сидел рядом с Живом, прислонясь спиной к лоснящейся скрипучей мачте, поглаживал ладонью ребра — ох, и досталось им сегодня! теребил редкий рыжеватый ус губами. Молчал.

Жив тоже молчал. Пред его мысленным взором все стояло бледное отцовское лицо — будто наваждение, не отвяжешься.

И гребцы гребли молча. Боялись слово обронить. Не верили еще толком, что из темницы вырвались. Рядышком сидели княжичи с простыми воями, сто-

руками. Гребли. Многие были ранены, побиты. Но и они скрипели зубами, сдерживали стоны — не время, сейчас главное, уйти подальше от Олимпа, уйти, затеряться в море Русском, дух перевести. Каждый думал по-своему. Каждый думал об одном.

— Не бывать тебе великим князем, — прошептал неожиданно, еле слышно Скил, — никогда не бывать!

Живу почудилось, что ветер прошелестел над ухом, едва расслышал. Но воззрился на товарища по злоключениям, аж глаза во мраке сверкнули грозно.

— Никогда! — повторил Скил.

— Почему? — в шепоте Жива прозвучала растерянность.

— Я его видал всего чуток, брата твоего, — пояснил Скил с горечью, — но сразу понял: пока он по земле ходит, князем тебе не бывать, хоть и отца переживешь.

— Какого еще брата?

— Сам знаешь, Дона!

Теперь Скил уставился на княжича острым, немигающим взором.

Жив промолчал. Не бывать, так не бывать, на то и брат старший... Да и рано еще о великом княжении помышлять. Батюшка Крон спит в тереме своем... до поры до времени. Головы бы сбереечь!

— Не зуди, Сокол, — холодно сказал Жив, промолчал, потом добавил: — Недобрый ты, а это плохо. Дон изранен весь, места на нем живого нету, бился за десятерых, жизнь не щадил. А ты поносишь его...

— Неправда! — осерчал Скил. — Не поношу! Только по-моему будет, попомни!

— Как будет, так и будет! — отрезал Жив. — Утром сам к нему на струг пойду. Сам его старшинство признаю и власть его, по ряду и уставу! Понял?!

Скил промолчал. Он, не мигая, глядел во тьму, в крошечный мрак, будто видел в нем что-то злое и неотвратимое.

Пять стругов висели посреди беспроглядной черной пропасти. И непонятно было, плывут они куда-

то в даль неведомую или же медленно падают в эту пропасть, погружаясь в ее мрачные пучины.

Жив долго приходил в себя. Ни с кем разговаривать не мог, даже смотреть ни на кого не хотелось. Только отцовское лицо пред глазами. Воспаленное, помолодевшее, горящее... да слова: «Ты верный... тебе верю... ты верный... верю!» Там, в тереме не было времени прислушиваться к ним, осмысливать, в суть их вникать. А теперь вот накатило. Да так, будто не ночь кромешная, и не явь, будто злобная и игривая Мара тешится с ним, бросая из морока в морок. Только отцовский лик исчезнет, как ненавистью лютой загораются глаза страшные Кея... покойного Кея. Сам, небось, уже в царстве теней, в вырии. А глазами жжет, сверлит насквозь, словно опять грозит... Жив встряхивал головой, пуще прежнего стискивал зубы. «Ты верный... тебе верю... верю!» Стоило затихнуть истовому голосу Великого князя, и в уши врвался звон мечей, гул, гром, ругань и ор сечи. Память, послушная губительнице людей Маре, проигрывала долгий день заново. И некуда было бежать от нее.

Скил давно ушел от мачты, сидел где-то на скамье, греб со всеми вместе — молчаливо и упорно, не обращая внимания на боль в пронзенном плече, обмотанном грубой мешковиной. Тихо, еле слышно плескала под веслами вода черная. Низкие тучи хоронили за собой далекий зимний месяц.

И не было никакой погони.

Терпеть муку не хватало больше сил. Жив приподнялся, опираясь спиной о гладкую мачту. Побрел меж гребцами к носу. Там вглядывался во тьму Свенд. Пальцы на обеих руках у него были разбиты, весла такими не удержать. Но и в трюм Свенд не шел, что трюм, что темница — насиделся, наверное, вдосталь. Жив кивнул ему молча.

Свенд чуть шевельнул обвисшими светлыми усами, улыбнулся.

— Ну и куда теперь? — спросил тихо.

— У нас одна дорога, на Скрытень! — пояснил Жив.

— А дальше?

Жив поглядел пристально в серые прищуренные глаза брата.

— А дальше нам пути нет. Не устоим там, бежать будет некуда!

Свенд помолчал немного, клоня голову, потом произнес раздумчиво:

— Прав был Дон — лучшее бегство это наступление... сейчас бы в палатах белых сидели, пировали бы, победу справляли... духа у нас не хватило, теперь в вечных беглецах будем.

И этот туда же, подумал Жив. Но промолчал. Не время споры разводить, утро их всех отрезвит. Он ободряюще улыбнулся Свенду, мол, не все еще потеряно. И побрел обратно, мешая явь с навью, отгоняя видения и призраков ночных. Надо было немного поспать, утром он должен быть свеж и бодр, он отвечает за каждого пошедшего за ним. Но не спалось. Слишком короток день был, вместивший в себя полжизни. Чересчур сильны путы Мары, которым стоит только поддаться... и прощай бытие земное! И еще что-то... Жив сдерживал себя, но внутренне-то, каким-то неведомым чутьем ощущал — не перебороть того, что в душе, что на сердце. И уплывали во мрак пылающие ненавистью глаза, бледное лицо, призраки и мороки. Она! Только она везде и повсюду, а главное, внутри него! И не сможет он уснуть сегодня, в эту странную и страшную ночь.

— Была — не была!

Жив проверил мечи на ремнях. Невольно прижал ладонью к груди горячей мешочек с материнным пеплом и свят-оберег. Благо панциря нет, шеломы — они в трюмах, без них полегче будет. Он опробовал канат рукой.

И недолго думая, перевалился за борт. До ближнего струга сажень пятьдесят, может, побольше, не расстояние. Только вот водица зимняя не подарок для изможденного в сечах тела. Ну и пусть! Жив проворно перебирал руками канат — попробуй в эдакой тьмиче выпусти вервь из ладоней, мигом сгинешь в пропасти черной.

Скил глядел сверху. Он все понял. Но весла не

бросил, не порушил строя гребного. Далеко до Скрыт-
ня, ох, далеко!

— Господи!

Яра всплеснула руками, когда перед ней выросла огромная, темная в ночи фигура. Она сразу узнала его — мокрый, взъерошенный, холодный будто с мороза. Жив!

— Я свершил э т о, — произнес он одними губами.

И она поняла. Теперь время! Теперь он имеет на нее полное право... а она на него.

— Я ждала тебя, любимый!

Верхняя палуба на корме была пуста. Где-то вдалеке, снаружи, за тонкой завесой убогого шатра тяжело и нутужно дышали гребцы. Недвижной тенью маячил рулевой. Но все они были бесконечно далеко. Жив видел и слышал только ее, свою любимую, желанную.

— Иди, я согрею тебя! — Яра протянула к нему тонкие руки.

И вздрогнула, когда холодное, мокрое тело коснулось ее пылающей кожи.

Жив невольно отпрянул.

— погоди, — попросил он. Сбросил с себя сырую рубаху, штаны. Нагнулся за какой-то тряпицей на полу, чтобы вытереться.

Но Яра остановила его.

— Не надо!

И сама прильнула к груди, еле доставая ее своей светлой головой. Девочка! У Жива кольнуло в сердце. Она совсем ребенок! Тринадцать лет... Таких выдают замуж, да, в тринадцать, четырнадцать, пятнадцать... родители спешат, боятся, что их дочери засидятся в девках, да и заведено так у русов, чего выжидать, не для гульбы порождены жены, но для замужества и чем раньше оно, тем крепче и плодотворнее. Все верно! Но она казалась ему дитем — хрупким, нежным, крохотным дитем, нераспустившимся бутонem. Дитем, которое он любит до дрожи, до беспамятства, до боли смертной в груди.

— Любимая, — прошептал он прямо в ухо, раз-

двигая губами вьющиеся локоны. — Любимая моя.

Он нашел ее сразу. Не блуждал, не плутал по стругу, не спускался в трюмы, хотя знал наверняка: все сестры его сводные, княжны, от холодного ветра и стылрой ночи попрятались в трюм, спят сейчас там, тесно прижавшись друг к дружке, видят седьмые сны. А она ждала его наверху. Ждала!

— Тебе холодно? — спросил, опускаясь на колени перед ней.

— Нет, мне не может быть холодно, когда ты рядом, — ответила Яра.

— Но ты дрожишь!

— Да.

— Почему? — Жив заглянул в синие глаза, они были наполнены этой непонятной синевой даже в сумерках, в неровном свете крохотного язычка пламени, что выбивался из большой глиняной лампы. Этот слабый свет почти не освещал лиц. Но они видели друг друга прекрасно, различая мельчайшие дорогие черточки, будто при ярком солнце. — Почему?!

— Потому!

Яра прильнула к его губам своими. Не надо никаких вопросов. Она запустила тонкие пальцы в его взъерошенные густые волосы. Потом оторвалась от губ, отпрянула, отодвинулась на шаг, рванула узорчатую золотую застежку у плеча, и легкие шелковистые ткани сползли по гибкому стройному стану к стопам.

— Потому что я хочу тебя!

Жив зажмурился. Девочка! Ребенок! Но ее дивное тело было сказочно прекрасным, зрелым, женским, влекущим. Он впервые увидел ее такой, какой ее создала лучшая искусница и мастерица, соперница всех богов — природа. И сейчас Жив готов был поклясться, что ничего лучшего она никогда не создавала. Нежная кожа светилась своим чудным светом, не нужны были никакие лампы и свечи, и не могли с ней сравниться ни шелка, ни парчовые узорчья, ни любые иные ткани. Он прикоснулся ладонями к широким упругим бедрам — и все тело его пронизало огнем, в голове совсем помутилось. Тон-

кий стан прогнулся назад, колыхнулись высокие полные груди. Прохладные руки легли на его плечи, не привлекая и не отталкивая. И на какой-то миг они оба замерли, окаменели, словно не решаясь даже шелохнуться. Жив ощущал, что он гибнет, пропадает навеки, ему сразу припомнились ее страстные слова, там, в саду нетемной темницы, от которой остались только груды валунов: «Я буду твоей, навсегда твоей... запомни это — навсегда!» Еще было время, еще были силы оторваться от нее, уйти, убежать, чтобы не вонзалось в сердце острой иглой страшное, гнетущее «навсегда!» Да, надо бежать! надо уходить отсюда! у него иная жизнь и иная цель! он должен властвовать, но никто... никто не должен властвовать над ним! тем более вечно! Жив почувствовал, как теплеют ее руки, как ее страстный озноб передается ему, как его начинает трести в огне вожделения... и еще чего-то, большего, необъяснимого и чистого, неукротимого. Бежать? Нет! Он сильнее сдавил горячие, жаждущие ласки бедра, припал грудью к плоскому животу. Он уже ничего не видел, он лишь ощущал ее — трепетную, гибкую, прохладную и жаркую одновременно. Навсегда! Яра стиснула ладонями его виски, притянула голову к себе, и он коснулся губами нежной кожи ее грудей... Медленно, очень медленно они опускались на доски, на ворох сброшенных одежд.

Уже погас крохотный язычок пламени. И под пологом царила крошечная тьма, как и за ним. И они оба, любящие друг друга в этой беспроглядной ночи, висели подобно самим стругам в черной бездонной пропасти, посреди неба и моря. Но не было еще минут и часов в их жизни светлее, чем эти — неслучайные и незаметные, мимолетные и бесконечные — будто само время кануло в черную пропасть. Ослепительный свет любви пронизывал каждую клеточку, каждую пору их тел, слившихся в одно тело. И не было, и не могло быть ничего светлее. Чистая полуденная звезда сияла неземным светом в полночи, освещая ее навека, навсегда. Но видели эту звезду только они, те, кому суждено было бессмертие в их любви извечной и нескончаемой — Жив и Яра.

Те, чьи имена донесло до нас изменчивое время языками иных народов, юных и видящих прошлое своими младенческими глазами, донесло, превратив их в Зевса и Геру, дарующих жизнь и любовь, хранящих род людской.

Солнце вставало из-за водной глади багряным дрожащим в мареве колесом, будто выкатываясь из потусторонних владений своих. Коло! Вечное кружение по кругу — коловорот, коловращение, несущее свет и жизнь. Даже зимой, даже посреди пустыни морской, гиблой и страшной, мертвой пустоши.

— Можно с ума сойти, чудо какое! — прошептала Яра, не отрывая головы от могучего плеча. — Я никогда не видела восход в море... я вообще ничего не видела в этой проклятушей темнице! Ничего!

— Успокойся, — Жив поцеловал ее в висок, — темницы больше нет. И никогда не будет. А Хоро* зачинает свой вод над нами, ты увидишь тысячи восходов и закатов, многие тысячи... но ни один из них не чудесней и не прекрасней тебя, любимая!

Яра неожиданно рассмеялась — беспечно и звонко, будто ребенок. Она и была ребенком. Прекрасным, ослепительно прекрасным ребенком. Она стала его женой в эту ледяную и лютую ночь. Не любовницей, не наложницей, а именно женой, это Жив понял сразу... Но одновременно она казалась ему маленькой, беззащитной девочкой, нуждающейся как в пище и воде в его защите, она казалась ему дочерью. И это было непостижимо. Давно пора было идти к гребцам, к княжичам, к сторуким, к воеводам беглым и воям — они гребли, не покладая рук, но они жаждали его слова — а Жив не мог оторваться от нее. И не хотел отрываться, не хотел ничего знать о погонях, бедах, тревогах, опасностях. Он был счастлив как никогда и он хотел оставаться счастливым вечно.

* Хоро (в более мягком произношении «Коло») — круг, колесо, солнце и одновременно бог солнца. Отсюда солнечные божества Хорс, Гор (позже перешедший к египтянам) и др., отсюда также «хоровод», «коловрат», «коляда», «колесо», «колдун» и множество иных производных.

А ветер наполнял багряные паруса. Ветер нарастал. Он гнал их к Скрытню, к родному и доброму острову. И не было видно на окоме никакой погоны. Беглецы больше не таились, перекликивались со струга на струг в полный голос, смеялись, шутили, подбадривали друг друга.

— Вот так бы плыть и плыть... вечно, — прошептала вдруг Яра. И слезинка, крохотная, хрустальная, выкатилась из ее левого глаза.

— Ничего вечного не бывает!

Жив провел ладонью по лицу, протер глаза, словно стряхивая грезы, пробуждаясь. Да, она, его любимая, думала точно так же как он, она желала того же. Но мало желать чего-то... Погоня будет! Наверняка, уже есть. Надо спешить. Иначе вечность может оказаться слишком короткой.

— Я люблю тебя! — выдохнул он в нежное розовое ушко.

И подхватил ее на руки, поднялся в полный рост.

Гребцы стали поворачивать головы, приглядываться, с хитрецей, с прищуром, с любопытством, не решаясь вымолвить слова или даже улыбнуться двусмысленно.

— Смотрите! Смотрите все! — выкрикнул Жив громогласно. — Вот любовь моя, лада и жена!

Яра молчала, озирая спокойным синим взглядом лица, множество лиц, бородатых и безбородых, мужских, юношеских, девичьих — некоторые сестры ее сводные уже выбрались на верхнюю палубу, ежились под холодным ветром, кутались в платки. Но ей не было холодно, ей и не могло быть холодно рядом с ним, на его горячей и широкой груди. И пусть они изгой, беглецы, пусть счастье может оказаться недолговечным. Но ради этого мига стоило жить, рисковать, стоило броситься в омут с головой. Он назвал ее своей ладой предо всеми! Открыто, громогласно, истово. И это сильнее любых обрядов, любых венчаний, ибо от души и от сердца, а значит, ... от Бога. Род Всемиловитый, благослови! Матушка Лада Небесная, защити и укрой покровом своим! Яра молила, чтобы миг этот был нескончаемым — она рядом с ними, и надо всеми! Стало быть, не ошиблась,

когда узрела его в первый раз, значит, есть оно — Провидение, и они рождены друг для друга, навсегда... Навсегда! Только вот...

— Она же сестра твоя! — послышался вдруг звонкий выкрик с самого носа струга, с передних скамей.

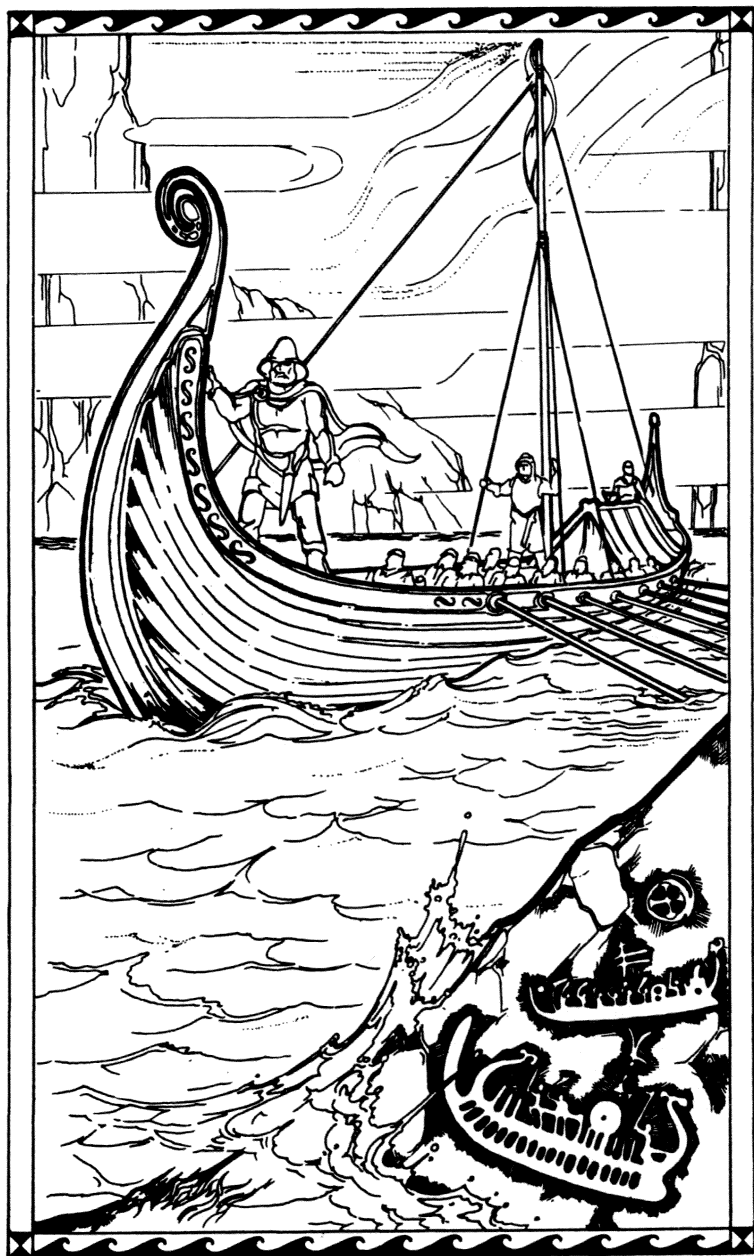
Кричал Талан, рыжебородый и зеленоглазый, не в мать Зареву, а в батюшку своего Крона, кричал старший брат Яры.

— У русов на сестрах не женятся! — поддакнул от мачты Стимир, княжич от покойной Тилиры.

Жив окаменел с прекрасной, драгоценной ношей на руках. Но только на мгновение. Он не мог допустить свары и пересудов, здесь он князь — всевластный и единоправный. Да и не ощущал любимую сестрой своей, не было зова крови общей, может, не ввали иные про отца его, а может, Зарева зналась помимо Крона с другими мужами. Было к Яре чувство малое, будто к дочери любимой, крохе родной, которую беречь и лелеять надо пуще зеницы ока... но не сестра!

— Не похоть и сладострастие свели нас! — выкрикнул он так, что на прочих стругах люд к бортам ближним подался. — Но боги всемогущие! От них любовь наша, как и плоть наша!* Не нам судить их замыслы и предназначения! — Жив нажал на слово «нам», показывая, что не отделяет себя и Яру от прочих русов, от уставов и обычаев русских. — Провидение Божье свело нас, чтобы дать свободу каждому! Все прочее бабьи сплетни, болтовня пустая! — Он замолк на миг. А потом вскинул Яру над головой, воздел к небесам на вытянутых руках. будто вознося ее к богам-предкам. — Вот

* Как известно, русы считали богами своих предков, и соответственно были детьми, внуками, правнуками богов (или Единого Бога Рода, в котором сливались все предки всех русских родов). Отсюда выражения «созданные по образу и подобию», «плоть от плоти» несли не метафизическое, а самое реальное, жизненное значение. В то же время каждый рус знал, что если и он проживет по чести, совести, ряду и обычаям предком свою жизнь, то и он вольется в этот сонм богов и в Единого Бога, и он станет божеством для потомков и, возможно, для иных народов, населявших Землю.



суженная моя! Вот жена моя! И небо тому порукой!

Яра вздрогнула, замерла в сильных руках. Сердце ее билось спокойно и ровно, без трепета. Не было в нем ни страха, ни тревоги. Она видела всех — и братьев, и сестер, и прочих. И видела, как сомнение исчезает из обращенных на нее взоров, как светлеют лица, как озаряют их добрые улыбки. Так и должно было быть, ведь и она желает всем только добра, они обязаны любить ее, как любит их она, даже больше, ибо она, Яра синеокая, рождена для любви. И она услышала то, чего и хотела услышать, чего ждала ее душа.

— Любо! Любо!! — понеслось-покатилось со всех сторон, со скамей и палубы их струга, и со всех соседних. — Любо!!!

Не кричали немногие, их Яра не видела, не хотела видеть — какое они сейчас имели значение для нее. Братья и сестры, род ее и род Жива не отрицали любви их. А стало быть, все честь по чести, все по-людски и по-божески. И пусть впереди потемки, пусть Жива ждет доля лихая, неведомая — она пройдет с ним вместе всеми его путями-дорогами, она разделит его судьбу. И пусть будет что будет!

— Любо!!!

Жив опустил Яру, прижал к груди и трижды, по обычаю расцеловал. Но не дал ей придти в себя, отдыхать, унес на руках в шатер.

И шепнул одно лишь словечко:

— Жди!

За пологом его встретил гул голосов. Жив уже знал, что наболевшее за ночь в сердцах людских рвется из них, просится наружу. И немудрено, ведь большинство никогда в жизни не бывало в море, все им чуждо и непонятно здесь, все гнетет, давит. И только терпеливость исконная, русская не дает опустить руки, утратить дух. Неведомое страшит сильнее зримых страстей лютых. И страх пред великим могуществом, пред непомерной силой Крона, простиершего свои княжеские длани почти над всем миром населенным, велик, ох как, велик!

— Немного осталось, братья! — выкрикнул Жив. — Крепитесь. К заходу будем на доброй земле!

Он знал, что говорил. За ночь они совсем немного сбились с направления. Теперь он по солнцу верил путь, был бы ветер таким как с утра, Старый бог не подвел бы, дедище ветров, бурь и ливней, трясений земных, зим и весен — и все будет в порядке! Скрытень ждет их! Жив не сомневался. Только до Скрытня многое решить надобно, о многом совет держать. Прав был Скил в чем-то, а в чем-то и не прав. Без Дона дела не сделаешь, за него многие княжичи, за него уклад и правда русская, он старший брат, старший Кронид, его не обойдешь. И хотя волю им даровал Жив, и потому бы его по праву считать первым во всем, к нему должен бы Дон пожаловать за советом и словом, признавая князем надо всеми беглыми... Но Дон лежит посеченный, увечный, ему не встать, не перебраться со струга на струг.

Жив махнул рукой гребцам.

— А-ну, давай шибче! Разом!

Те навалились на весла. Струг рванул вперед, разрезая крутой грудью валы белопенные. Выше взметнулась к серому зимнему небу точеная из древа голова Велесова — змей не змей, медведь не медведь, — чудище грозное, по морю бегущее.

Струг, на котором находился Дон, понемногу отставал. Вервь канатная натягивалась, начинала дрожать тугой струной почти что в сотню шагов больших.

А когда дрогнула она будто перун булатный, когда показалось, что то ли она лопнет, то ли мачты повалятся, Жив, с двумя мечами на поясе, в шеломе сверкающем, белым конским хвостом украшенном, в доспехах узорчатых, вскочил на борт, постоял малость, покачиваясь из стороны в сторону... да и побежал вдруг по толстой верви легким шагом, будто не человек, отягощенный плотью, а призрак воздушный.

Все затаили дыхание, не сводя глаз с княжича, но и рук не покладая. И синеокая Яра глядела в оконце узкое прорезное, глядела, сжавшись в комок — над гиблой ледяной водой в доспехах литых, да это смерти подобно, что же он делает? «Жди!» Она была

готова выпрыгнуть наружу, побежать за ним. Но ноги не слушались. И сердце билось как у загнанной белки. «Жди!»

Когда до струга Донова оставалось шагов с двадцать, шальным налетевшим невесть откуда порывом ветра качнуло Жива, опрокинуло. И полетел он вниз, в пучину смертную. Но успел извернуться барсом, зацепился ногой за канат, выгнулся, перехватился одной рукой, другой, чуть повисел, отдыхая. А потом как-то разом подтянулся, вскинул тело над тугой вервью, взлетел над ней, качнулся, раскинул руки с мечами, устоял. И пошел дальше. Но уже без спешки, выверая каждый шаг.

В какой-то миг Яре показалось, что вот сейчас он обернется, посмотрит на нее — она, не мигая, до рези в глазах глядела в спину Жива, в затылок. Но он не обернулся. Он прошел оставшийся путь, вспрыгнул на кромку борта, постоял, всовывая мечи булатные в ножны, тряхнул гривой над шеломом, прыгнул вниз, на палубу, исчезая из виду.

— Вот это князь! — восхищенно прохрипел сто-рукий Хис. — Бог, с небес спустившийся.

Рыжебородый Талан поглядел на него, будто впервые увидав. Изрек раздумчиво:

— Не божье это дело-то, по вервям ходить, судьбу-Долю пытаться попусту, — подумал и добавил, словно точку ставя: — И не князь!

Дон лежал на огромной медвежьей шкуре. Лежал весь замотанный лоскутами тканными, набрякшими от крови, где багряной, а где и черной, заскорузлой. Увидав вошедшего Жива, он чуть приподнялся на локтях, застонал. Но не дал стону вырваться наружу, заскрипел зубами.

— Здравствуй, брат! — поприветствовал его Жив.

— И ты здравствуй... — вымученно улыбаясь, ответил Дон. — С чем пришел? Ежели хоронить и тризны править, так зря.

— Ты всех переживешь, — отозвался Жив в том же духе, с улыбкой, ободряюще.

— Гляди, не сглазь!

Вой, присматривавший за княжичем седым, помог

ему приподняться, привалиться спиной к дощатой стене. В верхней палубной домине было прохладно для раненого, Жив хотел было приказать снести его вниз, в трюм. Но старший брат, угадав мысли по глазам, по поворотам головы, просипел:

— Здесь хорошо, дышать легче... там не могу! Ты вот что, дай-ка мне меда!

Жив огляделся, увидел у самого стола на полу корчажку с хмельным напитком, поднял, протянул Дону. То припал к ней надолго. Только кадык под растрепанной бородой нервно дергался. Пил, значит, раны мучили, только боль медами надолго не утишишь, не уластишь.

— Пришел я совет держать, — признался Жив. — Вольно было тебе под Олимпом силы свои испытывать наособицу. Да теперь, хочешь не хочешь, надо вместе держаться. Иначе смерть!

— Вместе и будем, — отозвался Дон с одышкой, пуча налившиеся кровью глаза. — Куда ж я теперь один? Покуда немощный, бери в свои руки бразды, Жив, так и людям скажи, Дон сам, мол, младшему власть уступает на время болезни телесной... А там видно будет. Ну, а не по сердцу тебе слово мое, так вынай меч, вот тебе моя душа! — Он отвел замотанные руки от груди. — А хочешь, так в море бросай!

Жив улыбнулся. На время... Так и получится. Нелегко с братом придется, ох, нелегко! Только в любом деле одна голова нужна. Там где гидра многоглавая, там разорение и власть вражеская, изуверская, убивающая народ. Ничего, время рассудит.

Он присел возле раненого, на край skóry.

— Что думаешь, брат, — спросил тихо, — оборону держать будем? Или в бегах жизнь коротать?!

Дон ответил сразу, словно ждал вопроса.

— Отдыхимся малость, рать соберем! Не ждать будем, сами в драку полезем. Беглые долго не живут, на беглых борзые есть. А я не заяц, брат, и не лиса. Да и поздно мне бегать, годы не те...

Жив молчал, слушал.

— А ты знаешь, что я больше всего любил, куда меня батюшка родной в погреб не бросил? —

продолжал Дон совсем о другом. — Знаешь, брат?

Жив покачал головой.

— По морю синему на стругах и лодьях хажи-вать, с ветром спорить и воды под себя подминать. Только на море свобода для меня! Не в теремах да палатах...

Жив усмехнулся еле приметно, пряча улыбку в русых усах. Хорош Дон, про свободу складно говорит, только сам в великокняжеский терем метит, на престол, а там не до ветров и волн будет.

— Зря смеешься, зря! — Дон умолк, лицо его исказилось гримасой боли, меды, и впрямь, не помо-гали — свежие раны болят нешуточно. Побелел весь, по лбу испарина пошла. Но пересилил себя, ска-зал: — Не власть мне нужна. Только правда!

— Всем нужна правда, — переиначил слова брат-ние Жив. Погасил улыбку на губах. Всмотрелся цеп-ким взглядом в Дона. Могуч тот, крепок телом даже сейчас, иссеченный весь... и не только телом. Такой любую хворь переборет. Это не Айд немощный и духом павший, это борец, титан! Ему бы по праву править над Русией. Да только ведь отца готов был убить родного, дай волю — разорвал бы руками собственными. А еще о правде говорит взыскует ее... родителей своих, какими бы ни были они, не по правде жизни лишать. Всем хорош Дон — и умом, и телом, и духом. Но нет в нем чего-то эдакого, что ряд дает, без чего властитель не пастырь стаду сво-ему, но волк... Нет, и так неверно, не волк Дон. Брат старший! И права своего не отдаст. Нечего и надеяться. Верно Скил предрекал, верно.

— Всем правда нужна, — повторил Жив. — За правдой и пришел к тебе, брат. Старшинства твоего не отрицаю. И ежели понадобится, под твою руку встану. На том крест целую! — Жив поднес на ладони к губам свят-оберег, доставшийся от матери, княгини великой Реи, поцеловал его, спрятал за пазуху. — Одного от тебя жду. Слова крепкого. Что никогда не пойдешь против меня! А я — против тебя никогда! Иначе все попусту, иначе лучше мне было на Скрытне в норе сидеть, а тебе в погребе!

Дон кивнул. Нахмурился. Видно, слово ему нелег-

ко давалось, видно, не привык бросаться им. Младший пришел с честью. Много таких, что увечного и в расчет не взяли б, с израненным даже говорить бы не стали. А этот пришел... дикарь, беглец, а может, и самозванец. Нет! Дон отбросил последнее, нет!

— Ты мне свободу дал, — просипел он. — А я за добро привык добром платить. Вот тебе мое слово!

Он протянул руку. Жив сжал ее. И ощутил, что силушка в Доне немалая, великая силушка, даже нынче, в болезнях и слабостях. Но еще он почувствовал, что сила эта не злая, что против него она не обернется.

— Значит, так тому и быть!

Жив встал. И чуть не свалился на доски. Струг качнуло — резко, неожиданно, будто он напоролся на отмель. Жив выскочил из домины.

Многое изменилось на море, пока он беседовал с братом. Небо стало серым, почти черным. Свинцовые тучи, гонимые Старым, накатывались словно полчища вражьи. Бились в борта валы... Буря! Она налетела нежданно-негаданно. На Русском море Срединном бури редкие гости, даже зимой. Но, видно, Старый не за беглецов был, а за Князя великого. Вот еще вал накатил, ударил в борт — водопадом соленых брызг окатило гребцов — иные из них почуяли соль морскую на губах своих впервые в жизни.

— Разворачивай носом на волну! — закричал Жив во все горло.

Рулевой и без него правил струг, упирался. Один из воев бежал на подмогу. Ничего, управятся. Жив бросился к борту, к верви заветной. Успеть! Надо успеть, куда буря в полную власть не вошла. Сзади его ухватили крепкие руки. Четверо сотников опальных удержали. Княжич Прохн рубанул коротким мечом по канату.

— Смерть там!

Жив рванулся. Разбросал сотников. Но было поздно. Струг, на котором ждала его лада любимая, Яра синеокая, уносило по воле разъяренного Старого бога,

лютого и коварного. Только изогнутый нос с хищным ликом то взлетал к тучам, то пропадал меж валов пенных, будто сам Велес кланялся Старому, признавая его силу и власть на море.

Когда мальчишка-дозорный донес Ворону, что три струга с багряными парусами вот-вот подойдут к берегу, воевода не поверил ушам своим — в эдакую бурю идти к берегу, на скалы?! Да и не ходят зимами великокняжеские посланники без особой надобности, без войн и смут серьезных.

— Точно видал?! — переспросил он сурово.

— Точно, батька! — парня трясло, то ли от пронизывающего сырого ветра, то ли от страха.

— Да ты не дрожи, — мягче сказал Ворон, положил руку на худое плечо — чего зря ругать парнишку, недоверие выказывать, он под ливнем холодным прибежал, ног не щадя, да и глаз у него верный, в учениях ратных не раз проверенный. — Не бойся, малый, не бойся, покуда море не утихнет, они не пристанут, им за струги побитые Крон-батюшка голы поотрывает, кто выживет.

— А я и не боюсь, — обиделся светлоглазый, продрогший паренек. — У меня для них подарочек припасен! — Он похлопал себя по боку, где на ремне болтался короткий иззубренный меч.

— Герой! — Ворон усмехнулся, прищурил единственный глаз. — Ты вот чего, давай собирай людей — цепь знаешь?

— Знаю!

— Тогда вперед! А я своих пошлю!

В горенке у стены бревенчатой уже стояли семеро крепышей, прислушивались. Им не надо объяснять что к чему.

Сборы были недолги. Да дорога до моря из долин горных долга. Ничего! Ворон поглядев на небо, сейчас непогода была им на руку, Старый на их стороне. Да и у северных крепей набережных двенадцать добрых мужей — в случае чего на себя удар примут, пока подмога подоспеет.

Сердце у воеводы билось неровно, судорожно. Вот он, настает час судный, коего ждали столь долго, к

кoмy гoтoвились, себя не щадя. Наготове были, а все одно, пришел он нежданно-негаданно.

— Шевелись! Шевелись, братья!

Вои без покpикoв знали, что спешить надо. Да только по мокрым и скользким тропам горным во весь опор не помчишься. Тут главное, чтобы непогода держалась, ежели чуть стихнет, струги их поджидать не станут. Правда, с ближних застав к тем двенадцати береговикам подойдут еще два десятка воев, им путь вдвое короче от вежей своих. Но все равно лучше поторопиться.

— До весны, гады, подождать не могли! — злился седоусый Овил, кряхтел, ругался, хромал, но не отставал от Ворона. Овилу было нелегко, сердце его разрывалось надвое: и вoрoгa нaдo бить, не спрячешься, не отвертишься, и жену молодую бросать жаль, не было б ее, и душа б не болела.

С северного склона Ворон сам углядел струги. Были они без снастей и парусов, видно, и обрывки сорвало прочь. Буря стихала. И валы были уже не столь крутыми, и ливень иссяк. Но корабли не давались волнам, выгребали в море, оставаясь на месте, видно, силы гребцов и Старого выравнивались... Ворон облегченно вздохнул. Вот тебе и каратели! Да у них после эдакого побоища со стихией ни сил ни духа не останется на что другое. Им бы живым выплыть!

— Сами окочурятся! — мрачно изрек Овил. Поглядел на воеводу с надеждой. — Может, вспять повернем? Ноги не чужие, свои!

— Нет! — отрезал Ворон.

К крепям спустились затемно, короток зимний день.

Ворон сам проверил камнеметалки. Обошел тайники — перуны громовые лежали в сухости, целехонькие, тихие. Теперь оставалось только ждать. Костры жгли низкие, под каменными прикрытиями, не особо опасаясь — огня с моря не увидят, а дым развеет ветрами — в непогоду что дым, что туман, что вихри, все серое да черное. Шесть десятков добрых воев от мала до велика, вооруженных до зубов из тайных кладовых пещеры Диктейской, ждали не-

прошенных гостей. Шесть десятков русов, готовых умереть, но не отступить.

К утру ветер стих. Море застыло серой неласковой гладью под медленно высветляющимися небесами. Ворон сидел на старом чурбаке, тербил ус, выжидал. За несколько темных часов непроглядной ночи струги разметало поодаль. И было видно, как сейчас они подтягиваются друг к другу. Шли они тихо, было ясно с первого взгляда, что то ли гребцов за бурную ночь ubyло, то ли весла поломало да повышибало из рук. Ворон молчал, не таким он представлял себе приход княжьих людей, совсем не таким, да только жизнь наперед не предугадаешь, надо подлаживаться под нее.

Овил высунул голову из-за крепей сморщился и, подумав, сказал:

— Уходят, небось!

— Нет, — отозвался тихо Ворон, — не уходят.

И он оказался прав. Когда струги сошлись на сотню шагов один от другого и третьего, они вдруг почти без задержки пошли к берегу. Сомнений не оставалось, корабли собираются пристать к Скрытню.

Ворон подозвал старшего метальщика, угловатого старика в меховой шапке и толстом корзне из козьей шерсти. Старик был крепкий, смышленный, толк в деле знал, на Скрытень бежал лет сорок назад, сам уж и позабыл отчего, но он все время мерз и потому кутался в корзно, покашливал.

— Ну что, не оплошаешь? — спросил Ворон.

Старик промолчал, чего на пустые вопросы отвечать.

— Гляди, чтобы разом, — напомнил Ворон, — как условлено! От тебя зависит, сколько наших назад вернется, понял?

— Понял, — глухо отозвался старик, зябко передернул плечами, кашлянул и ушел.

Струги шли тихонько. Ворон ерзал на чурбаке, ругался мысленно, клял Крона. На него сейчас были устремлены взгляды из трех больших укрытий, где дрожали натянутые канаты, удерживающие гладкие бревна, похоже на руки с ладонями, в коих зажаты чудовищные глыбы.

Наконец терпение его лопнуло.

— Давай! — Ворон махнул рукой.

Старик в шапке высунулся из среднего укрытия, погрозил ему пальцем. Ворон отвернулся — сейчас гордыню нужно в кулаке держать, не выпускать ее наружу. Пора! Струги уже близко, вон, и люди видны, гребцы. Пора!

Три огромных валуна взвились в серое небо одновременно. Бесшумен и недолог был полет их. Зато падение страшно — мачту у среднего струга снесло, будто ее и не было, одним камнем. Другим ударило по корме, так, что нос струга взмыл над волнами, словно вставшая на дыбы лошадь взвилась над лугом зеленым. Третий валун упал в волны.

— Давай!!! — выкрикнул Ворон, закусил ус, сжался в комок, готовый сам броситься в холодные воды.

Еще три глыбищи взметнулись вверх. Теперь все они обрушились разом на среднее судно — только бревна полетели в стороны.

Диким криком наполнился воздух. Ворон видел, как выскакивали из струга разбитого гребцы, кидались в море, плыли к соседним кораблям.

Третий залп закончил дело. Струг был разбит в щепу и разметан. Десятка два голов торчали из воды, кто-то цеплялся за обломки, кого-то уже тащили на борта других стругов, что поневоле замедлили ход свой, стали в двухстах с лишним саженой от каменистого берега. А какой-то человек даже высился на искореженной, погружающейся в воду корме и кричал что-то хрипло, яростно и неразборчиво. Ветер уносил прочь обрывки слов. Да Ворон особо и не прислушивался: мало ли что кричат в бою, каждого слушать, голову потеряешь. Надо добивать!

— Шевелись, братья! — заорал он сам во всю глотку! — Не давай им продыху!

Только теперь заготовленные глыбищи приходилось подтаскивать на руках, укладывать в подающие желобы. что были рассчитаны лишь на три броска. Мало! Надо было еще пару камнеметалок ставить!

— ..о-ой! ...о-орон!!! — доносил ветер.

Воевода невольно взгляделся в кричащего, что-то до боли знакомое было в далекой фигурке, что маячи-

ла над волнами. Или просто казалось? Нет, некогда время терять!

— Живей давай! — выкрикнул он. И уже хотел было отдать приказ особому десятку выученных воев доставать перуны из тайников. Все были наготове, только слово скажи.

Тем временем кричавший бросился в воду. Но поплыл не к стругам застывшим, ждущим судьбины своей, а к берегу. Ворон не сразу понял это. А когда понял, поднял руку вверх — не спешить, выжидать. И впрямь странно было — княжий каратель, один, безоружный, беззащитный, плывет к ним. Не иначе как хитрость, уловка какая!

Человек плыл быстро, будто не на суше, а в море родился. Ближние вои Вороновы, не прячась, вышли вперед с обнаженными мечами, изготовились. Вновь задрожали от натуги канаты. Но Ворон не опускал руки. Чем ближе подплывал княжий дружинник, тем сильнее начинали дрожать ноги у старого воеводы. Он не верил глазам своим.

Жив! Он! Ворон встряхнул головой, зажмурился, стукнул себя кулаком по лбу. И вновь открыл глаз.

Княжич выбирался из волн — огромный, сильный, усталый, тяжело дышащий, повзрослевший и налившийся мужской мощью. Да, это был он!

— Жи-и-ив!!!

Ворон распахнул воев и побежал навстречу тому, кого ждал все эти годы и кого не узнал... Глаз проклятый! Мало того, что один остался, так и тот подслеповатым стал, старость близится. Но все это неважно, все это мелочи, главное, княжич жив, сын всеблаготворительницы его Рен, кровь Юрова!

— Жи-и-ив!!!

Ворон бросился навстречу с распростертыми объятиями, будто не он только что потчевал гостей камнями. И княжич невольно развел руки, обнял старого дядьку своего, спасителя и учителя. Они стояли по колено в воде и сжимали друг друга могучими ручищами. Ворон, не таясь и не стыдясь, плакал, слезы ручьем лили из его единственного глаза, мешались на щеках и груди княжича с солеными стекающими струйками. Этой встречи ждал каждый из

них. И каждый знал, что ее могло и не случиться.

Наконец Жив отпрянул от седого воеводы, поглядел в постаревшее лицо, улыбнулся краешком губ и сказал с придыхом:

— Да-а, славно вы нас встречаете, братья любезные!

Черный патлатый бес, безликий и безглазый, будто насланный самим незримым Волосом из бездн преисподней, наваливался на грудь, давил ребра, не давая сердцу воли, душил, стискивал горло ледяными костлявыми пальцами. И не было мочи отпихнуть его, приподняться, избавиться от пут властителя мира Нави. Острые когти впивались в виски, омерзительная шерсть лезла в рот, в нос, в глаза... Но руки не слушались, видно, остатки сил и самой жизни покинули их — не согнать вражину, не прикрыться даже! Бес мелко тряся, то ли в ознобе потустороннем, то ли в приступах торжествующего хохота. И не было адской пытке ни конца, ни начала.

Вечность сменилась вечностью, истекающей в беспредельном круговороте своем, прежде чем из черномохнатой безликости высветились вдруг мутно и зыбко лики — много ликов, напряженных, выжидающих, чужих... Бесы! Кругом одни бесы!

Крон нечеловеческим усилием оторвал пудовый затылок от подушки, чуть приподнялся на локтях, затрясся мелко и тяжело, будто посланец Волоса все еще владел его плотью... И вновь провалился в тьму окаянную.

— Ничего, — тихо вымолвил Соклеп, врачеватель семьи верховного, немногословный и крижистый старик, не отходивший от ложа Кронова второй недели, — денек-другой проспит князь-батюшка наш и здоровее прежнего будет.

— Ой ли?! — усомнился Строг, ближний боярин и советник, переглядываясь с мужами старшей дружины, с женами Великого князя, сидящими на устланной парчой лавке вдоль стены бревенчатой опочивальни — пришли, ждут. Все ждут...

Соклеп не ответил. Только голову склонил, давая

понять, что пора и самым ближним оставить покои болящего, не томить его даже и во снах и наваждени-ях духом своим. Поняв врачевателя без слов, выпрями-лись, напряглись в ожидании четверо охранителей — только брони звякнули упреждающе и грозно.

Олен вышел первым, сдерживаясь, чтобы не закрих-теть, не застонать — раны да ушибы болели немило-сердно. Но пуще того болела душа, словно в огне пылала, мщения жаждала, расправы с беглыми, под-нявшими руку на князя, на него, слугу верного! Только не пустил Олена в погоню дальнюю Строг, уготовил ему худшую долю — ответ держать за свершившееся. Но не ему одному отвечать! Позади тяжело дышал в спину, в затылок чернобородый Кей. Он теперь никто, одно счастье, что выжил — выловили из вод смерт-ных, да другое счастье, что на порог княжий пускают! До поры до времени! — Олен осклабился недобро. Но не обернулся. Теперь каждый сам по себе. А ведь еще недавно жила надежда смутная, невысказываемая, по-таенная — помрет Великий князь, отойдет под длань Родову... и все обойдется. Нет, ускользала призрачная нить надежды. Не обойдется!

Невеселы, хмуры были думы ближних Кроновых.

А сам Великий князь спал — тихо и безмятежно. Исчадия вырия подземного покинули его мятущуюся душу. И виделись Крону бескрайние, неохватные ни одним взглядом земли. Но он видел все их, будто с вышних небес смотрел. Густо-синие моря-окияны омывали эти земли, по их спокойным водам плыли лодьи и струги, крохотные, будто листья земляной ягоды, брошенные в лужицу под ногами. А на зем-лях стояли грады бревенчатые и грады каменные — где чего в избытке было, из того и ставили поселе-ния. Мало еще градов стояло, мало! Долгие дороги да бездорожья лежали меж ними. И видел Крон гонцов, купцов и путников, спешащих, едущих, бре-душих по дорогам лесным, водным и пустынным... И не видел он пожаров и распрей, раздоров и смут, не стлался черный дым над полями, не вился серо-багр-ный над селищами. Мир стоял над землей его благо-датной и угодной богам Русским. Мир и покой. Покой и мир стояли в самом сердце князя, в душе его —

будто извечно, будто всегда, лишь что-то далекое и смутное процеживалось змейкой памяти — не всегда, не извечно, а впервые за всю жизнь суетную! Отдыхал князь, ибо имел право на малый отдых, ибо всю жизнь в трудах маялся, не давая пощады себе и сна... Вот теперь и отсыпался за долгие-долгие годы. А еще снилось ему, что, взирая на весь мир Божий с небес высоких, лежит он в опочивальне своей, в самом углу ее, на не княжески простой постели, на привычном своем лежбище, и стоит посреди опочивальни стол огромный, с разостланными чертежами земель Русских, со многими свитками и резными досками, что колышались язычки пламени в светильниках масляных, благовонных — но светло от них в опочивальне словно днем ясным... и сидит в углу на скамье страж его новый, молчаливый и сдержанный горяк с суровым не по возрасту лицом руса, сидит и глядит на него молча, будто ждет чего, а чего — и самому Крону неведомо.

— Это ты, сын мой, предал меня, — тихо прошептали губы князя. А в голове обожгло от нелепицы страшной мыслью: «Почему сын?!» Но мысль эта тут же растворилась в пустоте, будто канула с небес куда-то вниз, то ли в пустоши земные, то ли в пучины океанские.

Крон приподнялся, сел на постели, опустил ноги.

— Предать может только свой, — еле слышно ответил страж.

— А ты... ты мне чужой?! — Крон встал на ноги. Но они не держали его, и он снова опустился на ворох белья шитого узорами.

Что-то теплое, сыновнее загорелось в светлых глазах стража, словно оттаяло сердце его, пробудилась душа родная, близкая, ближе которой и быть не может.

— Сыно-ок, — прошептал Крон. Протянул тонкие высохшие руки.

Страж поднялся, сделал шаг к отцу... и замер.

— Ну что же ты, сын? — в горле у Великого князя разом пересохло, голова затряслась. — Иди ко мне. Иди! Я все прошу тебе!

Лицо стража исказилось, щеки окропились слезами,

в глазах серых дрогнула синевой боль нутряная. Он сделал еще шаг навстречу отцу.

И застыл камню подобно. Но не камнем, ибо камень тот истаял вдруг в пронизанном светом воздухе... и не стало стража-сына, такого родного, близкого и такого чужого.

И выявилась на месте его фигура высокая, царственная, с гордо вскинутым подбородком и нимбом длинных распущенных волос. Беспощадный взгляд жег плуце огня.

— Рея?!

Ответа ему не было.

Великая княгиня стояла недвижно, застывшим изваянием, даже высокая грудь ее не вздымалась под ниспадающими складками одеяниями.

Мертвая!

Крон зажмурился. Но видение не пропало.

Лишь ударило в уши будто изнутри:

— Ты простишь... Но тебе не простится!

Остаток сил покинул его, спина не выдержала. И Крон повалился на простыни, на подушки. Ледяным ветром обожгло грудь. И расширились еще шире окоемы, ибо он продолжал в и д е т ь.

И узрел Верховный полчища несметные, надвигающиеся на его земли с севера. С того севера, куда мостил мостки он, храня Державу свою и приумножая ее. Неостановимо, страшно шли полчища... Опоздал! Он опоздал!

Холод отчаяния, безнадежности сковал сердце, обратил его в вымерзший камень. Огромны, беспредельны земли, нет им конца... только бежать некуда! Повсюду шаги, повсюду поступь тяжкая и жгущий огнем взгляд. Море? Море... Увиделся вдруг среди пучин изумрудом зеленым Скрытень, высветился, будто отражаясь в зеленых глазах Кроновых. Но заалел ни с того ни с сего, налился кровью яркой и ярой, грозя лопнуть, залить все земли пресветлые. Безнадежность!

Крон рванул ворот льняной рубахи, только затрещала добрая ткань, вскинул голову седую, без огненной рыжинки прежней, огляделся — в опочивальне было тихо и пусто, будто все на земле вымерло.

В ужас повергло его пробуждение. Застонал Крон сквозь сжатые зубы, желая вновь провалиться в небытие, раствориться в грезах.

Но Явь не выпустила его из своих рук.

Овлур запахнул плотнее лисью шубу, вздохнул тяжело и сполз с коня наземь. Пошатнулся, ноги отвыкли от тверди земной. Оглянулся на дружину — все смотрели сурово, насупившись, и землю отчую отдавать не с руки, и в сечу лезть на погибель радость малая, да еще с кем в сечу-то! Но стояли крепко, дубравой могучей, какую назад не погонишь, словно сами, дубам подобно, вросли в землю корнями: земля-то своя, родимая.

За Купом войска не было. Только семь воевод стояли, спешившись, возле мохноногих коней, глядели выжидающе на княгинино боярина ближнего, что шел к ним неторопливо, с достоинством.

Сам Куп восседал на белой кобыле, как и полагалось князю. Светлые волосы трепал пронизывающий сырой ветер, но Куп не надевал княжьей шапки — пусть помнят, что он не только Князь, что он... Дух Рода жил в нем сыном своим Кополой и частью самого себя, пресветлого, гневного и справедливого. Не с войной пришел Куп в земли отцовы и дедовы. Не с войной, но за правдой.

— Княгиня великая Рея поклон тебе шлет, княжич, — начал степенно Овлур, сгибаясь в пояс, — и о здоровье спрашивает.

— Передай и мой поклон племяннице моей, — спокойно ответил Куп, не замечая унижительного «княжич», — и сам здрав будь. Что не встречает старшего? Может, захворала?

Овлур снова склонил голову. Но ответил дерзко:

— Нынче старше Великой княгини в краях русских нет никого. Праведный Юр все видит из вырия небесного — его воля! Прости, княжич, я лишь один из исполнителей воли той, Суд* свидетель!

* Суд — ипостась Рода-Вседержителя, славяно-русское божество, отвечающее за торжество справедливости и закона (Прави) в мире Яви.

— Отцова воля священна для меня! — отрезал Куп, вздымая правую руку вверх. — Но говорить мне пристало лишь с княгиней, с племянницей моей Реей. Прикажи воям расступиться!

Овлур медленно покачал седеющей головой, разгладил густую бороду, нелегко давалась боярину доля посредника, да и знал хорошо, противиться гневному и скорому на расправу сыну Юрову себе дороже.

— Не для того дружина поставлена, — вымолвил он твердо, но без дерзости, — княгинин приказ: пред тобой одним расступится, иного пускать не велено. И так далеко зашел... князь! Даже самый дорогой гость честь знать должен, прости уж меня за слово резкое! — Овлур вновь склонился в поясном поклоне.

— Гость?!

Светлые глаза северного князя побелели, будто одни белки остались. Терпению его и смирению подходил конец. Но надо было терпеть — во имя земли отцовой, во имя всех русов, рассеявшихся по ней, во имя самой Реюшки, которую помнил девчонкой-крохой, игруней и забавницей. Разве под силу ей удержать Державу Юрову?! Нет! И не в ней дело! Отец-Юр все видит из вырия, но и Копола-воин видит все, даже больше — а он, Куп, его глаза, его уши, его руки, его сердце и его разящие стрелы.

— Гость, говоришь?!

— Самый желанный и дорогой гость! — Овлур развел руки, словно распахивая объятия — лисья шуба разошлась, открывая брони железные, легкие, пластинчатые да короткие мечи на поясе наборном.

Все семь воевод разом положили руки на рукояти мечей, подались вперед. Порыв ледяного ветра ударил в лицо Овлуру, будто сама Марадохнула на него смертным дыханием.

— А ты знаешь, боярин, сколько воев за мной? — совсем тихо, почти не разжимая губ, прошипел Куп. — Шутки шутишь?!

— Сколь бы ни было, — смиренно ответил Овлур, — чрез нас не перешагнешь, князь. Убей каждого... — его рука показала назад, где не было ни

слева, ни справа краев лесу копий, — убей! И шагай дальше!

— И это воля племянницы?

— Да.

Овлур сбросил шубу и предстал пред воеводами Купа в боевых доспехах, в полной красе воинской, готовый умереть, но не отступить. Теперь он не клонил шеи, не опускал глаз.

— Гость желанный, говоришь? — повторил Куп, но иначе, без гнева, без надрыва. — Что ж, пусть будет так!

Он взмахнул левой рукой. И все семь воевод разом вскочили в седла. Замерли. А за спинами их, неведь откуда, то ли из тумана сырого, то ли из-за чащи жиденькой стали вырастать полки, дружины нескитанные — воздух окрестный наполнился громом, гулом, звоном, голосами — теперь не таились, поднимались открыто, шумно и дерзко.

Великая сила открылась глазам Овлура. И не вся, а лишь малая часть той силы, что шла и вот пришла с Севера Русского. Тонкая холодная змейка проползла меж лопаток боярина, свело скулы, как незрелого яблочка отведал... Но не показал лицом изумления, не дрогнул, не отступил. Значит, на то воля самого Рода. Значит, пришел черед уйти к претам, у каждого свой час. Овлур неспешно потащил меч из ножен. Знал, его знака ждет войско, и раз слова не доходят до сердец, стало быть, мечи достанут до них. Только мысль-изменница мелькнула в голове: не удержаться княгине, не устоять супротив дяди своего — силен! грозен! муж битвы! Юр Праведный, хоть ты подай голос с небес! Нет! Поздно!

Но Овлур не успел вздеть меча.

— Пусть будет по воле княгининой! — прозвучало в лицо.

Князь северных русов, сам Куп-Кополо, высокий, статный, могучий, с развевающимися по ветру почти седыми волосами стоял пред ним в полный рост, пеший и безоружный. Лишь белая с подпалинами кобылья морда тыкалась мягкими шершавыми губами ему в плечо, словно упрасывая вернуться в седло, да корзно багряное норовило взвиться под резкими

порывами вверх подобно большому крылу — то ли птичьему, то ли...

Долгие годы тягот и невзгод будто разом обрушились на седоусого дядьку, лишили ног — еле доплелся до гряды прибрежной, сел на валун. В глазах стояла темень, в обоих — и в незрячем, и в уцелевшем. Ломило перебитую руку. Жив! Он знал, он точно знал, что княжич выживет — как тогда, в сырой пещере Диктейской. Знал! Но увидал когда воочию, обезножил, обессилил, как палицей каменной по затылку огрели.

Жив что-то говорил дядьке, придерживал его под руку. Но тот ничего не слышал, только одно стучало в мозгу, в ушах: жив! жив!! жив!!!

А со стругов первым делом несли раненных да увечных, несли бережно. Овил распоряжался коротко и толково, не вспоминал про молодую женушку. Русы прибывшие и русы островные уже перемешались друг с дружкой, сновали туда-сюда, смеялись, ругались, хорохорились, подшучивая над недавним боем и над собою — встреча, и впрямь, получилась небывалая, поприветили гостей. Но, похоже, зла прибывшие не помнили, некогда его было помнить, дел хватало.

— ...ничего не разберу, — отозвался наконец Ворон, приходя в себя, яснея единственным глазом. — Опять в море? Да ты в своем ли уме, княжич?!

Жив тряхнул головой, брызги полетели с волос, провел ладонью по рукавам — вода потекла-посочилась вниз. Не до бесед долгих ему было. Первая радость, что встретил-таки дядьку живым-невредимым схлынула, прежде чем одежды высохли, туга сдавила виски.

— В поиск идти надо! — выговорил он уж в пятый раз подряд.

— Куда?!

— В море, куда еще...

— Не пушу! — Ворон побледнел до синевы, встал, пошатнулся.

Жив усадил его обратно, сдал плечи, обнял.

— Яра моя пропала, со стругом вместе... По-



гибнет, мне не жить, понимаешь! Прощай, Ворон!

— Стой!

Жив обернулся на ходу — огромный, взъерошенный, с изможденным лицом, совсем не похожий на того юнца, что покинул остров годы назад.

— Какая еще Яра? — спросил Ворон.

— Лада моя, жена...

— Ты женился?! — дядька снова встал, на этот раз твердо, прочно — силы вернулись к нему, минутная слабость растворилась, как не было ее.

— Вчера, — уныло ответил Жив. — И вчера же буря разлучила нас. Я тебе говорил, зачем повторять... Увечные пусть остаются, остальные пойдут со мной — на двух стругах. Мы и так потеряли слишком много времени, понимаешь?!

— Вчера... — глухо повторил Ворон. Услышанное не укладывалось у него в голове. Растерянно глядел Ворон в даль морскую, прояснившуюся, нетуманную, будто близки погожие времена. Вчера... Да, совсем взрослым стал княжич, свои печали-горести заимел, жену потерял на второй день, от такого поневоле ум за разум зайдет — только вот надо ли спешить! Не надо, муравейник разворошен, добра не жди... Но разве свой ум в чужую голову вложишь.

— Делай как знаешь, — выдавил Ворон. И отвернулся. Сердце чувало недоброе. Только встретились после долгой разлуки и на вот тебе! В поиск! В море!

Сборы были короткие — как сходили со стругов уцелевших, споро да скоро, так и возвращались на них, даже быстрее, без обузы, без княжен, без увечных, только здоровые да крепкие, способные вынести на море еще не один день. Жив не торопил людей, сами сновали как заведенные: воду подносили, вяленого мяса, рыбы сушеной. Овил колоду мечей со своими переправил да дротиков обычных сундук.

Дон наотрез отказался сходить со струга. Ему, несмотря на бурю, полегчало. Но вставать пока не мог, хрипел, кашлял кровью, то и дело впадал в забытье. Жив хмурился, но не спорил со старшим братом. Только послал к Овилу за снадобьями. Овил прислал их вместе с лекарем-стариком. Еле поспе-

вал тот. Жив уже в рог трубил — отходную, махал стягом алым на древке. В поиск... Куда? Где искать-то?! Море Срединное Русское велико, от окоема до окоема неделями идти — земли не узришь, а в ост-ровную Русию лезть нельзя, там хода не будет, там смерть. Жив сам еще не знал не ведал, куда плыть — на авось, куда глаза глядят, куда Старый внуков своих и сыновей воздушных пошлет, главное, от берега ото-йти. Эх, Яра, Яра! Может, тебя и в живых-то нет!

Ворон сидел спиной к морю. Так и не повернул-ся, не проводил взглядом уходящие струги. Обида не давала повернуть шеи. Сколько ждал княжича, как измысливал себе час встречи... а оно вон как обер-нулось. Старел Ворон.

— А этого куда? — спросил неожиданно Овил.

Ворон вздрогнул. Разлепил набрякшее веко. Со-всем рядом стояли четыре калеки пришлых с поби-тыми руками, ногами, головами, замотанные в тряпье. Но они умудрялись держать кто в чем ручки носи-лок. А на них лежал какой-то бледный, высохший ... но без ран, без увечий человек, прикрытый бу-рым корзном. Глядел он в небо будто знака ждал, только глаза были неживые, странные.

— Кто такой?

— Айд это, — отозвался один из калек, — стар-ший брат князя нашего.

— В сече побили?

— Нет, — ответил другой, безбородый, с набух-шим рубцом на лбу, — в сече он с нами не был. Таким и взяли с темницы.

Ворон склонился над лежащим.

— Айд... — прошептали губы сами собой. При-помнился мальчуган — темнорусый, смышленный, рез-вый, норовящий взобраться на колени, а оттуда на плечи — второй сын Реин, любимец, баловень. Вот как жизнь распоряжается-то, всю ее и прожил в подполе, небось, сломался. Сколько же лет прошло? Ворон не помнил. — А мать его Полутой* звала, не

* Айд, Полута — русские имена, преобразованные на «ан-тичной» почве в «Аида» и «Плутона». Образ один, заимствован-ный греками и римлянами у русов.

по-отцовски, по-своему. Несите наверх, в долину, Овил укажет куда.

Сына покойной госпожи унесли. А Ворон все сидел — отрешенный и молчаливый, будто ускользнуло что-то важное из памяти, а что, что именно, не поймешь. Так бы и просидел до ночной темноты. Если б не пронзило вдруг с головы до пят чем-то острым и холодным, недобрый. Предчувствие? Ворон не понял. Но узрел вдруг, что застыли ближние к нему русы, выпрямились, оторвались от своих дел.

Медленно, шуря глаз, обернулся воевода к морю. Багряные паруса чернели над далеким окоемом. Возвращаются? Жив назад идет?!

— Господи, Род Вседержитель! — прошептал кто-то рядом.

Ворон протер глаз — может, двоится, троится... Нет! Девять парусов тугих, девять стругов! Тут и думать не о чем — погоня пришла. Жив ушел. А погоня великокняжеская пришла!

Ворон встал, подошел к кромке воды. Седоватый прибой набегал лениво, лизал мягкие сапоги. Ворон смотрел в море, но знал — сейчас все прочие смотрят на него. Четверо подручных с усталым и бормочущим под нос ругательства Овилем подошли ближе.

— К бою готовиться надо, — сказал им Ворон. И виновато развел руками, словно он сам накликать беду.

Овил кивнул, промолчал. Что тут говорить, и так все ясно — боя не миновать. Только силы теперь неравные. Девять больших стругов! Девять сотен лучших бойцов Руси! Овил пожалел, что не надел чистого белья, помирать лучше в чистом да с мечом в руке. Он знал — помирать придется, пришло, стало быть, времечко.

— Всех, кто на ногах стоит, с гор вернуть, из теремов, — приказал Ворон, — до единого!

— И баб, что ли? — переспросил подручный Дел, сноровистый невысокий малый.

— И баб, и девок, и побитых.

Овил сморщился, пробубнил, глядя на воеводу:

— Не трожь раненых, им тут смерть неминуемая!

Ворон не ответил — его приказы не обсуждают-

ся. А смерть неминуемая всем им, так лучше умереть стоя, открыто.

— Камнеметы готовить! — сорвался он на крик. — Валуны подносить! Чтоб по два десятка на каждый струг. Давай, братья! И не вешать носа, Род-батюшка с Кополой нас не выдадут!

Овил усмехнулся, шепнул неслышно для других:

— Боги-то одни у нас, им с неба видней...

— Молчи! Наш бог в правде нашей!

Овил не нашелся, что ответить. Да и некогда теперь было.

Струги шли ходко, будто вознамерились протаранить берега скалистые, но целя к узенькой полоске песка, к бухточке малой. Видно, узрели с них обломки потопленного судна, почуяли, что по верному следу идут.

Старик-метальщик в меховой шапке встретил Ворона прищуром подслеповатых глаз и доброй улыбкой, приободрил:

— Не бойсь, старшой, зря, что ль, мы тешились давеча?! зря, что ль, свой струг на дно пустили! — усмехнулся шире, добавил: — И этих пустим!

— Твоими устами мед пить, — отшутился Ворон. Но распоряжений давать не стал — старик сам справится, не подведет, все бы такими были. А вот особую ватагу предупредить следует. Вои там один к одному, проверенные, привычные к перунам гремучим. Только маловато их, всего-то десяток! И перунов мало, их беречь надо... Эх, перед смертью не надышишься! Ворон скосил глаз — засадные дружины засели за грядой четырьмя крыльями. Там лучники добрые, на совесть выученные ... еще б девки подоспели, среди них немало искусных лучниц, а уж стрел с лихвой припасли, недаром годами гостей ждали. Ворон открывал было рот, да снова смыкал губы — кричать, указывать не приходилось, каждый свое место знал, еще бы, сколько учения положено!

Он занял свое место, откуда видно все. Затаился. Посыльные мальцы лежали поблизости, за валунами да кустами облезлыми, словно ждали, чтобы опрометью броситься, куда укажут. Готовы. Все готовы!

И оттого тяжелее вдвое, ждть да догонять всегда тяжко.

А струги разделились. Семь крутобоких кораблей начали в цепь вытягиваться. А два самых ходких напрямую пошли к берегу, только паруса круче стали под ветром прибрежным. Разведка! А чего разведывать, Кроновы мореходы все камни подводные и все гавани добрые вокруг Скрытня знают, все разведано за сотни лет до нынешнего князя. Значит, боятся. Значит, отпора ждуть! Ворон жевал высохшую соломинку, хмурился, вспоминал братьев-кореванов, с которыми за Рею-матушку бился — были люди, были вои лесные! их бы сюда! да поздно, не воскресишь героев, им теперь в вырии светлом жить да в былинах... Что же старик медлит? Оба багрянопарусных струга подошли близко, достать их без труда можно, запросто. Бить надо! Ежели две сотни дружинников высадятся успеют — все, конец! Заснул старик, видно!

Ворон подманил одного из мальцов — стриженного парнишку лет двенадцати. Тот подполз резво, ужом. Но Ворон рукой махнул, передумал, нечего ученого учить. Старик правильно делает, что тянет — если сейчас судна потопить, из сотен две трети спасутся, до других стругов доплывут, может, и поболе. А у берега лучники их всех побьют. Выждать надо.

Тем временем струги подошли на полторы сотни шагов, теперь они были ближе к гряде, чем к цепи плавучей. Отчетливо звучали голоса, смех, выкрики. Радуются, беспечно идут.. что ж, пусть. Ворон оглянулся на дальние склоны — все тихо, ни шума, ни вида, молча сидят два десятка дальние. Но и им работа найдется, коли другие струги обойдут гряду, да со спины налезут, в кольцо возьмут. Все продумано, все выверено ... только против эдакого числа все одно не устоять. Ворон вспомнил отца родного, когда принесли того с сечи порубанного, был он вдвое моложе, там и помер, не выпуская рукояти меча из руки, с лицом просветленным, будто уж видел что-то не видимое прочим. Много смертей Ворон-воевода повидал, многих братьев-друзей потерял. Все свою смертушку поджидал, маялся ...вот, видно, и пришла.

— Давай! — прохрипело старчески, без утайки.

Четыре валуна обрушились на струг, шедший слева. Такого и Ворон бывалый не видывал: мачту с парусами снесло, будто и не было их, затрещало, заскрипело, заухало, вопль людской, одним свившимся из десятков глоток ором взвился в серое небо ... и струга не стало, лишь качалось на редких волнах нечто уродливое и покореженное, разваливающееся, жалкое. Ворон выругался. Перегрузил старик камнеметалки, поломают такими валунами! Надо все ж таки мальчика слать.

Пока он так думал, грянул второй залп. На этот раз два огромных камня канули в свинцовые воды. Третий сбил мачту, качнул другой струг, правый, да так, что посыпались за борт гребцы. Четвертый валун так и не взвился в небо, зная, верви не выдержали! Ворон в сердцах ударил кулаком по земле бурой, холодной. Недоброе начало!

А лучники уже били пытавшихся спастись вплавь, били по-деловому, без спешки, но точно. В ответ сыпались редкие стрелы с уцелевшего струга, сыпались, вперемешку с отчаянной руганью. Но там, в далекой цепи морской, на расходящихся кораблях, видно, пока не поняли, что происходит у берега.

— Бей, мать вашу! — заревел медведем Ворон и ткнул посыльного ладонью в плечо. — Бей!!!

Четвертый валун пошел низко, ударил в самый нос, сшиб резкую голову горыню, только отлетела, сверкнув вставными глазищами-хрусталями, канула в пучину. Добрый получился удар. Струг качнуло на корму. Но он все же выправился, чтобы ... принять еще два подарка с небес — бревна, доски, обломки весел, человеческие тела полетели в разные стороны. И хоть не пошел ко дну корабль разбитый, но плыть ему было уже не по силам. Ворон выдохнул облегченно. Две сотни, почитай, положили, все полнее будет. Только это еще даже не начало.

Он видел, как струги в дальней цепи встали, замерли. Потом ближние пошли к берегу напрямую ... и снова стали, на безопасном расстоянии — три больших струга. А еще по два, справа и слева, хода не сбавили, двинулись наискось, в обход. Этого и

следовало ожидать — вои Кроновы засекли их, теперь не будут лезть на рожон, теперь зажмут их, обложат как медведя в берлоге и задавят, перережут всех до единого.

Ворон глядел на струги.

А с берега вои его били стрелами да дротиками княжьих людей, били беспощадно, люто, зная, что скоро бить будут их — столь же люто и беспощадно. Кроновы дружинники тонули — иные пронзенные летучей смертью, иные с оцепеневшими, неподвластными от студеной воды руками и ногами. Обломки струга пылали — чья-то горячая стрела зацепилась, нашла сухую дощечку. Погребальным кострищем горел струг, на котором еще недавно смеялись в голос, дышали ветрами морскими вольными в полную грудь.

— Ты не высовывайся, внучок, но гляди в оба, — сказал на ухо маленькому Икосу дед, — гляди и запоминай!

Сказал — и ощутил, как затрепетало, задрожало крохотное тельце. Страшно, очень страшно, но глядеть надо, когда еще такое увидишь на Крете. Неподаром почти что день целый пробирались сюда глухими тропками козлиными, ползли где, на четвереньках шли, через ямищи прыгали. Он сам-то старый, скоро его заруют в пещере, там и отцы и деды с прадедами зарыты, туда хода нет... А вот внук пускай глядит, будет рассказывать в племени, не сейчас, потом, будет кусок иметь всегда, не помрет... Спасибо сын младший, отбившийся, изгой проклятый, упредил тайком, передал весть через своих, горяков, вот и поспели.

— Все запоминай, — повторил дед, черный как смоль, заросший волосом до глаз самых, одетый в козью шкуру на чреслах, кривоплечий с детства, кривоногий, но самый родной из всех.

И внук кивнул, смирил дрожь. Надо глядеть, надо запоминать. Он такого и впрямь не видывал, только в сказках дедовых слышал. Не было в их племени людей подобных — прямых, высоких, с волосами будто пена морская. Скалы метали они ... разве

можно скалу бросить?! Нет, никогда не видал он таких — злых и всемогущих, в сравнении с которыми звери дикие подобны овечкам и козлятам. Страшно было, поди, уйми дрожь.

— Не-е, не люди то, — снова зашептал в ухо горячо дед, — люди как мы, обыкновенные, простые. А то боги, внучок! Боги да титаны. Сколь помню себя силу копили. А нынче, видно, пришло время их битвы. Люди так не быют друг дружку... Все запоминай!

Дед знал, что светловолосые рышут по всей Кре-те, вылавливают соплеменников-горяков, зовут к себе, еду дают, одежду справную. Только идут к ним единицы, изгой идут, по пальцам одной руки пересчитать, а все прочие прячутся, к богам идти — добра не жди, разве можно угадать, что у бога в голове: сегодня накормит-напоит, завтра жизни лишит. Боги! У них своя жизнь. У горяков своя. И нечего мешаться, нечего гневить сильных да могучих. Лучше от них подальше держаться... Но когда племя долгим зимним вечером в редкие сытые времена собирается под священными сводами, нет ничего лучше, как послушать страшные были про страшных богов. Кто знает такие бывальщины, никогда не пропадет. Он сам не пропал, он и внука обучит.

Семилетний мальчуган, такой же чернявый, жался к деду, смотрел, как бьются боги и титаны, не отводил глаз, будто приковали его к кусту, смотрел сквозь переплетения ветвей, не видимый, но видящий все... Боязно было. Руки-ноги стыли от ужаса. Но не оторваться от чуда чудного, нечеловеческого, неземного!

Сами себя в мешок засадили! — с досадой думал Ворон. Но виду не показывал, держался бодро, будто дева Победа взяла их сторону.

На левый край он успел перебросить десяток камнеточиков, благо, что устройства по всем удобным бухтам соорудили, не жалели сил. Там, слева, княжий струг встретили достойно — разнесли в щепы. Второй пожгли перунами громовыми, аж у самих у всех уши позакладывало, вгорячах вдвое больше пе-

рунов побросали на вставший у самого берега корабль. Десятка три княжьих дружинников успели выбраться. Сеча была изрядной, благо, что засадные ватаги помогли. Ворон не считал покуда, но знал навскидку, что на левом краю почти половину воев потерял. Это худо, да еще ничего. Справа две сотни с двух стругов высадились, пошли в обход... Вот он, мешок!

А передние три струга так и стояли в море, выжидали. Попробуй, разверни камнемётки, они часу своего не упустят, нагрянут коршунами!

— Крепись, братья! — выкрикнул он гортанно, чтобы всем слышно было. — Недолго осталось! — И осекся, сорвал голос, захрипел. Теперь каждый мог сам додумывать, до чего недолго осталось: то ли до победы, то ли до сечи, то ли до конца этой жизни бральной.

Кроновы люди выскочили из-за холмов внезапно, понеслись вниз по склону, грозя смести в море — с криком, с кличами боевыми.

— Давай! — просипел Ворон.

И град стрел ударил в нападающих. Но не оставил грозного вала — что стрела для доброго доспеха! Лишь немногие попадали, остались лежать да корчиться на голом, покрытом бурой травкой склоне. И еще град осыпал воев княжьих в лица и груди. А разом с ним полетели с ближней вершинки, да с другой, да с третьей в спины и на затылки дружинников камни, посыпались дротики каленые — то дальняя, верхняя засада в бой вступила.

Ворон отер пот со лба. Вытянул длинный булатный меч из ножен. Нельзя было дать врагу опомниться. Надо было его бить.

— За мной, братья!

Три десятка крепких и обученных островитян, опора воеводы, костяк воинства его, вскочили на ноги, побежали по пологому склону наверх. Опережая их ударила в дружинников еще туча стрел, за ней еще и еще. Посыпались валуны сверху, камни из пращей полетели. Вспенился грозный вал, взбурлил, остановился растерянно, сбиваясь в кучу, ошестиниваясь десятками лезвий, копьями...

— Сами вы в мешок попали! — пробормотал на бегу Ворон, потрясая мечом.

— О-орра-а-а!!! — гремело у него за спиной, рядом.

Три десятка отчаянных смельчаков неслись на врага, превышавшего их числом впятеро, может, и больше. И стоило этому врагу, воям Кроновым опаматоваться, собраться — все, конец, гибель неминуемая.

И новый град стрел — седьмой залп, восьмой, девятый... Били без устали, не щадя рук, пока можно было бить, пока не схлестнулись две силы, малая, своя, и чужая, огромная, закованная в брони, набирающая ярь, закипающая от гнева и потому вдвое страшная.

Не оборачиваться! Не оборачиваться! — сам себе твердил Ворон. И все ж таки обернулся: позади внизу разворачивали камнеметы ... чтоб их! и уже шли к берегу струги, сжималось колечко смертное, задувало ледяным ветрищем с моря, туманилась, серела даль окоемная...

— Назад! Не смей! Вертай к морю! — орал Ворон, но лишь сип вырывался из горла.

Он не видел, как первые мужи его отряда врезались в строй дружины Кроновой, как завязалась сеча, как осекся вдруг и прекратился град стрел — как по своим бить! — и верхняя засада затихла, то ли камней запас кончился, то ли своих жалели ... повыскакивали с вершин малых, кто с чем ринулись вниз на подмогу — в основном подростки да деды, силы порастратившие за жизнь.

Только потом увидел он все разом, взъярился, вскипел духом, ринулся в гущу самую — как вторую молодость обрел, словно двадцать годков сбросил.

— Взять хотели?! Бери!

Он пронзил горло ближнему вою Кронову. Занесенный над его головой меч упал плашмя, бессильно, выскользнул из мертвой руки. Ворон перехватил его левой, и тут же всадил под ребра дружиннику дюжему, что вскинул обе длани, норовя обрушить свой меч на голову Стегну, Овилову племяннику ... не будет открываться. И правой рубанул наотмашь —

рукоятью отбивая удар смертный, а лезвием снося чью-то голову в пернатом шлеме.

— Держись рядом, братья! — заорал он, не щадя больного горла.

Сверху бежала подмога, старики да дети. Ворон злился. Все получалось не так, как он задумывал. Что делать, настоящих воев мало, кореванов лесных вовсе нет, а обученные поселяне ... они и есть поселяне. Что ж, ему отдуваться.

И он отдувался. Рубился за семерых, сея вокруг себя смерть, не давая зайти сзади, собирая воев своих спина к спине.

— Секи их, братья! Дави измену подлую! — кричал сотник Кроновой дружины, подзадоривал. — Нет предателям жизни на земле нашей! Секи!!!

Но его понукания не были уже никому нужны. Каждый бился сам за себя — опусти меч на миг, ссекут голову, одну-единственную. В раж и пыл боевой вошли обе стороны.

Подмога ненадолго отвлекла дружинников, два десятка выбежали наперерез, порубили половину, сами поредели. В сечу влилось совсем мало дедов да подростков, но и им честь да хвала, хоть немного на себя отвлекли сил, да все ж отвлекли, дали воздуха глоток глотнуть.

Дали Ворону отскочить в сторону, оглядеться, своих собрать да перун громовый из сумы выдернуть. Искру высек с третьего раза, руки дрожали — швырнул в самую гущу Кроновой рати.

— Ложись, братья!

Первым упал наземь.

Взрыв был глухим, вязким — как в воде разорвалось. Полетели повсюду куски плоти сырой, теплой, брызнуло кровью, ударило в носы гарью да вонью горючей.

Звзвился над головами валун нежданный, обрушился в цель прямехонько, давя пришлецов незваных. Камнеметалка заработала. Ворон оглянулся — внизу тряс руками и орал что-то радостно Овил. Там готовились еще метнуть ... развернули все же! негодяи! Ворон заскрипел зубами, застонал. Он видел, как идут к берегу все три струга — это был их

конец. Развернули! Да какой толк здесь от валунов!

И верно, следующие два огромных камня не унесли ни одной жизни — теперь их ждали, видели и разбегались. Человек не струг, это тому нелегко прыгнуть в сторону, отскочить... Эх, Овил, Овил! Но бежать вниз поздно, надо с этими кончать!

Ворон вытащил еще перун, швырнул в врагов — и снова ударило в уши, заложило их, снова вопли и стоны разорвали небеса темнеющие. Только трудно было настоящим воинов напугать, остановить ... речеда рать Кронова, уже не больше восьми десятков осталось живых, непобитых. Но сдаваться да бежать и не думала, затаилась лишь ненадолго пред новым столкновением.

— Ну что ж, — Ворон оглядел ближних воев, семнадцать мечей насчитал, — не посраим имени своего! Вперед!

На этот раз они врезались в строй дружины княжьей клином, разрубая выставленные копыя, выбивая передних дротиками. Пусть мало их, главное, не давать вражьей силе опомниться... Ударили крепко. Но и стояли Кроновы русы крепко. Сила на силу нашла. Сила малая, но готовая к смерти, на силу большую, не ожидавшую эдакого отпора.

Лютая пошла сеча, будто и впрямь не люди живые, боль чуящие схлестнулись в кровавом поединке, но боги и титаны. Никогда еще прежде Ворон не ощущал в себе столько мощи, столько жажды горячей выстоять, выжить, победить — и впрямь вторая молодость пришла, пуще первой. На этот раз их взяли в кольцо, обежали. Вот это и стало настоящим мешком смертным.

— Спина к спине, братья! Себя береги! — хрипел он. — Правда наша!

— Руби измену!!! — неслось отовсюду.

— Бей гадов!

— Смерть предателям! Смерть изгоям!!!

Но больше было ругани, стонов, хрипов, воплей и лязга железа. Не помнил Ворон такой сечи, хотя во многих побывал, лишь раз ему удалось вспрыгнуть на валун уродливый, поросший мхом, оглядеться. Струги подходили к самому берегу, не больше трех

сотен шагов отделяли их от прибрежной полосы. Внизу суетились металышки, поспешно разворачивали камнеметы ... только поздно, поздно уже! Суетился Овил. Старика в меховой шапке видно не было.

А чуть дальше в море виднелись багряные паруса еще двух стругов. У Ворона сердце похолодело — значит, не всех с первого раза досчитали, значит, погоня больше была, просто разошлась по побережью. Это конец! Еще две сотни. Да три на ближних стругах! Это конец! Это сама Смерть-Мара идет с серого смертного моря! И нет от нее исхода!

Он повернул голову к дальним склонам.

Оттуда шла Жизнь.

Тысячи за полторы шагов видны были вои, спешившие из долин горных им на помощь: вои, бабы, девки, раненные — несколько десятков, может, побольше сотни — шла помощь, шло подкрепление, бежало, не жалея ног, зная, что погибают свои, каждую минуту погибают, зная, что нельзя медлить! Значит, поспели посыльные.

— Браты, подмога!!! — закричал Ворон. Горло отпустило и крик его прогремел громко, твердо.

Даже Кроновы вои обернули головы, смолкли на миг. Для кого подмога, а для них — лишние хлопоты, и так руки мечей не держат, каждый удар выверять приходится, силы рассчитывать. Сейчас бы передышку малую!

— Бей их! Не давай опомниться! — ревел Ворон. — Это они измена! Они предатели! Вперед, братья!

А куда вперед? В кольцо нет ни переда, ни зада. Кольцо, оно и есть кольцо, мешок гиблый. Но с новой силой и ярью загорелась сеча. Надежда придавала мощи и крепил. Только неслись сипы, стоны, рык отовсюду. Только лилась на землю дивного и тихого допрежь Скрытня горячая кровь русов.

Скил кошкой вскарабкался на самый верх мачты. Замер.

— Ну что там?

Своим глазам Жив не доверял. Обошли вокруг всего острова — на всякий случай, ежели и приби-

ло куда-то струги Ярины, так сюда, а нет, придется в открытое море идти. И вдруг точки какие-то черные — мурашки в глазах. Яриных струга два... А точек три почему-то. Ничего не понять.

Скил не отзывался, все всматривался. Уже выполз изнутри брат Дон, попробовал подняться на ноги, зашатался, но устоял, превозмог себя.

— Чего ждем? Что случилось?! — поинтересовался мрачно.

Скил молчал. Вглядывался.

— Надо в море идти, — проворчал Дон. — Мне в море легче. И Яра твоя там, не иначе.

Где была любимая, лада, одни боги ведали. И потому Жив не ответил. Дождался, пока спустится Скил.

— Три паруса, три струга, — доложил тот, больше ничего различить не могу, обломки какие-то, мало ли что волной прибьет. Берег плохо видно, далеко мы...

Скил отошел от ран и ушибов, воспрял телом. Но дух его был мрачен, подобно мрачному серому зимнему морю. Скил скучал по оставленной вдовушке и не понимал нерешительности княжича: не хочешь драться за место под солнцем, нечего было других баломутить, с места срывать.

Жив размышлял недолго.

— Передать на второй струг — идем к берегу, быть наготове! — приказал он. — А ты, брат, — кивнул он Дону, — иди вниз, мало ли что!

Дон усмехнулся, привалился к мачте. И крикнул сотнику, помогавшему ему выбраться наверх:

— Вот что, друже, тащи-ка сюда мечи мои и доспех ... да еще корчагу с медом не забудь!

— Безумец, — растерянно прошептал Жив. Он был словно в тумане, рассудок заставлял его принимать решения, не противоречащие смыслу, но сердце, душа, мысли — все было далеко-далеко отсюда, там, с Ярой. Нет, не для того он выручил ее из темницы, назвал женою своей, чтобы потерять вот так, глупо и нелепо.

Струги развернулись. Пошли к Скрытню. Благо ветра полнили тугие паруса и гребцы могли передо-

хнуть — кто знал, что их ждет. Каждый сидел, проверял свое оружие, крепил ремни — ежели бой, один незатянутый слабый ремешок может жизни стоить. Кто не знал этого, тем подсказывали сторукие-сотники, хотя и были без сотен своих, дай Бог, каждому по пять-шесть воев доставалось, да и те или княжичи темничные, или стражи беглые с воями опальными. Хотт знал цену и тем и другим, потому больше полагался на себя, наводил лезвие меча, напевал под нос что-то.

— Для погони маловато их, — вслух рассуждал Дон, — непонятно, три струта против пяти, да считай островных еще, только на верную смерть можно посылать. Нет, то не княжья погоня. Скорей, два струга наших, беглых, а один еще прибился, может, кто под шумок сам бежал в вольницу Скрытненскую!

Рассуждал Дон толково. Но Жив его не слушал.

А когда подошли ближе, понял — не беглые то струги, большие. Значит, все-таки погоня, ибо у иных таких стругов быть не может, княжьи, Кроновы, отцовы! И снова припомнилось, гвоздем в сердце, ножом: «Ты верный ... ты не предашь!»

Жив стоял на носу, разрезающем волны. Стоял окаменевшим изваянием. Вглядывался. И начинал видеть, начинал понимать, что творится.

— Да там же бой идет, силы небесные! — не выдержал Скил. — На три часика всего их оставили-то, и на тебе!

— А ну, на весла!!! — приказал Жив, да так, будто громом ударило сверху.

Струги пошли быстрее, казалось, они и волн не касаются. Но Жив нервничал, рвущееся из груди сердце обгоняло струги, обгоняло ветер. Там дядька! он его бросил так беспечно, так небрежно, обидел! а теперь ... теперь его и в живых-то, может, нет!

Паруса княжьих стругов вырастали на глазах, багровели в вечернем небе. А на берегу творилось неладное: ни звука не доносилось оттуда, но по движению людскому, по многим телам, сгрудившимся в кучу, таким крохотным отсюда, по тусклому блеску шеломов, по вспышкам огня, по сыпящимся с гор

каменьям и мельтешению воев за грядой Жив знал — сеча нешуточная, такой еще на Скрытне не бывало.

— Прибавь ходу! Давай, братья, давай!!!

А еще видел он, что вои княжьи, отцовы со всех трех стругов готовятся к высадке, но судна ведут к берегу тихо, чтобы не побить о камни, не посадить на мель — и не летят в них валуны, нет отпора. Что ж там случилось?! Жив стыл на ветру, не оборачивался.

Заметили их поздно, не ждали врага с моря.

— К бою!!! — взревел Жив.

Осталось совсем немного. Уже лучники привалились к борту. Посыпались стрелы с горячей паклей. Занялись паруса.

— Вперед, братья!!! — выкрикнул вдруг Дон. И сам подбежал к носу, вскинул меч.

Копья и дротики, летящие с княжьего струга, разбивали щиты, валили людей. Но было поздно. Со всего ходу их струг ударил носом в борт княжьего, затрещали, заскрипели бревна, качнулись мачты, пуще прежнего загудело пламя в парусах. Десяток багров огромных впились крючьями в доски... Жив первым прыгнул через борт, на лету разрубая княжьего дружинника, посмевавшего выставить копьё. В несколько мановений ока расчистил он место вокруг себя — только полетели в стороны срубленные руки, головы.

Дон прыгнул следом — бледный, в окровавленных повязках, всклокоченный, с горящими глазами — и оттого вдвойне страшный. За ними на палубу незванного гостя повалили Хотт с Оврием, другие сотники, княжичи младшие, вои — накопилось в них многое, отчаянное и злое, в сечу бросались будто соколы на стаю уток серых. Было их меньше втрое. Но казалось, нет им конца и краю.

— За свободу нашу! — орал Свенд. Пальцы его перебитые туго стягивали ремни. Дрался княжич светлоусый хлеще здорового. — За правду!

— О-р-а-а!!! — кричали нападавшие.

— О-ор-р-раа!!! — кричали Кроновы люди.

Рубились отчаянно, не глядя на огонь бушующий, на рвущиеся снасти, на падающую мачту, осыпаю-

шую всех без разбору горящими угольями... Теперь никто бежать не хотел. Да и куда бежать?!

Уже столкнулись бортами еще два струга. Началась и на них сеча. Занялся огонь, бросая трепещущие отсветы на вечерние полутемные небеса... Третий струг княжий подходить близко не решался, огонь мог перекинуться и на него. Шел он к берегу, теперь уж не добивать беглецов-островитян, а хотя бы забрать своих. Только и там сеча не скончалась. Подмога с долин поспела вовремя, уравнивала силы.

Жив ничего про подмогу не знал. Он дрался, как разъяренный барс, не оставляя надежды, круша все вокруг себя. Даже взбешенный сечей, полуживой Дон, норотивший не отстать от младшего, отпрянул в сторону, замер, глазам не веря и опасаясь под все-разящий меч попасть.

— В воду!!! — ревел Жив. — В воду!!!

И, повинуясь его воле, его бешенному напору, прыгали за борт и свои и чужие, плыли к близкому берегу. Сам же он не знал устали и жалости — вырывалось давно копившееся в душе, тяжкое и злое. С мечом пришли эти вои на Скрытень, в его владения, меч их и встретил, жаловаться не на что ... и некому!

Скил черной легкой тенью летал по стругу. Отбивал удары, сам бил, но беззлобно, походя. Скил искал обидчика своего, толстомордого Олена. И не находил. Видно, не пошел Олен в погоню, не пошел, чуя свою судьбу незавидную. Но Скил не хотел верить в это, Скил не любил ждать долго.

А Хотт не жалел себя, мостил дорогу трупами — за все, за годы в темнице, за жену Влаву, вдову при живом муже, за невольниц обеих, за детей-сирот, за себя, столько лет верой и правдой служившего Крону-батюшке да и получившего в награду поруб и службу позорную, тяжкую. Не мстил Хотт, ибо невиновны вои простые, ярь сама вырывалась наружу, жаждала крови. Оврий не отставал от сторукого собрата. Хотя и сам получил ударов столько, что не всякий бы устоял. Крепко держал свой боевой топор сотник Оврий, и огонь не жег его и меч не брал.

— Круши их! Наша берет! — надрывался Дон, вращая пудовым кладенцом над головой. Кто б мог подумать, что вчера еще на смертном одре лежал. — Круши!

Больше десятка порубил-покалечил старший брат. И ринулся в самую гущу, к корме, где сгрудились остатки дружинников Кроновых. Отбивались они умело и стойко. Лишь двоих сбил с ног Дон, прежде чем его самого отбросило назад — аж копые обломилось о доспех чеканный. Рухнул Дон в беспмятстве, мешком рухнул на сырую палубу.

Жив подлетел барсом, мягко, беззвучно. Не дал добить брата. Трех спровадил в вырий, только мечи сверкнули веером. Выкрикнул сипло:

— В трюм его! На наш струг! Быстрей давай!

Дона уволокли. Струг с ним отошел от горящего, пропал во тьме ночной. Только тогда Жив обернулся к толпящимся на корме.

— Ну, кто еще отцу моему Крону послужить хочет? — спросил резко и зло. — Выходи!

Выскочил здоровенный воин в шеломе с серым хвостом конским, сторукий-сотник. Отбросил корзно легкое, скинул шелом. В два меча пошел на Жива.

— Я хочу! Горан, брат Кея, что бил тебя всегда! — сторукий захохотал, выставив вперед свою черную бороду. — И я побью!

Жив не стал спорить, бахвалиться. Он выждал, пока Горан сделает первый выпад, увернулся, выждал еще. И после второго пронзил ему горло одним коротким и быстрым ударом. Все видели, что княжич расправился с искусным бойцом, со сторуким будто с котенком.

Кто-то выкрикнул из толпы:

— Ты, и впрямь, сын Кронов?!

— Сын! — спокойно отозвался Жив. Семеро оставшихся с ним стояли за спиной. Хотту со Свендом не терпелось перебить воев. Оврий стоял смирно, улыбался. Остальные ждали только знака. Их было меньше, но у тех, кого было больше, не оставалось духа. Таких Жив жалел. Выдохлись! Стало быть, не чуют правды своей. Чужали бы, не зная им устали и сомнений.

— Я сын Великого князя Крона и Великой княгини Реи! Я князь ваш!

На корме загудели изумленно, недоверчиво.

Скил прибежал с факелом, сам смастерил из обломка, зажег от снастей тлеющих. Высветил всех на корме. Страшные блики запрыгали по угрюмым, суровым лицам.

— Кончать их, и всех дел! — процедил Скил.

— Нет! — остановил его Жив. — Шеломы долой! Плащи тоже! Ну ... кто плохо слышит?!

На доски палубы полетели шеломы, зашуршали корзна.

— Теперь за меня биться будете!

Жив повернулся спиной к стоящим. Знал, не тронут, наоборот, еще и защитят его, он им жизни вернул, из самого вырия, на пороге которого они стояли, вызволил. Русы добро помнят.

— За мной!

И он прыгнул за борт, в ледяную воду. Рано еще было отдыхать. Там, на берегу, шел бой, там лилась кровь...

Да, там держался из последних сил старый, битый во многих сечах боец, дядька княжича, седой Ворон. Бился, зная, что беда отступает, что надо только выдержать, не упасть, не выронить меча из натруженной, усталой руки. Ибо недаром же плечо к плечу бьются с ним израненные узники темницы, девки, бабы, пара уцелевших пока, обученных им горяков, орава мальцов, коим сказки бы слушать, а не в сече рубиться, недаром пылают в море два струга княжьих, недаром ветер доносит оттуда звуки битвы ... и еще голос родной, близкий, ближе которого нет во всем свете белом, голос грома подобный.

Держался Ворон, ибо знал, жив княжич! Идет к нему с помощью ратной. А значит, и ему, старому коревану, жить еще надо, держаться — ведь не бой это, а учение пред боем настоящим, грядущим. Цветочки это ... ягодки впереди будут.

— И все его сразу узнают, — в раздумии промолвил Куп, глядя в дощатый пол, — так говоришь, племянница?

Рея-младшая, Княгиня великая, положила легкую руку на плечо дяде.

— Так дед мой сказывал, отец твой.

Они сидели в думной горнице старых Юровых палат. Сидели на одной широкой скамье, устланной собольими шкурами. На крепком дубовом столе перед ними стояли блюда с плодами сочными, чаши с медами и настоями. Но не касались они блюд и чаш, украшенных по краям святыми знаками солнцеворотов. Не до еды, не до питья было... Решалась судьба полумира поднебесного.

— Так, может, это я и есть?! — сказал вдруг Куп, испытующе глядя прямо в глаза княгини молодой. — Меня всякий знает.

Рея улыбнулась, тихо, покойно, без усмешки.

— Не ты, Куп. И не я. А мой брат неведомый ... надо просто ждать, и все.

— Ждать? — Куп содрогнулся. — Ждать, когда орды Кроновы все наши заставы, все городища пожгут, весь люд истребят? Все знаю, племянница! Бесчинствует Крон на порубежье ... что там порубежье — в глубь земель наших забираются отряды его! То разведка боем. Он почуял слабость твою женскую, жди большой рати! Э-эх, племянница, власть в крепких руках должна быть! Власть удел мужа!

Рея встала, прошла по светлой горнице. Замерла в углу под образами Рода и Богоматери Лады. Обернулась. В лице ее светилась кротость, смирение.

— Дед знал, что делать, Куп, — сказала она, — и не власти я искала, не просила власти у него, сам меня поставил ... хотя твоя рука тверже и сил в тебе неизмеримо больше. Время идет, Куп, я жду! Его жду, которого все сразу узнают. Ему и передам власть — из рук в руки. Такова и воля Юрова. Знал дед мой, что коль к тебе власть попадет, ни за что не отдашь ее миром... — а я отдам. Вот и вся премудрость. Дед волей своей распри предотвращал, он все наперед видел... И он знал, что разумен ты, что не врагом станешь мне и обидчиком, а опорой, плечо подставишь! Да и зазорно было б тебе, мужу славному и сильному, власть отдать, заимев ее, не по чести! Я же все стерплю, одна я, как береза в

чистом поле, ни за что не держусь. Придет он — я уйду, может, навсегда. — Она вздохнула, отвернулась. Потом подошла к скамье, села и снова положила легкую длань свою на плечо дяде. — А теперь сам решай, я все сказала.

Куп покачал светлой, почти седой головой, стиснул виски руками. Не ждал он, что племянница ему сразу власть отдаст в землях отцовых, совсем не ждал, когда шел сюда. Но на уступки могла бы пойти, поделиться грузом тяжким своим, признать старшинство его, по правую руку поставить от себя ... правителем княжества великого. Нет! Не уступала Рея ни крохи! Горько было князю северному, горько и обидно.

— Что ж я, всю землю свою зазря подымал, — спросил он с дрожью в голосе, — понапрасну рать собирал великую? И что я людям своим скажу — от ворот поворот?! не вышел ликом дядюшка! убирайся восвойся?!

Рея припала к нему, щекой к щеке, обняла — будто дочь отца.

— Не травми себя! Ведь знак ты получил на Священной Поляне, верно? Ведь осенил тебя Род Вседержитель ипостасью своей, Кополом Пресветлым, путь указал?!

— Откуда знаешь? — удивился Куп, не отстраняясь, только лицо поворачивая, щекой ощущая слезы мокрые, горячие.

— Знаю, многое знаю, — быстро заговорила Рея, — боги наши великие и добрые не лгут. И доля тебя ждет большая, выше моей доли. Только к ней еще терпение нужно... А рати твои до поры до времени кормить буду, ибо им сослужить службу придется, прав ты, дядюшка родимый, не устоять мне одной против Крона. Но знай, что и вдвоем нам не устоять! Много силы у нас, очень много, горы свернуть можно, море запрудить... Но у Крона той силы поболее — со всех краев идут к нему дружины, тысячи дружин! Великий Поход готовит Князь великий! Все знаю! Ныне знаю. А Юр покойный, дед мой и отец твой, и прежде знал все. Станем друг против друга, Крону на руку сыграем...

— Батюшке твоему, — вставил неожиданно Куп.

— Да, батюшке моему, отцу! — Рея отстранилась. — И убийце матери моей! Безумен он в алчи власти. Уподобившись ему, и мы безумны будем!

Куп встал — высокий, прямой как стрела, легкий, с глазами светлыми как светлое небо. Воин! Князь! Тень Пресветлого на земле ... и сам Он. Рея невольно залюбовалась, представила, как легко бы и вольготно ей сделалось, передай бы она власть этому воину-князю ... как легко! Но нет, Юр все видит из чистого вырия. Юр не простит.

Переплелись узы семейные — повсюду кровь родная, и в стане друзей, и в логове врагов. Везде русы. Повсюду свои — отцы, братья, сестры, дядья ... только вот сыновей и дочерей ей Бог не послал. Но оттого род их не убудет. Рея встала тоже. И низко, до земли, большим поклоном русским поклонилась Купу.

— Прошу тебя, во имя Юра покойного! Во имя всей Руси Великой и Святой!

Куп подошел к резному окну узорчатому. Выглянул с высоты терема наружу — вольно и гордо тек могучий, полноводный Донай-батюшка. Тихо стояли леса бескрайние. А внизу ждал его слова люд — молча ждал, вои служивые, работные люди, воеводы, теремные, жены многие и девы, дети — ждали: мир или война, жизнь или...

Куп повернулся медленно, склонил светлую голову.

— Будь по-твоему, — вымолвил тихо, но твердо.

— По воле отца твоего, — поправила его Великая княгиня Рея.

Крон сидел на высоком резном троне черного дерева. Сидел мрачный, насупленный. Молчал. Слова Строга почти не долетали до его ушей. Князь думал о сыне, о том самом, что по предсказанию волхвиц должен сместить его ... казалось, все в далеком прошлом, казалось, все обошлось. Ан нет! Рея покойная кричала тогда: «Не-е-ет! Не он это! Не мой сын! Не смей...» Крон помнил все. Не поверил ей, не послушал, загубил невинного младенца, в пропасть

бросил ... а это и не сын его был. Не сын! Не враг будущий, самый страшный враг! Почему же так случилось?! Проклятая блудница! Он ненавидел сейчас жену бывшую, любимую пуше прежнего — мало ее было сжечь! мало! Сама сгнула, а гибель его сберегла, спрятала! Сбывается предсказание, медленно, не щадя его, убивая постепенно, неотвратимостью своей. Крон стиснул зубы. И сам хорош, не заметил измены, врага своего к опочивальне подпустил, открылся ему, доверился... А может, и не он это все, не сын?! Сомнения терзали Великого князя. Изнывала тяжело и мучительно душа измученная.

— Что ты сказал?! — переспросил он Строга, уловив дрожь в голосе глухом.

— Ни один из стругов, посланных в погоню, не вернулся, княже, — покорно повторил ближний боярин. — И не вернется уже.

— Точно знаешь?! — Крон пронзил Строга взглядом.

— Точно! — ответил боярин. — Прикажешь еще послать?

Крон втянул голову в плечи. Измена! Всюду измена, положиться не на кого. И когда?! Сейчас, накануне Великого Похода! Как ножом в спину!

— Кей рвется искупить вину свою, — напомнил Строг, — что ответить ему? Или ... в темницу?

— Молчи!

Крон снова погрузился в тяжкие думы. Предсказание! Воля богов! Но боги его деды-прадеды, они не пойдут против него, тем более, теперь, когда сам Род Провидец направляет его, ведет к миру и процветанию всех земель Русских. Большая рать ждет лишь слова, чтобы двинуть тяжелой поступью на Север. Тысячами ручьев стекаются малые рати, отовсюду — и нет им конца, нет предела, велика Держава его и подвластные ей страны света. Но гложет, гложет предчувствие... И сны вещие, недобрые ... нет, то мороки костлявой Мары, наваждения, обман. А ведь чуял недоброе, приглядывался не зря к горяку ложному, проверял ненапрасно. А сам тянул его к себе, невольно, не желая того, притягивал, подпускал все ближе, пока до ложа не допустил... Голос крови?!

Нет, не чуял в нем родни. Просто верил — не предаст, не чужой. А вышло все по-другому. Сын! Или не сын...

— Волхвов ко мне! — сурово приказал Крон.

Строг вышел.

Стражники даже не шелохнулись, стояли, слившись со стенами дубовыми, с колоннами мореными. Крон оглядел каждого — издали, с трона черного. Нет ли и среди них измены? Нет! Эти свои, испытанные. Тот тоже свой был и испытанный не раз. А предал! Опоил! Но ведь мог и вовсе убить. Мороз продирает нутро, когда князь представлял себе ту ночь — он бесчувственный на постели и страж-сын с мечом в руке — погубитель его, смерть его. Почему ж не убил спящего?! Загадка!

Волхвов явилось трое. Крон знал каждого, угадывал запросто в неразличимости их внешней — все седые, длинноволосые, долгобородые, с глазами полуприкрытыми, ясными, в выцветших серых одеждах.

— Говорите, что знаете, — потребовал Крон. — Ты первый, Буд.

Тот, что пониже и плотнее был, вышел вперед. Поднял руку с указующим перстом, ткнул чуть не в лицо.

— Маешься ты, княже, сам себя убиваешь! Вот и все, что знаю про тебя.

— Не обо мне речь, — осек волхва Крон. — О том, кто смерть мне готовит и раззор Державе моей!

— Не сын твой зло тебе несет, — упрямо сказал Буд, — но ты сам!

Крон оперся о подлокотники, привстал над троном и стал сразу похож на страшную, хищную птицу, сгорбившую крыла над гнездом своим, седую птицу.

— Значит, был он? Сын?!

— Был!

Буд отступил назад. Двое других старцев подошли ближе, поклонились. Один сказал мягко, будто прося:

— Княжение твое долгим было, чего ищешь еще? Страждующую душу лишь покой исцелит, княже. Не гневи богов!

— Они всемилостивы к тебе, — подтвердил другой. И добавил беззлобно: — Пока.

Такого Великий князь не ожидал. И здесь измена. И волхвы не с ним. А слово волхвов для воев многого стоит... Вот так, поддержки ждал, одобрения и напутствия. А вышло иначе.

— Стало быть, уступить престол этому ... сыну?! Отравителю моему?! Палачу?! Губителю Державы?!

Волхвы промолчали.

— Ступайте прочь!

Буд поднял голову. Сказал дерзко:

— Не гони! Ты над нами не властен! Забыл ряд и устав Русский?!

Крон разом сник. И впрямь, над волхвами он не властен. Они хоть и рядом, хоть нет дружин у них, стражей, полков, мечей да копий, а выше его. Их слово может последним стать. Ибо чрез них говорит Род Вседержитель и Богородица Лада, а значит, весь род Русский от начала времен. Волхв, коли в него нисходит Дух Святой, остановит любую рать, поперек него не пойдут русы — знают ибо, попусту из уст облеченного ни единое изречение не изойдет.

— Призвать волхва всякий может, — подтвердил Виш.

— Но изгнать за порог не смеет, — дополнил Рам тихо, смиренно, — волхв сам уходит, когда видит, что просветлен смертный и направлен на путь истинный, или же неисправим в заблуждении своем — тогда вместе с волхвом от такого уходят хранители его небесные, и молящие за него из вырия чистого закрывают очи свои на него, обреченного блуждать во мраке. Ты же князь, не погряз еще. Пред тобой не закрыты врата просветления. Смирись!

Крон сидел словно в столбняке. Ему казалось, что все силы земли и неба против него. Он один! Со всем один... И еще сотни тысяч воев его. Воев... Боги наставили его на путь новый. И никто, даже волхвы не могут перечить воле богов.

— Большой Поход готовлю я, Великий, — медленно начал он, — во славу Рода Всемогущего и

всей Руси Великой, на благо люду живущему и нарождающемуся на свет. Что скажете, старцы?

Буд развел руками.

— Сам решай, княже. Смирись, прими в душу покой — тогда и решение твое будет верным. Повторю тебе сказанное прежде, больше нет слов для тебя: маешься ты, сам себя убиваешь! Все!

Волхвы повернулись, вышли. Будто и не было их.

Строг приблизился к трону, поднял глаза на Великого князя.

Тот стоял, превозмогая дрожь в ногах, опирался на крепкий дубовый посох. Думал. Отрешены были совсем не зеленые, даже не болотного цвета, а непонятные его глаза-провалы. Внутрь себя глядел. Хмурился, топорща седые брови. Потом вдруг вскинул посох, ухватился обеими руками, замер ... и переломил его будто щепку, будто соломинку.

— Быть Походу Великому! Наутро выступать!

Строг склонился в поклоне: слово княжье — приказ.

— А Кею передай: дюжину стругов берет пусть, Олена с тысячью-тьмой его — да на Скрытень! Две недели ему на все-про все, чтоб ни семя измены на развод. Не исполнит в срок, обоих повесить! И вот еще ... сына моего, Жива, смертным боем не бить, чтоб целым-здоровым сюда, сам говорить с ним буду, понял?!

— Не сын он тебе, — поправил Строг, — а вор и изменник! Плод блуда дерзкого, про то все знают...

Договорить Строг не успел. Жилистая рука сдвинула его горло — глаза из орбит полезли.

— Еще услышу такое, — прошипел в лицо боярину Крон, — сам придушу! А теперь ступай, исполняй!

Отпустил горло.

Строг задышал часто и тяжело, как рыба, выброшенная на берег. Не ожидал такой яри от князя, не ожидал, еще в себя не пришел, а ручища будто когти орлиные. Думал, зол он на Реиного приبلудыша, думал медом ляжет слово его на душу князюшке. А получилось наоборот.

— Ступай, что стоишь! И помни: сына моего — ко мне, где б я ни был: здесь, в палатах, в походе, еще где...

Строг склонился. А сам подумал: еще где? на том свете, вот где — туда и сына! один другого стоят! Но ничего не сказал. Вышел.

Своих убитых собирали с рассвета. К полудню на каменистом склоне лежало пятьдесят шесть бездыханных тел. Девятерых так и не нашли, наверное, сгнули в пучине морской.

Жив ходил меж убитых, долго всматривался в искаженные болью и смертью лица, хмурился. Он не спал всю ночь. Сколько пролито крови, русской, родной ... ничем не возместить ее! Горе! Но иначе было нельзя, иначе они бы все лежали сейчас вот здесь, и дикие звери и птицы рвали бы их тела, Крон с давних пор запретил хоронить изменников. А они, по Кроновым законам, все изменники. Боль не отпускала сердце княжича.

Ворон страдал меньше, ему хватало хлопот.

— Шевелись, ребята, шевелись! — покрикивал он.

Сам следил, как пленные сволакивали трупы своих к расщелине, отправляли их в последний путь. заваливали камнями. И как не следить, трупов на острове не должно было быть, иначе хвори, иначе смерть повальная — это дело серьезное. А как его закончили, сам же на пару с побитым и опухшим от синяков Овилем, согнал пленных на склон, выстроил.

— Ваша работа! — сказал им Жив, указывая на тела мертвые.

Пленные напряглись, сгрудились — видно, пришла пора ответ держать. Но княжич рассудил по-другому.

— Вас тут сто семьдесят шесть душ. Больше, чем наших полегло. Только не знаю, сможете ли и большим числом заменить их, а?!

Поначалу растерялись. Притихли.

Потом один крикнул сипло:

— Заменим!

— Отработаем, отслужим! — добавил другой.

Прочие закивали, загудели.

Жив поглядел исподлобья.

— Ну, а желающих послужить батюшке моему нет ли среди вас?!

И снова ответили не сразу. Думали. Для руса князя сменить, не переобуться — дело чести и совести. Да, видно, правда была за княжичем. За ночь о нем узнали больше, чем за всю жизнь предыдущую, и не называли б уже изменником-вором. Душа у руса чуткая.

И все же шестеро вышли вперед.

— Отработать — отработаем. Но супротив Крона не пойдем, присягу давали. Нам слово дороже!

— Присягу Державе давали, а не батюшке! — поправил их Жив. — Но коли не с нами, сидеть вам в порубе!

— Посидим! — согласился говоривший, худой безбородый вой.

Всех шестерых увели. Остальным Жив приказал идти вглубь Скрытня — валить деревья, краду готовить. К ночи души усопших воев и дев должны с языками пламени и дымом черным на небо уйти. А там за работу, новые крепки ладить, к отпору готовиться. Жаль Яру ладушку, до острой боли сердечной жаль, но во второй раз бросить люд, верящий в него, нельзя. Да и с Вороном потолковать есть о чем, не все ж за крепями прятаться — хочешь не хочешь, а признаться надо: прав был Дон, зайцем всю жизнь не проживешь.

Сам Дон так и не сошел на берег. Вытребовал себе десятерых умельцев и чинил-налаживал поврежденные струги. Теперь таковых было целых три — разбитые, покореженные, не готовые к выходу в открытое море, но все же корабли.

— Ты на суше хозяином будешь ... покуда, а я на море, — заявил старший брат, едва придя в себя от ран и увечий.

Видно, боги хранили его, другой от сотой части мук, выпавших на долю Дона, давно б скончался. А полуседой княжич только приговаривал:

— Даром я, что ль, столько лет в темнице си-

дел? Чтоб на воле помереть?! Ну уж нет, братья, шутите!

Талан набросил на плечи Яры полусырое, не совсем еще высохшее корзно, присел рядом, прижал к себе.

— Не плачь, сестрица! — сказал еле слышно. — Все образуется!

Яра кивнула, стиснула губы, обожгла старшего брата ярым взглядом синих глаз.

— А я и не плачу!

Но вырываться не стала, вдвоем теплее. Ветер дул студеной, зябкой, пропитанный солями морскими и оттого колющий. Стимир с Хисом ушли искать дрова — хоть какую-нибудь древесинку, кусты, корни, выброшенные на берег доски с разбитого струга — лишь бы на костер сгодились. Яра с Таланом сидели за серым нависающим над землей камнем, ждали ушедших и не могли согреться, ветра зимние обтекали скалу, леденили кровь.

А перед глазами и по сию пору стояла картина мрачная: грозное небо, рассекаемое молниями-змеями, черные рваные тучи, несущиеся по жуткому грохочущему небу, вздымающиеся из пучин валы-щупальца — сам Перун громовый в бесконечном поединке своим бился с чудищем морским и подземным, змеищем-волосищем — а трепало, бросало из стороны в сторону их. И ваджра Перунова сверкающая, алмазная палица бога-всадника ударила ... не в Велесову ипостась черную, а в струг быстрый и легкий, прошибла мачту сверху донизу, вздыбила палубу, выгнула борта дубовые — все видела Яра, за полусотню шагов то было от ее струга — полетели обломки в небо, разломилось суденышко, и приняла пучина трех княжен, сестер сводных Яриных и прочих несметно... Стимир тогда уволок ее в домовину, потом в самое нутро струга, чтоб не видеть ничего, не слышать. И еще день и ночь качала их буря, несла в себе и за собою невесть куда, пока не нанесла на камень подводный, пока не расшибла вдребезги, вышвырнув лишь немногих на сырой и мрачный берег.

Талан сидел угрюмый, теребил рыжую бороду. Но глаза его, жгучие, зеленые, отцовские, не знали покоя, бегали зрачками из края в край глазниц, не могли ни на чем остановиться — да и впрямь, зацепиться взглядом здесь было не за что. Камни, камни, камни ... серая каменистая земля. И ветер.

— Хоть бы знать, чьи владения! — в сердцах сказал он.

Гадать попусту Яра не хотела. Думала о своем. И потому ответила невпопад:

— Идти надо. Тут пропадем, застынем!

Талан тяжело вздохнул.

— Куда идти?!

— Куда глаза глядят!

Стимир вернулся с пустыми руками.

— Нет тут никаких дров! — сказал он, дрожа и стуча от холода зубами. — Зато пещеру нашел, там хоть не дует. Пошли!

Пещера? Княжна невольно вздрогнула. Припомнилась ей нетемная темница, ее вечные своды — тоже пещера, что ни говори. Из одной в другую ... и так всю жизнь. Долгую, тяжкую, предстоящую жизнь. И жизнь прошлую. В которой была одна всего счастливая светлая ночь, озаренная полуночной звездой. Всего одна! Так не лучше ли сразу разрешить все вопросы — пучина рядом, несколько шагов ... и все! Голова закружилась. Поманило в бездну — черную, безвозвратную, в коей нет ни горя, ни счастья, ни боли, ни памяти. Тяжко прощаться с жизнью в тринадцать лет, обидно и больно. Но если эта жизнь оборачивается злой мачехой, если она, дав малый глоток воздуха, удушает снова ... и навсегда?! Нет! Рано! Надо терпеть! До тех пор, пока она точно не узнает, не убедится сама, что о и мертв, что его нет в мире Яви. Вот тогда, и только тогда, она уйдет вслед за ним, уйдет к нему, чтобы не расставаться уже никогда. Но не теперь.

— Пойдем! — Яра встала, отвела протянутую руку Стимира. И пошла прочь от беспокойного и алчного моря.

Прямой и сухой как древко стяга стоял Великий князь и державный властитель Руси, раскинувшейся на полмира, стоял, будто сам вырезанный из прокаленного солнцем и иссеченного ветрами дерева — уже неподвластный даже им, неколебимый, неземной. С рукотворного уступа, огражденного перилами из слоновой кости, с крутого склона Олимпа взирал он на проходящие внизу полки, на несметные рати, выступающие в Великий Поход. Не было им конца и края... И не будет! Ибо его воля — воля Богов! А поход этот венец его многотрудной жизни, которую прожил он не для себя, но Державы во имя!

В легких золотых парадных бронях стоял Крон, в алом шелковом плаще. Изможденный, истовый, с праведным взглядом ясных и выцветших до цвета нависающего над ним серого неба глаз. Бледный, будто поднялся с одра смертного. Но нестигаемый. Царственный. Лишь вились по ветру его длинные седые волосы, и не было в них ни единой рыжинки огненной.

Дружины шли, гремя бронями, яря себя кличами, взбрасывая вверх разом сотни и тысячи рук с мечами, палицами, копьями. И шел впереди каждой сотни боевой сторукий, лучший воин из лучших, сотник. А пред тьмою — тысячник-тысячерукий, воевода, доказавший свое умение вести воев в десятках сражений. Шли полки свои, срединные, с великокняжескими соколами и рысями на стягах, в богатых одеяниях и дорогих латах. Шли полки окраинные, со своими знаменами, в непривычных взгляду горицкому шеломах, украшенных то гребнями вздымающимися, то рогами витыми, то перьями птиц не ведомых в коренной Руси. Шли полки и дружины, присланные братьями с Иной реки и Крайней Земли, из-за Камня Угорского — шли поступью мягкой, тигриной, несли на плечах смертоносные палицы-вачры и на стягах их алел сам Индра-Единорог, былинный воин-бог древлерусский, предок общий для всех русов земли-матушки, но унесенный Святым Образом в края Иной реки, Индона. Шли, озираясь и тараща в изумлении глаза, черные наемники из нубийских песков, по десятку тонких легких копий несли за

спинами каждый, и вели их почерневшие под тамошним жгучим солнцем, соломоволосые русы-сторукые, проложившие пути на Юг аж до самых лесов непроходимых, сырых и мрачных, населенных зверьем жутким и гадами страшными — расширили Державу русов, но не забыли Князя, пришли по зову его... Многие шли в ожидании чуда неведомого. Ибо не на всякий век выпадают деяния подобные, ибо давно не вздыбливалась земля, населенная внуками Борея и Яра. Каждый из шедших знал, что коли выживет, долго будет рассказывать о делах славных всем в роду своем и память о нем, участвовавшем в Походе Великом, не умрет вместе с ним, но будет жить в былинах всегда, как живут в былинах память и слава богатырей русских. Долго шли полки. Неотвратно.

Крон не оглядывался на свиту, стоявшую у него за спиной. Знал, не все с ним заодно, размысел в умах многих. Но молчат. Да и что теперь говорить, толки разводить — поздно! Вот она рать великая! Вот мечта его и дерзания воплощенные! Тяжким трудом дались они в воплощении своем. Но воплотились! И настал день этот, откладываемый раз за разом. Уже собирались полки под Олимпом по приказу Кронову. Но снова Мара овладевала им — еще три недели лежал в забытии. Не верили, что встанет! Искали преемника! Ковы ковали и сети плели... Но поднялся он, встал, обрета еще больше сил духовных и веры — непомерно. Нет, не деревом, но камнем высеченным из скалы стоял Крон на возвышении своем. И воля его была сильнее воли богов.

И не против родной дочери правил он полки подвластные, не против братьев и сестер своих, люда русского. Но в свои земли, в отчины предков своих, за всех русов вместе и за каждого в отдельности... Только так!

Строг прервал думы князя.

— ... здесь примешь? Или в палатах? — прозвучал из-за плеча его мягкий голос.

Крон не расслышал, кого он должен принять. Но горло сдавило предчувствие недоброе. Хотел отмах-

нуться, не время, не место. Осек себя — ему ли страшиться известий.

— Давай!

И отвернулся от полков, оглядел свиту грозно, будто измену выискивая. Свита расступилась. И вышли из-за спин ее чернобородый Кей с Оленом. Были они грязны, истерзаны, обмотаны тряпьем, из-под которого сочилась кровь. Олен упал на колени, будто ноги его не держали, склонил туго перевязанную голову.

Кей шагнул еще, замер, развел руки.

— Ну! — приказал Крон.

— Они разбили нас, — мрачно выдавил Кей.

Крон молчал, жег взглядом неистовым.

— Три струга потоплены с воями, с конями. Восемь они захватили!

— Что-о?! — Крон качнулся, сжал кулаки.

— Да, — твердо ответил Кей. — Восемь стругов они захватили. Шесть сотен воев перешли на их сторону. Остальных посадили в две лодьи малые, безоружных, с питьем одним — отпустили... Но и они не вернутся под твою горячую руку, князь! Мы ушли, полусотня, на последнем струге. Мы дрались как могли...

— Измена! — прошипел Крон, вытягивая тонкий узкий меч из ножен.

— Нет! Не измена, князь! — бросил ему в лицо, не отводя глаз, Кей. — Мы дрались с твоими детьми, князь, плоть от плоти, кровь от крови, с сыновьями твоими... И Род свидетель, они оказались сильнее нас и умнее. Вот и все, князь. Нет никакой измены! А те, что ушли к Живу и Дону, не мои люди. Твои! Мы же к тебе воротились.

Крон резко развернулся. Уставился вниз, на проходящие полки. Меч скользнул обратно в ножны. Не время показывать слабость свою.

— Увести, — приказал сипло.

Олен пополз к нему на коленях, вцепился руками в сапог мягкий, расшитый бисером.

— Прости, батюшка, прости!

Его тут же оторвали, уволокли. Кей ушел сам, отбросив руку двинувшегося на него огромного стража.

— Что с ними делать? — переспросил услужливо, но с играющей на губах странной улыбкой Строг. — Повесить, как ты прежде сказывал?

— Обождать, — процедил Крон, не оборачиваясь, чуя издевку, но не поддаваясь чувствам. — Обождать...

Дон выслушал Жива молча, не подымая глаз, не прерывая. Но своего мнения решил не скрывать:

— Пустое это дело! — сказал, как отрезал. — Только время уьем, а ее не отыщем! Ты жди, брат, коли живая, сама объявится...

Они стояли на корме огромного струга с белыми как облака парусами. Дон сам распорядился менять паруса с багряных на белые, да только не сразу дело делается — стругов теперь много, больше двадцати. Кроме отбитых у карателей Кроновых сподобились еще семь добыть, купеческий караван, шедший к устью великой реки Ра, завернули. Дон пообещал купцам за все расплатиться с лихвой, потом, когда власть возьмет... или на дно. Купцы долго не думали. А охрана их в две сотни мечей сразу перешла к Крониду, видно, почуяли вои, что удача в его руках — и быть ему на престоле. Товар купеческий пригодился и на стругах боевых, и на Скрытне. Набирали силу беглецы опальные. Да еще какую силу!

— Ты не обижайся на меня, — помягчел Дон, — сам прикинь: покуда в кулаке одном мы, не совладать отцу с нами. Поразгоним суденышки по всем щелям моря Срединного, конец им ... а без них и нам! Верь мне, брат! Я нынче на море хозяин!

— Хозяин, — подтвердил Жив без усмешки. Умом он понимал, что брат говорит правду. Но сердце не желало прислушиваться к доводам ума.

Раннее весеннее солнышко еще не грело, только ласкало своими шаловливыми лучами. Но могучий, словно изваянный из базальта, обнаженный по пояс Дон, был почти черен — загар вьелся в его прежде ослепительно белую кожу. Со дня, а точнее, ночи бегства Дон так и не сходил ни разу на берег, так и жил на стругах ... хозяин! царь морской! На каждое судно сам отбирал людей, чтоб везде поровну

было матерых мореходов и новиков, чтоб крепкие были да неприхотливые, смышленные ... лелеял свою дружину морскую как детище кровное, гордился ею. Звал Жива идти на Олимп ... а тот не о деле грезил, а о ладе своей. Нет, не понимал этого Дон, совсем не понимал. Когда Жив собрался было уходить, старший брат положил ему руку на плечо, остановил, заглянул в светлые, напоенные тоской глаза.

— Знаешь что, — проговорил он душевно, вполголоса, — думается мне, что это знак Божий.

— Что это? — не понял Жив.

— А то, что разъединила вас Судьба до поры до времени! — пояснил Дон. — Стало быть, ей угодно, чтобы ты сначала за всех порадел, а уж потом за себя. Понял?

Жив не ответил. Перебросил ногу через борт. Малая лодья ждала его внизу, качалась на капризных волнах. Лишь позже, когда греб к берегу, на полпути замер вдруг ... значит, Судьба! значит, это жертва, которую он должен принести — припомнились растерзанная Веша, удушенная Малфа, другие — не первая жертва! и может быть, не самая большая!

Он навалился грудью на весла — мореное древо затрещало, правое весло обломилось. Жив отбросил его. До берега он и на одном дойдет!

Оглянулся. Струги хозяина моря Срединного Дона шли к окоему — легкие, гордые, хищные. Да, это была сила немалая!

Но и на берегу, на родном Скрытне княжича ожидала не дружина прежняя, набранная с бору по сосенке, но войско — сотни мечей, сотни крепких сердец, горячих и холодных голов, сотни русов, терпеливо ждущих его слова.

Страшен человек явлением своим на свет белый. Всем и всему страшен: травам, которые вытаптывает и выжигает, деревьям, что изводит под корень, зверю дикому, избиваемому нещадно и безмерно, рыбе, идущей на нерест, но загоняемой в сети и запруды — всем зло несет он. Леса обращает в пашни, а тучные нивы в пустыни — по его стопам наступают

на лик Земли-матушки и Сахара, и Кара-Кумы, и Гоби... Беспощаден двуногий ко всему порожденному вокруг него. И для жизни всей многоликой, вмещающей и его, не венец он вовсе и не вершина творения, но губитель, с которым несравнимы ни саранча, ни пожарища лесные, ни моровая язва — смертная плесень он на теле земли, всепожирающая, всеразлагающая. Все слова во всех книгах всех времен, от глиняных дощечек и наскальных знаков до изящной вязи, выходящей из лона машин рукотворных, посвящает он себе. Поет песнь величия и гордыни — благому, созидающему, одухотворенному, украшающему собой Природу, Вселенную. И нет в мире гимна громче, слаще и приторней. И нет лживей. Ибо не владеет словом Вселенная и не вписывает его в книги читаемые. Но коль имела бы дар сей, во все скрижали внесла б одно: убийца есть двуногий! губитель! смертная язва на теле моем! И было бы то единственной правдой о человеке. И нет иной правды о нем. Страшен двуногий разумный всем и всему. Но страшнее всего себе подобным. Ибо не вмещает его болезненный разум столь злобы и ненависти к окружающему его, сколь вмещает их к ближнему своему. Страшен человек! Созданный по Образу и Подобию, отринувший Свет и проклятый, отданный во власть страстей своих — власть дьявольскую, разбредается он изначально по земле не в жажде прекрасной освоения новых пространств, но в страхе пред себе подобными, в постоянном бегстве от них, от самого себя... Нет ему исхода, ибо от себя не убежишь, ибо преследователь твой в тебе сидит. Нет исхода, нет спасения! Страшна судьбина человечья — из всех живущих на Земле он один идет чрез свой век в муках тревог, отчаяния и страха. Ему одному дано прозрение грядущего своего. Ни трава, ни дерево, ни зверь, ни рыба не ведают ужаса смерти, ужаса конца неминуемого, живут вне печали и страха. Не на плечах своих, но в сердце и мозгу своем несет губитель всего живого тяжкий груз проклятия. Ибо уже в мире Яви судим он по делам своим. И наказан за них — за содеянные, и за грядущие. Мстит Вселенная губителю своему, его же

руками мстит и губит его — его же руками, смертью смерть попирая. И нет губителю исхода из Вселенной, губящей его. Замкнут круг, неразрывно кольцо бытия.

Страшен человек смертный. И велик! Ибо и в проклятье, отринув гордыню и усмирив алчье животной сути своей, ищет в мире ряда и праведности, уповая на искупление и Царствие Небесное, дерзает обрести тень его на земле, прощая врагов своих, отводя руку поднятую с мечом... Легко и беспечно жить непоклятому, нечеловеку. Не горяч он, не холоден. Не милости его ждут, и не кары. И нет суда на него, и нет спасения, ибо неотчего ему спастись, и не за что его судить. Человек же в мир этот приходит подсудным, на суд и приходит, низвергнутым в пропасть черную, но наделенный одним лишь правом — подняться из нее. Бездонна пропасть проклятия. Беспредельна и бесконечна. Страшна участь обретающегося в ней и не видящего исхода из нее. Страшен обитающий в ней. И велик поднимающийся из нее к Свету.

Зарок подошел к Овлуру, откинул личину шелома. И, махнув рукой в кольчатой перчатке на полчища, замершие далеко внизу, под холмом, спросил:

— Может, это и есть он?

— Кто? — не понял Овлур, огладил пышную бороду. Он шелома не надевал, знал, сюда, на башню бревенчатую, упирающуюся в небеса, ни одна стрела не долетит.

— Тот, которого все сразу узнают! — растолковал Зарок очевидное для него. — Гляди, экая сила! И стяги его, знакомые...

— Иди, проспись! — посоветовал Овлур.

— Ладно тебе, — не обиделся Зарок, — сколько времени прошло, а я все думаю над словами Юровыми. Не мог князь попусту сказать!

Овлур улыбнулся.

— А ты не думай. Ты жди!

Овлур покачал головой, отошел так и непонятым до конца. Чего ждать-то еще! Уже, вон, дождались! Кроновы орды под самыми стенами стоят, знака ждут.

Будто лес за ночь вырос. А ото всех порубежных застав ни слуху, ни духу, ни единый гонец, видно, не пробился, ни один беглец сквозь заслон-кольцо не прорвался. Много повидал Овлур на своем веку. Но такого не видывал. Тревожно было на душе у него. И не только у него.

Нависла тревога черной тучей над безмятежным прежде краем, каждого коснулась черным крылом птица Туга. Изю дня в день, как надвигалась гроза, твердили Зарок с Овлуром княгине — беги! укрывайся в иных теремах и палатах, благо много их по Донаю, много вне его. Но Рея наотрез отказалась уйти из отцовского дома. Не для того сан великий принимала. Хотя и негоже с отцом родным биться ей, дочери первой, старшей ... может, и любимой. Долгие вечера и ночи просиживала Рея над Большим чертежом Державы Юровой, вглядывалась в порубежную черту... Четыре десятка крепостей-застав смел Крон, будто их и не было. А может, не смел? Может, сами перекинулись под руку сильному? Ведь и младенец смекнет, что у отца сил побольше будет... Рея хорошо помнила его — огненноволосого, со сверкающими глазами-изумрудами, вспыльчивого, быстрого, резкого, но неизменно-ласкового с ней, с дочуркой, вечно путающейся у него в ногах, в широком корзне княжеском. Любил ее, но деду отдал безропотно — ряд есть ряд. Огромен был отец и всемогущ. Таким и запомнился — великаном, вздымающим ввысь гордую голову. Помнила его лучше матери, глядела часто украдкой, тайком, любовалась — и не было для нее тогда лучше человека на свете. Отец! А клал когда свою сухую и большую руку ей на голову, казалось, куполом накрывал, прятал ото всего мира, под рукой его было тихо и покойно, беззаботное время, безмятежное...

А теперь вот накрыл дланью могучей и неотвратимой все княжество ее. Черная тень, давящая, предгрозовая!

— Княгиня...

Рейя вздрогнула. Зарок прервал ее думы своим появлением в горнице. Был он встревожен и хмур, капли пота ползли по бледному челу.

— Княгиня, прости! Нельзя ждать, недоброе случиться может.

— Говори, — приказала Рея.

— Куп на том берегу Доная рати строит — восемнадцать больших полков. Уже и переправу мостят...

Рея встала — гневная, с горящим взглядом.

— Он же слово дал! — процедила сквозь зубы.

Зарок развел руки, не ему оправдывать князя северного, родственника госпожи. Но сказать надо.

— Тебе дал. А Крону не давал!

Рея подбежала к ближнему боярину, ударила кулачком в неохватную грудь, укрытую доспехом из твердых выпуклых кож. Зарок и не почувствовал удара, но обиделся, опустил глаза.

— Теперь у отца повод будет! Не зря выжидал столько под стенами! Понимаешь ты это?!

— Я-то понимаю, — ответил Зарок, — только Купу я не указ. Что делать прикажешь?

— Срочно гонцов! — твердо выговорила Рея. — Одного к дядюшке, другого к отцу! Без промедления!

Зароку не надо было растолковывать, какие слова вложить в уста гонцам. Он все понимал. Только вот внемлют ли словам этим князя?!

А Рея тем временем бежала по крутым дубовым лестницам вверх, в башню теремную. Бежала, не жалея ног, не переводя духа — все выше и выше. Вырвалась на воздух белкой загнанной — растрепанная, покрасневшая, пышущая жаром. Два стража шарахнулись от нее по сторонам, замерли, готовые повиноваться. Но княгиня и не взглянула на них.

Подбежала к высоким перилам... И голова закружилась от высоты. — весь мир был под нею. Но недоброе — прав был Зарок — творилось в этом мире. Два полчища несметных, черных будто гроззовые тучи, страшных и гнетущих словно два охватывающих всю землю крыла птицы Туги, сходились, стекались друг к другу — одно крыло черное наползало на пресветлый Донай, омрачая его чистые воды... другое огибало терема великокняжьи, Рейны терема-палаты, будто не крепи людские, а скалы или

леса непроходимые — две тучи грозовые плыли не по небу, но по земле. А казалось, вот-вот полыхнет огнем убийственным, небесным, коим Перун-Индра тешит удаль молодецкую и спасает Явь от напалзающей змеем-Волосом Нави загробной.

— Нет! — закричала Рея, раздирая криком стылый весенний воздух. — Не-ет!!!

Но никто ее не услышал.

Жив глазам своим не поверил, когда перед ним бледной тенью, будто явившейся из царства мертвых, предстал Полута.

— Ты, брат? — изумился он, приподнимая голову. — Здесь?!

Айд-Полута кивнул.

— Я, брат. Не ожидал?

Жив развел руками. И увидел вдруг выступившего из-за стены Ворона. Тот глядел в землю, прятал глаза — и неразумному было ясно, что это он привел княжича в пещеру потаенную. Жив начал наливать ярью, гневом.

— Не ругай его! — упредил недоброе Полута. Он явно оздоровел, или так казалось в сумраке подземном, может, ему было привычнее здесь, в этой природной темнице, чем там, на свету, под чистым небом и ясным солнцем. — Я все знал про пещеру Диктейскую, Жив. Но знал только по рассказам да грамотам тайным.

— Правду говорит, — подтвердил Ворон, — все мне выложил, будто хаживал этими норами тыщу раз. Потому и привел его!

Жив встал из-за широкого и низкого, корявого стола, на котором лежали грубые кожи с чертами и резами, запахнул их — мало ли что — подошел к огромному сундуку, прикрыл тяжеленную крышку. Третий день он сидел здесь при дрожащем свете масляных ламп. Третий день добирался до сути сокровенной, что заключена в кожах — не спешил, знал: наверху люд надежный, пока и без него обойдутся. Ан, нет, потревожили уединение! разыскали! Эх, Ворон, Ворон! Еще бы Дона сюда привел!

— Рад, что здоров ты, — будто через силу выдавил Жив, даже чуть приобнял брата и тут же, молча, подивился холоду его тела. — Ну, а знаешь коли, знай, только язык держи за зубами...

— Не предатель я! — оборвал его Полута.

Был он совсем не похож на братьев, крепких, высоких, налитых жизнью. Темнорусые волосы не скрывали глубоких залысин, убегающих по лбу к темени. Жидкая борода клочьями свисала с вытянутого, безвольного подбородка. Глаза его не имели цвета, блекло и мутно отражали слабый свет пламени, будто не зрели пред собой ничего. Невысок был Айд и сутул. Стоял, переминаясь, тяжело ему было стоять — слабый, немощный, еле живой. А сказал — словно громом оглушил: «не предатель я!» Далеким эхом многократно повторенным, отозвались слова эти в голове Жива, отцовским голосом отозвались «ты верный... не предашь!» Отвернулся Жив, сгорбился сам. Но ненадолго. Нет, он не предатель! Предают своих, друзей предают, единомышленников, родных. А Крон ему не друг... и не родня после смерти матери! Жив прижал ладонью к груди мешочек с пеплом — и будто ощутил биение ее сердца, материнского... Родителей не судят!

— Тогда говори, зачем пожаловал, — громче сказал он.

— Сам узнаешь, — неожиданно властно прошептал Полута. — Пошли!

И резко развернулся — чуть не упал от слабости, видно, хворым был не на шутку.

Ворон потихоньку пристроился позади. У него Айд тревог не вызывал — что такой мозгляк им сделает, даже если и удумал что-то недоброе? Ворон рассуждал как вой, как кореван. Ничего он не сделает! И страшиться его нечего! Одно дело, что княжич, брат Живу, так запросто шею ему не свернешь в случае чего... ну и тем более, не его дело, сами разберутся, родня. Думал так старый дядька, пока шли они по узкому лазу подземному, что вел к кладовым с бронями и мечами. А как остановились, пройдя мимо них, в тупике глухом, враз думы из головы вылетели, одна осталась: может, безумен Айд, может, за время заточения ума лишился.

Жив молчал, скрестив могучие руки на груди.

Полута тоже молчал. Просматривал сырой, мшистый камень вершок за вершком — в потемках он видел лучше здоровых и зрячих. Наконец поднял руку, положил ладонь в еле приметную впадинку, надавил... но ничего не произошло. Ворон за спиной засопел, вздохнул тяжело, с укором.

— Здесь! — истово сказал Полута.

— Отойди!

Жив сам надавил рукой на камень. И ощутил, что в этой впадинке нет ни сырости, ни мха. Надавил сильнее — кулак провалился в какую-то дыру, рука по локоть ушла.

— Ну, что я говорил! — обрадовался Полута. Он сейчас совсем не был похож на того полупокойника, что лежал на носилках, влекомых четырьмя калеками. Даже глаза загорелись своим, внутренним огнем.

Не прошло и часа, как они расчистили лаз, свернули мшистый камень и освободили проход в огромный зал подземный. И во тьме было видно, что своды его теряются в высях, а противоположная стена где-то далеко, в десять шагов не дойдешь, а то и в сто... Ворон зажег факел. Но Полута замахал на него руками.

— Погаси! Всех погубишь!

Дядька послушался. Княжич, видно, мудрый, не зря черты и резы читал, знает про что-то. После огня глаза снова долго привыкали к потемкам. А как привыкли, как прошли вперед за Полутой, так и увидели — стоят по стенам пещерищи бадьи, округлые и высокие, не сосчитать, и каждая в рост человека среднего.

— Все так и есть! Все так и есть! — твердил шепотом Полута.

Крышка ближней бадьи никак не давалась ему. Жив подошел, помог. Запустил внутрь ладонь — и вытащил обратно, стряхнул брезгливо маслянистую черную жидкость, вляпался в дрянь какую-то, гадкую, вонючую!

А Полута не побрезговал, зачерпнул в ладони, отбежал к дыре, через которую проникли в зал, плеснул на землю. И крикнул Ворона:

— Вот теперь зажигай!

Ворон высекал искру осторожно, опыт у него был, знал, пещера может учудить что угодно. И все же, когда полыхнуло жаром, еле успел голову отдернуть, чуть усы не спалил.

— Горючая вода! — заключил, вставая.

— Горючая, живая, — закивал Полута. — А должна быть еще и мертвая водица...

— Мертвая? — не понял Ворон.

— Это так сказывают, — пояснил Полута. — Мне без нее не жить!

Пока Полута обшаривал зал в поисках своей «мертвой воды», Жив все глядел вверх — в пещеру явно проникал откуда-то слабенький свет, иначе бы не видать им ни бадей, ни стен, как ни привыкай глазами, как ни напрягай их. И он нашел. Дыра не была видна с краю, ее можно было заметить с самой середины подземного зала.

— Вот это дело! — обрадовался Жив. Подозвал дядьку. — Видал?!

— Угу, — промычал тот.

— Вот так мы вытягивать бадьи будем, — пояснил княжич, — иначе горючую воду наверх не поднять!

Сказал, сделал еще шаг — и чуть не полетел с уступа вниз, еле удержался. Вгляделся пристальней — там, внизу, было черное озерцо, маленькое совсем крохотное. Жив лег на живот, спустил руку, пальцы обожгло холодком.

— Водица, — сказал он.

Полута выявился из тьмы призраком, упал наземь. Но его руки не хватало. Тогда он сорвал с тела верхнюю рубаху, ухватился за край рукава, спустил ее вниз, подождал, покуда намокнет.

Жив глядел на брата, ничего не понимая. Потом глядел вниз — догляделся, увидел на дне озерца множество костей, еле белеющих сквозь темную водицу.

— Человечьи, — прохрипел совсем рядом Ворон. И передернулся.

А Полута тем временем вытянул отяжелевшую рубаху, принялся, лизнул спадающие капли... и

начал вдруг выжимать воду прямо в рот, запрокинув голову. Глотал долго, с жадностью, будто в последний раз пил на этом свете. Потом затих с полуприкрытыми глазами. И простонал:

— Все! Живу!

Ворон не понял. Снова подумал — безумен княжич, совсем плох.

Но тот неожиданно рассмеялся, упал на спину, замотал головой из стороны в сторону. Жив поднялся, подошел ближе, думал помочь. Только Полута отмахнулся, снова сел.

— Вот она — мертвая вода! — просипел истово, будто узрел сошедшего с небес Рода. — Вот он напиток богов! Амвросия!

— Сказки, — выдохнул Ворон, — бабьи сказки. Нету никаких напитков... и чудес нету никаких. Вот Скрева, упокой ее душу Матерь Лад, целебные настойки умело варила, это я на своей шкуре испытал, точно! А мертвой воды не бывает!

— Бывает, — отрезал Полута. Он дышал шумно, в полную грудь, словно ему только сейчас, после долгих лет неволи, пришлось вдохнуть воздуха сколько влезет. Был он совсем не похож на себя прежнего. — Бывает. Тут не чудеса. Тут смолы древние! Соли редкие! Все, как в грамотах!

— Ладно, не гомони, — успокоил его Жив, — проверим, какие там смолы. Ты лучше про уговор наш помни — ни слова!

Его больше занимала горячая вода. Склады потайные доспехов, мечей, копий, дротиков, перунов гремучих, свитки и дощечки мудрые, кожи-чертежи — тайны веков многих, тайны яриев-предков, вои многолюдные, перекинувшиеся к нему, струги, кони, а тут еще... вода горячая, про которую только слышать доводилось! Почему? Откуда все это?! И почему все к нему, словно он притягивает к себе... Это Судьба-матушка! Это Род Вседержитель! А стало быть, все роды их от самого истока до дня нынешнего — все за него! иначе и быть не может! Значит, Правда с ним, на его стороне... А он все думает, все решиться не может! Почему? Отчего?! Только эхом в закоулках души глубинной: «ты верный... ты не предашь!»

На следующий день не до бадей было и не до Полуты. Послов принимал. Издали пожаловали. И не первые. Неделью назад с небольшим приходили из жарких краев, с Иной реки четверо. Вроде русы — светлоглазые, высокие, на головах будто выгорелая под солнцем пшеница, жилистые — а все ж иные, недаром и река Индом зовется, Иным Доном: в одеждах золотистых, складками спадающих, даже штаны не обтягивали ног, а будто с запасом шились, на шеломах перья розовые, мечи в камнях — три таких, усыпанных алмазами, не мечи, игрушки — поднесли Живу. Сыны Индры-змееборца, рассекаателя преград. Рода звали странно, без имени, просто Вышним*. Были вкрадчивы, но настойчивы и тверды. Жива называли не князем, но рачей, а когда поправляли их, улыбались, склоняли головы с почтением, но твердили свое, ибо знали: князь — любой князь, а рача — добрый, рачительный князь-созидатель. Сами от такого же прибыли союз крепить. Жив союзников привечал. До этих приходили слы хаттов — крутоплечие, могутные, с выпирающими подбородками и мясистыми носами. Тоже русы, но немало за последние века их деды-прадеды жен ванских пояли за себя, закурчавели, заматерели наподобие волов своих небесных, коим поклонялись. Хатты жили рядышком, через море, меж Сиянной и Туманной**, жили на плоскогорьях лесистых и плодородных, среди живности богатой, тешили себя скачками конными, охотой на львов... Но и им, видно, от Крона-батюшки досталось крепко, раз их коняз прислал слов с поклоном. И силы у него было в стократ больше, чем у Жива, и добра, и челяди, и годами старше

* Персонажи «древнеиндийской» мифологии Вишну, Кришна и т. д. имеют исконно русское происхождение, это очевидно не только из анализа их образов, но и из самих теонимов, означающих «вышний», соответственно, и «коричневый» (санскрит, «темный»), «красный», «крышный», т. е. «верхний».

** Сиянна — древнее название южного побережья Малой Азии. Туманна — северного, причерноморского.

второе — все равно кланялся. верил в право княжича на престол Олимпийский. И тем и другим Жив даров дал, наказал, чтобы дружины слали. Послы улыбались хитро — с дружинами и пришли, тайком, будто на Великий Поход, Кроном объявленный, да сами по себе — дружины недалеко, по островам малым, за полдня перехода до Олимпа, ждут. Дивился Жив хитрости русов окраинных. Но не попрекал, каждому доброе слово находил. Сомнения оставляли его; все тише, все реже голос отцовский в ушах эхом звучал. Время лечит, время правит...

Вот и этих троих слушал, не прерывал. Приглядывался. Бороды седые, волосы длинные, в пучках и косах, лица грубые, морщинистые, обветренные, а глаза ясные, молодые. На плечах рысьи шкуры с мордами оскаленными, уши с кисточками торчком на мордах, как живые рыси, вот-вот прыгнут. Пояса железные, наборные, с камнями узорчатыми, сапоги бисером расшиты, отвороты меховые. И в дары меха принесли — черные, с проседью, невиданные на Русском море. С Урала дары, с гряды далекой, где предки хаживали во времена незапамятные... не все ушли, стало быть!

— Как прознали про меня? — спросил Жив уральцев.

— Слухом земля полнится, — ответил старший.

— Слух долго ползет, — не согласился Жив, сам налил сладкой браги каждому в ковш, пригубил из черпака, отер усы.

Послы выпили, не торопясь, степенно. Им нечего было добавить к своим словам... кроме главного. Старший вытер губы рушником расшитым, что лежал у него на коленях, расправил ткань, покрытую красными оберегами, поглядел Живу в глаза, пристально, будто оценивая наперед. Улыбнулся печально.

— Волхвы волю богов вопрошали, княже, на Камень ходили, на самый верх, в Сварогово урочище. Боги на тебя показали, хоть и молод чрезмерно... не нам судить, — посол вздохнул, ему самому было за шестьдесят, не меньше, но налитые силой, бугристые руки, говорили, что такой еще может один

на один выйти с бурым*. — Старейшины судили. Из двенадцати трое приняли сторону Корона, послали молодых воев к нему. Их роды теперь отлучены. Раздор, княже. Хоть и мир стоит по Уралу, все равно раздор — он сперва в головах и на словах зачинается, потом в кровь проникает, горячит ее, заставляет руки за мечи браться. Ты об этом тоже помни. Ты всему причина. И спрос будет не с одних старейших. Спрос с тебя будет...

— Знаю! — ответил Жив, выдерживая испытующий взгляд.

— Ну, а коли знаешь, знай и другое — дружины наши выступили, давно — по рекам большим, по притокам идут, к Донаю-батюшке. Но коли скажешь — на юг поворотить, поворотят.

— Не скажу,— отозвался Жив. Сам разрезал черную ржаную ковригу, еще дышащую жаром, протянул из своей руки куски слам. — Пусть туда и идут. — Помолчав немного, спросил. — Велики ли числом дружины?

— Нет, — прямо ответил старший, — невелики, восемь сотен мечей. Но каждый десятка стоит — рысичи!

Жив перевел взгляд на оскаленную морду, что недвижно лежала на плече старшего посла уральцев, крепила серую топорщащуюся накидку. Рысичи. Он и сам знал, что вой у них отменные, видел их отряд малый в Сиянне, во времена юношеских странствий — матерые вой, угрюмые и нездешние, прошедшие от лесов дремучих до Святых земель Яровых. Уже потом, позже читал по доскам испещренным в пещере, как тысячелетия назад шли рысичи передовыми малыми дружинами, разведчиками, прокладывая яриям-русам дорогу через земли неведомые и племена чужие. По всем краям обжитым и диким стояли с незапамятных пор становища рысичей с Урала, с реки прашуров Ура Древнего. Свои, русы...

* Бурый — медведь. Отсюда и английское, немецкое «бэр-». У русов-индоевропейцев был тотемным животным, олицетворением Волоха, чье имя нельзя было произносить.

но и у них, отведи беду, Господи, разлад пошел. Весь мир трещину дал, все глубже она, все дальше края ее друг от друга. Неужто, и впрямь, он один во всем виноват?! Жив нахмурился.

Но сказал твердо:

— Доброе дело! Возвращайтесь к старейшинам, поклон низкий передавайте. И еще скажите: один князь — одна Держава! один отец всем, любящий и справедливый... и все дети ему, чада любезные! закон и ряд по всем землям Русским! Пусть Урал крепко держат... А еще передайте: негоже роды отлучать!

Старший посол вскинул седые косматые брови в недоумении.

— Отлучать надо старейшин нерадивых. Таково мое слово. Пусть поразмыслят. И пусть помнят, волхвы не ошиблись — с нами боги наши, а стало быть, весь Верхний, Нижний и Срединный миры. Против нас тени, не имеющие опоры. Идите!

С послами передавал он князьям да старейшинам перуны громовые, наказывая хранить их, как память о власти его и призвании. Передавал дары богатые — благо пещера Диктейская не пустела, казалось, что и не убывает из нее. Уходили послы с верой, несли ее родам своим и племенам. На синих просторах берег их лодьи скорые сам властитель морей — Дон. Прирастала его мощь морская не по дням, а по часам. Не таился больше, с вызовом проводил десятки белопарусных стругов у берегов Руси, на глазах Кроновых людей, мимо крепей прибрежных и застав. И не решались уже те на прямой бой, страшились вызова.

Но все ж непомерна была мощь Великого князя под небесами.

И не было ему равных, объединись против него хоть весь мир не подвластный ему. Жив знал об этом лучше прочих, не спешил.

Плот под копытами белой кобылы вздрагивал, покачивался на тихих водах Дона. Она прядала ушами, всфыркивала, косила лиловым глазом на царственного седока. Боязно было обученной, отученной

от страхов ярой кобылице посреди широкой, полноводной реки. Боязно. Хотя и плыли рядом да позади множество плотов больших и меньших, с людьми ратными, с конями боевыми и обозными, плыли и сами по себе мохнатые лошади, рассекая широкими грудями еще не голубые, но серые волны — плыли тяжело отдуваясь, вскидывая головы, с седоками на спинах и без, с навьюченным оружием и бронями, с припасами. Неспешен и тих был Донай-батюшка. Но воды его клокотали от нарушивших их покой.

Куп не смотрел вниз. Ему не было дела до свинцовой пучины под ногами, до холодных брызг, суеты переправы и всего прочего, земного. Куп смотрел в даль дальнюю. На другой берег, где темнели Кроновы рати, где стоял величественный терем-замок покойного Юра. Все там, и только там! Слово его нерушимо. И подвижничество его не только в слове, но и в деле. Пришел час. Пока Рея-племянница просиживала в тереме за шитьем и думами долгими, Куп не терял времени. Время само работало на него. Все видели — кто он. Не только вои севера. Но и Юрово племя. До всех начинало доходить — явился на Донай муж. Муж и воин. Князь. Полки Реины потянулись к нему, не силком, не на звон злата, не из страха. Вот и теперь большая часть их шла за Купом, ибо нет ничего хуже, чем ждать в тревогах и неведении, не мысля даже, что день грядущий уготовляет смертным, ожидающим его на краю бездны.

Воеводы перекликивались, правили дружины, держали переправу. Куп молчал. И видели его со стороны и бояре ближние, и воеводы, и простые вои, преодолевающие могучую реку, не князем, рожденным среди них, но пресветлым и неостановимым божеством Севера, спустившимся из лучезарного Ирия, гневным и праведным, воителем яростным, идущим на Юг не битв и сражений ради, не для приращення земель и добычи богатств, но очищающей изначальной Силой, которая и нисходит на землю для того, чтобы избавлять ее от накопившейся скверны. Кополо! Чистый Дух древлерусского воинства! Покровитель вечно идущих, волна за волной, с родового

Севера стреловержцев и сказителей, блистательных воинов и сладкозвучных певцов. Дух Вечной Молодости, Кипящего Гнева и Заоблачной Чистоты — пылающее Солнце-Хоро, спустившееся к люду, и освещающее собою Путь! Земная ипостась Рода Вседержителя!

И только сам князь Куп, восседающий на белой священной кобылице с распущенной, развевающейся по ветру белой гривой, недвижимый, будто окаменевший, белоглазый, видящий то, чего не видят иные — открытый всем взорам и всем ветрам, без брони и доспехов, простоволосый, в одних белых грубых штанах и простой холщовой белой рубашке, распахнутой на груди, не ведающий страха ни пред мечом, ни пред копьем, ни пред стрелою, знал — Кополо не внутри него, но над ним и вокруг, повсюду вокруг, будто невидимым облаком облачает его. А внутри только Вера!

Два дня минуло с той ночи, когда Пресветлый говорил с ним. Ночь была темной, холодной. Куп сидел в шатре походном, что стоял посреди поляны. Сидел один — в полной уверенности: коли надо будет просидеть так вот вечность, просидит, смиряя гордыню и буйный нрав, ожидая Знака... Было ли явление Пресветлого знаком таким, нет ли — князь-воин не думал позже. Просто Кополо пришел... и сказал... Он пытался припомнить его облик, и не мог, силился вновь услышать его слова — нет, растаяли в памяти, уплыли куда-то, оставив только след, только суть: иди! пора! Сам Пресветлый был движением — Его не было вне похода, сечи и песни-сказа. И Он сказал так потому, наверное, чтобы не раствориться самому в воздухе прозрачном и холодном, ибо не в ожидании Он.

— Путь твой к отцу твоему! Не по плоти, но в Духе Святом и в Ряде Русском! — изрек, не разжимая плотно сжатых губ, горящий изнутри пламенем вырия, светлый призрак, возникший под сводами шатра.

Непонятны были слова, а их запомнил почему-то Куп. К отцу... Может, пригрезилось просто? Может, Мара навью тень наслала? В бессонных ночах мно-

готрудных походов всякое случается. Но не под силу владычице мира грез и наваждений одарить смертного Светом... А то был Свет! Не спал до утра Куп в ту ночь. И день следующий провел в раздумьях тяжелых. А к вечеру собрал воевод, сказал одно: «Выступаем!»

Куда он мог идти? Только вперед! Того желал Копола. А воля Пресветлого выше воли Великой княгини, выше воли отца покойного Юра... «путь твой к отцу твоему!» Куда, в мир загробный, в вырий?! Или тем хотел сказать Копола, что смерть уготована ему и что нельзя бежать от нее, от судьбы своей?! Но не по плоти отец... а иного Куп не знал, никого иного на всем свете белом не мог назвать таковым. Куда идти? Вперед!

Тих был Донай-батюшка. Тих и широк. Но воды его пенились по воле множества воев, по воле ведущего их туда, на тот берег, к смерти ли, к жизни, к славе и чести, или к позорищу несмываемому. Вперед!

Видел Куп, как медленно и неотвратимо, будто далекая черная волна океанская, начинают надвигаться по берегу на него полчища Кроновы. Пусть! Так и должно тому быть.

Неотвратимо надвигались и его рати.

Лишь терем высокий с возносящейся к небесам башней стоял недвижно. На крутом холме стоял, за частоколами и оградами многими. Куп ведал — нет покуда в тереме Кроновых людей, стоит крепко, так и будет стоять — твердыней незаблемой. Нет оттуда ни угрозы, ни подвоха... а Рея-племянница, княгиня Великая поймет его. И простит. Не глядел Куп на терем.

Но острый взор сам узрел тревожное.

Высокий и чистый крик пронзил небеса.

Будто черная птица взметнулась над башней, расправила два малых, еле видных отсюда крыла. И опять вскрикнула, пронзая тугой и печалью само сердце.

И марево белое потекло пред глазами Купа. Ледяным огнем обожгло грудь и спину, словно ветром с Белого Острова дунуло. Вздрыгнул Куп. И увидел в

светлом дневном небе чистую ярь Белой Звезды — глазам больно сделалось.

— Нет! — закричал он, не разжимая губ, беззвучно и страшно.

Но не услышал его никто.

— Дерзость твоя непомерна, — тихо, но отчетливо произнес сидящий на скамье старик, безбородый и длинноусый. — Благодарю Велеса-владыку, что мы терпеливы и добры, девчонка! — говорил он говором странным, цокающим и одновременно шипящим. Но слова складывались в речи понятные, доступные. — Вела бы тихо себя и благопристойно, не имела бы печалей, да и нас бы не отрывала от дел. Твоя участь мужей развлекать... или за скотом ходить.

— Я княжна! — выкрикнула Яра. И топнула ногой. — Я дочь великого Крона!

Но здесь ее никто не боялся. Мало того, здесь ей никто не верил. Братья Талан со Стимиром, да и сотник Хис с ними стояли возле самых дверей — избитые, закованные в медные цепи, хмурые. Они в разговоры не вступали, хватит уже, наговорились вдосталь, здесь на все слова, на все вопросы один ответ — кулаком в зубы. Сестрицу пока не трогали — хороша была, сочна, только горда слишком, такую красоту портить не решались без слова Гулева, старейшины, выбранного на Круге еще тридцать зим назад.

— Ты жалкая бродяжка, — спокойно поправил ее седоусый Гулев, зябко поежился, запахнул тяжелое черное корзно — в палатах было холодно и сыро, почему-то не топили. — А спутники твои — изгои, бродники! Люди достойных родов не являются в чужие владения сирыми, в лохмотьях. Они приходят с поклоном и дарами.

— Наш струг разбился о подводные скалы! — Синий огонь полыхал в огромных глазах юной княжны. — Буря лишила нас одежд и даров! Вот поэтому мы сиры и босы!

— Может, поэтому, — рассудительно ответил Гулев-старейшина, — а может, и не по этому. К берегу нашему прибывало немало несчастных. И каж-

дый находил у нас пищу и кров. Но чаще с моря приходили те, кто не желал нам добра, девочка. И мы с ними не церемонились. Вы не похожи на несчастных... Гордыне вашей нет предела. И потому эти вот бродники, — он кивнул на скованных одной цепью, — будут ломать камень в пещерах, до последнего дня своего. А тебе, детка, повезет больше — ты будешь утешать мою старость среди прочих наложниц... может, ты родишь мне еще одного сына, и тогда я сделаю тебя своей двенадцатой женой, ты будешь получать больше нарядов и сладостей, у тебя будет тихая и покойная жизнь. А когда я уйду в вырий... ты сможешь уйти со мной, если будешь хорошо любить меня, если будешь достойна этой чести. Да, тебе повезло!

— И это твой суд?! — выкрикнул от дверей рыжебородый Талан, дернулся, загремел цепями.

Его тут же повалили, насели сверху. Здешние вои были такими же безбородыми и длинноусыми, как и их повелитель. Но они были моложе и сильнее его. И все же власть принадлежала Гулеву.

— Убрать их! — приказал он.

Всех троих вывели, точнее, выволокли силком, волоча на цепях, безжалостно лупя в спины и плечи рукоятями мечей.

— Пошли его... к Велесу, сестра! — выкрикнул напоследок Талан. И тут же получил удар в зубы.

— Да, тебе повезло, — не обращая внимания на выкрики и ругань, повторил Гулев. — Подойди ближе!

Яра не стронулась с места.

Но один из воев — высокий парень в кожаных бронях, еще безусый, но резвый — подбежал, ухватил за локоть, подтащил к скамье.

— Ешь, — старческая рука протянула гроздь винограда, черного, мелкого. На расписном глиняном блюде, стоявшем на столе подле скамьи, таких гроздей было много. Лежали яблоки, сливы, сушеные сладости. Стояли кувшины с вином кислым и сладким, с водой. — Ешь, детка!

Горло сразу свело судорогой, до боли захотелось взять виноград, впиться в него зубами, утолить обу-

ревающую тело жажду, усмирить голод. Никогда в жизни Яра еще не хотела так есть. В нетемной темнице она изнывала от избытка пищи, выбрасывала лишнее за дверь или в оконце, несмотря на ворчливую ругань бабки. Здесь она умирала от голода.

— Нет!

Тонкая, но сильная рука выбила гроздь — та упала на дощатый пол, вздрогнула как живой зверек, замерла.

— Нет!

Старик улыбнулся, разгладил усы.

— Мне нравится твоя строптивость, — совсем тихо произнес он, — я люблю укрощать непокорных... и они меня больше любят... потом. Подведи ее ближе! — Приказал он стражу.

Тот железными пальцами впился в плечо княжны, сдавил его до хруста. Подвел к старейшине вплотную.

Высохшая желтая рука в коричневых старческих пятнах заскользила по волосам, щекам, шее, замерла на тонкой шитой парче, скрывающей под собой грудь. Страж не заметил быстрого движения — будто птица крылом махнула, и рука отдернулась, вся в кровавых полосах царапин. Темная густая кровь еле сочилась, лишь две или три капельки сорвались вниз, на доски выскобленного чистого пола.

— У тебя острые коготки, — прошептал Гулев. — И все же ты не муж, и не воин, ты дева... и должна будешь покориться, не мне, девочка, но своей женской природе, я лишь окажусь в нужный час рядом, пусть не сегодня, пусть в другой день, когда ты будешь ласковой. И помни, естество твое сильнее тебя!

— Я княжна, — выкрикнула Яра, удерживаемая теперь за оба хрупких плеча, — а не блудливая девка! И у меня есть муж! Великий князь!

— Великий? — переспросил старейшина. — И как же его имя?

— Жив!

Гулев задумался, потер виски ладонью.

— Не слышал про такого...

— Еще услышишь!

Гулев встал. И наотмашь ударил пленницу по щеке.
— Не смей мне угрожать.

Яра захрипела в бессильной ярости. Никогда прежде ее не касалась рука смертного так, позорно и тяжело, отбрасывая ее вниз, в гущу безликих и презренных бродяжек, девок, которых можно безнаказанно бить, изгоек, проклятых самим Родом.

Четыре дня минуло с того часа, как укрылись они от стылого ветра в сырой и темной пещере. Но это лишь поначалу пещера показалась сырой и темной. Только привыкли глаза, высохла кожа на лицах и руках, почувствовали они, что откуда-то из глубин ее несет теплом и сухостью. Зажгли факел. И пошли. Талан с сотником Хисом впереди. Яра со Стимиром сзади. Ход в пещере был ровным, не покатым. Они просто углублялись в ее нутро, не опускаясь вниз. И уже через час-другой стали замечать кладку из кирпича-сырца по стенам, кто-то крепил ходы, а значит, и здесь жили люди. Это и было самым страшным. Какие люди?! Но останавливаться не было смысла. На берегу серого холодного моря смерть. Впереди — неведомое. Они избрали путь вперед. И, переночевав в пещере, к утру выбрались из нее в место сухое, теплое, за невысокой, но плотной грядой. Выбрались прямо на поляну. А чуть дальше, на полет стрелы, зеленел первой зеленью редкий лесок. Обошли поляну, вошли в лесок, плутали с непривычки — откуда у узников привычка, только Хис немного разбирался, что к чему, бродили, изнывали от жажды — ни ручьев, ни озерца, ни ягод. Голод мучил. А Яра, где б ни была, куда б ни шла, везде одно видела — как вздымает ее любимый над головами, над палубой, над волнами, надо всем миром поднебесным, одно слышала, как говорит: «Смотрите! Смотрите все! Вот любовь моя, лада и жена!» Тем и жила, не замечая ни жажды, ни голода. Лад и жена! Любовь! Где он теперь, живой ли, мертвый... Нет, и думать нечего, живой, только живой! и она его непременно разыщет! или он ее! какая разница! Потом зашли в избушку крохотную посреди леса, кособокую и ветхую. Там были припасы: орехи, грибы сушеные, ягоды. Вода в жбане стояла. Только напиться успели, и то не вдосталь. Там их и скрутили. Будто из-под

земли выросли ловкие вои, говорящие, вроде бы, подобно русам, на понятном языке, но слов понимать нежелающие. Скрутили, глаза завязали, повели куда-то. Потом в погребке полутемном все выпытывали — откуда, мол, зачем пожаловали. Правде не верили... а лгать было нечего, да и непривычна Яра была ко лжи. Братьев и сотника били. Но беззлобно, скорей, для порядка, чтобы не дергались, не ерепенились. Потом на другую поляну привели — огромную, с черным кострищем и огромным деревянным богом посредине. Длинные хижины, то ли три, то ли четыре, не разберешь, стояли по краям поляны, на взгляд будто переходили одна в другую. Там было много народу: и мужей, и жен, и детей. На гостей незваных глядели недоверчиво, но без ненависти. Впервые Яра видела столько много карих глаз, устремленных на нее, дивилась — волосы светлые, а глаза словно мед спелый, янтарно-ржаной. Да и одежды были грубые, толстыми швами наружу, где холстина дерюжная, где кусок шкуры почти невыделанной. Но на диких горяков не походили, те вообще кроме шкур ничего не знали. Свои, русы, только странные, будто и не свои. Мечи у стражей были медные. У старшего — бронзовый. Щиты из кож бычьих. У одного воина на поясе Яра нож диковинный увидела — каменный, черный, острый по лезвию-сколу, от такого мороз по коже.

Долго их водили. Кружили, есть-пить не давали. Потом привели к гряде с иной стороны, на другом краю леса. Там и были палаты, в горе выбитые, деревом обшитые, но стые. Там их и встретил старейшина Гулев, встретил неласково, видно, не ждал от чужаков добра.

— Не смей угрожать мне! — повторил старик.

Опять занес руку, намереваясь ударить. Но передумал, опустил.

— Придет день, ответишь! — с неженской, недовичьей злостью прошипела Яра. В синих бездонных очах ее загорелся черный неистовый пламень. Дернулась, вырвалась совсем ненамного, выбросила вперед ногу — длинную, стройную, сильную — норовила в

пах ударить, попала в колено. Гулев вздрогнул, сморщился от боли. И все же ударил с размаху по щеке пылающей еще раз, не жалеючи.

— А хочешь — отдам тебя воям, в дружину молодшую?! — просипел он раздраженно. — У нас обычаи насчет дев и жен строгие. Но на таких как ты ряда нет! Пусть душу отведут!

Безусый страж сдвинул плечо так, что слезы ручьем потекли из глаз. Горячее дыхание обожгло ухо. Яра услышала:

— Смирись! Ты чужеземка, нет тебе защиты здесь, смирись!

— Защиты?! — выдохнула Яра. И крикнула громко. — Нет?!

Гулев рассмеялся, сверкнул глазами. Не таким уж и старым он был, каким казался. Сам подошел ближе. Ухватил строптивую девчонку за подбородок. Сказал почти добродушно:

— Да ты, поди, не в своем уме? Надо было б тебя с самого начала к коровам да овцам...

— Есть мне защита! — не слушая, выкрикнула Яра. Извернулась и укусила старейшину за пальцы.

Тот отдернул руку и в третий раз ударил пленницу по щеке.

— Есть? Ну и кто же это? — спросил уже серьезно, видно, ему начинала надоедать эта игра.

— Муж мой! Жив! Великий князь Русский! — разъяренно прокричала Яра. — И отец мой — Крон всемогущий! Они убьют тебя, изверг старый!

Гулев взмахнул рукой. Вздохнул горестно, качнул головой обритой наполовину, с длинным и густым клоком волос, свисающим на левое плечо. Но не ударил, пожалел.

— Далеко твоя защита, — с ухмылкой сказал он. А мы здесь, рядом. — Только по глазам вижу, не безумна ты, нет. Но дерзка чрезмерно и ярью неистовой налита до краев... в деве не должно быть столь много яри и злости лютой. Может, ты навь, принявшая обличье людское, может, вила Велесова?!

— Княжна я! — выпалила снова Яра. — Прикажи отпустить, ирод! Но знай, защита у меня везде есть, повсюду! И воздастся тебе за все с лихвой!

— Опять угрожаешь? — Гулев был явно расстроен. Он не мог справиться с девчонкой, и это удручало его. — А ведь я могу и тебя в каменоломни... а могу просто жизни лишить, подумай, девка строптивая, змея!

— Ты сам змей!

Яра согнула ногу, ударила назад, стража по колену, дернулась изо всех сил, вырвалась и набросилась на старейшину с кулаками, в приступе безумного гнева она уже не видела и не слышала ничего вокруг, она била старика кулаками в грудь, царапала лицо, едва не опрокинула его. Два других воя, покрепче, поспоровистей, вовремя перехватили ее руки, оттащили.

Гулев насилу отдышался. Сел на скамью. Налил себе вина полный кубок. Но прежде, чем отпить, приказал:

— Высечь ее. Прямо здесь!

Еще три воя подбежали к бьющейся, кусающейся, кричащей пленнице, ухватили ее за руки-ноги, бросили на скамью, закинули подол на голову. Били долго, с чувством, не жалея — видно, и им дерзость незваной гостьи не по вкусу пришлась. Потом устали. Гулев успел выпить три кубка. Смотрел на все не отрываясь, не мог скрыть восхищения — столь прекрасного, дивного женского тела он еще не видывал, хотя не мало пожил, немало повидал, имел много жен и наложниц по доброму ряду Русскому. Но в прекрасном обличии, в дивном теле жил бес, не приведи Господь, такого в свой дом, а пуще того, в свою душу впустить! Нет уж, Гулев распрощался с мыслью пригреть бродяжку на своей груди, нет уж!

— Давай ее сюда!

Когда пленницу подвели ближе, старейшина спросил добродушно:

— И где ж твои защитники, детка?

Яра огромным усилием согнала с глаз пелену, выпрямилась на дрожащих ногах, вытянула шею. И плюнула прямо в лицо мучителю.

— Ах ты...

Гулев коснулся пальцами собственной щеки, посмотрел на них — кровь. И губы у несчастной все в

крови — искусала их, вон какие пухлые, багряные. И жалко ее стало до кома в горле. И безнаказанным такое бесстыдство оставлять нельзя, никак нельзя, все видели, позор!

— В море ее! С камнем на шее! — приказал он сурово.

Вои застыли в нерешительности, видно, и им такой приговор показался слишком строгим. Но пересилили себя, потащили жертву к дверям дубовым.

Яре уже было все одно, что в море с камнем, что на меч грудью. Она не желала жить — так жить! здесь жить, с этими извергами! Но все-таки она не смирилась, она нашла в себе силы громко, торжествующе крикнуть:

— Есть у меня защита, старый кат! И не жить тебе, не жить!

У самых дверей стражи услышали тихое:

— Назад! Стойте!

Застыли, чуть разжали руки, ощущая, что жертва перестала вырываться.

— И кто же меня спровадит на тот свет? — поинтересовался он устало. — Мальчишка Жив, у которого нет сил себя защитить? Или Крон, старый дьявол? Так он нас тридцать лет достать не может! Руки коротки! Так кто же?!

Яра издала обожгла Гулева ярой синью глаз.

— Род-Вседержитель! И Пресвятая Матерь Лада! Они лишат тебя жизни, ибо я их дочь! А они мои родители! И они покарают тебя, старый убийца! Покарают и за меня, и за моих братьев! Так и знай!

Гулев усмехнулся, откинулся на лавке, сбивая со стола кувшин с вином. Склонил голову набок, прищурился.

— Ладно. Поглядим, — процедил он. — Поглядим, кому Род отец родной, а кому... в погреб ее! На новолуние у нас Круг большой. Давненько мы добрых жертв не приносили Роду-батюшке. Видно, он сам нам послал эту отрочицу. Да свершится все по воле богов. Стеречь ее крепко-накрепко!

Сначала Крон услышал женский крик, раздирающий небеса, прорывающийся в заоблачные выси и

уходящий в мир иной, нездешний. Он сразу узнал этот голос, хотя не знал его, не слышал его долгие годы, десятилетия, да и слышал если — совсем не тот, а еще детский, слабенький и тоненький. Лишь позже он увидел черную тень, черную птицу, взметнувшуюся в полете своем над теремом... Но от крика того до видения, с одним лишь поворотом головы пробежало пред ним почти полжизни: вот молодая красавица, жена его ненаглядная протягивает к нему руки белые, смеется, хохочет, ждет — и его, и чего-то еще, ниспосланного будто Свыше, а под перевязью груди ее уже живет, дышит, бьет ножками нерожденное и непонятное пока существо, ждет своего часа, а вокруг синь моря лазурного, брызги, лодья. паруса алые... и сам он, молодой, крепкий, огненно-волосый и ненасытный во всем, от любви до сечи, алчущий жизни... а вот уже не Рея спешит ему навстречу, а крохотная девочка, едва вставшая на ноги, тянущая маленькие пухленькие ручки к отцу, падающая, вновь поднимающаяся, и все же видящая только его одного, устремленная только к нему — зеленые дубравы, бархатистые нежные склоны, журчание ручья — и все это его, весь свет принадлежит ему, и короткое счастье... но мало, мало, мало! походы! бои! суд! странствия и возвращения! бурлящая, стремительная жизнь! и ожидающая его девочка, дочь, любимая, добрая, нежная и любящая — она всегда встречала его изо всех походов, выбегая далеко за ворота, будто простая поселянка, и счастье было в самой улыбке ее... долгие годы. И вот он провожает ее за ворота — с богатыми дарами и доброй свитой, и сердце щемит от боли, а она улыбается ему — впервые она выше, он на земле, она на вороном коне, и солнечный нимб за ее головой светлой, и слезы на ее щеке, и взгляд, говорящий больше слов. Память. Проклятая память!

Крон окаменел в седле.

Черная птица, взмахнув черными крылами, взвилась над высокой теремной башней, будто в порыве дерзком, будто желая пронзить небеса не одним лишь криком печальным и страшным. Но не превозмогла тяжести брэнного тела, пала наземь, отпуская

в чистый Вырий одну только душу легкую и светлую.

И показалось Великому князю, седому как лунь Крону, что сам он под тяжестью лет и грехов, отягощенный содеянным рухнул на черную смертную землю. Это его встретила она всем своим непомерно-убийственным телом. И его казнила.

Медленно, очень медленно поднял он руку.

Подлелевший на буланом коне походный воевода Удал, замер как вкопанный, одним целым с буланным — человек-конь.

— Остановить... — прохрипел Крон, — остановить людей!

Строг замер за спиной, ждал слова, склонив голову. Он тоже слышал и видел все, почти все. И он понял — кто был черной птицей, принявшей смерть на глазах у двух несметных ратей, а вернее, меж ними.

— А ты, — Крон не глядел на ближнего боярина, — ты пошли за ней... за телом дочери! И пусть готовят тризну!

Дон с легкостью пардуса перепрыгнул с борта на борт, расправил плечи, огляделся. Впервые он сам не участвовал в захвате чужого струга, сидел на пустом бочонке, перевернутом вверх днищем, следил за ходом боя. Собственно, и боя никакого не было — двоим-троим сунувшимся было гребцам врезали хорошенько мечами, плашмя. А прочие сгрудились возле мачты и, похоже, не собирались защищаться, хотя каждый был вооружен — пусть и бронзовые мечи, пусть медные латы, а все ж не с пустыми руками.

Дон даже растерялся.

— Ну что, — просипел он, оглядывая чужаков, — обезручили со страху?!

Никто не ответил. Лишь свои вои закричали, затоптались позади и с боков в недоумении, кто-то даже выругался вслух, коротко и непотребно. Дон зло покосился на него. Но не стал позорить при чужих.

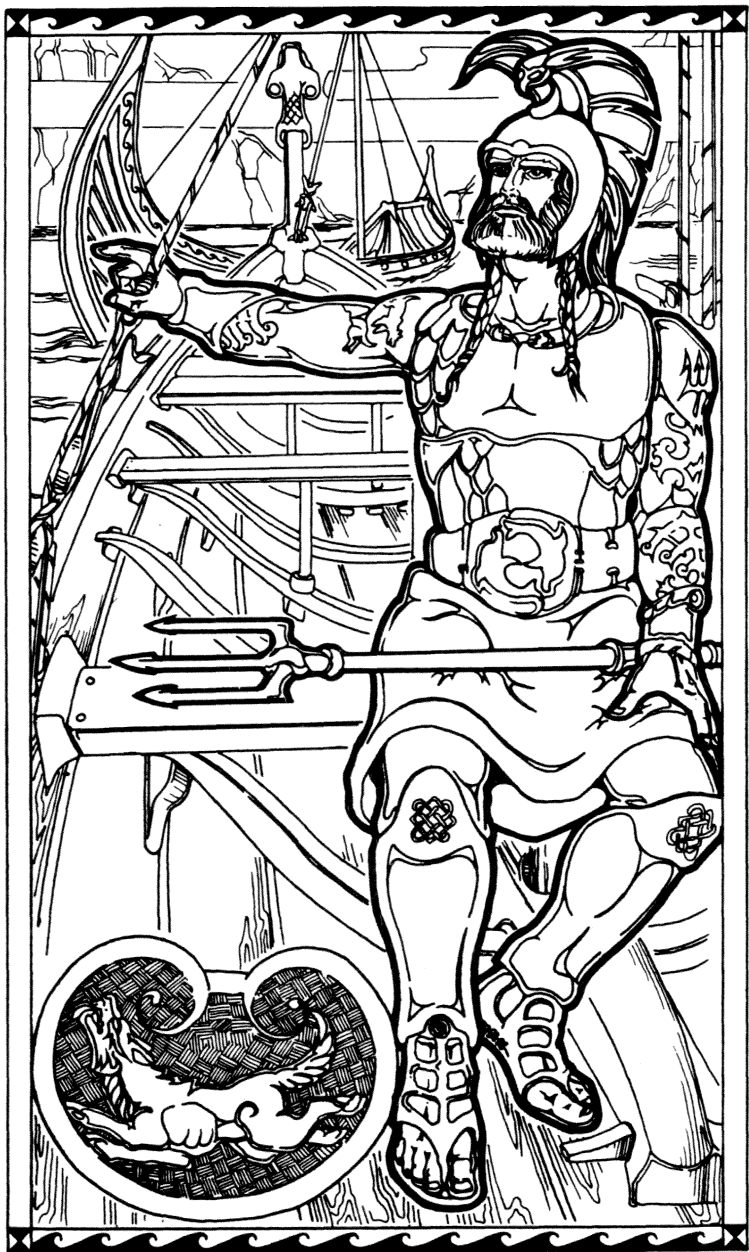
Выкрикнул сердито:

— А ну, выходи кто смелый!

Вышел крепкий, совсем еще молодой парень с длинными вьющимися волосами, перехваченными кожаным ремешком, с умными и быстрыми зелеными глазами. Вышел, вытянул неспешно меч из ножен... и воткнул его в доску под ногами, выпустил рукоять — меч задрожал, заходил ходуном. Но прежде, чем он застыл, успокоился, Дон узнал парня — по смышленным быстрым глазам, по повадке. Таким или почти таким он был и... давным-давно, двадцать лет назад. Неужто и время над ним невластно, не постарел даже, наоборот, еще моложе.

— Ябед? Ты?! — выдохнул он изумленно.

Перед глазами сразу встал тот далекий день, погожий, ясный, когда он сам еще совсем юным, двадцатипятилетним, угодил с простора вольного и бескрайнего в темницу безвыходную. В тот день они вернулись в гавань Олимпийскую с островов, вернулись веселые, усталые, счастливые — на резвых малых стругах, обгоняя друг дружку... он даже помнил, как трещали мачты и чуть не лопались паруса, а они все гнали и гнали, не уступая, не желая уступить ни шага. И он не чуял ничего, это потом все врут про предчувствия. Он поверил приятелю, другу, сыну ближнего отцовского воеводы — смышленому и быстрому на слово Ябеду, сам выскочил на берег, вспрыгнул на коня, поскакал к отцу на пир молодецкий... Ябед скакал следом, хохотал во всю глотку, подзадоривал. Вместо пира его ждал поруб. Скрутили — ничего не подозревающего, еще улыбающегося, веселого, заломили руки за спину. А Ябед уже не смеялся, только плечами пожимал, отводил глаза — его не тронули. Дон тогда все понял, они боялись, отец боялся, что он может уйти, сбежать. Потому и пошел на хитрость... да, на хитрость. А друг-приятель — на подлость. Первые дни Дон рвал и метал, клялся самому себе, что достанет предателя, задушит своими руками, вырвет лживый язык... потом отошел, даже простил: что мог поделывать лучший друг, коли воля Великого князя требует от него иного? Ничего! Простил и забыл. И вот тебе встреча!



— Ябед отец мой, — спокойно отозвался парень, не клоня головы, глядя прямо в глаза, — а я сын его — Промысл!*

Дон недовольно хмыкнул, оглянулся на своих воев.

— Похож, похож сынок, — протянул он с явным презрением, и добавил: — ликом похож. А нутром, духом — не в отца! Тот посмелее был!

Промысл не заставил себя ждать.

— И духу и смелости мне не занимать! — выкрикнул он яро. — Только драться с тобой не буду! Ибо к Живу иду, к Великому князю! В его войско... а ты лишь его правая рука!

— Что-о-о?! — взревел Дон.

И бросился на дерзкого мальчишку.

Но его удержали, ухватили сзади под руки. Теперь всем было ясно — никакие это не чужаки, сами идут на Скрытень, свои! А своих обижать негоже. Дон горячий, но отходит быстро — дай ему порубить мальчишку, потом сам жалеть будет, ночей не спать.

— Ну чего ты, батко, — прошептал в ухо седому княжичу Гориван, второй после него боец на море, обритый наголо, светлородый и черный ликом словно дикий нубиец. — Да прости ты его!

— Ладно, прощаю, — тут же, с ясной неохотой протянул Дон. И бросил парню в лицо: — Скажи братьям спасибо, папенькин сынок!

Промысл опустил глаза, улыбнулся сдержанно. Но и этого слова не оставил без ответа.

— Был папенькин... нынче сам по себе. Ушел я от Ябеда. Ушел!

— А чего так? — поинтересовался Гориван.

* Ябед, Промысл — исконные русские имена, позже переименованные «древними греками» на свой лад: в Иапета и Прометея. Русский корень «мет» роднит Прометея и Метиду понятием «сметливости», «сметки», «быстрого, живого ума». В «древнегреческую» мифологию Прометей-Промысл вошел как сын «титана Иапета». Фактически в «титанов» были переосмыслены независимые, но достаточно сильные царьки-князья Средиземноморья и воеводы-темники, обладавшие, пожалуй, еще большей силой.

— За Крона он стоит крепко. Мой путь иной. И у всех друзей моих... верно я говорю? — Промысл обернулся к стоящим у мачты.

Было их с три десятка — самые разные, молодые и старые, крепкие и не очень, одетые богато и совсем босые. Видно, не по роду и званию собрались кучей, но по духу. Потому и ответили разом:

— Верно!

Дон подошел к Промыслу. Выдернул меч из палубы, отдал в руки. Посоветовал на будущее:

— Зря не бросай, сынок! — Потом вдруг обнял парня крепко-накрепко, прижался щекой. И спросил: — Ну как там Ябед, помнит меня, нет?

Промысл не ответил. Что ответишь, когда не вел отец речи о молодых годах своих, о друзьях-недрузьях, а врать не стал.

— Помнит, — сам ответил Дон, — как не помнить. Ну да ладно, может, когда и повстречаемся.

Промысл не понял намека. Почувствовал в голосе Крониды тяжесть, тоску и обиду. Но не принял их на себя. Он чист душой, чего ему бояться, у него нет счетов с этим богатырем-великаном, способным вырвать мачту из палубы голыми руками. Кронид! Сын Великого князя.. этим все сказано. Пожалел только, что сгоряча обидел старшего руса. Но и печалиться шибко не стал — ведь тот уже простил ему горячность.

— У меня послужите, — сказал Дон властно, безоговорочно, — на своем струге. Вот так! Пока есть время сходим на Аласию, проведем кто там за правду стоять намерен, а кому жить надоело. — Он оглядел вдруг всех: и старых, проверенных воев своих, и вновь прибывшихся. И вскрикнул будто в запале: — Чего молчите, братья, али не любо вам?!

— Любо! Любо!! — закричали вразнобой, но громко, яро и те и другие.

Солнышко в этот день палило нещадно, повернув коло земное с весны на лето. Во всей красе пылал в поднебесье огненный Хорс, хороводил свой вечный хоровод вокруг мира срединного и моря Русского. Глядел на него Дон, прищурившись, из-под руки — и видел, как знак Божий, — пора на Олимп, не на

Аласию, на Олимп, к батюшке в гости, пора! Последняя отсрочка Живу!

Крон сам, по крутым бревнам высокой крады*, как по лестнице, ведущей прямо в вырий, поднялся вверх, возложил последнюю хрупкую и сухую веточку к ногам дочери. Опустился на колени рядом, поцеловал в ледяное, белое чело.

Рея лежала тихо и покойно. Будто и не она кричала тогда, под самыми небесами, будто умерла во сне в собственной постели. На лице не было ни царапинки, ни припухлости. И это больше всего поразило Крона. Боги любят ее! Даже после смерти любят! Это укор ему, именно ему — он мало ее любил, он совсем не любил ее, свою родную дочь! И за это он наказан!

— Прости меня, — тихо прошептал он. Потом припал к уху, касаясь его губами, заговорил быстро, будто боясь опоздать, не успеть сказать самого главного, самого важного: — Ты уйдешь туда, ты увидишь его, доченька! Проси его, моли за меня, моли! Нет вины хуже моей, я все знаю, все! Но он простит меня, ибо мудрый и добрый, ибо знал, что не корысть мною двигала, но радение за Державу... нет мне прощения! но он простит! он не откажет тебе! он дед твой... и он любил тебя больше, чем я! пусть простит и за это! Я лишил его зрения, сделал незрячим, а он стал видеть больше! Прости меня, Юр! прости меня, Рея! Это я убил тебя, но... все равно прости!

Крон оторвался от дочери. Выпрямился. Взглянул вниз.

По левую руку от него расположились воеводы и

* Крада — четырехугольная пирамида, слагаемая из бревен, с плоским наверху, куда кладут мертвеца. Крада — одновременно и костер и жертвенный алтарь. Подробно описана Гомером в «Илиаде»: сцена похорон руса Патрокла. На протяжении нескольких тысячелетий русы кремировали своих покойников, прямоком отправляя их в рай-вырий и одновременно вознося жертву богам-предкам, приобщая к ним еще одного.

лучшие вои Севера, там сидел и ненавистный Куп, много их было, необъять глазом. По другую, правую — ждали его, взирая ввысь, подвластные дружины, тоже не все, всем места не достало, лучшие из лучших — ближних Крон различал, там был и Строг с Удалом, и Ябед, и Олен опальный, и Кей прощенный, и многие другие, дальних узреть не было сил. Прямо перед ним, за крадой внизу сидели люди местные, подвластные прежде дочери его, сидели без князей, за старших были Овлур с Зароком, прочих Крон не знал. Да и не хотел знать. Все сидели тихо, ждали начала тризны, ждали, пока он спустится вниз, чтобы возжечь пламя. Всех примирила смерть Великой Реи. Всех... но надолго ли?!

Лишь позади никого не было. Там медленно тек степенный и широкий Донай. Крон не хотел смотреть туда, в его воды, ибо казалась ему река эта теперь рекой смерти, обернешься... и узришь лодчонку малую, и перевозчика — того самого, что берет за перевоз монетки-денежки, кладомые на холодные веки. Крон вздрогнул. Разорвал ворот алой рубахи. Сорвал крест-оберег. Подержал его над мертвым телом. И медленно опустил.

— В твоих руках я, доченька, в твоих, — проговорил он еле слышно. — Скоро увидимся!

Спускался вниз шаг по шагу. Ноги не держали. Предательство внезапнообретенного сына... нет, всех сыновей, дочерей, бежавших от него, замысляющих против него недоброе. Смерть любимой дочери, страшная смерть, не слишком ли много для одного человека — человека, несущего тяжкий, неподъемный груз в гору, созидающего Державу, в которой всем будет дано по делам их и по чести? Или правы были волхвы, боги отворачиваются от него?! Нет! Его воля сильнее воли богов!

Уже на последних, нижних бревнах-ступенях Великий князь Руси и подвластного ей мира, Крон, сын Крона и внук Крона, Кронид в поколениях гордо вскинул вверх седовласую главу и, оттолкнув поспешившего на помощь гридня, твердой, каменной походкой прошествовал к своему невысокому и простому на вид походному трону, вырезанному из чер-

ного дерева. Опустился. Вперился невидящим взглядом в вершину крады. И бросил сухо:

— Возжигайте!

Восемь волхвиц придонайских восьмью факелами, заполненными благоуханными светлыми смолами, с восьми сторон — по углам и срединам бревен — вознося мольбы Пресвятой Богородице Матери Ладе, будто отражая на земле, в мире Яви Божественный Свет ее восьмиконечной Звезды, зажгли краду.

Куп сидел и смотрел на бушующий огонь, не отводя глаз, не мигая. Двенадцать умудренных годами воевод сидели по правую и левую руку от него. Жар бил в их лица, пламя бросало на них гнетущие, трепещущие отсветы, словно сами они пылали в этом взвивающемся к небесам пламени. Жарко. Нестерпимо жарко! Прочие вои далеко за спинами, они не ощущают этого жара. А им надо терпеть. Этот жар — напоминание о краткости жизни. Этот жар — грань иного мира, мира Нави, который ждет их всех, ждет каждую минуту, каждый миг. Жарко!

И только Куп сидел словно закованный в ледяной панцирь. Холод в груди, холод на спине, холод в висках, как там, посреди Доная. Куп был отрешен, он ни о чем не думал, он ничего не видел. Он просто сидел застывшим изваянием. Прерванный полет стрелы. Остановка в пути. И холод... который пройдет. Куп ждал. Крада скоро догорит. Угли залиют светлым вином. И пепел плоти той, что ушла в небесные выси, в луга Велеса, соберут в расписную лицевую урну. И в другие сосуды, малые и большие, соберут пепел любимой кобылы, сожженной вместе с Великой княжной, шести волов, восьми белых коров, собак... и пепел двух старых служанок, что решили уйти в вырий вместе с хозяйкой. Все сложат в середине кострища, принесут утварь, одежды, украшения, еду, питье — Рея ни в чем не должна знать недостатка в ином мире — и медленно, без торопливости и спешки, начнут насыпать холм — до самой вершины, а потом вонзят в него меч Яра. И тогда начнется тризна — долгий, шумный, веселый пир на неделю, и все будут радоваться, ибо

Великая княгиня не исчезла, не пропала в небытии, а лишь перешла в лучший мир, и стало быть, надо радоваться за нее. И начнутся состязания воинов, и начнутся поединки — до первой крови или до смерти, как пожелают сами поединщики. И вот тогда придет его черед! И вот тогда...

— Куп! — вырвал северного князя из забытья грубый голос. — Что с тобой?!

Двинский воевода, мохнобровый и морщинистый, тряс его за плечо, будто ото сна будил.

— Третьи сутки не встаешь! С открытыми глазами спишь!

Куп тряхнул головой, сбросил тяжелую руку. Огляделся. Никакого пламени уже не было, да и кострища тоже. Огромный пологий холм высился перед ним. Вокруг холма сидели, лежали, стояли тысячи людей с кубками в руках, с рогами, наполненными медом и винами, с кусками мяса. Они ели, пили, веселились... и глазели на шумное и быстрое зрелище. У подножия погребального холма и на склонах в запутанном и странном хороводе-мельтешении носились десятки, сотни всадников. Они рубились, били друг друга копьями, метали в лица и груди дротики... Но не кричали истошно от ран, не стонали, не захлебывались в крови, не падали наземь безголовыми. На копьях не было рожнов, дротики были дубовыми, а мечами рубили плашмя, голоменью. Вои тешились, состязались в ловкости и умении. И все сидящие, стоящие вокруг насыпи поддерживали их шумными криками.

Куп понял, что его черед пришел.

Холода в груди не было. Там билось горячее, неистовое сердце. И в виски не впивались ледяные крючья. Он снова в мире Яви. О, Пресветлый Кополо! Дай своих сил, своего гнева и своей чистоты!

Куп обвел взглядом сидевших подле воевод — они пили, ели, веселились, но не уходили далеко от своего князя, незачем, в дружинах и полках их братья-корованы, войско всегда наготове, его не возьмешь врасплох — Куп выбрал самого старого, самого видного, Хлуда Руянского, подозвал наклоном головы. Тот подошел степенно и важно.

— На, держи, Хлуд, — Куп протянул закованному в брони старику широкий нож, снятый с пояса. — Иди к Крону, брось ему нож в ноги!

Воеводы разом затихли. Такого еще не было на тризнах русских — никогда не было, чтобы князь вызывал князя на смертный бой.

— Иди! — повторил Куп, как отрезал.

Недобрая весть, будто ее на хвосте своем несла быстрая черная птица-вешунья, облетела кругом погребальный холм. Смолкли, затихли тысячи воев, жен и дев, старцев, бояр и воевод, бросили свои игрища буйные конники-витязи, разбрелись со склонов, ведя коней в поводу, тягостное молчание повисло по-над Донаем-батюшкой, прежде чем степенный Хлуд донес вызов на поединок до Великого князя.

Оторопев, глядел Крон на брошенный в ноги острый нож с родовым волчьим знаком Купа. Потом наступил на него сапогом, вдавливая в рыхлую землю.

— Откажись, — мягко пропел из-за спины Строг, — неровня он тебе, не будет чести, не будет и бесчестья!

— Молчи! — осек его Крон.

Он понял сразу, что Куп решил испытать волю богов — задумал начать и закончить дело одним поединком, не губя тысячи людей, тысячи русов единокровных. А раз так — все вокруг все понимают — будет бесчестье, до конца жизни! а потом еще и в памяти, в былинах и сказах — навсегда, навечно! Страшный день и час выбрал северный князь для схватки неизбежной, горький и роковой! Капли ледяного пота побежали по челу Крона. Не страшно было умирать. Страшно дело губить начатое, великое дело! И где?! Здесь, на могиле родной дочери! Когда сердце надорвано нежданной утратой... Ему за семьдесят. Правда, сил пока хватает, на десятерых хватит. Но и Куп силен и ловок, ему нет и сорока. И еще... Крон знал, что сотни тысяч русов считают именно Купа воплощением Пресветлого бога-воина, ипостасью Кополо в мире Яви, а это многого стоит — драться с богами, идти против рода, против предков великих. Одно дело рать на рать, совсем

другое — поединок, лицом в лицо, меч на меч! Опять Судьба испытывает его на прочность. Мальчишка! Наглец! С ним бы не драться, прав Строг, не княжье это дело, его бы высечь плетью! Но за ним роды и племена, за ним ряд и закон, обычаи русов... унижить его, значит, унижить себя, Великого князя. Крон сжал зубы, не дал резким словам сорваться с языка.

Поглядел на присланного воеводу спокойно и мудро. Сказал с достоинством, но так, чтобы слышали окружающие:

— Передай брату моему, я принимаю его вызов!

Ночь была ясная, светлая. В темно-синем, почти лиловом небе висела полная округлая луна, заливая подлунный мир своим неземным, потусторонним сиянием. И все вокруг было видно как на ладони — и поляна, и далекие хижины, и снующие туда-сюда поселяне. Видны были и суровые лики богов: Род стоял вросшим в землю, корявым и неохватным стволом дубовым, лишенным ветвей. Грубо высеченный лик его был бесстрастен и отрешен, Род не знал тревог и волнений людских. Зато скорбны и исполнены печалью были лики обеих Рожаниц, стоявших расширяющимися, оплывающими к земле каменными изваяниями. Кто был первичен и изначален, Род или они, Вечные Матери Сущего, никто из русов не знал, не знали даже волхвы, ведающие все. Кольцом вокруг Рожаниц и Рода стояли совсем небольшие, в полтора роста человеческих, берегини. И их плоские лики, едва намеченные в известняке, высвечивал призрачный лунный свет. Только верхушки высоченных сосен, нависающих над поляной, были черны, будто вздыбленные хвосты исполинских чудовищ.

— Вяжи ее к жертвенному столбу! — приказала патлатая беззубая ведунья. И ткнула Яру корявым черным пальцем под грудь, в сердце.

Та стерпела боль, закусил губу. Ее не любят здесь, это понятно — чужая! Видно, много бед натерпелись они от чужаков, не доверяют, боятся их. Да, в нетемной темнице было получше, только прошлого не воротишь. Вместе навсегда! Недолгим оказалось это «навсегда»... И так не хотелось умирать в три-

надцать лет, после только-только отведенной любви, большой сильной любви. Яра не плакала, глаза ее были сухи, все слезы уже вытекли из них.

Двое долговязых юнцов в длинных белых рубахах и белых полотняных шапках, надвинутых на самые глаза, подтащили ее к обременному кругу, ткнули спиной в сырое дерево жертвенного столба — изукрашенного резной плетенкой до самого верха. Прикрутили. Но не туго, один из парней даже ослабил узелок, усмехнулся ей, мол, задохнешься раньше, чем Роду в жертву достанешься. Яра тоже улыбнулась, просто в благодарность, хотя ей было не до улыбок.

Она видела, что народа на поляне собирается все больше, что уже выползают из земляных норскитов дремучие, как сосны-чудовища, волхвы — смертно-бледные в свете луны. Она видела, как появился из-за стволов сам старейшина Гулев, облаченный в тяжелое меховое корзно, черное издали, зловещее. Старик уселся на скамью, принесенную отроками и устланную серыми шкурами. Никто не осмелился присесть рядом с ним, хотя скамья была широка... Потом люду стало столь много, что в глазах у Яры зареяло, закружило. И она крепко зажмурила их.

А когда открыла, прямо перед ней, на выжженной поляне, шагах в двадцати вели на четырех вервях-растяжках огромного белого вола — священного жертвенного буйвола.

— Прими жертву нашу, Господь Вседержитель! — тонким голосом выкрикнул один из волхвов, взмахнул белыми рукавами, словно выплескивая из них что-то незримое.

— Прими-и-и... — прокатилось по поляне.

Другой старец с белыми волосами, ниспадающими до пояса, подошел к волу, уставился на него в упор. И почти сразу могучие вои отпустили растяжки, побросали верви. Яра напряглась, ожидая, что случится непоправимое, многопудовая туша сомнет, раздавит старца-волхва, такого беззащитного, высохшего, почти неживого. Но священный буйвол даже не подался вперед, стоял, как в столп соляной обращенный, потом у него задрожали ноги, круп, все его

могучее, налитое дикой первобытной силой тело... колени передних ног подогнулись, вол упал на них пред старцем. И Яра увидала, как сверкнуло в лунном свете длинное и широкое лезвие — оно будто само собой выскочило из широкого рукава белой рубахи. Рогатая голова покатилась по выжженной земле, струя крови ударила в старца, обагрила его одеяние, руки, лицо, волосы, бороду. Он не отстранялся. Но и не смотрел вниз. Глаза его, сверкающие в лунном свете, были устремлены к Роду-батюшке.

Больше Яра вынести не могла. Она снова зажмурилась, не желая ничего видеть. Только слышала, как рассекали на части жертвенное животное, как уносили одни куски людям по всей поляне, другие бросали в малые костерки у ног берегинь, Рожаниц и самой земной тени Вседержителя. Сырое мясо шипело на углях, резкий дух бил в ноздри, кружил голову. Яре не было жалко могучее, но бессильное пред людьми животное, нет, она видела и не такие жертвоприношения на Олимпе. Она представила на миг себя саму, цепенеющую пред грозным взглядом, умирающую еще до смертного удара — нет, это было невыносимо.

А люд вокруг радовался. Слышались веселые возгласы, приглашения, смех, вверх вздымались рога, наполненные священным напитком — сомой. Отведавший сомы, приобщался к богам, начинал видеть больше и дальше. Но он не терял рассудка.

Веселье длилось долго, невыносимо долго. Все тело ныло от боли, перетянутые руки и ноги немели, ныли, зудели, спина не выдерживала тяжести — казалось, это не она, Яра, привязана к столпу, а он висит на ее спине, тяжелый, невероятно тяжелый, гнетущий. Яра пробовала молиться Богородице Ладе, но ни одну из молитв не могла произнести до конца, слова ускользали, сознание перескакивало, переключалось на иное. И она вспоминала Жива, его могучие руки, которые с легкостью разорвали бы эти верви. Жив, милый, Жив! Почему ты где-то далеко? Почему ты не приходишь, чтобы спасти меня?! Любимый! Яра стонала, мотала головой из стороны в сторону... облегчение не приходило.

А вокруг, повсюду, впереди и сзади, с боков, волхвы и волхвицы приносили богам малые жертвы — птицами лесными, морскими дарами, легкими винами и медами. Воздух был напоен тысячью запахов, они вздымались вверх, до самой луны, растворялись в небесах лиловых. Уже прошла вечность, а ночное светило почти не сдвинулось со своего царственного места. Вечность! Ожидание пыток. Ожидание смерти. Безысходность. И никто не поможет, никто не придет к ней — ни люди, ни боги.

Яра разлепила веки, услышав звонкий и громкий удар ладони об ладонь. Увидела поднявшегося со скамьи Гулева — половина его обритого черепа светилась мертвенным лунным светом, и оттого он сам был похож на мертвеца. Это он призывал к молчанию.

— Боги наши не отвернулись от нас! — провозгласил он наконец громогласно. — Они приемлют воздаяния наши! Они любят нас! Хоть и изгнаны мы с земли родной! Хоть и нет участи горше доли изгоя! Верно я говорю?!

Вместо ответа скорбный многоголосый вой прокатился над поляной. Смолкли не сразу. Старейшина ждал, не спешил.

— Верно, — заключил он, когда стих последний плачущий, — каждый из нас живет надеждой на возвращение в родные края, в Семиречье! Но, видно, проклятье, наложенное на наш род, сильнее нашего горя! И силы, противостоящие нам, несоизмеримы с нашими силами... И все же уповаем!

— Уповаем!!! — взорвалось тысячью глоток.

— Мы вернемся домой чрез земли Кроновы! И мы изгоним согнавших нас с них... если Род-батюшка к нам милостив будет.

— Жертву! Жертву!! Жертву Роду!!! — заорали, загомонили отовсюду.

Множество сверкающих глаз, отразивших потусторонний блеск луны и потому неживых, уставились на Яру. Жарко стало под взглядами этими, будто на угольях стояла. Да, они жаждали ее крови, в них не было ни капли жалости. Вот тогда княжна заплакала — единственная крохотная слезинка выкатилась из-

под припухшего века, оставила на запыленной щеке светлый след и сгнула.

Гулев поднял руку. И разом поднялись все волхвы, поддерживая его и придавая веса каждому слову.

— Сестры и братья, — начал старейшина, — человек сам выбирает жертву богам своим, воплощенным в Единственном Неизреченном Боге, которого почитаем мы как Рода. Сам! Но только тогда, когда эта жертва не наделена душой.

— Верно! — разом изрекли волхвы.

— Но жертву людскую, чья жизнь в мирах Яви и Нави принадлежит не нам, смертным, боги избирают сами. И только им решать — примут они ее или не примут!

— Истинно! — вразноголосицу, один за другим, эхом выкрикнули волхвы. — Истинно сие!

Гулев поднял обе руки вверх. В одной из них была чаша со священной сомой — полная, пенная.

— А потому, — голос его окреп, возвысился, — пусть воля Рода — неисповедимая дочь его Судьба, решит, угодна ли батюшке жертва эта. Мы же рук своих не приложим к ней, не оскверним имя руса насилием над гостем... — Гулев помедлил немного и добавил: — Над незванной гостьей!

Волхвы закружились в медленном хороводе вокруг старейшины. Они подчинялись ему, такого Яра не видела, не знала, на ее родине волхвы всегда были сами по себе. А это означало, что она в полной власти жестокого старца и что справедливого суда не будет, нечего и надеяться! Она и не надеялась. Она лишь знала — боги с ней. Потому что Правда — владычица мира Прави с ней и за нее. Боги не в силе, но в Правде. Надо было только вытерпеть все, выдержать. Надо было достойно принять смерть, как то подобает Кронидам.

Гулев выпил свою чашу и отбросил ее. Уселся на скамью, уперев руки в колени. А из лесу стали танцующей походкой выходить вои-лучники в легких лисьих шкурах и таких же сапожках, с луками в руках и тулами, полными стрел, за плечами. Каждый проходил круг-хоро волхвов, где ему давали пьянящего напитка и завязывали глаза. А потом...

потом начался танец. Тихо, мерно били незримые с поляны прислужники волхвов в тугие воловьей кожи, натянутые на грубые сосуды из глины. Еле заметно ускоряли меру ударов своих. И в такт ударам этим ступали лучники, подпрыгивали, кружились на месте, к следующему удару всегда оборачиваясь в средину поляны, выставляя луки с натянутыми жилами тетивы в сторону жертвы, целя в нее смертельными жалами стрел. Лучники ничего не видели, повязки из беличьих шкур были непроницаемы. Но они всегда угадывали направление. И с каждым тяжелым ударом сердце Яры замирало. Ритм ускорялся. Танец становился все более быстрым, диким, страшным. Он завораживал и сводил с ума.

И потому, когда раздался неожиданный и резкий, словно крик срединноморского павлина, возглас волхва, Яра не успела испугаться — два десятка стрел просвистело мимо ее висков, ушей, глаз, рук, ног, четыре стрелы впились в жертвенный столп над самой головой задрожали, затрясли черными опереньями, две ушли в землю возле босых ступней. Вздох, помноженный на сотни и сотни уст, прокатился по поляне. Все видели, что Род отвел первый удар беспощадной Судьбы.

А Яра видела, как сгорбился вдруг на своей скамье Гулев, как он втянул голову в плечи. Она еще не знала этой страшной смертной пляски. Она никогда не играла так с самой безжалостной дочерью Рода. Но старый и мудрый Гулев ведал нечто сокрытое от тринадцатилетней девы.

— Мать Пресвятая Лада, спаси и пронеси беду, укрой покровом твоим охраняющим, дай терпение твое и смирение твое пред кончиной, — молилась Яра. Теперь она была уверена, что умрет. Молилась Богородице, а видела перед собою Жива, просила его... нет, уже не спасти ее, не прикрыть собою, а только лишь отомстить за нее — ибо око за око, зуб за зуб, и жизнь за жизнь — вот закон и ряд русов. И иные законы ложные.

Били в кожи все чаще, все быстрее становились движения лучников, косматыми тенями скакали они по поляне, взъярившись все больше и больше. И опять

Яра пропустила возглас седовласого ведуна. И опять большая часть стрел просвистела мимо, одна содрала кожу у виска, две пробили платье, пригвоздили его к столпу, еще одна больно обожгла лодыжку... Но Яра не ощутила боли. Она вдруг увидела и сразу поняла главное: в этой пляске смерти не одна она жертва! жертвой может стать любой из поселян, столпившихся на поляне, разница только в том, что они свободны, их не удерживают верви! Она сама видела, что закружившиеся в безумном плясе стрелки, двое или трое, не успели развернуться к ней и послали свои стрелы в лес. Она видела, как попадали люди, прячась от смертельных жал, как потом встали. Игра!

А ритм все ускорялся. И теперь волхвы глухо выкрикивали какие-то слова, им подпевали все — громче и громче. Поляна переполнялась тревожными и бередящими сердце отрывистыми песнопениями. Но тонкий, пронзительный возглас, всегда неожиданный, перекрывал их — и летели, все чаще в разные стороны, стрелы, вестницы изменчивой Судьбы, посланницы костлявой Мары. Уже унесли с поляны то ли троих, то ли четверых раненых, уже обливались горячим потом и задыхались от невыносимого танца лучники. Но не останавливались, будто собирались загнать себя, убить пляской. Удары становились громче, оглушительней. А жертвенный столп над головой измученной пыткой, белой как саван княжны был похож на ежа-дикообраза, живого места не было на нем. Кровь сочилась по одеждам Яриным — и от плеч, и ниже, по бедрам, ногам — стрелы рвали кожу, царапали, рассекали волосы у висков, вонзалась в древо, обдирая плоть. Но ни одной серьезной раны не нанесла Судьба жертве, обреченной людьми, но не богами.

— Быстрее! Быстрее! — кричал Гулев.

Некуда было быстрее. Большая часть стрелков давно попадала наземь в изнеможении, все они расстреляли свои стрелы, опустошили тулы. Кружились еще семеро самых сильных и выносливых. Но они не понимали ничего: где столп, где хижины, где луна, где земля, ночь ли сейчас или день, они слышали

только бешеную дробь сыпавшихся отовсюду ударов и пронзительные возгласы.

Последняя стрела с последним падающим лучником вонзилась в столп между ног у Яры, чуть ниже колен. Все! Она зарыдала беззвучно, трясаясь всем телом, без единой слезы.

А луна все не уходила с неба, освещала подвластный ей мир. Луна управляла вечностью.

— Братья! — сипло выкрикнул Гулев.

Он встал со скамьи, пошатываясь. Вышел на середину поляны, к жертве своей. И Яра увидела, что все лицо у него в крупных каплях пота. Гулева тоже трясло. Но как-то по-другому, не так, как ее. Чуть ниже плеча, из груди у старейшины торчала глубоко ушедшая в плоть стрела. Яра сама вдруг ощутила его боль, всхлипнула, хотела закрыть глаза. Но не успела.

— Братья и сестры мои, — прохрипел Гулев, пошатнулся, выпрямился, — боги сделали свой выбор!

Он ухватился вдруг за древко стрелы, напрягся, сгорбился, рванул со всей силы, выдрал стрелу из груди.

И упал лицом в выжженную землю.

Овлур не спал четвертую ночь подряд. Такой пышной тризны, какую закатил Крон, Овлур еще не видывал, хотя и пожил на белом свете немало. В голове шумело — и от усталости, и от обильного питья. Но ума старый воевода-боярин не терял — посматривал, поглядывал, как бы поминальное веселье* не перешло грани, не обернулось бы сварами, распрями, ссорами и, как следствием этих ссор, побоищем великим. А могло быть всякое — три рати, три войска великих сидели у могильного кургана Великой княгини Реи. Пока все было тихо. Дай Бог!

* На тризнах строго-настрога воспрещалось хмуриться, грустить, плакать или как-то иначе выражать свою скорбь. Даже смерть ближнего для древнего руса была частью многосложной жизни и испытанием на собственную жизнестойкость, на неистребимость и ярь всего рода.

А еще Овлура грызла неотступная мысль о прерванном свывае — не оставила после себя княгиня дочери Рен, прерывалась связь времен, и не было ей смены ни в Кроновом роду, ни в племенах Купа... земля Юрова теряла Небесную Покровительницу, оставалась сирой, брошенной, без ипостаси Матери Сущего, воплощенной в плоть человеческую, без живой богини. Овлур знал, что в землях оставленных Божьей благодатью живут только волки, шакалы и стервятники. Род людской в таких краях хиреет, угасает, обреченный на вымирание. Грустно и горько было Овлуру. Но он не подавал вида.

Зарока добудился с трудом. Тот спал прямо на шкуре, разостланной по траве. Три воя хранили его беспокойный сон. Но не от Овлура.

— Вставай, брат, — воевода присел рядом, потряс за плечо, — судный день настал!

— Шутишь! — пробормотал спросонья Зарок, перевернулся, устроился поудобнее. И снова провалился в забытие.

Овлур тряхнул сильнее.

— Не до шуток. Крон с Купом биться будут. Насмерть! — сказал он нарочито громко. — Не время спать! Князя бьются, а у люда простого головы с плеч слетают... Вставай!

Зарок вскочил, будто его змея ужалила. Протер глаза.

Денек выдался погожий, добрый. Свежим ветром согнало тучи с Дона, выветрило чистую даль голубую над зелеными, густозаросшими склонами. Солнышко ясное еще не пекло сверху нещадно, но пригревало на восходе своем в поднебесную высь — освещало холм поминальный, утрамбованный тысячами ног и копыт — через месяц-другой зеленеть ему свежей травой, а пока стоял бурый, огромный, с деревянной домовиной-избушкой на вершине и торчащим мечом неподъемным. Не по ряду русскому меч над курганами жен ставить, но Рея была Великой княгиней, хранительницей и берегиней земель Юровых.

Видимо-невидимо голов в шеломах, платках, шапках и простоволосых высвечивало солнце округ кур-

гана. Ждали люди. Невиданного доселе и оттого страшного, непредсказуемого ждали, не желая верить, что после веселого пира биться станут... многие вои успели за дни эти побрататься, не одну чашу пускали по кругу общему, в коем были дружинники Купа, вои Крона и витязи, подчиняющиеся ныне Овлтуру с Зароком. Теперь ни один из них не знал, что дни грядущие готовят им, что там дни — часы. Никому не хотелось умирать в такой добрый, погожий денек.

Зарок умылся из поднесенного ковша. Выпил кубок травяного терпкого кваса. Размялся, толкаясь и наседа на стражей своих. А сам все озирался, поглядывал, как там войско. Ведь случалось — по рассказам древних старцев бывалых — когда засыпали на тризнах мертвецким сном дружины целые и вырезали их спящих. Или так бывало только в сказках? Здесь, у холма сидело меньше четверти воев, прочие стояли дальше, у леска лагерем походным, дозорные дозор держали — не вырежешь. И все таки береженого Бог бережет. Зарок не стал бы ближним боярином-советником Великой княгини, коли бы не знал сего простого правила.

— Сходятся, — выдавил с натугой Овлтур.

Он явно спешил, поединщики только выходили с обеих сторон холма из своих ратей. Оба шли пеше. За Кроном гридень вел вороного жеребца, тот мотал головой, норовил вырваться, тянулся к князю губами, всей мордой. Белая кобыла с длинной распущенной гривой сама шла за Купом, тихо, смиренно. Впервые Овлтур с Зароком видели, что люд не беснуется, не орет истово, поддерживая своего перед поединком. Зловещая, нелюдская тишина стояла над землями придонайскими.

— Эх, Рея-матушка, — прошептал Зарок, оглаживая русую бороду, — натворила дел!

Овлтур поморщился. Поправил:

— Без нее бы лежать нам всем еще две недели назад костями на этом вот полюшке. Спасибо скажи княгине усопшей, брат!

Тот промолчал. Подтянул ремни на бронях, мало ли что.

Долго сходились князя.

А в седла вскочили разом. Ветром помчались друг на друга, выставив копыта длинные, укрывшись щитами червлеными. Сшиблись с громом, грохотом. И разлетелись по сторонам обломки копий и щитов. Унесли седоков кони, оба удержались в седлах. Застыли почти в тех же местах, откуда вскачь пустились. Взлетевший было к небесам гул голосов стих, откатился глухим рокотом. И вновь тихо стало.

— Удалы-ы, — протянул с нескрываемой завистью Зарок. Поглядел на Овлура, усмехнулся, — не нам чета, соколы!

— Князя, — спокойно отозвался Овлур.

Он хорошо видел поединщиков, природа-мать наделила воеводу острым глазом. Лучше бы не видеть этого, так думал Овлур, лучше бы видеть этих соколов за столом накрытым, за чаркой меда. Но Зарок прав, удалы!

Крон был в позлащенном шеломе с высоким гребнем, из гребня торчали переливчатые радужные перья. Лица не было видно под чеканной личиной — разъяренный барс-рысь с оскаленными острыми клыками глядел из-под шеломы — дивная работа мастеров русских, достойная Великого князя Руси. Золотом сверкал в лучах солнца начищенный до зеркального блеска панцирь. Золотом сияли наплечники крутые, поручи и поножи. Чернел под сиянием этим легкий и прочный кожаный доспех. Два булатных меча висели по бокам, лежали поперек седла в особой туле перуны-дротики, торчали из-за пояса рукояти ножей, выглядывали рукояти с головами сокольными из отворотов мягких алых сапог. Ниспадал по плечам и по крупу вороного жеребца горячего алый плащ-корзно. Грозен был Крон. Грозен и величав.

Куп-Кополо Северский не прятал лица. Глядел из-под волчьей морды ощеренной и злой, надвинутой на самые брови, дерзко и сурово глядел, не мигая. Волчья шерсть серебристо-седая скрывала его длинные светлорусые пряди, волчьи уши, прижатые плотно к голове, казались его собственными ушами, спину и плечи скрывал длинный волчий мех, сви-

сали когтистые мощные лапы, бились по крупу белой кобылицы волчьи хвосты — будто не человек сидел на ней, а страшный оборотень-волкодлак*. Только шкуры прикрывали могучее, но сухое, жилистое тело Купа, да кожаные поручи и поножи. Мечи его были проще, не отливали золотой насечкой. Но Овлур разобрал — булат их не уступит булату Великого князя. Широкий пояс стягивал чресла князя. Но лишь один нож торчал из-за него. И не было при прославленном, легендарном стреловержце ни лука его знаменитого, ни стрел — видно, не желал искусством своим пред неискусным блистать, щадил, честь блюдя свою и его. Когда в движении открывались голые руки, ноги или грудь князя Севера, виднелся сложный синий узор наколок, родовых знаков — такой мог быть только у бывалого, опытного бойца, многократно выходившего победителем из сеч и поединков. С оторопью глядели люди Кроновы на противника их властителя. Страшен и дик был Куп — отражение гневного Кополо в мире смертных.

И опять съезжались медленно. Лишь на последних шагах сдавили ребра скакунов, выхватили мечи. Звон и лязг заглушили гул и гомон, стоявшие над полем. Бились конно. Летели во все стороны клочья волчьего меха, сбитые перья, искры, высекаемые харалужными мечами. Бились с самого начала люто и истоиво.

Зарок аж затаил дыхание, выпучил глаза, потом наоборот сощурил их, оставив узенькие шелки. От эдакой схватки мороз по коже продирает — казалось, бьются не нынешние, не теперешние смертные, но налитые до краев чаши-купа неистойой, нечеловеческой ярью предки, неукротимые, одержимые ярии.

* Русы-воины различных племен, но одного огромного рода от Пиренеев до Урала почитали культ волка, называли сами себя волками, поклонялись Верховному Волку Кополо-Аполлону, шли в бой в волчьих шкурах с оскаленными волчьими мордами на головах. Отсюда появились поверья о волках-оборотнях в мифологии индоевропейцев.

Гневные и праведные предки-боги. Да, так биться могли только боги!

Поход на Аласию не получился. Крохотная гребная лодья, перерезавшая путь Доновой армаде, изменила все планы. Радости могучего Кронида не было края. Да, ради этих минут он жил, мучился, страдал, грезил столько долгих лет — целую жизнь. Олимп!

Они выступают на Олимп! Струги по велению Жива немедленно должны пристать к Скрытню, дружины ждут. Пока знал об этом только он один.

Встретив на палубе Промысла, Дон ткнул ему кулаком в грудь, рассмеялся.

— Похоже, малый, ты приносишь удачу!

Промysl ничего не понял. Но тоже улыбнулся, на всякий случай.

Стругов было много. Но и воев на острове скопилось немало. Да еще заранее, двенадцать дней подносили припасы — не столько еду-питье, сколько оружие, стрелы, горючую воду да перуны громовые. Почти дотла опустошил Жив пещеру Диктейскую, отрезал путь назад.

— Ну, брат, — радовался Дон, — созрел! Ей Богу, созрел!

Погрузились за два дня. Струги осели едва не по самые края бортов. Шесть сторожевых, дозорных оставили налегке, коли бой в море придется принять. И вышли в синь бескрайнюю. Рано утром, на рассвете.

Паруса трещали от ветра доброго. Снасти скрипели. Гребцы гребли. Прочие глядели вперед, будто будущее свое ожидали увидеть. А старый Ворон стоял на корме, смотрел единственным глазом на удаляющийся остров. И почти не видел его. Слезы мутили взор. Двадцать шесть лет! Половина жизни! Здесь он карабкался по склонам, взбирался на кручи, спасая госпожу свою и владычицу, благодатную Рею, здесь бился за нее смертным боем, потерял глаз, еле выжил, здесь обрел сына... неродного, но бывшего ему дороже, чем родной, вырастил его, выучил, в свет вольный вывел, здесь строил и дрался, созидал и разрушал, здесь постигал мудрость мироздания, сам,

по древним свиткам и кожа... здесь он жил. На Скрытне, на земле, сокрытой от чужих недобрых взоров бескрайними водами моря Русского Срединного.

Жив подошел сзади, бесшумно. Обнял дядьку, прижался виском к виску. И не надо было ничего говорить, все было ясно без слов. Лишь ветхие старцы и старухи да детишки провожали их, махали во след руками и платками, не уходили. Жив тоже помахал. Хотел крикнуть что-то приветливое и теплое, но горло сдавило и звуки не вырвались из него на волю.

Тогда пришлось говорить Ворону.

— Прощай, земелюшка родимая, — прошептал он. — Прощай, Скрытень, больше не свидеться нам!

Остров, верный прозванию своему, скрылся за окоемом, будто и не было его, будто не осталась на нем часть сердца старого воеводы, да и не только его. Последнее пристанище... Последнее? Почему? — поймал себя на странной мысли Ворон, вытер мокрую щеку.

— Ну, хватит, — сказал ему Жив, — хватит. Вот возьмем престол и власть, коли затоскуешь, в полное твое владение отдам островок наш, хочешь?

— Стар я, — глухо отозвался Ворон. И отстранился от княжича, сплюнул через левое плечо, пробормотал что-то, отгоняя беса, не сглазить бы дело ранними словами, похвальбой пустой.

Шли ходко, птицами белокрылыми неслись над морем, словно налегке. Как к островам подошли, сбавили ход. Брони надели, ремни подладили. И не напрасно. Шесть стругов великокняжских вышли навстречу — хозяевами вышли, не ожидая отпора, уверенно, собираясь, видно, загнать в гавань чужаков-купцов да почистить их там порядком, чтобы без грамоты княжеской не ходили, где не след... Только получилось иначе. Четыре струга с алыми парусами, приставших почти к бортам, пожгли горючей водой — сами испугались: до чего страшно ее действие.

— Такого и Индра своей палицей-молонией не сотворит! — на одном дыхании выкрикнул Айд-Полута. — Волканово извержение! — И тут же прика-

зал метальщикам. — А ну, давай еще, врежь им хорошенько, братья!

Семь горшков с горящей водой улетели вслед убегающим двум стругам — ни один не достал беглецов. А сами метальщики дивились: полыхает чудо-вода прямо на волнах морских. Глядели вдаль, стараясь не замечать, как горят четыре нерасторопных струга — страшно пылали они, черный дым четырьмя выющимися столпами валил в небо, бушевало ярое багряное пламя, словно из нечистого вырия вырвалось, из владений Мары-Смерти. Душераздирающие крики неслись со стругов. Прыгали за борт вои в горящей одежде, гибли... или плыли к ним, к чужакам.

У бортов скопились лучники, вои с дротиками — полетели стрелы в неприкрытые головы над волнами. Над двумя сомкнулись воды синие.

— Не смей! — закричал во всю глотку Жив.

— Не смей! Не смей стрелять! — понеслось дальше по стругам, вплоть до самого крупного, крутобокого, на котором держал свой стяг Дон.

— Кого увижу, что бьет беззащитных, рыбам отпавлю! — пригрозил голый по пояс, играющий грудой мышц под коричневой кожей властелин морей. — А ну тащи их сюда, братья!

Спасшихся вытаскивали, быстро вразумляли, кого зуботычиной, кого кулаком под ребра — бросали на скамьи, к веслам, там им объяснят, чья правда нынче, а нет, так сами поймут. Вытащенные не противились, слушались — еще бы им не слушаться спасителей своих, из ада выбрались огненного, заново родились на свет белый.

Пожилой сотник с обгорелой напрочь бородой и спаленными бровями сам спросил:

— Вы чьи будете, сынка Кронова, что ль?

Жив ответил:

— Его самого!

Только тогда воевода признал Кронида, склонил голову.

— Прости, — просипел, смущаясь, — слышал много про тебя, да все думал сказки сказывают, народ любит сказки...

— Народ любит не только сказки, — поправил его Жив, вернул сотнику протянутый им меч, — пригодится тебе, послужишь верой и правдой. И запомни, народ еще любит добрых и справедливых князей!

Старик не стал спорить, чего тут скажешь, был бы недобрым княжич, лежать бы ему, сотнику, на дне морском. Добрый. Пока. Ну, а там жизнь рассудит.

До Олимпийского берега еще семь стругов пожгли, девять в полон захватили: Дон воевал умело и беспощадно, зажимал в кольцо багрянопарусные корабли и начинал жечь их неспешно, по одному, давая прочим наглядеться вдосталь да понять, что к чему. Но сдавались не все, были такие, что насмерть стояли. Не обошлось без жертв, тринадцать воев потеряли в боях, всех стрелами побили.

Айд руководил метальщиками, следил, чтоб горючую воду попусту не тратили. Но, видно, снадобье ему не очень помогало: через каждый час ложился на доски, отдышаться не мог, шептал:

— Темница-то нетемная сильнее мертвой водицы, сильнее меня!

Кашлял, задыхался, бледнел до синевы. Но потом опять вставал, пил из корчаги, привязанной к ремню, розовел, наливался силой. Жив ему не мешал, хотя видел — доходит брат, совсем доходит, ему бы не над живыми людьми старшим быть, а над теньми. И сам как тень.

К пристаням — тем самым, на которые его привезли обритым, полуголым рабом-дикарем много лет назад, подошли развернутым строем, будто на свои причалы — смело, дерзко. И хоть не было мест свободных, приставали к бортам привязанных стругов, через них, как по плавучим мостам, бежали на берег, сшибая с ног, оглушая стражников, разоружая малые отряды, бросая перуны громовые в дозорные крепости.

Ворон бежал с мечом в руке одним из первых, не стыдясь седин своих.

— О-орра-аа!!! — клич боевой гремел над берегом.

Жив наказал еще с вечера без дела не сечь Кроновых людей, видно, уже своими их почитал. Но Ворон себя не сдерживал — и коли кто выставлял ему в грудь меч или копье, пощады не давал, рубил будто зверя дикого.

Все побережье взяли быстро, с ходу.

— Вот те и раз, — как в шутку пожаловался Жив Скилу, который не отставал от него, хранил княжича от недоброй руки, — не ожидал эдакого приема теплого!

Скил расхохотался. Он был весел чрезмерно. Уже предвкушал встречу сладкую с вдовушкой своей. И еще кое-что... злопамятен был Скил. Жив и это приметил, вздохнул, сказал прямо:

— Ой, злой ты, Сокол, будто и не рус ты!

Тот осклабился, обнажая в улыбке мелкие острые зубы, подтвердил на своем наречии родном, непривычном теперь в его устах:

— Ми таки луда, биды нэ прошем!

Жив покачал головой. Огляделся. А дружины боевые уже строились, ждали его слова. Промедление могло обернуться бедой. Откуда-то издали, с левого края берега, быстро шел к нему Дон — без шелома, в синем шелковом корзне на голое тело, весь в крови, разгоряченный и довольный. Жив его сразу остудил.

— Тебе, брат, море держать и берег хранить! — сказал, как приказал.

Дон опешил, замер на полушаге.

— А дворец Кронов? — вырвалось у него из рта. — Кто брать будет?!

— Треть людей возьмешь, своих, отборных мореходов... нет, четверть, — поправился Жив, — и на струги!

— Ой, брат, — рассердился Дон, — на горло наступаешь! Воли не даешь! Мне с папашей самому посчитаться надобно, а ты все руки-ноги вяжешь!

Жив не растерялся, выслушал спокойно. И ответил так же:

— Отца нет сейчас в палатах. На Донае он — войной на сестру нашу, на Рею пошел. Большим походом! Потому и мы здесь.

Дон осерчал совсем. Налился багрянцем, глаза из

орбит вылезли. Казалось, вот-вот набросится с кулаками. Но Жив стоял открыто, развернув плечи, не пряча глаз. Теперь он мог все говорить.

— Что ж ты раньше молчал! — Дон выхватил из тулы заплочной дротик каменный, ухватил обеими руками и переломил с треском. Зол был Дон, столько дней последних тешил себя, что идет в гости прямо к отцу-батюшке, что посчитается с ним за все. А тут такое дело!

— Ладно, — наконец проворчал он. — Иди! А мне и пятой части хватит, двух дружин. Не бойся, Жив, в спину тебе не ударят. Прикрою!

Выгружали все необходимое споро, но без суеты. И к горам далеким от берега, Олимпийским, шли не на рысях. Волокли за собой малые камнеметы, бадьи с горючей водой, бревна да брусья для лестниц приступных. Обозом и здесь верховодил Овил. Оправился он после боев на Скрытне, молодая женоушка ему раны подлечила. Понукал воев. Понукал дев и жен, молодых, зрелых — и они со Скрытня ушли, одна доля с мужами, куда денешься, раз такое дело. К штурму на ходу готовились. Недаром в учениях мучились по склонам острова, Жив подбирал горы похожие на здешние, чтоб привыкали, рассказывал, где какая опасность будет ждать. Много чего рассказывал. Но не все. Везде свои тайны есть, недаром кожи переворачивал в подземелье Диктейском.

Вот и теперь как-то получилось, что Ворон взял бразды правления над войском. Не заметили смельчаки отчаянные, куда их князь-княжич подевался, разгорячены были — все думы о крепости неприступной, об Олимпе! Волокли огромное бревно за собой, на скатах волокли. К бревну был тяжеленный бараний лоб приделан из бронзы литой. Но знали — ведь много среди них было княжичей, Кронидов, сотников опытных — что ворота Олимпийского терема Крона, никаким лбом не прошибешь!

— Врасплох бы брать, — кряхтел на ходу Хотт, вспоминал жену, детей, — а мы на копье премся! Где Жив, о чем думает он?!

А Жив с малым отрядом, со Скилом верным бежал окольными путями, за грядами горными и валунами,

дальним путем, Жив знал, что не одни ворота золотые, парадные ведут во дворец Крона. Главное, успеть раньше Ворона, хоть на полчаса... но раньше!

Крон с острой жалостью, кривя лицо морщинистое, поглядел на лежащего жеребца. Вороной умирал, уже судороги пробежали по его мощному, мускулистому телу. Не помочь животине ничем.

— Что ж ты, Черныш! Друг ты мой верный!

Сам вонзил меч под крутую скулу, в шею, где билась толстая жила главная. Ударил кровь ключом родниковым. Ничего, так будет лучше, без мучений уйдет из жизни. Бедный, бедный...

Крон резко развернулся.

Князь северян шел прямо на него. Белая кобылица стояла далеко, клонила голову, будто прощаясь с кем-то. Благородный! — подумал про себя Крон, усмехнулся. Отбросил помятый, искореженный шлем — теперь от него толку не было. Да, так голове вольнее, свежий ветерок обдувает голову. Вытащил последний нож. Метнул в Купа. Тот отбил нож мечом, играючись, на ходу. Меч тоже оставался последний, единственный. У первого клинок надвое разлетелся — булатный, харалужный клинок особойковки! — знать, удар был непростой. Ну да ничего, ему и одного хватит, чтобы справиться с этим мальчишкой. Крон откинул полу алого корзна, тряхнул седой головой — волосы разметались по плечам.

— Отступись! — крикнул, подходя на три шага Куп. — Иди назад! И мои вои не ступят дальше твоих веж!

Крон не ответил. Рассмеялся, сипло и надменно. Сейчас он убьет этого наглеца. И не будет жалеть о нем — нисколько! будто не руса, не человека убьет, а на охоте веселой зверя завалит дикого, вот так! о чем тут говорить! Поглядел на противника из-под седых бровей, грозно и покойно, без истовой ненависти, без злобы.

Куп тоже был простоволос, полусрубленная голова волчья болталась позади, на клоке шкуры. По лицу текла кровь со лба, из глубокого пореза. Но он не

смахивал ее, не замечал. В нем тоже не было злости. В нем было желание победить — ярое, непреодолимое желание, победить во что бы то ни стало! Сейчас Куп как никогда ощущал в себе присутствие Пресветлого и Гневного. А значит, никакая сила на свете не сможет его остановить.

И снова звон булата перекрыл гул тысяч голосов, крики поддержки и завывание разгулявшегося ветра. Сталь нашла на сталь. Ярость на ярость. Сила на силу. Вчера далеко после полудня их поединок остановили гроза и ливень, стеной обрушившийся на землю, на людей и коней, на терема и башни, на весь свет Божий. Шесть часов они бились, и не смогли одолеть друг друга. Ночь провели в шатрах, не уводя людей, не кончая тризны — рано! А поутру снова вышли на курган, к подножию его. Снова скрестили копья, а потом и мечи. Ночью Крон лежал обессиленный, не слушались его руки и ноги, спал плохо, пил снадобья и отвары особые — старость не радость. Другие в его годы лежали на полатях, коли живы оставались. Он же не знал усталости, не ведал покою. Даже в поход тяжкий вез за собой два десятка наложниц любимых. Только сейчас не до них было... он не имел права умереть на кургане своей родной дочери, умереть в самом начале Великого Похода.

И потому он бился. Неистово. И расчетливо. Вымеряя каждый удар, не давая гневу захлестнуть разум мутной волной. Рука его была крепче булата, тверже стали. Крон отбивал удар за ударом, увертывался, выскальзывал из-под меча Купова. Но сам наносил удары редко, выглядывал, высматривал слабое место, чтобы ударить один только раз — наверняка, смертным боем. Пред ним был боец, не имевший слабых мест, не человек, но неведомое существо, не знающее усталости и слабости. На многих искусных мечниках оттачивал свое мастерство Великий князь, всегда стремясь вверх, превосходя их, учась у них... но такого по сию пору не встречал. Временами ему казалось, будто явился к нему отмстить за все преступления бессмертный — ибо мертв по сути своей — навь из черного вырия. Крон гнал прочь

страшные мысли. Ему нужна была вера только в свои силы, в свою победу. Малейшее сомнение — и неминуемая смерть. Крон не сомневался.

Когда они изнемогали до предела, то валялись друг на друга — и тут же отпихивались, расходились на десяток-другой шагов и падали наземь, не щадя и без того изодранных и мокрых от пота и крови одеж. Крон лежал на сырой бурой земле, уткнувшись в нее щекой и ухом. И не понимал уже — то ли это его сердце бьется так, что вся земля под ним содрогается, то ли Купово, то ли дочь сожженная стучит ему изнизу, не достучится. Он впитывал в себя силу и волю из сырой земли, из этой огромной могилы, где лежал пепел от его плоти. Он вбирал в себя мощь тысяч русов, ушедших в землю. И тогда он вставал, шел на супротивника своего. И все начиналось сначала.

И не было конца поединку.

Гулев метался в горячке семь дней. На восьмой пришел в себя. И сразу приказал позвать к нему пленницу. Послал и в каменоломни за ее спутниками. Слаб он был, в голове гудело, черные мурашки мельтешили перед глазами. Хотелось откинуться на спину, замереть, забыть про все заботы-хлопоты. Но нельзя, никак нельзя — смерть могла придти во сне. И тогда воля Рода останется неисполненной. А воля была простой... пришел срок. Пора!

На этот раз двоих княжичей и сотника посадили на лавку у стены, поднесли меда горького, хмельного, уважили. Тут же сбили оковы, принесли в тазах воды умыться.

Талан зеленоглазый разминал затекшие руки. Ничего не понимал пока. То бьют до полусмерти, то крутятся вокруг бесами.

— Медведь, небось, в лесу сдох, — выговорил он старой приговоркой. Мало кто понимал смысл ее, дело было не в медведе, а в той ипостаси Велеса, что время от времени обновлялась, меняя с собой и мир земной.

— Сейчас вот напоят, накормят... да и прирежут! — заключил по-своему Стимир. После всего слу-

чившегося он не верил больше в добрые намерения здешних обитателей.

Хис промолчал. Не дубасят по голове, не ломают ребра — и то ладно. Сидел вальяжно, гостем сидел.

Разговоров с ними не разговаривали. Старейшина лежал чуть живой на широченной лавке, устланной ворохом шкур, стонал. Даже от стены было видно, что ему совсем плохо.

Яру привели позже. Ее переодевали, мыли, натирали благовониями, расчесывали. И потому, когда вошла она в палаты, будто солнышком их осветило — княжна вошла, не бродяжка, не гостья незваная, а самая что ни на есть княжна родовая.

— Подойди ко мне, дочка, — тихо попросил Гулев. Голос его был нежен, ласков.

Яра покорно подошла. Повинуясь движению руки старейшины, присела на лавку возле ног. Склонила голову. Не было у нее злости на болящего, не осталось и гнева. Жалко было несчастного старика. А все, что случилось за дни минувшие, вспоминалось далеким сном.

— Не поверил тебе, дочка, — пожаловался Гулев скорбно, — вот боги меня и наказали. — Помолчал, тяжело дыша, покрываясь испариной. И спросил: — Стало быть, ты и впрямь Кронова рода?!

Яра кивнула.

— Это хорошо, — Гулев вздохнул облегченно, — значит, Род тебя к нам неспроста прислал. Боги ничего просто так не делают, это понимать надо...

Дощатая дверь за лавкой отворилась. И в палаты бесшумно вошли два седых волхва, будто два брата. Встали подле Яры. Один возложил ей на голову сухую невесомую ладонь.

Яра ощутила, как потекло по всему телу тепло. Стало ей до того легко, покойно и безмятежно, что, казалось, взмахни руками сейчас — и взлетит подобно птице белокрылой, воспарит над суетой и тлением.

— Правду говорит, — подтвердил кудесник, — только не любима она отцу родному. Котора меж ними черная. Больше ничего не вижу. Верь тому, что сама скажет — язык ее не знает лжи.

Волхв убрал руку. Но тепло не ушло из тела. Яра поглядела прямо в воспаленные, красные глаза Гулева. И тот сам понял, не солжет. Как он сразу этого не понял, еще тогда! Все гордыня! Поверил бы, не лежал бы сейчас немощным! Знать, есть у нее заступники.

Волхвы степенно и так же бесшумно отошли, уселись на скамью у стены, напротив гостей-пленников. Яра хотела встать, пойти к братьям. Но Гулев остановил ее жестом. И тут же повернул голову к такому же длинноусому мужу, но пониже, поплотнее и помоложе — тот стоял по левую руку от лавки, ждал своего часа.

— Что там доносят с востока? — спросил старейшина.

Муж разгладил усы, поглядел вверх, на дощатые своды, будто думая, стоит ли беспокоить болящего нехорошими известиями. Но потом все же изрек:

— Крон пошел на Донай, завяз там. А сын его опальный, коли не самозванец это...

— Нам нет дела, пусть хоть самозванец! — нервно вставил Гулев.

—...а самозванец высадился под Олимпом. Видать, врасплох решил взять стольный град Руси. Больше пока ничего неизвестно нам.

— Жив! — вскрикнул Яра. — Значит, он жив!

— Жив-живехонек, — подтвердил муж, — заговоренный, видать.

— Господи, ты услышал молитвы мои! Мать Пресвятая Лада! — зачастила Яра, ни на кого не обращая внимания. Она по-своему восприняла весть, и большего ей не надо было. Жив любимый! А значит, он ее найдет, вызволит... нет! она сама пойдет к нему. Сама!

— Жив, — проворчал со своего места рыжебородый Талан, — покуда башку ему не снесли — больно прыткий!

Стимир одернул его за рукав, нечего свои, семейные распри выносить на люди. Но никто словам княжича не придал большого значения. Главное было в другом, на большой земле опять неспокойно, опять рать на рать идет, это означает...

— Время пришло наше! — изрек наконец Гулев. Приподнялся повыше. — Домой пойдем!

И так буднично эти слова прозвучали, что никто из его соплеменников в палатах не удивился, не обрадовался — может, просто держали себя в руках. Лишь Стимир встал, подошел ближе и с поклоном спросил:

— Поведай, старейшина, где мы сейчас? Как вынесла нас буря на берег твой, с той поры в неведении пребываем. Раз узрел в нас друзей — скажи!

Гулев переглянулся с советником. Таиться больше нужды не было.

— За Яровыми столпами мы. Шесть дней ходу до них...

— Где?! — не поверил свои ушам Талан, вскочил со скамьи.

— Вынесло вас бурей в океан, — пояснил муж усатый, — скажите Роду спасибо, что прибил к берегу. И Старый бог вам внуками помог. С того света вернулись вы, гостюшки дорогие!

Яра ничего не слышала. Какая разница, где она сейчас! Главное, где она будет через день, через неделю, через месяц.

— Идти пеше будем, — будто читая ее мысли, вынес решение Гулев, — до Столпов. Там на плотках к Иверийскому берегу переберемся, к большой земле. Хоривы и скилы нас не тронут, союз у нас с братьями, может, молодежь их с нами пойдет, засиделись по скалам, всех кормить тяжело. По суше пойдем, вдоль берега моря, чрез Яридон малый срежем путь, еще — чрез Волканы, так напрямую к Олимпу и выберемся. Не миновать нам его... Но коли Крон устоит на престоле, быть нам битыми смертным боем. Пойдем ли?!

— Пойдем!!! — выкрикнула Яра. Опустилась на колени пред лежащим, припала устами к руке холодной.

— Надо идти, — спокойно рассудил муж-советник, — другого раза не будет. Идти... или отказаться навек от Семиречья нашего.

— Решено, — Гулев говорил совсем тихо, силы

покидали его. — А ты, — он поглядел на Яру, — а ты, дочка, знаменем нашим будешь. Впереди рода пойдешь. Неспроста, видно, тебя прибило к нам. Неспроста!

Куп увернулся от прямого удара сверху, но не устоял на ногах, упал на сырую землю. Быть бы ему убиту. Да только Великий князь и сам терял силы, не рассчитал удара, рухнул рядом, в шаг с небольшим. Подняться не смогли: ни один, ни другой. Лежали как мертвые, не шевелясь. Уже побежали к ним гридни с водой, уксусом, снадобьями, уже загудел неистово и тревожно люд неисчислимый, уставший до предела от тягостного ожидания, уже послал Зарок гонцов к запасным полкам засадным — мало ли что... когда начали подниматься поединщики.

Ничего не видел Куп округ себя — только черные круги расплывались пред глазами, один чернее другого. Не понимал, где он — на земле еще, в мире Яви или за смертной чертой, в царствии зловещей Мары. Но вставал, ноги сами подымали его, хоть и не быют лежачего, а все одно погибель!

Третий день бился он с Кроном. И третий день не мог осилить его. Шесть шкур волчьих сменил, семь мечей. Только сердца загнанного не сменишь, и легких измученных, и рук, свинцом налитых. Все-му предел есть, даже ему — неумному, всесильному, из одних жил скрученному. Даже покровителю его, самому Кополо Неистовому! Нашла коса на камень. Знать, и у великого князя на Небесах и в мире Покровитель есть! Порой думалось Купу: пусть меч пронзит его грудь, продырявит сердце ретивое, лишь хоть какой-то конец был бы — нельзя биться вечность. А эти три дня превратились для него в вечность неизбежную, невыносимую, жуткую. Пора было кончать... Куп вскинул руки и с занесенным мечом бросился на встающего Крона.

Тот успел поднять свой клинок, отбил удар. И снова оба повалились, не было мочи стоять на ногах. Вчера под вечер, когда начало смеркаться, их растащили силком, унесли в шатры. Крон бился в бреду всю ночь. Но наутро встал с решимостью или

победить, или умереть сегодня. Но решимость нашла на решимость. И воля на волю.

— Давно пора разнять безумцев, мать их! — шептал Овлур, не страшась изреченной на князей хулы. — Связать, коли понадобится!

Зарок обрывал его:

— Молчи! То не наше дело!

Второй день, как иссякли меды пенные, брага и вина. Вои всех ратей начинали приходить в себя, трезветь. Они видели, что тризна становится странной, тягостной, зловещей — такого не должно было быть по ряду Русскому. Но пресечь поединок князей никто не имел права. К кургану покойной Реи подтягивались и те, кто не гулял на веселых поминках, большие рати, со всех сторон. Воинство пребывало в недоумении, многие начинали роптать. И хотя самые рассудительные говорили: «Радуйтесь, что не мы бьемся и мрем на поле, а за нас бьются, спасая нас!», другие не понимали этого боя. Три дня! Три долгих, бесконечных дня!

Крон глядел на свет одним глазом, второй запыл под огромным синяком. Волосы были черны от спекшейся крови, лицо иссечено. Восемь пар поручей и поножей изуродовал и измял меч противника, два панциря дорогих, стоящих не меньше четырех стругов каждый, разбиты, на руках и ногах нет живого места, уже и зелья обезболивающие не помогают — зудит, режет, горит, колет, ноет по всему телу. А тело то будто чужое, одна боль своя. Крон до скрежета, до скрипа сжимал зубы. И вставал. Каждый раз, как в последний... Но он видел, что и северный князь еле держится. Мальчишка! Весь залит кровью, изрезан, руки и грудь — сплошной синяк, лицо — багровая маска, одни глаза высвечивают мутно — что он ими видит?! Крон снова вставал. И знал, пока рука держит меч, он будет вставать, будет бить! здесь, на могиле своей любимой дочери он не станет молить о пощаде, сдаваться. Он здесь убьет врага. Или умрет сам!

И опять оба упали. И оба не удержались на склоне, покатались вниз, все больше отдаляясь друг от друга, цепляясь пальцами и рукоятями мечей за землю. Замерли. Поникли, набираясь сил. И оба услы-

шали вдруг нарастающий гул, усиливающийся рев. Тысячи луженых глоток орали во всю мощь богатырских легких, орали, словно шли в бой. Но ни Куп, ни Крон, лежащие почти без чувств ничего не могли понять, не могли приподнять голов. Они лишь слышали стук копыт, сотрясающих землю. Тяжкую и уверенную поступь.

— А это кто еще?! — в изумлении выдавил из себя Зарок.

Огромный воин в простых кожаных доспехах, простоволосый, с одним мечом на поясе, статный и величавый, сидя на могучем буланом коне, что полужел-полужелетел гарцующим легким ходом, взбирался на курган. Всего несколько мгновений назад он вырвался из темей, окружавших холм, и никто почему-то не посмел остановить его.

Овлур держал руку на сердце, боялся, что оно выпрыгнет из груди. Господи, не может быть! Провидец Юр! Провидица матушка Рея! Нет, нет, не может быть!

— Надо бы воев послать, отборных, Люта с Пинегой! — предложил Зарок. Хотя уже сам понимал, что никого он не пошлет, что это... нет, рано еще, рано!

На вершине кургана воин спешил, встал на колени перед мечом Яра, припал к нему губами. Потом склонился, касаясь челом земли, пред домовиной на деревянных ногах. Все видели, как он стал рыть яму, как снял что-то с шеи, поцеловал и положил в нее, потом присыпал землей. Лег плашмя, прижимаясь всем телом к холму, сливаясь с ним. Потом встал — резко, быстро взлетел на спину коня. Огляделся.

Рев и крики стихли. Теперь наоборот, все замерли, затаив дыхание. Словно бог Агни*, тихий пос-

* Агни — не только божество огня у русов (в т. ч. и у русов-индоариев), но и понятие, обозначающее среднее состояние между материальным и нематериальным мирами. Ипостась Агни — Ангирас — посредник меж смертными и бессмертными. Его тени-ипостаси, полубожества Ангирасы, вестники богов, являющиеся с их велениями к людям, позже послужили прототипами «ангелов». Само слово «ангел» лингвистически исходит из русского «ангирас».



редник меж людьми и богами, вестник их, пролетел над землей. В этой тиши оба князя-поединщика поднялись и пошли вверх, на незнакомца. Но, не дойдя до вершины холма, обессилев, рухнули, снова застыли на сырой тяжелой земле.

— Когда придет он — сразу узнаете, — отрешенно прошептал Овлур.

Зарок нахохлился, вдавил голову в плечи.

А со стороны Кронова войска мчались на вершину холма, к незнакомцу шестеро дружинников, закованных в добрые брони, мчались лихо, грозно, не оставляя сомнений в своих намерениях. За двадцать шагов до него все шестеро обнажили мечи, сверкнула острая сталь.

Овлур дернулся вперед, на помощь. Но не успел. Все произошло столь быстро, что конь его замер, как вкопанный. Величавый воин ринулся на дружинников соколом с кручи. Две первые головы бесшабашные высоко взлетели вверх, но не успели они упасть, покатиться по склону, как с оставшимися четверыми всадниками было покончено. Испуганные, дико ржущие кони, сбросив мертвые тела, повернули вспять. Такого никто еще не видывал. Гул изумления пронесся округ холма.

Овлур поднял плетъ скрученную. И сзади подъехали четверо воевод подвластных ему, склонили головы.

— То наш князь, — приказал Овлур, — нам его и защищать, ясно!

— Ясно, батько, — ответили все четверо. Понесли весть дальше, сотникам.

А от рати княжества Реиного выехали вперед первые три десятка, сдерживая коней, неспешно пошли к подножию холма. Спешить никак нельзя было, спешка могла сечей обернуться.

— Ну, братья! — прогремело с вершины кургана, будто сам Род сошел с небес и возвестил о своем приходе, — кто еще желает потягаться с Князем великим?!

Крон, обезумевший от эдакой неслыханной наглости, вскочил на ноги, снова бросился вверх. Но его опередили. Теперь уже четыре десятка дружинников

во главе с чернобородым Кеем поскакали к кургану. Это были не люди, не вон. Это была смертная лавина.

Крон, чувствуя, что слабеют ноги, оперся на меч. Он желал видеть, как расправятся с дерзким всадником. И еще... он хотел убедиться, не сон ли это, не наваждение ли?! Порожденный тобою погубит тебя! Нет, только не это, только не сейчас!

— Вперед, братья! — крикнул Овлур, вздымая меч. Но опять опоздал.

Незнакомец, назвавшийся Великим князем, достал на глазах у всех из заспинной тулы дротик, большой, грубый. Склонился над ним, что-то ударяя обо что-то, выпрямился. И швырнул дымящийся дротик в несущихся снизу всадников. Полыхнуло огнем. Громыкнуло так, что уши у многих заложило... Тысячи голов невольно задрались к небу, на котором безмятежно висело ярое солнышко-Хоро. Пыль взвилась клубами, полетели вверх и в стороны руки, ноги оторванные, мечи, копыя, шеломы, конские морды. Посбрасывали с себя уцелевших лошади, непривычные к такому, кинулись опрометью назад. Лишь трое доскакали до вершины.

— Приход его будет грому подобен и молниям в чистом небе, — проревел во весь дух Зарок, — грому! и молниям! За мной, братья!

Он ринулся вслед за Овлуром, за тремя первыми десятками. И за ним пошло все воинство Великого княжества Юрова, растягиваясь кольцом у подножия кургана, преграждая путь наверх.

Впереди троих уцелевших вздымался к вершине чернобородый Кей. Пришел его час, время мести за унижения, за поражения и побои, принятые от щенка дикого, от горяка Зивы. Кей не признавал дикаря за княжича. Не желал признавать.

— Убей его! — орал снизу, со склона Крон. — Убей!

Чернобородый налетел вихрем. Не стал поджидать братьев своих, с мечом ринулся на Жива. Гнев его не имел границ.

— Умри... — он не успел договорить, докричать.

Так и ушел в вырий с разинутой в яростном крике

пастью, разрубленный на две половины молниеносным ударом.

Сейчас у Жива не было времени и желания для долгого боя. На него смотрели десятки, сотни тысяч глаз. И они не должны были видеть князя слабым.

Братьев Кеевых постигла не менее печальная участь. Но они умерли так же достойно, не отступив, не свернув с пути истинного воина. Жив пожалел их мимоходом, проводил взглядом катящиеся по склону головы — русские головы, буйные, слишком буйные и потому не удержавшиеся на плечах.

— Кто еще усомнился, братья?! — взревел он. — Кто Князю своему почести не дарами, но мечом воздать алчет?! Я жду!!!

Он кричал. Но уже сам понимал — напрасно. Ряд к ряду, кольцо к кольцу окружали курган снизу и по склонам несчетные десятки, сотни, тысячи, тьмы. И не только подвластные Зароку и Овлуру. Выходили вои, отряды целые из Куповых ратей и Кроновых. Шли к сильному, шли к правому. Ибо его все узнали сразу. Ибо явление его было грому подобно!

Никого не привел с собой на Донай Жив. Один пришел, овладев Олимпом и отдав его во временное владение брату Дону и брату Айду. Знал, что не силой власть должен взять. Не силой. А по праву!

А Куп-Кополо, израненный, избитый, еле держащийся на ногах, неузнаваемый и страшный, поднимался к нему. И пред ним расступались вои, раздвигались цепи. Ибо князь шел.

Жив спешил, едва узрев дядю родного, сам пошел навстречу. Но вдруг замер, застыл, нельзя выказывать чувств своих на виду у всех, не княжич ныне, не воин-бунтарь... И Куп замер напротив, ниже, десяти шагов не дойдя.

Все узнают его! Куп встряхнул головой. Права была племянница, сто раз права! Только сейчас он ощутил всю тяжесть вины перед ней. Гордыня! Она, проклятая! Что ж, пришло время смирять гордыню свою. Он сделал первый шаг, второй, третий... Остановившись совсем рядом, ожег племянника взглядом светло-голубых, прояснившихся вдруг глаз — как на

стену каменную наткнулся тот, опустил уже распахнутые в объятии руки. Недоумение застыло на лице у Жива. Все окружение тысячное замерло, не дыша, ожидая, что будет — такие встречи не часто случаются, раз за жизнь, а то и за две, за три. От таких встреч многое зависит — мир ли будет, война ли, жизнь ли, смерть.

Куп пристально оглядел племянника. Впервые видел. Заглянул глубоко в глаза. Не разглядел в них ни лжи, ни подлости, ни хитрости, ни коварства. Стало быть, это воля богов, воля Рода Всемогущего, воля самого Кополо. Значит, так тому и быть.

Он набрал побольше воздуха в грудь. И выкрикнул громко, чтобы все слышали:

— Сбылось предсказание Праведного Юра! Пришел к нам тот, кого ждали мы, князь над всеми землями Русскими! Пусть слышит каждый — таково завещание Великого князя Юра! Такова воля Великой княгини Реи! Такова воля дочери ее и тоже Великой княгини! Такова воля богов наших, а значит, и предков наших, всего рода Русского! И я, несущий бремя власти по Северу Русскому, я, Куп, князь русов, и воплощение Пресветлого Кополы в мире Яви... — он помедлил немного, но договорил твердо, бесповоротно, — признаю над собой престол Жива и становлюсь под длань его Великокняжескую. Отныне он отец мне, а я ему — сын!

Куп опустил на одно колено пред Живом, склонил голову.

Простоял он так недолго. Жив, ухватив его за плечи, поднял, прижал к груди, расцеловал. Это было победой. Теперь никто не сможет сладить с ними, никто!

— Спасибо, дядя, — прошептал он на ухо истерзанному, израненному Купу, — ты выиграл в этом поединке! Храни тебя Род! Отныне быть тебе вольным наместником над твоими прежними землями и над Юровыми владениями, князем. Вместе крепить Русь будем!

Жив хотел еще что-то сказать. Но не успел. Снизу донесся шум, крики, ругать, чей-то неузнаваемый хрип. Кольцо воев и воевод, охранявших его на вер-

шине кургана, разорвалось — и в круг вступил пошатывающийся, измученный и бледный как мертвец Крон. Ему не смели преградить дороги. Он шел к собственному сыну. И он был еще Великим князем.

— Ты... ты... — Крон задыхался от ярости. — Предатель! Самозванец! Отцеубийца...

— Нет! — Жив раскатистым басом заглушил отцовский голос. — Не предатель я. Ибо предают своих, а ты мне своим не был, ты отрекся от меня, ты жаждал смерти моей! Ты убил мать! Ее пепел теперь навсегда в земле этой, рядом с пеплом ее дочери! Она вернулась на родину! Знай, что это ты предал меня, предал ее, невинную, оговоренную! И не самозванец я, ибо не лишаю тебя власти, ибо сын твой законорожденный, наследник! И остаюсь таковым до смерти твоей...

Крон взревел диким зверем, с хрипом, сипом, нечеловечески.

— Не бывать тому!!!

Измощенный, падающий, но преисполненный черной ярью бросился он на Жива с мечом в дрожащей руке. Тот перехватил руку, обнял отца, прижал к себе. Меч упал на землю.

— Коня Великому князю! — приказал Жив.

Крон, потерявший сознание, начал оседать вниз. Но Жив удержал его, поднял на руки. Он не узнавал отца — старец, седой как лунь старец, высохший, окровавленный, с ликом мертвеца. Старец, так и не обретший в своей жизни покоя. И это был его отец.

— Коня!

Он усадил Крона на круп смирной гнедой лошади, не унижая его и в поражении носилками, годными только для жен. Строго глянул на двух воев ближних. Те поняли, им сопровождать князя до шатра, им отвечать за жизнь Кронову. Меч отцовский Жив поднял, положил на колено, под руку. Рука сама сжала рукоять, Крон приходил в себя, но пока ничего не видел, не понимал, багряное марево плыло перед глазами. Коня увели. Кольцо вновь сомкнулось. Жив до боли стиснул зубы. Еще раз, но уже не вслух, а про себя, мысленно, сказал: «нет, я не

предатель! не предатель!» Боль снова сдавила сердце. Бедная сестра! Бедная Рая! Она не дождалась его! И они даже не повидали друг друга... Судьба! Она там, внизу, под сырой землей. И в вырии чистом, рядом с дедом, Праведным Юром. А он здесь... И у него еще есть дела земные.

Жив вскочил на своего могучего коня, тот дернул шеей, забил длинным черным хвостом, но почуяв силу седока, его беспредельную власть над собою, смирился, замер.

Свысока озирает Жив несметные рати, простиравшиеся под курганом насколько хватало глаз. Он смотрел на них — на сотни тысяч воев, закованных в брони, медные, кожаные, стальные, на эту собранную со всего белого света силу рода человеческого. А они глядели на него, на первого среди них, на князя Руси Великой, глядели и ждали его слова.

Дон быстрым шагом взбежал по лестнице, остановился у ворот, будто припоминая что-то давнее, коснулся пальцами лба... да, все так и было, много лет назад — он бежал на встречу с отцом, а позади не отставал и все время смеялся кучерявый как горяк Ябед. Ничего не изменилось... Только ворота стали крепче, мощнее только выросли новые стены, двойные, и плита под ногами стала мраморной. Дворец Крона! Сколько хожено по нему, сколько дум думано было. Наследник! Еще мальчишкой, юнцом он представлял себя, сидящим на престоле, окруженным мудрыми советниками и стражами, повелевающим полумиром. Мечты! Грезы! Не тронный зал ждал его, но темница, поруб, десятилетия неволи! Страшный сон. Может, это все было не с ним?

Дон шагнул внутрь. В углу, возле дубовой колонны служанки замывали кровь... Совсем недавно тут звучали крики, стоны, смертный сип. Бой был недолгим, Дон знал, как все произошло. И теперь не жалел, что сам не бился здесь, не брал приступом Олимпа. Невелика честь — взять город на копье, когда хозяина в нем нет! Главная битва впереди! А тут... мирный город, тишина да покой, ни единой бреши в стене, ни одной сожженной башни. Батюш-

ка оставил на весь град престольный восемь сотен воев — и помыслить не мог, что во всей вселенной у кого-нибудь хватит дерзости подступиться к Олимпу, к столице Руси! А брат Жив с горсткой отчаянных храбрецов прошел тайным ходом, что предназначен был для Великого князя, о коем и знать никто не знал и ведать не ведал, прошел, пробрался в самые палаты нижние, порубил стражу, перекрыл ходы-выходы, вышел к воротам внутренним, с боем отворил их, пробился к внешним, девятнадцать воев потерял, но и их распахнул прямо пред ратью штурмовой, что вел одноглазый Ворон.

Олимп пал за час с малым. Защитники его бились храбро, не сдавались, почти половина полегла возле стен да по улочкам узким, другая забилась в башни внутреннего детинца-крепости, там и сидела. Жив, уходя на север, приказал не трогать уцелевших без нужды — одумаются, разберутся, сами выйдут. Дон был непротив, он не держал зла на воев, на сотников Кроновых.

Возле порога отцовского терема белокаменного Дон увидел Промысла. Ухватил его за локоть. Тот дернулся, но руку вырвать не посмел, уставился вопрошающе в глаза.

— Где Ябед? — спросил Дон, сдерживая себя. — Где папаша твой?!

Промысл мотнул головой, подумал, потом ответил:

— С твоим отцом, с Кроном, на Донае, где ж ему быть!

— А не врешь? Небось, заходил уже в дом родительский?

— Нет у меня родителя, — раздраженно выкрикнул Промысл и вырвал-таки руку из стальной клешни Дона, — развела нас жизнь по разные стороны, что пристаешь все время?!

Дон ткнул парня кулаком в грудь, чуть ребра не проломил — чтоб уважал старших, чтоб не грубил. Но не дал упасть, ухватил за прорезь кожаного панциря, дернул на себя.

— Похож, ой, похож! — прохрипел как-то двусмысленно. — Ладно, иди. И не обижайся, на тебя зла не держу!

Новые стражники и охранители почтительно распахивали перед Кронидом двери. Дон на ходу оглядывал дорогое убранство покоев, утварь красную, резьбу по древу искусную — и невольно думал, что все это могло сгореть в огне пожарища, будь приступ иным, пусти они в ход горючую воду. И еще кое о чем думал: недолго торжествовать им! вот прознает отец, Великий князь про дерзость сию, повернет полки несметные вспять — ничто им не поможет, сметет с лица земли, аки ураган сметает листву опавшую. Вот когда битва будет!

Вбежал в тронный зал. И обомлел...

Айд-Полута сидел в невысоком и простеньком на вид черном кресле без подлокотников. Сидел бледный, высохший и страшный, с безумными пустыми глазами, устремленными в дубовый резной потолок.

— Ты чего это... — у Дона от неожиданности голос сел.

Айд не расслышал. Казалось, только тело его здесь, в мире тлена пребывает, а дух витает совсем в иных местах. Немошен и слаб был брат младший, никто не берег его покоя, но и не ограждал в действиях — прямой потомок Кронов в поколениях, сам Кронид — сдернуть его за руку с трона малого, обыденного, ничего не стоило, дунь, и он сам слетит, бессильный, тени подобный... но брат родной! Дон растерялся.

Медленно подошел вплотную. Подождал, пока Айд его заметит.

Тот, увидав наконец старшего брата, вздрогнул, сгорбился, отвел взгляд. Но встал не сразу, помня о звании своем и роде. Пояснил тихо:

— Задумался вот... пригрезилось мне...

— Знаю я, что тебе пригрезилось! — оборвал его Дон. — Рано задумался!

Айд отошел к окну, выглянул в него. Далеко виделось из Кроновых палат, склон горный бежал вниз, в долину, сливался в низине с зеленым долом, уходил к берегу моря и уже морем снова вздымался вверх, к раздвинувшемуся, высокому окоему. Олимп!

Когда он обернулся, старший брат сидел на черном дереве, прижимал полуседой затылок к высокой резной спинке. Айд чуть заметно и горько улыбнул-

ся. Каждый грезит о власти. Но не каждому под силу ее бремя.

— Я пойду! — крикнул он, чувствуя, что ноги начинают дрожать и в глазах смеркается.

Дон не ответил. Теперь он пустыми глазами пронизывал пространство. Не видел внешнего. Но видел иное — тысячи, сотни тысяч, тьмы русов и еще тьмы народов иных, диких и полудиких, по всем бескрайним, необъятным землям, в которых царят его мысли, его разум, его воля. Нет, ничего он не понимал тогда, мальчишкой... власть это не право приказывать всем и всему, вершить судьбы чужие, сдвигать с места рати несметные и горы, казнить и миловать, созидать дворцы свои и разрушать дворцы врагов... Нет, власть — это совсем иное. Власть — это страх, постоянный страх пред окружающими тебя, пред воеводами, боярами, советниками, готовящими тебе погибель и жаждущими сместить тебя, пред женами и наложницами твоими, берегущими для тебя кинжал или бокал с ядом, пред... детьми твоими — что ждут смерти твоей, что грезят о престоле! Сейчас, ничего не видя вокруг, не обладая еще властью, а только прикоснувшись к ее следу на этих плитах под ногами, на ступенях, на этом черном и невзрачном на вид стуле-кресле, он начал понимать ненавистного отца, Великого князя — нет, он не убьет его, не за что убивать, нет права убивать сидящего на престоле и хранящего себя и свой престол. Нет! Но он отомстит ему все же, отомстит страшно, праведно — он сгноит его в темнице! и пусть от нетемного поруба не осталось ни следа! есть другие, еще безысходнее! Он будет держать его столько же, сколько сидел сам — это станет лучшей мезтью, справедливой и честной. Ну, а коли Род не отпустит батюшке столько лет жизни, значит, так тому и быть!

— Прочь!

С глухим рыком Дон сполз с трона на плиты. Ударил кулаком по жесткому сиденью, отшиб руку. Вскочил на ноги.

— Прочь отсюда!

Ноги сами понесли его из зала. Страшное место! Не Правь здесь владычествует, а Навь, черные грезы

не этого мира тут властвуют над смертным, ведя его неудержимо к проклятию, в обитель Мары, в нечистый черный вырий. Прочь!

Овлур с Зароком проводили Жива в теремные покои, показали горницу приемную, опочивальню. Долго стояли на вершине башни, той самой, дозорной, с которой черной птицей взметнулась в последний полет сестрица старшая. Жив глядел вниз, в темную землю — и его тоже манило к ней необъяснимой притягательной силой: одно легкое движение — и все, никаких тревог и забот, никаких волнений и горестей. Но не от них бежала Рея, нет. Жизнью своей остановила она братоубийство, сберегла жизни тысяч русов. Такое не по плечу смертному, это удел богов и богинь.

— Память ее светлую будем хранить, — заверил Овлур, смахнул слезу со щеки — знал, не должно печалиться, только душе разве прикажешь.

А Зарок все же спросил, давно хотел спросить, все удерживался, а тут, в самый неподходящий миг, не удержался:

— Неужто, княже, ты и впрямь один пришел? Не верится!

Жив мотнул головой куда-то вдаль, совсем не по-княжески, запросто, будто избавляясь заодно от дум горьких. Ответил странно, то ли шутил, то ли нет:

— Видишь вон лес дремучий? — Лесу тому не было ни конца ни края, мало кто заходил в него, шли больше реками, притоками. — За каждым деревом защитник и хранитель мой стоит, нет числа им. Видишь поле бескрайнее? Плечом к плечу мои вои, не счесть. А над лесом, над полем, над Донаем небо светлое — небесное воинство Святое! И все за меня, боярин. А ты говоришь один. Смотри зорче, и узришь невидимое глазу простому!

Зарок вздохнул тяжело нахмурился. Слишком мудрено говорит молодой князь, непонятно. Он бы сам, Зарок, хоть и сильный, непобедимый вой, а в одиночку б на эдакое никогда б не пошел.

Жив оглядывал владения свои. Одна земля. Один князь! Велики были владения, необъятны, красоты

неописуемые открывались ему с башни высокой, один Донай-великан чего стоит, исполин голубой! Но не было радости в сердце Жива. Непокойно билось оно. Добыл земли! Добыл власть! Добыл... это еще не значит, что удержал. Нет, не то! Все добыл — честь, славу, богатства. А любимую потерял! И хоть дев прекрасных среди русов несчетно, помани только — придут, зачаруют, заморозят, лишат лишней, тяжелой памяти... нет, не надо, дайте ту, единственную ладуну! Но ничего, теперь закрепить бы немного, престол удержать, а там и на розыски десятков стругов можно отправить.

Вниз спускался по крутой лестнице. Овлур с Зароком не поспевали. Пришлось ждать их в переходах у наружного гульбища.

— Ведите к Купу!

— Лучше бы его не беспокоить... — засомневался Овлур. Но перечить не стал, не выдержал тяжелого взгляда серых глаз.

Куп лежал, разметавшись, на широкой постели. Вздрагивал. Руки его то сжимались в кулаки, то разжимались. По изуродованному набрякшему лицу пробегали волнами судороги.

— Воюет все! — заметил Зарок. — И во сне воюет!

Жив присел на край постели, взял Купа за кисть, слегка сжал.

Тот очнулся сразу. Приподнял голову. И тут же облегченно откинул ее назад, улыбнулся, просипел одними губами:

— И все его сразу узнают.

— На этой постели умер праведный Юр, — шепнул на ухо Живу Овлур.

Жив поморщился, не к месту, не ко времени поминать такое. Кругом смерти. Не дай Бог, и Куп помрет.

— Спасибо тебе, дядя, — сказал он. Склонился над лежащим, поцеловал в щеку. Отринь его Куп вчера, на кургане, и неизвестно еще, как бы обернулось.

— Не нужны мне благодарности твои, — промолвил Куп, — волю отцову исполнял!

Отцову. Волю! У Жива перехватило дыхание. Добрые сыновья чтут отцов, волю их исполняют. А он?! На отца родного — плох он или хорош, все равно отец — поднял меч! против всех свычаев Русских пошел! за ряд стоял, а сам ряд и порушил!

— Вот за это и спасибо, — повторил Жив.

Он пришел сюда не просто провести болящего, израненного. Нет! Он должен был понять, почему Куп, этот могучий, искусный воин, пребывающий в расцвете сил, не смог одолеть старца. Да, Крон блестяще владеет всеми ведомыми и неведомыми приемами мечного боя. Да, воли ему не занимать... Но его годы! Они сам должны были обречь Великого князя на поражение в поединке — невозможно быть столь же выносливым, как в сорок — и в семьдесят семь! Невозможно! Тут что-то иное! Ибо недаром сказано, что Бог не в силе, но в Правде. Так неужто Правда, мать праведности и справедливости, на стороне отца-батюшки?! Всякая власть от Бога, а значит, от Рода и Пречистой Матери Лады, так говорили издревле. Всякая власть от рода, уходящего корнями в неведомое — от сонма предков-русичей. И если не от них, то это не власть... А что же?! Жив не знал ответа. Не власть, нечто иное... А еще это означает, что хоть и люто, свирепо было Кроново правление, хоть не несло оно в мир ряда — это как еще взглянуть, с чьей стороны! — все равно, власть его была священна и неприкасаема. Проклятье!

Жив крепче сжал запястье Купа.

— Поправляйся, — вымолвил тихо, — тогда и поговорим.

Встал, пошел к дверям. И услышал вслед:

— Не бойся, племянник. Я не всажу тебе нож в спину... Владей Державой!

Жив вздрогнул, напрягся. Но не обернулся.

Сегодня ему нужно было провести еще одного человека. Пожалуй, самого близкого — хотя и болтали всякое, с каждым днем, с каждым часом Жив все меньше верил в болтовню. Нет, он не лишил отца власти, все слышали его слова: на престоле Великим князем остается Крон, до последнего дня своего. Он же сыном-наследником, правой рукой будет

при отце... Слышать-то слышали, да каждый понимал, что за словами этими таится, каждый. Но все равно — он не унизил Крона, не лишил его чести великокняжеской. Во всем властен отец... не властен лишь в его судьбе, не властен нести кару тем, кто признал власть Жива, не властен вернуть назад время... Избитый, изувеченный, иссеченный, лежит он сейчас в шатре походном. Не захотел принять приглашения, не лег в терем Юра и дочери своей Реи. Гордый! Как и прежде, всегда таким был. Никому не верил, кроме Соклепа*, врачавателя своего. Что ж, у каждого свои привычки.

— Куда пойти соизволишь? — спросил Овлур из-за спины, почувствовав нерешительность князя. — Отдохнуть бы пора!

Не успел он договорить, как распахнулась тяжеленная дубовая дверь из переходов теремных, в горницу ввалился дозорный, Жив его припомнил, на башне стоял.

— Недоброе! — выкрикнул он с порога, глядя на Овлура. — Крон полки свои уводит!

— Врешь! — прохрипел Зарок.

А Жив уже бежал наверх, туда, откуда спустился совсем недавно. Как же так?! Ведь все было тихо, покойно... Стрелой вырвался он из узилищ теремных на простор. Подбежал к перилам резным. Замер, окаменев.

Далеко внизу, у кромки леса, десятую ошетиенными копьями полками, настороженно и неспешно, уходили от Доная дружины Кроновы. Не меньше десяти тысяч воев покидало земли Юровы. И видно было — только тронь, только метни вослед стрелу, иглы острые ошетиенных «ежей» вонзятся в плоть людскую, прольются реки крови.

Жив в сердцах ударил кулаком по перилам проломил дубовый брус. Как же так?! Ведь вчера все

* Бог врачевания «древних греков» Асклепий появлением своим на свет обязан мифо- и лингвообразу русского периода в Средиземноморье. Лингвистически «Асклепий» = «Соклепу» и означает «со-биратель», «со-членитель», «восстановитель», т. е. врачеватель.

кричали славу ему! все обещали под рукой его быть, служить Державе верой и правдой! сотни тысяч рук вскидывали вверх мечи и копья! сотни тысяч глоток выкрикивали его имя... Все! Да, видно, не все! Были и такие, кто хранил верность Крону, таился. А нынче осмелели, собрались воедино. Биться им невмочь, только умереть если... Нет, нельзя губить своих, русов! Пусть уходят. Пусть! Жив, не отрываясь, глядел на уходящих, глазами, полными слез. Пусть! Все равно придут, вернуться... не все, но вернуться! некуда им деваться!

— Изменники! — процедил из-за плеча Зарок. Он только поднялся, грузен был, тяжел на подъем. — Изменникам смерть!

— Нет! — грозно осек его Жив. — Нет тут измены!

— Что ж это, — обомлел Зарок, — так и отпустим злодеев?!

Жив улыбнулся горько, поглядел на боярина.

— Не мы отпускаем, сами уходят, — проговорил вслух, но задумчиво, будто себя убеждал, — среди русов нет рабов... каждый волен в делах своих. Каждый.

Двенадцать дней добирался Драг до Олимпа с гор Волканских. Можно было бы и скорее, да с тремя подводами вскачь не поскачешь. Как слух прошел о новом Князе великом, так на рудниках перемены начались, наместника Кронова быстрехонько сменили — где он теперь? В горах, изъеденных норами ходов-переходов, косточек его вовек не найти. Урядники новую власть признали, но работу не остановили и поблажек работному люду не дали, попробуй дай только, потом ни за что промысел не восстановишь. А Драг, по прозванию Волкан, с другими ковалями посовещался, у волхвов совета спросил, урядникам поклонился, те не посмели отказать, да и как откажешь, когда вызывается лучший коваль дары свои самому Великому князю везти! Наоборот, чем могли помогли. И отправился Драг-Волкан с подводами да охраной из восьми мечей в дальний путь. Вез булат наилучший, какого еще нигде в мире знать

не знали и видеть не видели. Дважды за дорогу отбивали разбойничков лихих. Лесную братию не щадили, чего их щадить — распустились, как Крон в поход ушел, баловаться по дорогам начали. Да еще и не русы, дикие какие-то, с лбами низкими, челюстями, вперед выступающими, с глазенками маленькими, острыми. Злые были, по всему видно, к работе не привычные, с наскоку брать добычу привыкли... Только тут у них ничего не вышло. С палицами дубовыми да каменными, с палками медными, которые от удара гнутся, и против мечей харалужных, против бойцов отменных? Хотели числом взять, орду целую нагнали, видно, весь род разбойничий — Драг увидал, что на восьмерых мечников многовато, сам взял из-под дерюги два меча побольше, пошел разбираться — десятка полтора чужаков низколобых у дороги лежать оставил, чтоб неповадно было — соплеменники их пусть поглядят, может, ума-разума наберутся, пойдут хлеба сеять или зверя бить, все целее будут.

Старший мечник, седобородый Шесток сказал напрямую:

— Совсем распустил старый князюшка горяков! — выругался в сердцах. — Служилых людей по всему свету разогнал. А эта нечисть под самым Олимпом балует!

Драг его поправил:

— Не горяки то. Горяки смирные, а эти пришлые людишки, худые, таких обратно гнать надо, не пускать, покуда человеками не станут из зверей!

— Вот и я о том, — согласился, поняв по-своему, Шесток, воин мудрый и тертый, — свято место пусто не бывает, коли ушли наши, коли услали их далече, значит, всякие и придут на родные нивы. Скоро по дому своему с мечом ходить придется.

Больше их до самого града стольного никто не трогал. Только заставы проверяли. Но заставы и при Кроне странствующих и путешествующих не обижали, порядок блюли.

Ехали тихо, красотам дивились. Чудна ими и богата Русская сторона: и зеленью пышной, и полями просторными, и склонами крутыми, и небесами

синими. Приволье дивное! Ехать бы вот так всю жизнь и любоваться!

Добрались затемно. В гору подымались еле-еле, кони хорошие, сытые, сильные, но и груз немалый, железо. У ворот крепких простояли долго, поняли, что на ночь глядя приезжать в столицу не следует. Но потом стражи впустили подводы, оглядели придирчиво. Командовал стражей молодой воевода, остроглазый, сухощавый, с редкой рыжеватой бородкой и дергающейся щекой.

— Скил?! — удивился Драг. — Ты ли это?

Скил сразу узнал Волкана, потому и сам вышел из башни, а здороваться не спешил, он теперь не тот мальчишка-подручный, не рудокоп. Он теперь знатный человек! Но на оклик сразу заулыбался, подошел.

— А заматерел ты, Волканище! — сказал важно. — Вдвое больше стал против прежнего.

Драг радовался попросту: схватил воеводу в охапку, чуть не раздавил, тот еле вырвался. Но не осерчал. Спросил:

— Ты на торжище? Или по другому делу?!

— Да вот, подарок князю везу. Ему пригодится теперь!

Скил и сам знал, не на торжище, булатом торговать строго запрещено, булат дают даром и только служилым людям, да и то одному из тысячи, спросил для порядку. Ну, а когда услышал про дар, снова улыбнулся.

— Вот я тебя сейчас напрямик к Зиве и доставлю!

— К Зиве?! — удивился коваль.

— А к кому ж еще, он у нас нынче князем!

Драг простоял минуты три соляным столпом. Потом поднял вверх толстый черный палец и изрек:

— То-то у меня сердце чуяло!

Никто не понял, что чуяло его сердце. Но выяснять не стали. Только Скил шепнул по старой дружбе, чтоб мастер не оплошал:

— Там их три брата родных. Покуда все вместе дела решают, дележки не устраивают, советуются, даже в зале тронной рядком сидят — эдакое редко

бывает, — добавил Скил, — но я сам видал. Так что ты не обидь никого, понял?

— Понял! — ответил Волкан.

К князьям в палаты с обозами и подводами не попрешься. Волкан отобрал, что получше, взял с собой Шестока и пошел по ступеням за Скилом, помня, что и тому подарочек пригодится в сече. Поднимались, покуда Драг совсем не запыхался. Пришлось у дверей стоять, сердце унимать. А как вошли в приемную горницу, так и потерял Драг чувство речи, обезязычел. Сидели за столом дубовым крепким три брата: двое богатырей, ему под стать, а один совсем доходяга — высохший, изможденный, бледный. Говорили о чем-то... А Зива-то немой был!

— Вот ты какой, — выдохнул Драг. И растерялся.

Жив бросил беседу, сам подошел. Ухватил великана-коваля, оторвал от пола дубового, будто буйвола поднял. Расцеловал троекратно. У того слезы потекли из глаз, все слова приготовленные порастерял.

Скил напомнил из-за плеча.

— С подарочками он, не с пустыми руками!

— Да погоди ты! Дай поговорить... — Жив повернул Драга лицом к братьям, представил: — учитель мой с рудников. Отцом мне был и другом.

Вспоминали бывшее недолго. Да и немногословен Волкан был. Только дивился все, что Зива говорить обучился.

— Чудеса!

Потом махнул Шестоку с подручным, открывай, мол, сундук. Те откинули крышку. Первым делом достал Драг панцирь стальной, огромный, пояс на два меча и восемь ножей, поручи, поножи. И еще трезубец большой, страшный видом своим и узорчатый. Сграбастал могучими руками поднес старшему брату.

— Это тебе, княже Дон! — поклонился, положил у ног. — Бронь пусть хранит тебя. А сим жезлом княжеским карай врагов и строптивцев!

Дон тут же надел панцирь — он оказался впору,

застегнул пояс, поручи, поножи, почувствовал приятный холодок. Поднял тяжеленный, витой по рукояти-древку трезубец булатный. И стал похож на ожившее грозное и величественное изваяние, на божество, сошедшее с небес в полном великолепии своем.

— Ладно куешь, коваль! Не побрякушки это, настоящий доспех!

Драг согласился важно, с достоинством:

— Верно, не побрякушки, не золото с серебром, чистейшая драгоценная сталь харалужная. Носи, князь!

Дон ударил трезубцем об пол. Сказал:

— Будет тебе, Волкан, и от нас подарок!

Айлу-Полуте Драг поднес тонкий легкий меч, набор ножей боевых и металлических, копье с иззубренным наконечником и необыкновенной красоты шелом с дивной личиной — не человека и не зверя, но обитателя черного вырия, бесстрастного и ужасного, такая личина противника в страх повергнет еще до боя. Великолепен был шелом кованный, с тремя гребнями, один над другими возвышающимися, с узорами невиданными.

— Ну, брат, — пошутил Дон, — в эдаком шело-ме тебя ни один из поединщиков не узрит, ослепнет от красоты несказанной!

Но Полута шутки не понял. Шелом ему пришелся по сердцу, и очень. Таких по всей Державе не найдешь. А главное, и его воином считают, не обходят. Честь — и князю честь!

Младшему брату, Живу доспех был приготовлен особый, тончайший, из крепкого булата. Да еще два меча длинных, прямых, сверкающих ослепительно радужными разводами... Жив обнял Драга. Поблагодарил.

Но сказал вдруг:

— Мне от тебя другой подарок нужен.

— Какой? — растерялся и опешил Волкан.

— А вот погляди-ка! — Жив вытащил из поставца у стены бревенчатой перун — большой, толстый, не очень удобный для метания. Протянул Драгу. Тот повернул его и так и сяк, поднес к глазам, даже понюхал зачем-то.

— Ну как? — поинтересовался Жив.

— Работа добрая, — ответил попросту коваль, — только к чему его пустым-то сотворили. Дырка какая-то, а в нутре-то ничего и нет... Не разумею я.

Жив поднес к лицу коваля на ладони горстку черного песка. В нос ударило едким духом.

— Вот этого добра у меня на Скрытне и здесь еще шесть сундуков медных. А сыпать некуда... понимаешь?

Волкан помотал головой. И расстроился, очень уж хотелось помочь Зиве-дикарю, ставшему вдруг Великим князем на пару с братьями. Да только как?!

— А вот гляди! — Жив забрал перун-дротик, засыпал песок черный внутрь, скрутил веревочку, подвел Драга к окну, выходящему на склон горный, пустой и отвесный, высек кресалом искру, поднес к дротику, к веревочке. Да швырнул в воздух.

От разрыва горячей волной, удушливой и едкой, шибануло в лица. Драг невольно присел, прикрылся огромной рукой. Но, увидав, что князя не прячаться, стоят в полный рост, тоже выпрямился. До него начало доходить.

— Песок-то — горючий, что ли? — спросил он, пряча глаза, боясь ошибиться.

— Гремучий песок! — Жив рассмеялся. И вдруг спросил строго: — Сделаешь перуны?!

— Как не сделать! Еще лучше сделаю! — заверил Драг. И оглянулся зачем-то на Шестока. Тот тут же закивал головой, мол, верно, еще лучше сделаем.

— И в самый короткий срок! — добавил Жив совершенно серьезно, давая понять, что дело государственное. — А за подарки тебе спасибо! За подарки и дела будущие тебе и от нас подарок и награда, — он посмотрел на обоих братьев, будто советуясь с ними — те кивнули, и тогда Жив заключил: — Коли уж прозвали тебя Волканом за дела твои, быть тебе наместником во всех Волканах, владыкой во всех рудниках и кузнях Державы. И имя это доброе закрепляю отныне за тобой и всеми отпрысками твоими. Так тебя, Волканом, и запомнит люд благодарный на века... Но это потом. А покуда работать будешь, служить Державе!

— Послужу! — буднично и просто сказал Драг-

Волкан. — Там внизу две тыщи мечей отборных, пригодятся. А коли у тебя в стольном граде кузня есть, могу хоть поутру за перуны взяться. Будут у тебя, княже, добрые перуны гремучие, на страх недругам. Ты их только рази крепче да метче... ото всех нас, русов добрых, рази!

Суровое было время. И обычное. Для тех, кто жил в нем, для тех, кто вершил деяния, недоступные нам. Так же текли реки, так же колосились хлеба, так же светило солнце. И небо было таким же — шесть тысячелетий назад. Но жившие во времени том, остались в памяти человечества богами и героями. От нас же и следа не останется... в лучшем случае. А коли останется, пенной, грязной накипью будет тот след. Почему? Не найти ответа ни в учебниках, ни в справочниках, ни в энциклопедиях, ибо есть вещи, о которых знают мудрецы-философы, очень хорошо знают, но о которых не принято писать и говорить — к чему тревожить тех, кто обречен, зачем говорить страшную правду неизлечимому больному. Не по пути прогресса пресловутого и совершенствования идет человек, не по спирали придуманной вверх. Но наоборот — падает он в пропасть, бездонную, но конечную, черную, но невидимую простым глазом, страшную смертную пропасть. И имя той пропасти — вырождение. По дороге вырождения идет человечество, идет убивая себя медленно и неотвратимо. И в этом правда. Ее знают философы. А еще ее знают провидцы, поэты... «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя!» Поколение от поколения вырождается род людской. И уже не боги и герои пред нами, но вялые, безвольные придатки машин, готовящие почву для рас новых, неведомых. Впрочем не о настоящем речь. А о прошлом. Великом и легендарном.

Что за сила вселенская, что за ярь исполинская разбросала русов, первонарод земной, по всему белу свету необъятному: от полюса до полюса, по Восточному полушарию Земли-Геи и по Западному?! Много можно писать об этом, искать ответа и не находить его. Так было. Вот ответ Времени. Так

было. А того, что было, того, что уже случилось в Истории, не изменить — напишите хоть тысячи учебников, справочников, энциклопедий, растиражируйте их триллионами экземпляров — ложь умножится, возрастет, черным валом затмит умы непросвещенных подлинным Светом. Но Истины оттого меньше не станет. Правды не убудет. Вымирающий, вырождающийся мир живет во лжи. Чистым и праведным рождается на несправедный свет человек. Но с первых шагов его окунают в ложь — в большую, привычную, и оттого кажущуюся правдой ложь о самом себе, о роде людском, о племени своем, о путях человеческих в этом мире. Растет человек во лжи, живет в ней, как рыба в воде, и умирает с нею и в ней. Но не означает сие, что нет Правды. Она всегда рядом. Она только и есть в мире Яви. Но разум человека пребывает стараниями тех, кто ведет его к вырождению, в мире Нави. Разум человека не имеет зрения, не видит Истины. Да, так есть, так получилось... Зла и лжи все больше, с каждым столетием, с каждым годом, с каждым днем. Но шесть тысячелетий назад мир был еще светел и чист. Не все жили по Правде, не все творили ее, обходя ложь. Но все жили в мире Яви, с непомутненным вырождением разумом. В том и ответ, видно, искать следует. Не коснулась тогда человека прикосновением лютым болезнь неизлечимая, а ежели и коснулась, то не тех, кто творил историю, кто торил Ее пути, кто шел от полюса к полюсу. Шел, праведный, ярый, созидающий, творящий. Но и изливающий порой ярь свою неумную, хлещущую через край не на врагов своих, но на таких же как и он — на творцов, созидателей, праведников неистовых и подвижников.

Когда пропал рыжебородый Талан, Яра расстроилась — не иначе дикие звери погубили брата или людишки лихие. И те и другие завсегда привязываются следом, бредут тайно за переселенцами, ждут отставших, отбившихся, слабых... Но княжич Талан не был слабым, напротив, руками сгибал в кольцо дротики бронзовые, ударом кулака валил с ног вола. Только ведь от стрелы в спину не уберешься, от

рыси, кинувшейся сверху, с ветви на голову тоже... Множество неожиданностей поджидает идущих по свету.

Обидно было, что эдакий путь прошли, столько переходов, что и не сосчитать. Даже начинало казаться, что так и родились в дороге, что всю жизнь и шли чрез горы, пустыни, леса, реки, моря... А беда поджидала совсем рядом с Олимпом, с домом родным — в двух переходах от гор Отрейских.

Сторукий Хис сказал княжне без обиняков:

— Думается, непростое тут дело, замышлял княжич чего-то.

Та не сразу поняла, о чем речь. А как поняла, набросилась на сотника, чуть не убила несчастного. Да как он посмел так говорить, так думать о ее брате. Стимир на пару с Угладом, советником Гулева, еле утихомирили разбушевавшуюся Яру.

— Имечко-то у нее подстать нраву, — заметил в который раз Углад.

А еще через неделю, как раз стояли на отдыхе второй день, отдышаться хоть малость перед последним броском — кому последним, а кому первым перед долгой дорогой на Семиречье — беда похлеще приключилась. Налетел отряд конный, сотни в полторы, думал врасплох взять. Не вышло. Вои Гулева половину отряда положили замертво. По этим убитым и определили — дружинники Кроновы. Стало быть, и сам с ратью где-то рядом. Но и не они расстроили Яру. Один из стражей бывших Талана, что больше полугода назад тащил его в каменоломни, сам подошел к княжне, сказал, тупя глаза, будто видал какого-то рыжеволосого впереди отряда, будто и похож на Талана и не похож, без бороды, а глаза зеленые, горящие как у рыси.

— Может, сам батюшка то был? — переспросила Яра.

— Нет, молодой, — стоял на своем страж.

Стимир сразу все понял. Хис и до того догадывался. Теперь и до Яры дошло. Измена! Переметнулся братец к тем, кто посильнее да числом поболе. Пришлось к старейшине идти. Гулев встретил Яру в походном шатре. Прервал рассказ.

— Все знаю, — сказал устало. — И так бывает, дочка. Не рассчитали мы малость, близко слишком к Кроновым владениям подошли...

Яра вскинула брови — четкие, темнорусые, будто нарисованные.

— Ты же говорил сам, нет у батюшки власти, отобрали братья мои — так донесли тебе доглядные... — Яра нахмурилась, присела на тугую меховую подушку рядом со старейшиной, — ошиблись, значит!

— Нет, княжна. Олимп братья твои и Жив держат, не подступишься. А Крон становище разбил на Отрейских горах, в старых вежах-крепостях, силы собирает. Потихоньку-полегоньку и к нему люд стекается. Чуешь, чем дело пахнет?

— Война будет, — ответила Яра без лишних витийств.

— Будет, — мрачно подтвердил Гулев. — Нам бы до той войны подальше от Кронова становища уйти, к Олимпу бы прибиться, иначе раздавят нас, не устоять нам супротив силы такой. Этот наскок только пробой был. Что скажешь, дочка? Ты избранница богов, любимица Рода. — Гулев потер рукой грудь, зажившая рана побаливала, ныла, не давала забыть той ночи, что определила их грядущее. — Как скажешь, так и поступим!

У Яры чуть с языка не сорвалось — туда! конечно туда! к Олимпу! к любимому, милому, родному! к Живу! Ведь и думала только о нем, и ночами только он снился, один — желанный, нежный, любящий! Куда ж еще идти, бежать, лететь, как ни к нему, как ни на Олимп! Все сердце изболелось, вся душа исстрадалась. На крыльях бы умчалась к счастью своему! Грудь сдавило, помутилось в голове. Ее слово решит сейчас все. И тогда они встретятся, сольются в единое целое, чтобы уже никогда не расстаться. Никогда! Так она говорила Живу! Так и будет!

— На Олимпе и без нас сил хватает, — тихо изрекла Яра, побледневшая и ставшая за этот миг намного старше, — незачем туда идти, не будет пользы. Затаиться надо. Место поменять. Долго ждали часа заветного, еще подождем!

Гулев вытаращил глаза на молодую княжну. Она заметно переменилась за то время, что он ее знал — из тринадцатилетней девочки превратилась в стройную, высокую красавицу-девушку с глубокими, синими глазищами, в которых сокрыто было больше, чем сам старейшина мог понять. Лицо ее вытянулось, потеряло детскую округлость и припухлость, губы утратили алую, земляничную сочность, но не стали от этого хуже, наоборот, обрели чарующую женскую прелесть. Хороша была четырнадцатилетняя Яра, хороша и не по годам умна. В последнем Гулев давно убедился — видно, боги не обделяют разумом своих избранных. Но почему она приняла такое странное решение?! Им, усталым, измученным дорогой долгой, Олимп казался желанным пристанищем, светлым вырием, они рвались туда в жажде отдыха, хотя бы и краткого... и вот! Гулев почти не сомневался, что княжна тут же на его вопрос ответит — на Олимп! только на Олимп!

— Да, я так решила! — твердо сказала Яра. И подумала про себя: «А ты, милый, прости меня! Прости за отсрочку сладкой минутки встречи. Ведь может случиться, что поспешность наша...» Она заставила себя не думать о том, что может случиться. Нет! Ничего не случится! Судьба и Пресвятая Матерь Лада связали их навеки, навсегда... что значит отсрочка в дни, месяцы... пред самой вечностью.

— Да, братья мои, — Дон сел на скамью, устланную парчой, положил на колени трезубец, с которым не расставался с того памятного вечера, не расставался, почитая дар Волкана магическим даром, особым, — да-а, рано мы собрались победу праздновать!

Айд сидел в углу горницы — мрачный, зеленый, словно неделю до того меды хмельные пил безмерно. Чувал Айд, что не внешние силы, не дружинники Кроновы сведут его под могильный холм, но недуги, таящиеся внутри. Мертвая водица не помогала, только давала сил для свершения очередного, а потом вдвое слабости прибывало. Айд-Полута жил ото дня ко дню. И его не пугало будущее.

— Восемь окрестных племенных царьков* ушли к батюшке на гору Отрейскую, с ватагами своими, — продолжил неугомонный Дон. — Покуда мы сидим сиднями, в его войске прибывает! Время на батюшку работает, чтоб ему пусто было!

Жив понял, куда клонит нетерпеливый Дон.

— Нет! — сказал он, как отрезал. — Первыми руку на отца не подыдем.

— Ишь ты, праведник выискался, — Дон расплылся в ехидной улыбке. — А когда опаивал Крона зельем, когда за спиной его, хитростью Олимп брал, когда с черными мыслями, тайком в охрану его ближнюю пробирался, все лазейки пользуя — не первым, что ли, на отца руку свою вздымал?! Будь до конца честным, брат!

Жив промолчал, закусил губу. Что тут скажешь, все верно, не ему проповеди читать да наставления. Не ему! Но что же делать? На поводу идти у беспокойного, скорого на решения и расправу Дона? Так и все дело можно погубить. Выжидать до бесконечности? Нет, хуже ожидания и томительного и ослабляющего ничего нет на свете.

— Надо гонца к батюшке послать, — предложил Айд, — а лучше посольство из знатных мужей.

— Послать посольство, — по-своему понял Дон, — поближе к нему пробраться под видом слов, да и прикончить ирода!

Жив поднялся, вышел из горницы, хлопнул тяжелой дверью.

Ожидание. Нет кары худшей для человека, будь он хоть князь, хоть пахарь. Взять власть в Олимпе ... для чего?! чтобы ждать с тревогой грядущего, не спать по ночам, вздрагивать каждый раз от шагов гонца?! И не он один ждет. Ждут братья. сестры-

* Вожди малых племен, проживавших по Средиземноморью и Балканам, вошли в мифологию и историю как титаны, большая часть таковых «титанов» поддержала Крона. Но в целом «греческий» эпос не разделял вождей и воевод с их отрядами по национальному признаку. В связи с этим пока трудно выяснить, какую часть из этой категории составляли русы, какую иные, малые народности обозначенного региона.

княжны, воеводы, дружины свои, со Скрытня и из Руси, дружины пришлые — уральские, индские, хоттские, нубийские ... все ждут. А куда ждут, и к Крону собираются вои, крепнет он час от часу, набирает силу, тут Дон прав, ничего не скажешь. Дон лих и мудр на море, там лучше и разумнее не отыщешь. Но на суше Дон словно ребенок малый — всего хочет сразу, подай немедля, и все тут! Айд рассудительней. Только Айду, похоже, все равно, глядит как из мира иного, нездешний будто.

Жив шел, ничего не видя вокруг, думы были тягостными, одними и теми же, ничего доброго в голову не шло. Скил ухватил его за локоть, когда проходил мимо внешних красных колонн.

— Уже и приметить не желаешь? — спросил с легкой ухмылкой.

— Отстань, — попросил Жив, — не до тебя, и без того тошно...

— Тошно? — переспросил Скил, теребя редкую бородку. — Не горюй, этому горю мы поможем!

И будто сам решил за обоих, подхватил князя под руку, повел куда-то, не закрывая рта, рассказывая то одно, то другое, не давая слова вымолвить. Привел к вдовушке своей. Та смекнула сразу — выставила на стол все, что было, выскочила на улицу, в нижний город. Жив и опомниться не успел, как светлая просторная горница заполнилась веселыми, звонкоголосыми девами, как пошел пир разудалый. Закрутило его, завертело — сам пил, обнимал дев, разных, но одинаково прекрасных и томных, сулящих блаженство неземное, любил их, но не насыщался ими, меняя одну за другой в неистовой и жаркой круговерти. Бесконечен был пир этот. Беспечен и удал. Но главное, даровал он хоть и на время забвение. Скил все крутился рядом, забавлял рассказами забавными, подливал медов да браг. А как-то раз, когда Жив потянул было руку к вдовушке его, ударил по руке, пихнул на колени девицу черноглазую, совсем малышку еще, но развеселую и хмельную. Гулял Жив. Так бы прогулял и неделю. Но на четвертый день сердитый и взъерошенный Ворон силком выволок его из горницы, окатил водой ледяной.

Жив пришел в себя быстро. Да и не столько пил он меда пьяные, сколько куражился. Спросил:

— Чего там?

— Слы Кроновы, — сказал Ворон сурово, — в палатах тебя дожидаются. А войско под стенами стоит.

— Врешь! — не поверил Жив.

Ворон промолчал, что тут говорить, все сказано.

— Ходы как?! — спросил Жив, холодея.

— Все прикрыто, не страшись, — доложил Ворон, — мы тут не спали, пока ты гулял. Тайком в стольный град не пролезут. А на приступ пойдут, тут мы их водицей горючей и польем да перунами побьем. Уже и за Купом гонцов послали!

Жив передернулся, этого еще не хватало.

— Шли новых! — приказал властно. — С отцом сам разбираться буду.

— Ты погляди сперва.

Пошли на стену. Войско Кроново стояло далеко — за три полета стрелы от стен. А под стенами, кольцами свои дружины ждали часа рокового. Передние почти вплотную упирались в гостей незваных.

— Ясно, — процедил Жив. И вздохнул привольно, камень спал с души. Кончилось ожидание тягостное. Теперь сеча решит дело. А может, и без нее уладится ... недаром ведь послы в палатах сидят.

— Пойдем к ним, — бросил Жив на ходу.

В нижнюю большую теремную палату они поспешили вовремя. Даже очень вовремя. В том самом огромном зале, где Крон испытывал когда-то собственноручно мастерство Зивы-стражника, сейчас бились двое. Бились на мечах и, похоже, не ради забавы, а насмерть.

— Это еще кто? — вырвалось у Жива с порога.

— Ябед это, Кронов воевода и посол, — спокойно ответил Ворон, разгладил усы. Не его дело вмешиваться, когда князья свои дела делают.

— Послов бить негоже, — протянул Жив, не зная, что предпринять. Он совсем не ожидал застать в тереме Дона, они еще прежде договорились, что старший брат вернется на море, к стругам.

— Стойте! — выкрикнул Жив в голос.

Но его не расслышали. Только курчавый, коротковолосый Ябед скользнул быстрым взглядом по вошедшему, отвел глаза и еле успел отбить очередной удар.

А следующим Дон сбил его с ног, сам прыгнул грудью на лежащего, норовя рукоятью разбить лицо. Тот вывернулся, ударил в бок кулаком. На миг они разлетелись, но тут же вскочили на ноги, продолжили бой.

— Убью! Убью гада! — ревел Дон медведем.

Он был здоровее, сильнее, крупнее. Но Ябед поражал своей изворотливостью, он выскальзывал из таких положений, какие сулили любому иному погибель.

Смотреть на это побоище было невыносимо.

— Разнять! — приказал Жив стражам.

На Дона бросилось сразу четверо. Ябеда ухватил сзади под руки один. Посол не слишком вырывался. Сразу было видно, что не он затеял драку.

Когда Дона тащили мимо Жива, прорычал в лицо:

— Все одно убью гада!

— Нельзя так про посла, — одернул его Жив.

— Не посол он, — крикнул Дон из дверного проема, — предатель! Подлец он!

Жив прошел к малому трону. Сел. Откинулся на спинку. Вгляделся в незнакомца, посланника отцова. Выговорил чеканно, не от души, а ряда ради:

— Ты прости, Ябед, брата за буйный нрав его. Послов мы в почете держим, по обычаю... Прости за неурядицу! — Разглядел еще троих у окна, сейчас они медленно, неспешно подходили к старшему, к главе посольства, кланялись на ходу. — С чем пожаловали от батюшки?

— С миром, — без обвиняков заявил Ябед. Он уже отдышался, пришел в себя. Стоял безоружный, в длинной плотной рубахе, перепоясанной широким поясом, простоволосый. Даров не было видно ни в руках его, ни у послов прочих, ни вообще в палатах. Жив это отметил сразу, странное посольство. А Ябед тем временем продолжил: — Мир тебе Великий князь Крон предлагает, коли до рассвета уй-

дешь из стольного града, из Руси. Мир и жизнь. Живи на Скрытне с ближними своими. И пусть Скрытень будет твоим княжеством. На том слово свое дает Великий князь.

— Странное слово, — глухо отозвался Жив. — Странное. Не такого я ждал.

— Другого не будет. Ибо передать велел: жизнь или смерть. Выбирай!

Теперь и Жив ощутил желание взять в руку меч и попотчевать гостя-посла от души, все раздражение на старшего брата улетучилось.

Вгляделся в посла. Матерый муж, крепкий и смышленный, по глазам видно, смышленный, тертый жизнью. Только настороженность вот какая-то, впрочем, понятная, неласково встретили. А из губы разбитой кровь течет ... явится к батюшке по возвращении, все поведает, как приветили на нынешнем Олимпе, какие там радушные хозяева.

— Назад ступайте, — распорядился Жив.

Больше ничего не сказал. Поднялся. Ушел быстрым шагом.

Дон поджидал его в соседней горнице — спокойный, тихий. Только пробубнил, увидев брата:

— Зря ты не дал мне расправиться с этим негодяем! Это он предал меня, он!

— Он был лишь орудием, — поправил Жив, — слепым орудием. Скажи лучше — ты знаешь, что творится за стенами Олимпа?

Дон нахмурился, сразу как-то постарев, набряк ликом. Еще не хватало, чтобы его выставили виновным в том, что Кроновы орды обложили город. Он и раньше говорил, кричал, доказывал — надо опередить отца, первыми пойти на Отрею, не дожидаться худшего. Но что толку теперь кулаками махать.

— Знаю! — признался глухо.

— А стругами кто правит?

Дон замялся, выдавил нехотя:

— Промысла послал.

— Доверяешь сыну негодяя, предателя?!

За городскую стену Скил выбрался малым тайным лазом. Подождал, пока из расселины вылезут Прохн,

Свенд и Хотт с Оврием. Привалил камень. Темень стояла несусветная. Но Скил и на ощупь знал здесь каждую тропку. Времени было в обрез, Жив мог хватиться их в любую минуту, последние три ночи он вообще не спал.

Своим, окружавшим Олимп, слово тайное молвили, прошли. Дальше ползком добирались, в пыли, по колючкам и камням острым. Двух дозорных в ножи взяли. Третьего Свенд задушил — руки дрожали, из глаз слезы текли, все ж таки свой, а душил, покуда тело не обмякло. Как в стан Кронов пробрались, пошли в полный рост, не таясь, кутаясь в корзна багряные, подобно дружинникам княжеским. И все ж еще одного порешить пришлось, заподозрил странных воинов. В овраг его кинули, ночью не видно, не найдут. Большая часть рати осаждающей город спала. Но повсюду дотлевали костры походные, сидели неспящие, каждый своим делом занимался, кто доспех ладил, кто меч точил, кто просто глазел на догорающее пламя зачарованным взором — огонь притягивает, колдовская сила в нем.

Шли молча, не кучей, а россыпью, шли за Скилом. А он еще два дня назад, чистым ясным утром, присмотрел шатер рыжебородого Талана. Выглядел изменника, да и сказал, не подумавши, при княжичах. Те Скила враз в оборот взяли, не терпелось им с братцем посчитаться: еще недавно в одной темнице сидели, на одном струге бежали от гнева отцова, бились плечом к плечу, клялись до последнего стоять, а нынче он обратно к батюшке переметнулся, тысячу воев получил.

Свенд шел злой, полный решимости покончить с Таланом на месте. А коли удастся до Крона добратся, то и с ним. Прохн, коренастый, невысокий, втягивал голову в плечи, чтобы казаться еще меньше, чтобы не заметили. Он жалел, что отправился в эту ненужную, дикую вылазку. Хотт потирал больную, вечно ноющую руку, вспоминал женушку и обеих полонянок своих. В последние два месяца все время с ними, троими, проводил, отвык от ратного дела, от службы — раз в три дня у башни стоял, разве это служба! Но Хотта еще терзала память, еще не

давала забыться обидой жгучей. Оврий думал об одном, только бы выбраться из стана вражеского живым, сами в ненасытную пасть Мары полезли.

— Вот он, — наконец прошептал Скил, остановив шедших легким взмахом руки, указывая на виднеющийся шаггах в двадцати шатер, — точно, он!

Совсем рядом с шатром горели-догорали два кострища. Вокруг них спали кто как, внавалку, вои. Один дружинник в плоском шеломе ходил возле шатра. Скил змеей подполз к нему сзади, когда тот был далеко от спящих, за шатром, вскочил, набросил удавку на шею. Сам не заметил, как рядом оказался Свенд с острым ножом в руке.

— Погоди...

Скил опоздал. Лезвие ножа рассекло грубую кожу. Княжич просунул внутрь голову, замер на миг, а потом исчез из виду. Скил нырнул за ним, ослеп от крошечной тьмы. Ударил коротким мечом во что-то живое, наваливающееся на него. И услышал странные звуки — будто кто-то перепиливал что-то, ломал с хрустом.

— Уходим, Сокол! — послышался из другого угла голос Свенда.

Он не сразу нащупал дыру, выполз. Побежал за княжичем. Упал рядом с ним. Луна, тусклая и холодная, вышла из-за туч, стало немного светлее. И оттого казалось, что все их видят, что все они как на ладони.

— Вот он! — Свенд поднял руку с чем-то округлым в ней.

Скил не сразу понял. Голова! Свенд держал за волосы голову, отрезанную голову. Но было ясно видно, что принадлежала она не Талану.

— Это же Строг! — прохрипел в ухо Скилу Хотт. — Советник Кронов!

Свенд тихо застонал, заскрипел зубами. Голова полетела в овраг.

До следующего шатра они шли поодиночке, не теряя друг друга из виду, шли почти в открытую, как ходят только свои. Даже присели у затухающих угольев, рядом со спящими воями. Скил глазами показал, чтобы никто ему не мешал. Встал, пошаты-

ваясь, подошел к стражу, будто желая что-то сказать ему, и вдруг навалился на него, прижался, не давая взмахнуть мечом, протыкая ножом грудь. Под полог шатра он ввалился вместе с мертвым телом. Выпустил его из объятий. И сам чуть не упал. Внутри было светло, тихо и тускло горела масляная лампа, стоящая на широченном медном блюде почти у входа. А дальше, в глубине шатра, с полуголой девицей на коленях, хмельной и оплывший сидел ... Олен.

Скил лишился дара речи. И руки его обвисли. Быть бы ему убитым. Но с воеводой, видно, творилось то же самое. — Олен раскрывал по-рыбьи рот, но ни звука не вырывалось из него. В голове у Скила вихрем пронеслось бывшее: долгие тяжкие дни неволи, работа без сна без отдыха, когда времени уже нет, а есть одна неизбывная вечная мука, смеющиеся глаза, узкие щелки, заплывшие жиром, побои, а потом выматывающая болезнь, жар, видения жуткие и сквозь них голос ленивый, равнодушный: «Выбросите этого дохляка на отхожий свал, нечего ему тут лежать, место занимать!» Как давно это было. Но ведь было!

Скил опомнился первым. Он прыгнул на вздымающегося медведем воеводу, сшиб его с ног. Ударил ножом. Но тот отбил удар голой рукой, застонал... Девица мышью сидела под ворохом шкур, со страху оцепенела, наверное. И это спасло Скила. Первым делом, чтобы не было шума, он рукоятью, наотмашь ударил Олена по горлу. Тот засипел, начал задыхаться. Но, видно, немалые силы таились в Олене. Он извернулся, навалился сверху многопудовым телом на Скила, зарычал в лицо, впился зубами в горло. Еще немного, и не видать бы парню белого света.

Свенд с Хоттом ворвались в шатер вовремя, сразу, в два меча обрушились на воеводу. Но били не сильно, боясь покалечить Скила. Наконец тот вырвался, выскользнул из-под тяжелого тела, набросился на Хотта с кулаками.

— Ты что! Я сам! Я са-ам!!

Но было поздно, Олен лежал замертво. В приступе бешенства Скил вонзил в тело нож. Выругался. Его схватили с обеих сторон, зажали рот — в ша-

тер в любую минуту могли ворваться вои. Повалили наземь, чуть не раздавив девицу. Но Скил успокоился очень быстро. Замотал лоскутом, выданным из сброшенных одеяний, прокушенную шею. Поглядел сумрачно на бездыханного Олена. Не так мечтал он с ним расправиться, а в честном поединке, лицом к лицу... Что ж, они и были лицом к лицу.

— Пошли, — приказал Свенд, сверкнул светлым глазом. Погрозил перепуганной девице. Потом вдруг нагнулся над ней, приобнял, поцеловал. Та потянулась к нему губами в ответном поцелуе. Но Хотт уже тащил княжича за рукав из шатра.

Талана они нашли возле третьего шатра. Рыжебородый княжич спал, разметавшись, на огромной медвежьей шкуре, храпел, дергал запрокинутой головой, задыхался, видно, недоброе снилось изменнику. Рядом безмятежно спали два воя-охранителя, им ничего не снилось, тих и глубок был их сон. Все троих связали в одно мгновение, запихали кляпы во рты.

— Вот и конец тебе... — прошипел Свенд, заноса нож над головой брата.

Но ударить не успел. Прохн резко толкнул его, завалил набок.

— Не смей! — выкрикнул немо, одними губами. — Мы его у себя казним, на стене повесим. Чтoб неповадно было!

Свенду мысль понравилась. Только до себя еще добраться надо.

— Доберемся, не бойтесь, — Прохн мотнул головой назад. Там, откуда они приползли совсем недавно, гомонили Кроновы люди. Наверное, девица разбудила спящих, а может, сами проснулись. — Вот что, братья, — продолжил Прохн, — там шумиха, это хорошо, мы сейчас с Оврием подадимся на левый край, пожжем пару становищ. А вы здесь выждите, как суета начнется, напрямик к лазу бегите, да этого гада волоките. Так меж двух огней. посередке и проскочите. Мы следом!

Свенд кивнул, идея хорошая. Полупридушенный Скил тарашил глаза, вертел шеей, ему бы себя донести до стольного града. Разгулялись!

Талана, чтоб не брыкался, оглушили. Воев пожа-

лели, заволокли в шатер, там и бросили. А потом такое пошло, что позабыли все, как кого зовут. Крепкие ноги выручили да кони краденные. Ускакали в шум и гомоне. Чуть от стрел со своей стороны не погибли. В лаз лезли полуживые, а еще тело тащить надо было, Талан так в себя и не пришел.

За стеной крепостной, у башни, долго ждали княжича Прохна с сотником-сторукиим Оврием. Да так и не дождались. Дорогой ценой за предателя заплатили.

Ябед вернулся под вечер. Ничего не сказал. Только руками развел. Крон все сам понял. Иного и не ждал: чего-чего, а гордыни у самозванца в избытке! От большого острова отказался, от Скрытня, изумруда Срединного моря! Руку протянутую отпихнул... Сын! А сын ли? Был бы сыном родным, разве сбегала бы мать его, Рея-старшая? От своего законного мужа?! Нет! Сказывали будто был у нес с Севера захожий гость. От него и приبلудила, небось, приبلудыша. А ныне называй его сыном! Великим князем! Крон и верил и не верил в рассказы про северянина пришлого, вспоминал все, до дня каждого, единого, не мог припомнить неверности Реиной. Неужели от того злосчастливого предсказания у него в голове помутилось, страх да гнев над рассудком возобладали?! Но нет в Живе его черт — ни рыжинки в волосах, ни зелени ярой в зрачках, ни сухости отцовской ... только стать особая, княжеская, спину держит, голову как отец. Да глаза глубоки больно, еще с той давней поры, когда испытывал его, глаза запомнились... А вот на княгинюшку покойную похож, ее кровь, тут и гадать нечего. Впрочем, сын — не сын, нынче не это важно, нынче без сечи дело не решить. Пора кончать с мальчишкой. Да новый Большой Поход ладить. Наказать кое-кого пред этим за предательство подлое, переметышей-перебежчиков — и в Поход!

— Ступай! — Крон отпустил Ябеда, не спросил, откуда на лице порезы да синяки, а тот сам не сказал, не захотел былого ворошить.

Вышел из княжеского шатра, пошел к дружине

своей. Не повезло Ябеду, вот встретил бы сына беглого у Жива за стенами, может, с ним бы и остался. Только не встретил он быстрого умом Промысла. Значит, судьба быть по разные стороны.

А Крон прилег на шитые подушки. Тело отдыхало, хоть и много времени прошло, а не все раны зажили после поединка с Купом. Да что там тело, духом не отошел князь, все вспоминал бой лютый, заново мысленно повторял каждый удар свой, жалел, что здесь силы мало вложил, там выше взял. Только поздно. Чувствовал, что не будет больше боя подобного, порастратил себя на Купа, почти без остатку.

Спал тяжело. Все снился младенец безвинно убитый — будто дочь покойная Рея держала его на руках, протягивала ему, а тот смеялся звонко, ручками-ножками голенькими подергивал, тоже тянулся. А как сам сделал шаг навстречу, поднял руки, дабы принять дите беззащитное, так исчезло видение и пахло ему в лицо пеплом, ледяным дыханием, а в руках камень оказался — сырой. холодный. А сзади крик младенческий ... и снова Рея-дочка стоит, будто Лада-Богородица с младенчиком.

В испарине проснулся Крон, от шума, криков. Гридень молодой уже стоял пред ним, ждал. А как увидал, что князь глаза открыл, так и выдал все, что знал:

— Зарезали Строга ночью! Голову его в овраге сыскали! И Олена-тысячника, коему ты снова поверил, зарубленным нашли, княже! А сын твой, Талан, пропал куда-то! — выговорил скороговоркой. И замер, ожидая буйства княжьего, а может, битья даже, скор был на руку Крон, быстр.

Князь ни слова не сказал. Только глазами указал — уходи, мол. Что тут кричать и бесноваться. Чем дольше стоят они без дела, тем меньше порядка в дружинах, скоро меж них войско пройдет, а они не заметят. Пора на приступ идти. Пора поучить мальчишку уму-разуму. Пора... А ведь мог бы и сам придти, повиниться, в ноги кинуться. И казалось Крону, поступи он так, простил бы, наверняка простил бы, признал бы своим отпрыском, кровным ...

а там пусть боги на небесах, в вырии светлом разбираются — родной сын он ему или прибудный, столько лет прошло ... столько сыновей и дочерей подарили ему жены да наложницы, не счесть всех, многих из них уже утратил. Так что ж считаться-то!

Крон вышел из шатра. Три ближних боярина шагнули ему навстречу.

— В ночь на приступ пойдем, — сказал он тихо.

Вислоусого и обритого почти наголо посланника Жив принимал в тесной и полутемной каморе. Никто не должен был прознать об их встрече.

— Путь наш к Семиречью лежит, на земли предков, — рассказывал посланник, — а ведет нас старейшина Гулев. Поклон от него земной ... будет мир, и дары будут. И еще привет от души одной, просила не называть ее имени...

— Почему? — встрепенулся Жив. Сердце сжалось в предчувствии.

— Сказывала, в бою сам признаешь, — просто ответил посланник.

В бою. Значит, не она, значит, не Яра, о каком бое могла говорить девочка с синими глазами. Мерещится, в каждом слове, в каждом намеке, в дыхании ветра даже мерещится ему имя любимой, ее тень. А надо заниматься важным, сейчас всякий день на вес золота, всякий час. А бой будет, к нему и готовиться нужно.

— Сколько вас?

— С хоривами и скилами шестнадцать тысяч мечей и палиц.

Жив вздохнул, взял с низкого кованного из меди стола кувшин, налил посланнику в кубок терпкого и чистого кваса, протянул. Сам пить не стал, бросил в рот виноградину — попалась кислая, скулы свело от нее.

— Маловато!

Посланник запрокинул голову, проглотил содержимое кубка едва ли не в один присест, расправил длинные усы. Был он без брони, в широких толстых штанах, рубаше белой, расшитой по воротнику и

рукавам, в меховой безрукавке. Меховую шапку тербил в руках.

— Немного, — согласился покладисто. И добавил: — Зато семь недель мы Крону покоя не даем, щиплем его за хвост. Наскочим, отскочим, наскочим — десяток, а то и сотню, порубаем, и назад. Трижды в погоню бросал дружины конные. А взять не взял, руки коротки!

Жив улыбнулся.

— Добрые ты слова говоришь, Сугор. Да насока-ми битву не выиграть. Мы в крепости Олимпийской, как в ловушке зажаты, и войска, что под стенами стоят, задыхаться от тесноты начинают. Скоро голод пойдет, воды уже не хватает... Не думал я, что эдак-то получится. Иначе бы Купа Северского с дружинами его да воевод Овлура с Зароком не отпустил бы. Теперь уж поздно к ним слать гонцов. Вперед нас Крон придавит. А за подмогу спасибо, передавай Гулеву и мой поклон. Маловато вас ... но и на вас надеемся.

Он положил руку на плечо посланнику. Но тот стоял на своем.

— За время, что прошло, мы все слабые места Кроновы разведали. Уж коли вдарим, так вдарим. Нам бы только мечей булатных да стрел побольше каленых, свои на исходе...

— Этого дадим, — согласился Жив. Хотел встать, уйти.

Но посланник удержал его жестом.

— Да людей бы еще, — попросил с дрожью в голосе, будто за себя просил: — Тыщ десять еще. Тогда бы мы им не ножик, кол осиновый, смертный в спину вогнали б! Для твоей же пользы, князь!

— Для пользы Державы! — поправил Жив. Подумал, добавил: — Жди до вечера. Я приду.

Лестницами узкими, темными, переходами потаенными, поднялся он в опочивальню малую, известную двоим или троим в тереме, самым ближним. Уселся вновь за кожи-чертежи, что со Скрытня вывез. Сколь ночей уж не спал, все думу думал, сомневался, взвешивал мысли свои — добрая мысль

потянет тяжеле алмаза крупного. Недаром приметили еще со Скрытня знавшие его хорошо, что первая да самая верная жена его Мысль-Сметка. Горяки, что в учении были, сказки сказывали повсюду про его Метиду верную. Что ж, пришла пора, видно, этой женушке родить ему дочь тайную, бестелесную дево-воительницу*, которая спасет их всех, оградит от Мары зловещей, поможет одолеть Крона.

Вот она, черная ниточка на коже, тонкая, без черт и резов разъяснительных. Это и есть потайной ход, ведущий далеко за стены, почти к самому морю синему. А еще одна такая же, еле глазом уловимая — в горную впадину ведет. Доискался. Додумался! Недаром ночей не спал. Да, вот эти два хода неведомых, никому не известных кроме Крона, да еще кое-что и будет его Тайной! Его дочерью, порожденной в бессонных ночах! Теперь надо самому проверить, отыскать лазы. Самому!

Жив свернул кожи. Запер дубовую дверь в опочивальню. И почти бегом бросился в сторону Восточной стены, там, в подвале заброшенной, полуосыпавшейся, непригодной башенки, которая давно оказалась внутри новых стен, должен быть этот самый лаз! Теперь только бы не опоздать.

Степенные и важные стражи с копьями в руках, в блестящих шелобах с конскими хвостами, вздрагивали при внезапном его появлении. Но прежде, чем они успевали изречь здравицу, Жив пробежал мимо. Из терема он выскочил, будто внутри палат пожар начался. Побежал вниз по ступеням, через малые ворота, средние, снова по лестницам ... и, не добыв Восточной стены, замер как вкопанный. Наверху, на дозорной сторожевой площадке творилось что-то неладное. Он сразу разглядел суетящегося Скила, светлоусого Свенда, брата своего, вечно сторонящегося, проходящего мимо, других... Там же голосила сестрица тихая, Гостия.

* Как известно, от Мысли-Метиды Зевс породил из собственной головы ту, которую «древние греки» называли Атанайя, современные греки называют ее Атэной, мы «Афиной» (принцип «испорченного телефона»).

— Ой, оставьте его, ради Матери Лады прошу, пожалейте! — кричала она осипшим голоском.

Жив ветром взлетел по внутренним ступеням, что без ограды круто вели наверх. И совсем растерялся.

Шагах в десяти от него, на возвышении, на самом виду у всего войска, на виду у Кроновых полчищ, шумящих внизу и безликих, Скил со Свендом совали в петлю из толстой верви, что крепилась к деревянной балке, положенной меж высокими зубцами, хрипящего и вырывающегося, огненноволосого и рыжебородого Талана.

— Пускай! Пускай другие поглядят! — зло приговаривал Свенд.

Жив растерялся лишь на миг. Пожалел брата. Но тут же взял себя в руки. Кивнул молча, когда его заметили. Предателю место в петле, все правильно делают. Худо что без спроса, без его слова. Но и они не последние люди. Скил — ближайший помощник, друг. Свенд — брат, хоть и косится все время. Жив хотел изречь и свою волю.

Но худая, вся светящаяся добротой и негой светлокудрая Гостию бросилась ему на шею.

— Живушка, милый, родной, — она сразу намочила своими слезами горячими рубаху на груди, заставила сердце сжаться, — пожалей ты его, лучше меня повесь, лучше меня!

Такого Жив не ожидал, растерялся. Обидеть тихую Гостию, почти неземную, отрешенную, любящую его до самозабвения, было не по силам. Она не девой пришла в этот страшный мир, не женой, рожающей в муках сынов, обреченных на муки. Она пришла доброй нездешней гостьей, подстать своему имени. Ее слово сейчас было весомее.

Жив поднял руку, призывая к молчанию.

— В поруб его! — сказал. И отвернулся. Слово Великого князя не обсуждается.

Он не видел, но знал: Талана вынимают из петли, тащат вниз по ступеням, исполняют его волю ... нет, волю гостыи этого мира.

Проходившему мимо Скилу шепнул:

— Ничего, мы его еще повесим. При всем людечестном, на лобном месте!

Скил замер рядом, склонил голову — когда говорит князь, надо слушать. Сам же думал — не вовремя появился друг державный, не вовремя.

— А будешь своевольничать, и тебе висеть! — добавил Жив. Потом ткнул Скила кулаком под ребра, словно проверяя на крепость. Сказал тише: — Пойдем со мной, Сокол!

Лаз они нашли не сразу. Два часа провозились, двигая старые неподъемные плиты. А как сдвинули их, так и дохнуло изнизу холодом полуночных стран.

Первые шесть валунов ударили в Круглую башню, что возвышалась посреди Восточной стены, ударили разом, словно из одной тучи выпали.

Вместе с обломками креплений, изуродованных до неузнаваемости настилов, с выбитыми камнями Ворон полетел вниз. Но упасть не успел, чьи-то крепкие руки ухватили его под колено, дернули вбок. Ворон ударился плечом о кладку, потом перевернулся и застыл на мягком и живом.

— Ну и тяжел же ты, старый черт! — Овил выполз из-под него, встал, отряхнулся. Поглядел уныло на большую бадью с горючей водой. Толку от нее пока не было — кого поливать, внизу свои, а Кроновы камнеметы далеко. Про них и знать никто не знал, видно, были они прикрыты ветвями, листвой, за триста шагов не разглядишь.

Ворон сел, привалился спиной к кладке, грубой и шершавой.

— Крепко они нас, — рассудил спокойно, — эдак можно все башни посшибать.

Словно в подтверждение его слов еще два валуна обрушились на уцелевший верх, снесли его — град камней прогремел совсем рядом, жутко закричал кто-то внизу, на земле.

— Нерасторопный, — пожалел Овил, сел под притолку рядом с седым воеводою.

Сквозь бойницу видно было, как дружины с внешней стороны стены пошли, а потом с оглушительным криком побежали на врага. Камнеметы надо было уничтожить, иначе самое позднее через два дня в

стенах будут бреши, а тогда и крепости грош цена и ее башням.

— Надо бы туда, — затосковал по сече Ворон, припал лбом к камню, сощурил единственный глаз. Потом вспомнил про перуны гремучие, вскарабкался по обломкам дубовой лестницы на пролет выше. У пристенки лежали только три перуна, значит, остальные внизу, под обломками.

Следующий валун ударил прямо в бойницу, стены не пробил. Но мощным толчком Ворона с Овилем отбросило к провалу, еле удержались. На какое-то время старого коревана оглушило. Он лежал на спине и видел, как по небу, прямо над ним, проносятся огромные камни: семь камней пролетели в сторону Кронова полчища, то метали из крепости, метали не пристрельно, наугад, двенадцать валунов обрушились на город — Ворон не слышал звуков, но чувствовал, как содрогается земля, а вместе с ней стена, башня. Когда он подполз к бойнице, выглянул наружу — остатки дружин, ринувшихся на осаждающих, бежали разрозненными кучками назад. Крон отбил первый удар. Значит, и второй отобьет, и третий... Но эти глыбищи! Только разъяренные титаны могут бросать такие камни! Жечь ... надо жечь их каменеметы! Но как?! Жив поставил его на Восточную стену, дал под руку полторы тысячи человек, каждый знает свое место, свое дело. А толку что?! Со всех сторон уже летят камни, крушат стены, башни, ворота, бьют воев наружных — эдак все внешние дружины будут раздавлены меж стеной и полчищами. И еще один валун ударил в бойницу, кладка дрогнула, начала осыпаться.

— Ой, крепко! — простонал Овил, держась за ушибленную руку. — Видать, Крон за нас всерьез взялся.

Ворон не стал вступать в пересуды. Поднялся, скрипя зубами. Спустился по ходящей ходуном балке еще на пролет, вышел на стену. Справа зияла добрая брешь. Но она не расстроила воеводу — высоко, не добраться до краев снизу. Урон был немалый, сотники подбегали к нему, разводили руками — каждый недосчитывался четверти воев, а то и трети. За неполные полдня натиска!

— Стоять! — говорил Ворон. Что он мог еще сказать. Их дело стоять на стенах, оборонять град стольный, себя беречь до поры до времени. А там пусть Великий князь решает. Эх, будь он на его месте — давно бы собрал всех отовсюду, да так бы ударил прямо в лоб рати Кроновой, что только бы искры посыпались из глаз.

А внешние дружины пока сдерживали идущих на приступ. Жизни свои клали, но не подпускали к стенам. Ворон втихомолку завидовал воям, что с мечами в руках встречали врага. Стар был годами и телом, а душа рвалась в бой молодецкий. И пошел бы за ворота, да Жив строго-настрого приказал вниз не спускаться. Ему видней!

В который раз уже Ворон сунулся к растресканной бойнице, глянул на склон под стеной. И растерялся. Дружины-защитницы ряд за рядом, вой за воем втягивались в полураспахнутые ворота. Крайние отряды, далекие, щетинились копьями, метали стрелы и дротики, прикрывали отход. «Измена!» — пробормотал Ворон под нос. Огляделся, ища Овила.

И громко выкрикнул:

— Браты, готовься к бою! Отворяй бадьи! Желоба заноси! Поворачивайся! Живей, братья!!!

Первыми Жив послал уральцев, дал им провожатым Скила да своих скрытненских шестерых с бурдюками за спиной. Ход был тесен.

— В черный вырий адский лезем, — проворчал Скил, — не иначе!

Но сиганул во мрак первым. Факелов не жгли, опасно. Прыгали один за другим — суровые, мрачные, но без страха идущие на смерть.

Айд-Полута сидел на плите пыльной, тяжело дышал. Когда все скрылись в дыре тайного хода, сказал отрешенно:

— Коли ведом лаз батюшке, каждого побьют — высунулась голова, ссекли ее, за белы руки вытащили тело, жди следующую голову.

— Не каркай! — пригрозил Жив. А сам пожалел, что не пошел первым.

В другой ход, дальний, горный уже полдня вой за

воем лезли, не одна тысяча ушла. Не задохнулись бы, думал Жив, столько люда в эдакой теснотище. Только выхода нет, иначе всех в запертой крепости побьют. Хоть и велика она безмерно, а ведь и Крон подступился с умом да с большим числом, умеет воевать отец-батюшка. Теперь Жив начинал явно ощущать — родная кровь, наверное, ввали про измену матери, узнавал в себе отцовы повады, а в нем свои, упрямец, не жалеющий себя, хитроумный, напористый, ярый. Временами Жив ставил себя на его место, прикидывал то да се, и уже знал, как Крон поступит. Война не просто сечи да походы, война большая — большая игра, которую выигрывает не сильный, но умный. Крон был умен, хитер и коварен. Мало того, Крон не жалел его, как он, Жив, жалел во враге своем отца родного. Что делать ... теперь назад не повернешь.

Скил бежал трусцой по подземному ходу, пока можно было бежать, топча сапогами какую-то мягкую, не видимую во тьме труху, распугивая редких ленивых, раскормленных крыс. Но когда своды стали совсем низкими, пришлось сгибаться в три погибели. Последние сто шагов почти полз, лишь на минуту останавливаясь, прислушиваясь — как там задние. Говорить никак нельзя было, одно слово, один звук лишний мог стоить головы.

А когда уперся в стену холодную, сам вдруг похолодел. Неужели завал. Толкнул раз, другой ... почувствовал, поддается камень. Подоспевший уралец протиснулся, помог. И почти сразу в глаза ударил слабый свет. Слава Роду! — про себя возблагодарил небеса Скил. Выполз из дыры. И понял, что находится в дремучей чаще, в буреломе диком, посреди замшелых зеленых валунов. На миг растерялся. Потом вспомнил, что Жив рассказывал, проверил себя, по коре на деревьях, по лишайнику север определил, обрадовался.

— Вылезай, братья, вылезай! — запричитал. заприговаривал, суетясь вокруг дыры.

С полсотни угрюмых разгоряченных уральцев вылезло, прежде чем он указал направление. Продира-

лись из чаши, не щадя одеж и кожи. Те, что с горячей водой за спинами, бежали последними. А как выскочили на полянку, Скил первым нырнул на землю. Отдышался в траве, охладился, повернул голову влево ... и увидел вдруг длинноусого Сугора. Тот глядел прямо в глаза, будто ждал чего-то.

— Ты еще откуда? — изумился Скил.

— Оттуда, — неспешно и степенно поведал посланник Гулева, — от самого зева веду вас, еще двое охочих наших следом идут. Как с Князем великим договорено.

Скил выругал себя мысленно. Жив ему, и впрямь, поручал слово передать семиреченцам. А он не дождался. Ну, да не страшно, сами поспели за ним.

— Хорошо след держите, — похвалил он шепотком.

— Так и сами держимся сколько времени, — подтвердил Сугор, — иначе Крон нам бы устроил веселые бега!

— Ну ладно, — заторопился вдруг Скил, — на металку верно идем?

— Верно.

— Тогда слушай. За нами первая тыща выползет. В бой не пойдет, силы неравны. Вы сразу к себе ведите, след замечайте. До ночи — еще три-четыре. А завтра все десять обещанные будут. Только без спешки. По знаку условному, понял?

— Понял, — отозвался Сугор. И уполз.

Камнемет охраняли две сотни, запасные дружины. Пришлось поджидать растянувшихся. Зато ударили мощно. Без шума. Без криков. Побили с десятков конных, столько же пеших. Бурдюки развязанные полетели на брусья с ходу. А там и стрела огненная поспела.

Жарко полыхнуло.

Дико заржали лошади, посбрасывали седоков, прочь поскакали. Но пешцы-вои не испугались, чуть опомнились — и бросились на уральцев с мечами да копьями. Пошла сеча дикая и бестолковая. В кутерьме этой Скил со скрытненскими пожгли еще три металки. Кинулись в одну сторону, в другую —

отовсюду неслись Кроновы дружинники, на подмогу своим. Назад, в чащу, нельзя было бежать, выдавать лаз.

— Что ж, тут и помер, братья! — прохрипел Скил, вытягивая меч.

Ворон, голый по пояс, черный, страшный, будто навь, выползший из-под земли, бегал по стенам, подбадривал, ругался на чем свет стоит, потрясал мечом.

— Не зевай! Вон заново лезут! Парь их, братья, парь!

И по желобу за стену лился новый ручей черной жижи, поливал лезущих по иссеченным зарубинами бревнам. Огонь вспыхивал в самом конце желоба, когда ручей наверху пресекался. И тогда жаркое пламя, огненным валом гудящим сметало воев с лесенки, катились они по склону и шарахались от них иные, еще только бегущие на приступ.

В диковинку был огонь жидкий Кроновым людям. Но не отступали русы, водой откуда-то взявшейся обливались и снова лезли. Не помогала вода. Помогали валуны да камни, бьющие беспрестанно, сшибающие со стены людей и бадьи. Третий час шел бой на Восточной стене. Но отбиться не удавалось. Уже сотни четыре тел мертвых, обожженных да побитых стрелами лежали по склонам. Не меньше двухсот воев недосчитывался Ворон, еще больше увечных да раненых было. Но волна за волной накатывались все новые дружины, давая передых прежним, сменяя их. А Ворону с воями его не было смены. Сами горели как в огне, воздуха не хватало — черный дым вздымался по стенам, душил, жег глаза.

Особо шустрых воевода сам сбивал перунами гремучими — воздавал большую честь сотникам-сторуким. Но не тратил добрых дротиков зря, берег и другим наказывал беречь.

Овила убило глыбищей прилетевшей, не успел отскочить. Так и прижало к кладке. Ворон пробовал откатить треснувший камень. Не смог. Только рукой махнул. Жалко было Овила, сколько с ним на Скрытне пожили, сколько домов поставили, скольких маль-

цов в свет вывели, ратному делу обучили. Жизнь долгую прожил, а помер в мгновение одно, с мечом в руке.

— Светлый вырий тебе, друже! — только и просипел Ворон.

И снова к желобам. Не было покоя, и не предвидилось.

А потому, когда заорал вдруг будто полоумный совсем рядом молодой вой, бывший его посыльный со Скрытня, Ранок светлокудрый, вздрогнул, голова кругом пошла.

— Горят! Горят!!!

Ворон насупился, приготовился обложить мальчишку по всей строгости, может, и оплеуху закатить. Но невольно поглядел, куда указывал рукой Ранок. Там, вдали, у самого леса полыхало ярим пламенем сразу в пяти местах, черный дым взвивался к небу... А главное, не били — не били больше в стены, в башни, в людей страшные камни, пущенные будто рукой исполинов-титанов. Передышка настала. Ай да Жив, молодец!

— Металки пожгли, — сначала сказал шепотом, а потом во всю глотку проорал Ворон. — Пожгли-и-и, мать их!

— Ор-рра-а!!! — зашелся пуще прежнего Ранок.

И вдруг повалился Ворону на руки. Пущенная снизу стрела опереньем черным торчала из горла. Воевода медленно опустил убитого на кладку, прикрыл глаза. Сколько таких уже, не счесть. Подручные унесут в холодный погреб, там лежат мертвецы. А потом ... после битвы, коли верх взять удастся, будет им одна большая общая крада, будет тризна. А не будет победы, возьмет Крон город — свалят в яму всех, для Крона они изменники. Жалко парнишку. Хоть и ушел на привольные Велесовы пастбища, в светлую новую жизнь. А все равно жаль!

Еще одной стрелой чуть не сбило шелом с седой головы, боль от удара резко отозвалась в виске. Ворон пригнулся. И увидал, что Ранок смотрит на него широко раскрытыми голубыми глазами ... мертвым стекленеющим взором. И увидел еще, что сам отра-

жается в его глазах — страшный, черный, старый, это ему бы лежать давно с таким вот взором оставившимся, ему бы тлеть в земле или гореть на краде, а он всех пережил... хотя первым всегда шел навстречу смерти.

Ворон поднял бездыханное тело на руки. Понес вниз, сам. Ноги подгибались от старости и усталости, качало из стороны в сторону, того и гляди свалишься со ступеней. Но он шел.

Внизу не было дружин, Ворон невольно удивился, куда ж они подевались, столько воев перетекло со склона внешнего в ворота ... и нету почти никого. Он донес Ранка до старой башни, спустился в проем. Глаз не сразу привык после огня и света к полумраку. Сперва Ворон увидел ряды мертвых тел, теснехонько и ладно сложенных одно на другое. Шагнул туда... И вдруг заметил Жива. Князь сидел на огромной каменной плите, тер руками виски, даже в темнотище было видно, что он то ли болен, то ли смертельно устал.

— Жив? — воскликнул Ворон, не выпуская тела из рук.

— Ты почему стену бросил? — спросил князь недовольно.

Ворон отнес мертвого к его сотоварищам, уложил без спешки. Потом вернулся к Живу, присел рядом.

— Без меня справятся, — доложил коротко, — наша берет.

Уральцы держались стойко. У многих рысьи шкуры на плечах стали из серых черными от спекшейся крови — и своей и чужой. Насадающих коней били тяжеленными палицами в грудь, кони таких ударов не выдерживали. А всадники не успевали сверху достать бьющего копьём или мечом, стрелы и дротики опережали их.

— Рысичей с налету не возьмешь! — приговаривал седой воевода с Урала.

Он дрался плечом к плечу со Скилом. Но и он понимал прекрасно — надолго их не хватит. Десятеро только и осталось. А Кроновы вои все напирают и напирают. В кольцо взяли. Могли бы и с рассто-



яния стрелами побить, да, видно, все лучники у них на осаде.

Скил размахивал мечом. А сам мысленно прощался со своей доброй и любвеобильной вдовушкой. Из такого кольца живым не выберешься, он понимал это очень хорошо. На пощаду рассчитывать мог только безумец. Значит, впереди смерть — скорая, неминуемая. Впереди — светлый Ирий. Если он продержится до конца.

Но руки слабели с каждым мгновением — булатный меч не павлинье перо. Скил твердил одно — только бы не упасть! только бы не упасть!

И все же упал. В глазах потемнело от удара, которого не видел. По затылку словно свинец расплавленный разлился. Он полетел носом в вытопанную траву, на искалеченные тела ... все перемешалось. А когда, изнемогая от слабости, с лицом, залитым кровью, начал подниматься, на поляне творилось что-то несуразное. Конные дрались с конными, хотя он точно помнил даже в полубессознательном состоянии, что кони были только у Кроновых воев.

— Орра-а!!! — кричали и те и другие. — Ор-р-раа!!!

Когда в глазах стало проясняться, Скил различил наконец — дружинников били вои в шкурах на голое тело, длинноусые и бритоголовые, ни на одном не было шелома. Зато сил у этих всадников было побольше, нерастрченных сил. Они рубили изможденных дружинников, сшибали с коней. И носился меж ними на вороной кобылице с длинной гривой всадник странный, не похожий ни на тех, ни на других — легкий, быстрый, в тонком кожаном доспехе на стройном юношеском теле. Длинные русые волосы его были сплетены позади в толстую косу, а сама коса вилась вокруг шеи, предохраняя ее надежней бронзы. Всадник этот покрикивал на бритоголовых, указывал что-то, вздевая меч, и его слушались.

— Сюда... — прохрипел Скил, начиная догадываться, что это за вои.

Теперь он видел, как многие из них подхватывали на своих лошадок уцелевших уральцев, уносились

прочь. Оставшиеся добивали Кроновых людей. Но не гнались за бегущими.

— Этого взять! — громко выкрикнул легкий всадник, тыча издали в шатающегося, готового снова упасть Скила.

— Возьмем, а то как же! — прозвучало сверху знакомым голосом.

Скил не успел обернуться, как жилистая и крепкая рука Сугора ухватила его под мышку, закинула поперек коня. Так же внезапно, как и налетели, всадники помчались с поля боя. Скил стонал, голова от тряски болела люто. Но надо было терпеть, а светлый Ирий обождет его до лучших времен. На скаку Сугор вырвал у него меч из намертво сжатого кулака, пояснил:

— Еще уронишь, вояка!

Скил не обиделся. Не врагу отдал оружие, другу и брату — он теперь его кровный брат. Скакали долго. Боль из острой постепенно сделалась глухой, живым грызущим зверьком ворочалась под сводами черепа. А когда остановились, Скил сполз вниз без помощи, разлегся на густой и сочной траве-мураве, уставился в небо темнеющее. Скоро ночь. А значит, конец бою. Как там, на Олимпе?

Старейшина Гулев подошел к лежащему молча, склонился, заглянул в раскрытые глаза ... и понял: ближний боярин Великого князя Жива спит. Так и заснул, не смежив век ... видно, устал шибко. Гулев встал, распрямил затекшую спину. Что там спрашивать, и так ясно все — уже семь тысяч воев перешло из крепости стольной в его становище. Томятся, ждут приказа. Только рано еще.

Посыльный от стен подскочил к Крону весь взмыленный, черный, словно преодолел не один переход да впридачу побывал на том свете. Корзно на нем и рубаха обгорели наполовину, на лице была сажа.

— Пробыли, князь! — закричал с ходу. — Пробыли стену!

Крон довольно хмыкнул. Еще бы не пробить — он знал все слабые места Олимпа. И потому лишь для отвода глаз послал воев с таранными бревнами

к Южным и Западным воротам, по Восточным бил из камнеметов. Но главная, неведомая изменникам, осадная дружина под прикрытием дощатых навесов вбивала клинья меж камней, из коих был сложен низ Восточной стены далеко от ворот. Там работали умельцы — без лишнего шума, без ора и ругани, не привлекая к себе внимания. Конечно, и их поливали сверху жидким огнем, и в них пускали стрелы. Но на стены они не лезли, а потому осажденные тратили на них припасов поменьше. Под покровом темноты подтащили бревно с сотней поперечных рукоятей, с литым железным бараньим лбом. Распаренные, намоченные клинья сделали свое дело, поколебали кладку, пустили по ней паутину извивистых трещин. А кладка была здесь потоньше, чем в иных местах — не видно то было снаружи, да изнутри камень еще три десятка лет назад осыпался в землетрясение давнее. Все учел Крон.

И потому радость свою ничем не выказал. Лишь поглядел поочередно на темников Крия и Мелета, что стояли с утра со своими войсками-тьмами наготове, приказа ждали, вытянул руку к стене Восточной, тронул с места коня гнедого — неспешно, шагом.

Сказал уверенно, вполголоса:

— К вечеру пировать в моем тереме родовом будем. Вперед, братья!

Обе тьмы, дружинами многими, слева и справа начали обтекать Великого князя — конно и пеше, потрясая оружием, грозно шли умелые вои, на ходу приветствуя величавого Крона, воздавая честь Князю.

Двенадцать стражей-охранителей ехали за Кроном, почти все новые, набранные из лучших, из верных, взамен погибших Кеевых братьев. Каждый готов был умереть за Великого князя. Но Крон жаждал не одной лишь победы — теперь уже близкой, определенной. Крон рвался в сечу, дрожал от нетерпения, его рука пока еще твердо держала меч — и все должны видеть это, все должны знать, что не только по праву правого, но и по наиглавнейшему праву — праву сильного он вернул себе власть, нераздельную, исполинскую власть. Новый доспех был на Кроне, лучше

прежнего — тонкие золотые насечки украшали бесценную бронь булатную, сплетались плетенкой сложной из сотен солнечных свят-оберегов, двуглавый сокол-рарог пламенел на нагрудном зеркале. Другой сокол, прямо и хищно глядящий вперед, гребнем раскинул крылья на шеломе. Не прятался Крон, не таился — пусть все знают, что Великий князь впереди, что он среди войск своих — под огнем, под мечом, под стрелами.

Двум десяткам племенных царьков-титанов да нубийской рати приказал оборону по краям держать, прикрывать. Но отборные дружины сейчас должны были идти клином смертоносным — в брешь, в пролом, все сметая на пути. И не помогут тогда изменникам ни жидкий огонь, ни перуны громовые.

Крон сдвигал бока жеребца, вытащил меч, вскинул вверх.

— За мной, братья!

Алое корзно за его спиной взвилось огромным крылом, как пламенем ярим полыхнуло — последний, победоносный бросок! И все сначала! Все!

А тем временем на Олимпе, в нижней светлице гостевого терема, что стоял недалеко от Восточных ворот, тяжело, в мучениях умирал сын Крона, вечный тихий узник Айд-Полута. Ведуны-врачеватели всеми снадобьями потчевали, всеми отварами поили — бестолку. Отходил смиренный княжич.

— Дай хоть шелом сниму! — просил сидящий в изголовье слева Дон. — Полегше будет!

— Нет, брат, — сипел Айд, — не будет. Плохой вой из меня. Первый раз на битву шелом подаренный надел, на стену вышел ... и вот. Дай хоть умереть в нем, не сымай.

Иззубренный дротик попал Айду в неприкрытую шею, под ключицу. Только высунулся поглядеть на приступ. Да так и не увидел ничего, повалился без сознания, истекая кровью.

— Что тебе шлем этот, — твердил свое Дон, ерзавший, ждущий, когда ж в сечу, злой, — как брат скажу, Полута, не видать тебе чистого Ирия, никогда, не воем ты помираешь, так чего мучаешься!

— Замолчи! — оборвал Дона Жив. Взглянул грозно. Не воем ... за такие слова у ложа умирающего не будет прощения. Совсем не умеет язык за зубами держать. Хотя и прав — послал бы Айд в нападающих хоть одну стрелу, полил бы их горючей водицей, рубнул бы хоть одного мечом — умереть бы ему тогда воем. Но не успел. А стало быть, не гореть ему на краде, обычай не велит, лежать ему в земле бедному.

— Все знаю, — еще тише просипел Айд, — не брани его, Жив, не ругай, правду он говорит — не воин я... — задохнулся, кровь потекла из рта. Прислуживающая дева в белом платке ловко утерла чистой тряпицей губы, только тень руки скользнула по бледному челу княжича. А он уже силился новое сказать: — Обещайте, братья ... на Скрытне меня схоронить. В колоду дубовую положите, шелома не снимая, медом тело мое залейте. А как война кончится с батюшкой, так свезите туда, в пещеру Диктейскую... Жив, ты знаешь.

Князь кивнул. Он сидел справа от умирающего. Надо было идти самому на стены, править оборону, готовить силы, приказы давать. Но не мог Жив бросить брата в такой тяжкий и злой час.

— Там ход есть дальний, глубокий, ниже хранилищ всех, ниже озерца черного с мертвой водой. Под ним трещина глубокая, кожи сказывают, нет дна ей до самого подземного царства. В ту трещину, в провал тот и сбросьте меня ... во тьму и во мрак уйти хочу, мне в Велесовых пастбищах угодий не будет. Обещаете?

Айд попробовал приподняться. Капли пота выступили на меловом лбу, потекли на глаза мутные, уже нездешние. Голова в шеломе упала на подушки, захрипел, пузыри пошли из рта пенные, кровавые.

— Обещаю, брат! — громко сказал Жив, сжал запястье умирающего, чтобы он почувствовал. — Как сказал, так и сделаем!

— Не сомневайся, — подтвердил помрачневший, плачущий Дон. — Быть тебе владыкой того мира подземного, быть царем преисподней земной, коли

тяжек тебе белый свет, коли небеса не пускают в себя!

Дон склонился, поцеловал Айда в губы.

— Во тьму хочу, — прошептал Айд, — простите, коль виновен в чем. И батюшку ... простите!

Жив положил тяжелую руку на стекленеющие глаза, смежил веки. Но глаза снова раскрылись — невидящие, пустые, страшные. Тогда Жив коснулся личины шелома, медленно надвинул ее на остывающее лицо — сам поразился: обитатель черного вырия, бесстрастный и ужасный, лежал пред ним. Искусен был Волкан, зело искусен, будто провидел будущее, поднося подарок свой.

Горевать времени не было.

Братья поглядели друг на друга, вздохнули. Завтра, а то, и сегодня, любой из них может покинуть мир Яви — все бrenно, особенно человек смертный. Но руки вешать не след.

— Ты к стругам возвращайся, — промолвил наконец Жив, — всех до единого веди сюда...

— Пожгут струги-то без охраны! — удивился наказу Дон.

— Без стругов обойдемся до поры до времени, без голов нет!

— Будь по-твоему, — Дон резко развернулся, пошел из светлицы, уже на выходе бросил через плечо: — все ты гонишь меня, видно, сам с отцом посчитаться хочешь? Боишься опережу я тебя?!

Жив не ответил.

Не успел младший брат опередить старшего. Крепить оборону не удалю надо было, а умом. Хоть и тянуло Жива в чистое поле, на сечу добрую, сдерживал он себя.

А Дон с десятком верным пробился горной лазейкой из крепости, повернул к морю. Скакал без передышки. Потом лежал на песке мокро, отдышаться не мог, куда быстрый Промысл не собрал все воинство — мало осталось, две тысячи всего набралось. Но сейчас каждый меч дорог был. И все же послушался Дон младшего брата, оставил на каждом судне по четверо воев, наказал увести струги от

берега — отступления и бегства на них, как прежде, не будет, а сохранить морскую силу надо. Забрали все оружие, остатки перунов гремучих. К Олимпу бежали пеше, коней на три десятка только было, на них поклажу навешали. Спешил Дон, все опоздать боялся.

Не опоздал.

Врезались с налету в орду какую-то дикую. Не сразу поняли, что то Кроновы союзнички. Лихо дрались иноплеменники, достойно. Да мало еще в них умения воинского было — размели орду, половину положили костями вдоль стен, другая рассеялась. Сами сбоку ударили в русские ряды, сцепились не на шутку.

Тут уж Дон снова на коня взлетел. Увидал стяг великокняжеский вдалеке, в гуще самой, за сто шагов от Восточной стены.

— Вперед, братья! — кричал. — Навалимся!

Первым неся, разя встречных-поперечных то левой рукой с зажатым в ней мечом, то правой — трезубцем грозным, устрашающим. Прокладывал дорогу. И внезапность наскока помогала Донову воинству, все глубже врубалось оно клином бесстрашным в неисчислимые полчища — смело, безрассудно, лихо. Промысл, молодой и ловкий, прикрывал Дона справа, чуть отставая от него, боясь попасть под горячую руку. Рубил врага — не щадил братьев-русов. Знал — и они не пощадят, только откройся, только подставь голову. Голову... Промыслу поведали уже про судьбину горькую боярина Строга, ночью срезали ему голову, а ведь добрым был наставником, дядькой, не чужой, отец. Не было б распри, жил бы Строг мудрый, других бы учил... Только как без распрей, коли ярь из каждого прет, коли каждый считает себя сыном Прави на земле. Ряда нет и не было. Вот и пришел о н, которого все узнали, который принесет ряд! За то и смерти не страшно. Будет ряд на белом свете, все будет, за это стоит биться. А Жив — это ряд, это строй жизни людской. И Промысл бился, не щадил себя, аж руки ломило.

— Вперед! — не смолкал Дон.

Он почти ничего не видел. Кровь застила взор,

кровь и гнев яростный. Но рвался к стягам. Знал, пробьется. А там ... он и позабыл, что принял решение твердое не лишать жизни отца родного, лишь в поруб его на времена вечные посадить ... забыл. Сейчас вся воля его, вся сила и ум были на кончике меча разящего, на каждом из трех островов смертоносного трезубца.

— Вперед!!!

Дон пробился к бреши в стене одновременно с Кроновыми дружинами. Пробился и телом своим, телами коней и воев заслонил дыру огромную, приняв удар на себя. Задние подтягивались. И пусть от двух тысяч всего семь сотен осталось, обойти эти сотни стоящие насмерть, нельзя было. Лес копий и мечей встретил лучшие дружины Крона и его темников знатных.

— Смести их!!! — проревел разъяренный Крон, не ждавший подвоха, уже видящий себя внутри града покоренного.

Мелет бросился на неожиданного врага. И упал с коня, пронзенный трезубцем — насквозь через булатные брони прошли острия, вырвали обратно внутренности. Дон был силен, сталь Волканова остра. Семеро сторуких Мелетовых, спешивших за ним, за предводителем своим, обрушились на Дона с трех сторон. Двое сцепились с Промыслом. Но и морские вои-пешцы не зевали резали конных снизу, не жалея ни людей, ни лошадей — отбили княжича седого. Четверых он сам положил. И не стал ждать нового нападения — двинул вперед, на блеск раскинувшего позолоченные крылья сокола, на батюшку, на врага самого лютого и страшного.

А дружины Кроновы рубились нещадно со смельчаками, взявшимися неведь откуда, казалось, что их тысячи несметные. Но это только казалось. Теперь лишь пять сотен сдерживали натиск, не давали ворваться в брешь. На грудах тел, мертвых и еще живых, израненных до неузнаваемости, стояли, ибо не было на земле места. Стояли. И не пропускали ни на шаг.

Промысл терял силы. Но бился. Мысль злая точила мозг: где же князь их великий, где Жив, ведь

в городе еще много свежих дружин, тысячи воев, где он сам, в конце концов! Неужто не видит сечи лютой. Не может не видеть! Значит, замысел у него какой-то... Или бежал?! Нет, нельзя таким мыслям ход давать, нельзя! Промысл рубился отчаянно. Не помышлял назад поворачивать. Но за княжичем седым, за Доном не поспел. Тот прокладывал средь дружинников дорогу кровавую к стягу алому, рвался в поединок с Кроном.

— Выходи на бой! — ревел Дон сипло, дико. — Пришла пора посчитаться нам! А-а-а!!!

Столь зла было в нем, столь ненависти и яри, что казалось не человек ворвался в гущу боя, а демон Мары-убийцы, безжалостный и чудовищный демон. Страшен был Дон. Сам не помнил, где сбили с него покореженный шолом. В помятых латах-бронях, залитый кровью, местами багряной, а местами уже спекшейся, черной. Всклокоченный, красноглазый, ощеренный — карающий лютый бог.

Крон узнал сына, нахмурился, крепче сжал рукоять меча. Мальчишка! Безумец! Сейчас он враз затихнет... Давно надо было со всеми ними... расправиться! не в темницу нетемную, не в привольные терема на Олимпе! надо было их в петлю... или в пески нубийские, к Дышащему морю-океану! а он их жалел по-отцовски! Все! Хватит! Крон сдвинул бока гнедого Ветра, подался вперед — старый, жилистый, хищный.

Но стражи опередили Великого князя. Все двенадцать, с двух сторон, смертными клещами пошли на разъяренного великана. Четверо тут же сложили головы. Пятый вышиб из руки седого княжича меч, сам пал, пронзенный трезубцем. Еще двоих одолел Дон. Но с трех сторон подняли его на копьях — спасибо добрая Волканова броня тело оберегла. Вскинули его над полем боя. И в миг один поразился он сам лютой побоища небывалого, содрогнулся — от окоема до окоема бились тысячи русов смертным боем, только лязг громовый да крик стоял до небес. Оцепенел Дон. И тут бы смерть ему пришла. Да поспел Промысл, метнул в стражей Кроновых перун громовый. Рвануло сильно, кони наземь попадати,

копья переломились. Сам Промысл еле удержался, но и здесь не оплошал, подался вперед, ударил испуганного коня пятками в бока, подхватил оглушенного Дона вместе с трезубцем его. Чиркнул кресалом, бросил еще перун, уже развернувшись. Взрывом его подтолкнуло к стене, к крепости. А за спиной stones раздались, ржанье дикое. Мечом прорубал Промысл дорогу. Свои насилиу признали его, но пропустили в брешь.

О разбросанные повсюду валуны, камни, обломки настилов конь чуть ноги себе не переломил. Завалился прямо за стеной, Промысл еле успел выскочить из-под него, упал рядом с Доном, разбил локоть. Вокруг собирались вои-дружинники, смотрели, не узнавая, вели копья на них.

— Очумели, что ль! — просипел Дон, вставая, потрясая своим трезубцем и явно собираясь вернуться назад, в гущу боя.

Он сделал пять-шесть шагов, еще выше поднял грозное оружие над головой, замер на мгновение. И упал лицом к брешу, лицом к врагу.

Яра устала выжидать. Так можно было дожидаться того, что Крон возьмет крепость... Вот тогда он точно попомнит Гулеву все зло, свершенное, не видать им как ушей своих никакого Семиречья, коли оно вообще есть. В походе долгом, за время стычек с ватагами разными и ордами Яра не так привыкла к мечу, как за эти два с лишним месяца постоянных набегов. Поначалу Гулев не отпускал ее, грозился снова в цепи заковать, вервием связать — виданное ли это дело, девам биться в сечах да набегам. Но потом смирился. Избранница богов! Любимица!

Род Гулева перебирался из-за столпов Яровых, бросив дома, скот, крупную утварь. Шли легкими обозами. С самого начала Яра держалась мужей, хотя и наособицу, но с ними, сторонилась жен и дев. Ну, а как начались вылазки лихие, совсем про них позабыла. Ведь пошли Крон карателей, им плакать в первую очередь. А для решающей схватки людей не доставало — и жены семиреченские сами вызвались кто покрепче да помоложе, у кого грудничков на

руках не было — три тысячи с лишним набралось. Гулев хотел Яру над ними поставить. Та наотрез отказалась.

— Погубить чтобы?! — промолвила твердо. — Нет уж! Надо их по сотням разослать — в каждую по десятку, может, что и выйдет.

Гулев понял, она права, так польза будет. А от бабьей рати навряд ли, собьются в кучу, растеряются, никакой, даже самый лихой воевода их не растормошит. Да и Яра приبلудшая со своим лихим отрядом свыкла. От добра добра не ищут.

Сила собралась немалая. Десять тысяч присланных Живом. Да восемнадцать своих... с девами-поляницами. Скил все вился вокруг княжны, норовил в свиту к ней. То ли шутил, то ли серьезно предлагал.

— К своим ступай, — непреклонно отвечала Яра. Даже про любимого не спрашивала. Пусть парень гадает, она ли то или не она. А ухажеры ей не нужны.

Со своими, со скилами, молодой воевода быстро нашел язык. Он его и с детства, с отрочества, когда попал в плен к русам, не забывал. А тут сразу полторы тысячи родных! Все благо, да потолковать вдосталь времени не было.

— Ладни ратник став, — признал его Рулад, старший над отрядом с Яровых столпов, — а быв малиц плохий, худий.

— Плохий да худий, — разулыбался Скил, — а в наскок бравли.

Расцеловался со старшим троекратно. Узнал, что мать одна осталась, отец в позапрошлом годе утонул в море, новый путь за Столпы разведывал.

Поговорить не успели.

Гулев дал знак. Шестью колоннами пошли вперед, шестью полками. Больше выждать не могли, из лаза гонец выполз, про которого только Гулев с Ярой знали сказал, в крепости худо, преодолагает Крон — поначалу отбили приступы, обрадовались, думали передышка будет денек-другой, а тут брешь да натиск свежих сил, втрое сильнее прежнего. Жив велел, как уговорено было — всей мощью ударить

по Крону сзади, зажать его меж крепостью и собой. Сказал и про горный ход, про дружины, посланные с другой стороны. Дело рисковое, сложное. Тут или пан, или пропал.

— Род на нашей стороне, братья! — напутствовал Гулев. — А помереть доведется, так, знайте, не зря!

Шли тихо, неспешно, обдуваемые ветрами, под солнышком добрым, ясным. Денек на славу выдался. В эдакий день свадьбы играть да веселиться. А им помирать. Деревья листвою шелестели, дунет ветром сильнее — летят листья оторванные, не жить им больше, не зеленеть. Какой ветер им в лица дунет? Шли тихо, чтобы не растянуться, сил не рассеять.

А за лесом, как в дальней дали завиднелась крепость Олимпийская, в шесть слитных, литых полков собрались. Постояли недолго, невидимые пока противнику. И пошли на него веселым ходом быстрым, боевой лавиной потекли. Ударили в спины, неожиданно. Кроновы полки развернулись не сразу, растерялись, не чаяли сзади силы вражеской.

— Ну, братья, не посрамим себя! — выкрикнул Гулев.

Бился он палицей — по-старому, по-дедовски, как прашуры бились. Крушил направо и налево. Для Яры палица тяжела была. Ей хватало легкого и узкого, длинного меча булатного. Секла лишь тех, кто на нее наскакивал, секла, а у самой сердце кровью обливалось. И не понимала, откуда в ней умение это, откуда ярь молодецкая... Берегли ее Стимир с Хисом, стерегли ее лучшие вои усаые, воеводой Гулевым поставленные втихую — будто рядом бились, сами по себе, а хранили любимицу богов, оберегали от лихих поединщиков. Да еще с десятков лучших лучников конных, кружились всегда по соседству, в слишком резвого всадника, подбирававшегося к ней, стрелу пускали, без промаха били. А казалось со стороны — будто и впрямь бессмертная дева, Велесова дочь-вальсирия носится, летает над бьющимися, одним смерть даруя из рук своих, другим жизнь.

Сама Яра не видела лиц, все были одинаковыми. Сердце стучало: Жив! Жив!! Жив!!! Они совсем близко, почти рядом. Он где-то там, за крутыми

стенами, в осажденном городе. А она здесь. Она несет ему свободу, жизнь. Она его надежда, его спасение! Ради этого стоило терпеть муки, разлуку. Выбор был верным. Пойди она к нему тогда, и не было бы этих полков засадных, не было бы той последней силы, что могла остановить Крона, безумного в своей ярости, в нечеловеческой жажде власти и победы. Она вытерпела. И она спешит к нему. Она не демоница смерти-Мары, не дева печали и плача, но вестница жизни, счастья и их любви. Бесконечной, неизъяснимой любви!

— Прости меня, брат! — Яра ссекла голову дружиннику, воздевшему на нее копьё.

Ударила рукоятью меча в подбородок другому, наскочившему вплотную. Пронзила насквозь третьего — тот так и умер на ее мече, с изумленным взглядом стекленеющих серых глаз, он один из многих признал в ней деву. Ну и пусть! Она готова разить каждого, если понадобится, всех... Ради себя! Она не могла умереть сейчас, когда любимый столь близко, она не могла не увидеть его, не могла сделать его несчастным, она должна была жить, спасая его. И потому она имела право убивать тех, кто ей мешал, имела!

А Скил берег силы. Почем зря не размахивал мечом. Он еще после боя на поляне у камнеметов не оправился. Ныли руки, болели растянутые сухожилия. На синяки, ссадины и ушибы Скил внимания не обращал. Он берег себя, потому что знал — главный бой будет там, у стен. А пока они, все эти странные нездешние люди, и его племя иверийское, и присланные Живом дружинники — все вместе теснили Кроново полчище, прижимали его к крепости, вдавливали в ее стены. И не было у супротивника места развернуться, осмотреться, оправиться — кольцо сжималось, ловушка захлопывалась.

— Идут! — прохрипел рядом Сугор, отбивая удар меча, пригибаясь, но все видя: — Наши идут!

Скилу понравилось. Наши! Теперь и он видел, как от горной гряды, что тянулась с самого Олимпа до севера, бежали к ним на подмогу дружины, из тайного хода вышедшие позади осаждающих — тысяч

восемь бежало, а то и десять. Это хорошо. А еще лучше, что Сугор так сказал про них, про воев Руси — наши.

— Опп-аа!!! — заорал во все горло Скил. Теперь медлить не было смысла.

Жив наблюдал за событиями из теремной башни. Ни один валун не долетал до нее — далеко и высоко стояла она, посреди Олимпа. Прибегающие гонцы лишь подтверждали известное ему. Неожиданностью стал прорыв Дона, он путал все планы.

Пришлось спускаться с поднебесных высот на грешные склоны великой горы. У внутренних ворот терема ждал его оруженосец Смел, держал на поводу верного Булана.

— Вот и наша пора приспела, — сказал Жив как о чем-то обыденном.

Вскочил на коня. Ближняя старшая дружина потянулась за ним, две сотни отборных всадников, лучших бойцов. За воротами еще три тысячи свежих, не измученных сечей воев ждали его, приветствовали громко и истоиво. Им не терпелось влиться в битву, поддержать умирающих братьев.

Еще на ходу, гарцуя пред полками на Булане, Жив заметил спускающегося со стены Ворона. Обождал, пока тот подойдет вплотную. Взглянул укоризненно.

— Не мое дело оборону держать, — сокрушенно признался седой воевода, — возьми с собой!

Жив собрался было спросить, откуда он знает про замыслы, куда взять-то? Но не спросил, значит, всем ясно и без того. Не сидеть же сиднем, не ждать же, покуда придут и зарежут, аки скот бессловесный.

— Коня воеводе! — крикнул в старшую дружину.

Ворону подвели черного жеребца, вороного. Он влез на коня, ускакал куда-то. Вернулся быстро в ладных бронях, в шеломе новом, непобитом, с двумя мечами — чистый, умытый, будто скинувший лет тридцать. Жив улыбнулся старому дядьке, заглянул в заспинную тулу — там было два десятка перунов. Скорехонько собрался матерый кореван, но на совесть. Ему бы всего одну тысячу таких воев, как он сам, весь мир бы положил к стопам Великого князя!

На сидящего возле стены Дона Жив поглядел с прищуром — одна и та же картина: вечно он бьет, вечно его бьют, опять еле живой сидит, перевязанный, иссеченный. С таким и говорить толку нет, пусть в себя придет. Рядом с братом суетился молодой Промысл, не столько обихаживал и отпаивал, сколько не давал встать, Дон все порывался вскочить, бурчал нечто невнятное, рвался куда-то. Он был явно не в себе.

На Великого князя Промысл взглянул изнизу, быстрым, оценивающим и не очень добрым взглядом. Жив не стал выяснять причин недовольства, проехал мимо, но взгляд этот странный запомнил, хотя давно знал простую истину: всем мил не будешь... Промысл, сын Ябеда, того самого, с которым бился буйный Дон, раны врачует? Кому?!

Две больших рати собрал Жив возле бреши пробитой, откуда неся гул сечи и около ворот Восточных. Еще полк, поменьше, стоял у Южных ворот, тысячи воев застыли на стенах. Оттуда, сверху махал ему рукой огромный даже издали Волкан — расстарался коваль, не только перунов наковал вдосталь, изладил два десятка мощных самострелов, коими перуны гремучие через головы своих с башен можно в Кроново войско метать. Сейчас этим делом заправлял, многих метальщиков на ходу обучать приходилось.

— Всыпь им горячих! — громко выкрикнул Жив, воздел к небу сжатый кулак в черной перчатке с булатными пластинами.

Волкан понял князя, надо спешить, пока свои полки с чужими не смешались в последнем, роковом сражении. Скоро поздно будет метать перуны, скоро начнется, эдакая каша заварится, что не расхлебать.

— Братья мои! — начал Жив, когда стихло все вокруг. — Настал час нашего выбора. Не жизнь или смерть выбираем. А честь или позор на века вечные. А жизни конца нет, ибо сраженные мечом уйдем мы в светлый Ирий небесный, на привольные луга Велеса, к славным предкам нашим! Не страшна смерть-Мара. Но я, Великий князь всех земель Русских, заклинаю вас жить! Живите, братья! И побеж-

дайте! — Он замолк, оглядел воев сверху, величественный и могучий, и гортанно выкрикнул: — Вперед, братья!!!

Ворота распахнулись разом, там были наготове. Будто запруду отворили — и выплеснулись наружу могучие, сдерживаемые дотоле волны — вырвались за стены дружины, жаждущие сечи. И первым, в разверзтую дыру-брешь, вылетел на горячем коне Великий князь, сын Великого князя — Жив Кро-нид.

В высоком пернатом шлеме, сверкающем золотой насечкой, в черненых булатных бронях и развевающимся за плечами золотистом тонком корзне, статный, прямой, вселяющий ужас своей литой мощью, не пряча лица под защитной личиной, отражая все небо великое и все поле необъятное, занятое живыми и мертвыми русами, отражая весь мир в своих бездонных серых глазах, сдерживая жеребца норовистого, дабы не подавить отпрянувших Доновых морских пешцов, надвигался он на Кронову рать, и шло за ним войско могучее, грозовой туче подобное. Еще прежде, чем столкнулись — копыта в копыта, мечи в мечи две силы земные, выхватили вои старшей дружины из заплочных тул перуны громовые — две сотни разом, ударили кресала, гарью потянуло вдоль стен, едкой и странной, вскинулись вверх двести рук... И чудовищный грохот, будто грозовая туча разродилась всеубивающей исполинской молнией, сотряс Олимп и его окрестности. Грохот заглушил стоны, крики, вопли, ругань, хрипы умирающих людей и лошадей.

Но когда он стих, один из ошеломленных, стоящих на коленях дружинников Кроновых, выкрикнул отрешенно:

— Громовержец!

Его услышали те, что выжили, ближние — и потекло, побежало, загудело повсюду:

— Громовержец! Громовержец!! Громовержец!!!

Но недолго длилось замешательство. Иная туча, смертная, вырвалась из полчищ Кроновых, туча стрел, разя без разбору дружинников, конных и пеших. Прежде, чем выстоявшие достали из тул перуны, еще

одна туча накрыла их, сбивая с коней, валя на землю. И все же не меньше полутора сотен перунов разорвались на переднем крае отметенных от стен Олимпа Кроновых полков.

— Вперед, братья!! — снова выкрикнул Жив.

Он прорвался сквозь третью черную тучу. Метнул зажженный перун. И тут же выхватил оба булатных длинных меча — смертными смерчами взметнулись они над головами, заискрились радужными, переливающимися веерами. Посыпались наземь убитые, безголовые, рассеченные надвое, раненые, безрукие, безногие, увечные, оглушенные... Никого не щадил Жив. Громовержец? Да, пускай его считают всемогущим, беспощадным вершителем судеб, громовержцем. Пускай! Позже они, выжившие, поймут еще одну вещь — он справедливый громовержец! Но нет прощения поднявшему руку на него!

Ворон вихрем летел позади. Отбивал удары, сам рубил. Душа словно из поруба вырвалась на вольную волю. Долго он сдерживал ее, очень долго. С тех пор, как Кроновы люди порубили всех до единого братьев его, лесных кореванов, порубили на горной тропе узкой, что вела к Диктейской горе. Были схватки с ними на Скрытне, были. Но теперь они в счет не шли, теперь все решалось здесь... и братья смотрели с небес на него, он не мог их подвести. Одним глазом глядел на поле Ворон. Но видел лучше двуглазых. Кровавый проулок тянулся за ним. А руки старые устали не знали. Молча бил Ворон врага, без крика, без проклятий. Зло бил. Но и за сыном госпожи своей вечной, государыни Реи приглядывал.

А Жив рвался вперед. Знал — все, кто пошел за ним, кто бьется на его стороне, смотрят на него. Он их сила, он их вера, он их надежда!

— За мной, братья!!!

Старшая дружина шла плотно, успевая расчищать себе путь вперед, к ставке Кроновой то перунами, то мечами. За ней шли дружины прочие, за ней тянулись выжившие вои, чьи полки были рассеяны да перебиты частью. Бой закипал с новой, невиданной силой. Но не бежали, не отступали рати осаждающих стольный град Руси, сильны были пока... да и

некуда было им бежать — сзади напирали засадные полки. Некуда! Оставалось одно — биться до конца, биться насмерть. Что ж, каждый из них сделал свой выбор, еще тогда прежде, когда уходил с Дона в рядах Крнова войска. Каждый рус волен над своей судьбой. И иной Судьбы, владеющей им, не знает. Кипел бой. Безудержная сеча напояла землю горячей кровью.

Смешались полки и дружины, смешались вои, конные и пешие. Уже невозможно стало отделить друга от недруга, ибо и ближние, и дальние русы, и срединноморские, и индские, и хоттские, и яравийские поделились на своих и чужих. Все реже неслоь над полем и по склонам русское «ор-ра!», единое для всех.

— Кро-о-он!!! — кричали одни.

— Жи-и-ив!!! — неслоь из глоток других.

Далеко от бреши, далеко от стен Олимпа Русского отбили осаждающих. Да и не стало тсперь таких. В чистом поле бились.

И чуял старый Крон недоброе, видел, как иссякают рати его. Но не мог поверить в поражение свое. Ибо верил только в победу. Не было больше у него запасных полков. И оставшимися можно сломить противника, разгромить изменников — Крон иного не принимал ни душой, ни сердцем. Но себя берег. Врывался в гущу боя там, где теснили его дружины, увлекал за собой, кидал в прорыв воев воспрявших. Сам возвращался в ставку свою посреди поля, в окружение советников-думцев и стражей верных, замирал каменным изваянием конным посреди старшей дружины. Со многими изменниками, кружившими прежде вокруг престола великокняжьего, встречался он в бою лицом к лицу — многим воздал по заслугам их. Многие ушли. Крон знал, и этих достанет его рука. Только прежде достать надо главного... нет, не изменника, не самозванца... главного зачинщика распри великой. Ему ответ держать! Хотя и сын... вздрогнул, холодком повеяло изнутри, старческим, недобрый. Сын? Он сам, в мыслях, назвал его сыном?! А как еще назвать? Не было никакого пришлеца с Севера! Не было! И княгиня покойная, невинно

убиенная им по его неверию и мнительности, его преследованиями неотступными, лишаящими ума светлого, надумала себе образ, коего не было никогда! Надумала... и поверила в него! Из жизни горькой и страшной, из Яви недоброй ушла живой жить в мир грез и наваждений, заслонила от него, от мужа, от Князя великого, тенью нетелесной, измышленной. Да так, что и он поверил! Поверил до острой боли сердечной, до помутнения разума! А тут еще гадалки-ворожеи, ведуньи-прорицательницы. Не от Рода они были, не от Велеса... от Мары-искусительницы! Грех на нем. Неискупимый грех! Только каяться поздно. Прошло время покаяний. Пришло время битвы.

Жив неудержимо рвался чрез бранное поле к стягам отцовским. Туда! Не вестником смерти, нет. Остановить эту братоубийственную сечу можно было только там. Уже и шелома великолепный сбили с него, и поручи ссекли, корзно в клочья изорвали. Коня доброго Булана потерял, после него еще двух сменил. Но мечи, скованные Драгом-Волканом, не тупились, легки и остры были, не мечи — молнии ослепительные, быстроразящие в дланях вездесущего и всемогущего вершителя. Грозен был Жив и красив ярой красой воина. Длинные светлорусые волосы прядями металась по плечам его и спине, взвивались в порывах ветра, светились золотом в лучах клонящегося к закату солнца. Короткая, вьющаяся борода и скрывающие верхнюю губу густые русые усы старили его, придавали вид зрелого, тертого жизнью мужа. Холодным льдом далекого Севера предков, унаследованные от самого Борея-древнего блистали на темном, обветренном лице светлые, серые глаза — не выдерживали их огня ясного те смельчаки, что встречались взором с Великим князем... вторым Великим князем на этом поле смерти и жизни. Броня скрывала спину и грудь. Два могучих плеча синели двумя родовыми соколами, от них, вниз по рукам вились искусно наколотые узоры, словно оплетали ветвями сказочными. По соколам царственным и по узорам дивным узнавали вои молодого Князя. И бро-



сались на него одни, зверея от ужаса и от представившейся возможности славы себе добыть, сразить сильнейшего противника на поле. И теряли силы иные, роняли мечи, копья, дротики, палицы... Обессиленных Жив жалел. Звереющих вразумлял, ибо негоже стоять на дороге у Князя. Бился яростно. Но без злости в сердце. Оглядывался на дядьку: старый, тяжело ему.

А Ворон себя не щадил. Предчувствие легкое и даже сладостное навевало на него — последняя сеча твоя, старый кореван, последняя! Чего ж щадить тогда?! Думать думы времени не было. Но мыслишка проскальзывала, коль последний то бой его, значит, пора и на покой, пора на лавку, навоевался. Вот кончится бой — и напомним Живу, сыну своему названному, чаду самому близкому и государю нынешнему про обещание, про Скрытень-остров, уплывет туда жить-доживать, жизнь вспоминать... он заслужил, не моложе Крона-старого, душа покоя просит. А сил на дом свой, на поле, на лес со зверем небитым, на женушку добрую пока хватит... Ворон первым увидел странного всадника, легкого, тонкого, вездесущего, что быстрой тенью метался на другом конце поля, тесня дружины Кроновы. Будто вестник Рода с небес спустился, не видывал прежде таких. Вон оно как обернулось, сдавили старого князя эдак, что уже края кольца-удавки видны, своих различить можно... И вдруг понял — дева это, в бронях, на коне, но дева. И за ней, и по всему полю много дев да жен рубится, нездешних, платами замотанных до глаз, чтоб пыль не летела на лики. Но эта особая.

— Дева, — выдохнул он. — Дева-Победа наша!

Жив, теснящий огромного черного ликом нубийца наемного, обернулся на миг, взглянул взором странным, почти детским, широко раскрытыми глазами, утратившими вдруг ярь лютую.

— Где?!

Ворон не успел ответить. Палица нубийца — не палица, а скала многопудовая — зависла над головой Жива, его Жива, того самого мальчонки, что вытащил он когда-то из пещеры погибельной, кото-

рого омыл в водах светлого небесного ливня, которого тихо, в душе своей считал сыном своим приемным, Жива, с которым и прожил жизнь долгую, горькую и сладкую, одну-единственную, дарованную ему Родом. Прыжок его был стремителен и непостижим для человека, повалился позади с переломанным хребтом конь, не выдержавший удара ног прыгнувшего воеводы. Никто не видел этого прыжка. Видели только меч, пронзивший горло нубийца, слышали хряск сокрушаемого тела — палица-скала раздробила плечо и грудь Ворона. Он умер в одно мгновение с нубийцем. Но уже после смерти успел повернуться к тому, кого спас. И узрел — жив!

Сильные руки подхватили старого воеводу, не дали упасть наземь, на тела, изуродованные смертью. Все-го ожидал Князь великий, только не этого. Бессмертным, неистребимым казался ему дядька старый. Казалось, всегда будет он на свете, как был до рождения его, как был при всей жизни... И вот нет Ворона! Жив прижал мертвое тело к груди, склоненным лбом коснулся лба, закрыл глаза, проваливаясь во мрак... Нет Ворона! Нет прежнего мира! Он умер вместе с ним. А новый... новый еще не родился. Горючая слеза стекла с его щеки на щеку холодную, застывающую. Жив оторвался на мгновение и увидел, что из единственного, полуприкрытого глаза дядьки... нет, отца названного, из мертвого глаза, тоже катится серая мутная слезинка.

Верные стражи стерегли его, не подпускали врага. Да и все меньше оставалось на поле яростных, остервенелых воев противника, все больше бессильных становилось, бросающих мечи и горбящих спины. Не стихала сеча, но бились тяжело, нехотя и вяло, без удали, словно работали трудную, подневольную работу не вои, но пахари. Сумерки накрывали мир, в коем не было мира.

Ворона Жив передал с рук на руки. Ничего не сказал. Стражи его сами все знали — дюжина ушла назад с телом, в крепость стольную. Тогда лишь Жив глянул к окоему темнеющему. И увидел ту, о которой обмолвился Ворон — вестника Божьего с разметавшимися нимбом волосами, посланца... или посла-

ницу Рода и Матери Небесной Лады. Дева-Победа! Это ее рати... и его, посланные ходами тайными, не дали полчищам отойти, собраться воедино, ударить сызнава и раздавить их. Дева-Победа... или просто видение, тень уплывающая во владения Мары.

— Вперед! — выкрикнул, громче прежнего.

До ставки Крона было рукой подать. Все! Хватит! Пора кончать с этой бойней. Остатки старшей верной дружины рванули за ним, отставая, круша все на своем ходу.

— Вперед!!!

И все же их опередили. Жив увидел за двадцать шагов, что его люди бьются с отцовскими стражами. Бьются в безумном, яростном, беспощадном бое. Ближе всех был молодой Промысл на серой кобылице. Он рубился с черноволосым, короткобородым воеводой Крона, Жив не сразу признал его, а когда признал, сердце сжалось — только было поздно: отчаянным быстрым ударом Промысл снес курчавую голову, успел подхватить ее, вскинул над собой в левой руке и закричал хрипло и дико:

— Аа-ааа!!!

Это зрелище остудило Жива. Молотом ударило в виски: неужто и он такой? зверь? нечеловек?! Нет! Он ринулся вперед и мощным ударом кулака сбил Промысла с лошади. До ставки на пригорке оставались считанные шаги, повсюду вокруг бились смертно, люто. Бился и сам Крон, разя каждого, кто осмеливался подняться к нему, на этот последний невысокий холм-оплот. Отец! Князь! Он не видит его, своего сына, свою гибель!

Жив оглянулся на ближних стражей, кивнул им. Но дружинники не успели поднять рук, как откуда-то из-за спин вырвался полуголый, разгоряченный и дикий Дон. Он тоже рвался наверх, к отбивающемуся из последних сил Крону.

— Смерть! Смерть!! Смерть!!! — ревел бешеным медведем Дон.

Жив нагнал его в два скачка, дернул за плечо на себя, ударил в грудь, потом в лицо, сам получил в ответ локтем в подбородок. Наконец ему удалось спихнуть брата наземь, перехватить меч, срубить го-

лову дерзкому вою, бросившемуся на него. И только тогда он крикнул назад:

— Давай!

Большая сеть с бронзовыми грузилами взлетела вверх, развернулась в темнеющем небе — и пала на Крона с ближними его, валя всех без разбору.

Жив спешился, подбежал к бьющимся под сетью людям и коням. И вдруг увидел пылающие неистовым зеленым огнем глаза Крона. Отец смотрел прямо на него. Он не желал верить, что все уже кончено.

— Безумец... — еле слышно прошептал Жив.

Позади гроыхнуло громом небесным. То его стражи последними перунами громовыми остановили последний вал сечи.





Эпилог

— И поделили они царство Кроноса на три части, внучок. И стал каждый властвовать над своей. Зевсу достался Олимп светлый и все земли, населенные племенами разными. Посейдону гневному и ярому — моря и океаны со всею живностью в них, со всеми островами, со всеми плывущими по морям этим. А Аид ушел царствовать в подземное царство, править всеми мертвыми и всеми чудовищами, изгнанными с Олимпа и с земли... Три было брата, каждому выпало свое. Ибо богу — богово, царю — цареву, а человеку смертному — что останется. С той поры боги и живут на Олимпе во дворцах светлых, нектар вкушают...

— Боги далеко, — заключил внук, не дослушав говорливого деда.

Они сидели вдвоем в темной пещере, прятались от жара полуденного. С трех сторон камень порос лишайником, мхом. Зато четвертая, южная, была чистой — лишь десятки фигурок в гребнистых шлемах испещряли ее. То дед рисовал тертыми красками из

кореньев да чудными камнями, собранными в горах. Рисовал все одно — богов да героев, про которых рассказывал внуку. Получалось красиво... и немного страшно. Старших, родителей не было с ними: кто коз пас по склонам, кто по лесу собирал что съедобного попадетсЯ.

Сидели тихо. Дед рассказывал, внук запоминал. Чтоб было что и ему рассказывать внукам, детям, всему племени. Только не таких слов ждал дед-говорун. Нахмурился, низкий лоб сморщил, совсем старым стал.

— Не говори так никогда! — просипел строго. — Боги, они всегда близко, они все видят и все слышат. Боги везде! Они хоть и справедливые, все по ряду вершат, но гневить их нельзя! Вот войдет сейчас...

Внуку, черноглазому мальчонке лет пяти от роду, одетому в одну грубую тряпицу, обернутую вокруг чресел, худенькому и смышленому, представилось, как озаряет вдруг словно солнцем дыру пещерную, как вырастает в проеме светловолосый и светлородый великан в сверкающих доспехах, с мечом, с перуном в руке. И смотрит он ясными светлыми глазами, в которых само небо, обитель богов, смотрит совсем не грозно, а даже весело, улыбается... ведь он, маленький Пелос, ничего плохого этому доброму богу не сделал, за что же он будет его наказывать — он, такой могучий, такой красивый, такой светлый... и такой добрый! ведь это же не чужой, это его бог!

— Я вот уйду к ним, — сказал мечтательно внук.

— Что ты! Что ты! — замахал руками чернородый дед, даже потертая козлиная шкура сползла с плеча.

— Но ведь сам говорил — нет теперь плохого бога, нет больше Кроноса, в Тартаре он. А новые — хорошие, — настаивал Пелос, — вот и пойду к хорошим.

— Нельзя, — спокойней выговорил дед, — памяти не будет в племени. Ты знай, внучок, боги живут буйно и яро, не щадят себя. И памяти по себе не держат. А мы держим, мы все помним, от деда к внуку передаем. Ты уйдешь, кому передам я память?

Братьев у тебя не осталось. Чужие не отдадут чадо в ученье. А ныне по всей Горещин таких как я сказителей не больше, чем пиний в нашей чахлой рощице осталось. Понимаешь, о чем толкую я?! Не будет богов, жизнь наша серой станет, пустой, ничтожной.

Внук встал, обнял старика, прижался щекой к седому виску.

— Не бойся, деда, — прошептал на ухо, — боги всегда будут. Они вечные!

Яра шагнула навстречу Живу. И застыла под взглядом изумленных, настороженных глаз. Черная мысль скользнула змейкой в голове: разлюбил?! а может, лелеял в разлуке один образ, выдуманный, а увидел — и не признал ее, не признал любимой своей?!

Наверное, так и было. Жив ожидал увидеть ту нежную и прекрасную девочку, что еле достигала его груди, что глядела на него изнизу наполненными синью глазищами, ту, которую он любил до острой боли сердечной и почти отцовской жалости. А узрел вдруг высокую, по плечо ему, стройную деву с высоко поднятой головой — величавую, горделивую, властную, со смуглым от загара лицом, на котором с еще большей ярью пылали синим нездешним огнем огромные глаза. Она была простоволоса, лишь узкий черный ремешок перехватывал по лбу светлорусые густые пряди, в кожаных легких бронях под светлым булатным панцирем, в узких холщовых штанах, какие были на каждом простом вое, в сапогах, с мечом на боку и в легком черном корзне. Дева-воительница! Только сейчас он понял, что именно ее он видел на поле боя — стремительную, вездесущую, разящую безжалостно, подобную Светлолицой Роде — младшей богине Рожанице, дочери Пречистой Лады. Это ее дружина решила исход битвы, ударив в спину полчищам Крона и его титанов. Почему он сразу, там, в кровавой, но праведной сече, не признал ее — самую близкую и родную на всем белом свете?! И еще Жив понял вдруг, что это она являлась ему в образе девы-воительницы, в образе тайной мысли его, самой Тайны — бесплотная, но

вся исполненная этим божественным небесным синим огнем. Тайна! Его жена, и его дочь, порожденная его сознанием, предугаданная и оттого вечно божественная покровительница не только его самого, но родов Русских.

— Яра, — прошептал он, не в силах совладать с голосом.

Изумление и настороженность в серых глазах сменились разгорающимся пламенем, губы задрожали.

— Жив!

Они бросились друг к другу в едином порыве, не желая больше ни о чем думать, ничего вспоминать. Будто две половины одного целого слились вдруг неразрывно и навечно.

Скид, сидевший на скамье возле большого окна, выходящего на море, тихонько ушел из приемной горницы, притворил за собой дверь и наказал стражу, стоящему в сенях:

— Гляди, никого не пускай к князю!

Тот кивнул, сам все понял.

А Жив не разжимал объятий. Ему казалось, стоит их разжать и он опять упустит ее, лишится своей возлюбленной лады, теперь навсегда. Только прошептал совсем не к месту:

— Семь стругов ушли искать тебя... а ты сама нашлась!

— Пусть ищут, — отозвалась Яра. — Ищущий да обрящет!

Она! Это она! Любимая! — уговаривал себя Жив. Но ощущал, что обнимает совсем другую деву, другую женщину — год разлуки неузнаваемо изменил ее: плечи стали шире, губы жарче, руки сильнее, грудь трепетнее и полнее... В последний раз, в ту памятную черную ночь, когда они висели в черной пропасти меж небом и морем, он целовал иную. Той больше не будет никогда, она ушла, чтобы не вернуться больше. Сладкая утрата! Но эта... это приобретение еще слаще!

— Ты стал таким маленьким, — пролепетала она, задыхаясь, теребя губами его ухо, — был огромным, до небес, исполином, а теперь... теперь ты поместишься у меня на ладошке.

— Это ты выросла, — ответил Жив. — И я должен был подождать, пока ты вырастешь. А я не дождался, тогда, ночью...

— И правильно сделал, — Яра поцеловала его в губы, сильно, страстно, — мы всегда будем помнить ту ночь!

— Их у нас впереди тысячи! Сотни тысяч! — теряя голову, просипел Жив.

— Да, любимый, — согласилась Яра, — сотни тысяч. Но та была одной, единственной.

Жив долго молчал, вбирал в себя терпкий запах ее волос, выгоревших под солнцем за месяцы странствий. Год они не виделись. Нет, больше, тогда была зима почти на исходе. А нынче на исходе весна.

— Единственной, — повторил, — та ночь всегда будет единственной. Неповторимой! — Он вдруг отстранил ее от себя на вытянутые руки, поглядел пристально в лицо, в глаза. Любимая... Сможет ли он любить ее всегда? Ее одну? Или это будет свыше его сил? За последний год он утешал себя в объятиях многих дев — не любя, не запоминая их имен, походя, будто на бегу испивая воды из ближнего, оказавшегося рядом источника. Так делали все русы. Одна жена, две, пять... много наложниц и любовниц, скольких сам отыскать сможешь, скольких сможешь одеть, прокормить, оделить женским счастьем. Она же собирается поглотить всего его, целиком, не оставляя другим женам и девам. Сейчас он видит, понимает это как никогда ясно... Отцы, деды, прадеды жили не так. Они могли любить одну, сильно любить. Но они могли любить и прочих, не ограничивая себя, не сдерживаясь — ибо сдерживая природу свою, ты сдерживаешь саму жизнь, ты сдерживаешь род — а род это есть боги, ты идешь против богов, в которых и предки и потомки, в которых извечное семя жизни. Нет! Он не давал обетов. Он любит ее бесконечно, невыносимо сильно, до боли, до изнеможения. Но что будет завтра...

— В твоих глазах опять тень, — вымолвила Яра, — неужели ты разлюбил меня?!

— Нет! — ответил Жив истово. И он не лгал.

Все разрешится само собой. Потом. Сейчас не надо

думать об этом. И все будет хорошо. Он любит ее. Она любит его. Они одержали великую, небывалую победу — такой никто не помнит, такой не было за всю историю русов-яриев от самого Борея и до них. Они первые...

— Меня избрали Великим князем, — начал он. Но Яра прервала.

— Ты по рождению Великий князь!

Жив кивнул.

— Да, все верно, по крови, по чести и по совести. По ряду Русскому! Но когда рожденного князем еще и избирают на престол, ты сама понимаешь, отвечать он будет не пред одним лишь Родом, но и пред каждым, кто доверился ему. Только я не о том. Великому князю нужна Великая княгиня. Одна. Лишь одна из жен может быть Великой княгиней...

— У тебя много жен? — брови на ее лице удивленно и несколько наигранно поднялись.

— Нет, немного, совсем немного, ты одна... — торопливо ответил Жив.

— Так в чем же дело?

Жив промолчал, смутился. Разумеется, она права — в чем же дело, она его единственная жена. Значит, она Великая княгиня. И не по его предложению, не по благоволению его, а тоже — по праву, по Русскому ряду. Дева-воительница! Мудрая дева. Вот тебе и девочка, дочка, ребенок малый... Она знает себе цену, и нет в ней сомнений. Великая княгиня.

— Пойдем, — позвал он ее, беря за руку.

— Куда? — не поняла Яра.

— В опочивальню.

Она рассмеялась в голос, расхохоталась, запрокидывая голову, срывая с нее ремешок кожаный, встряхивая длинными русыми волосами, потихоньку отступая назад, в угол, к брошенной на дощатый пол огромной медвежьей шкуре. Жив стоял зачарованный. Смотрел, как летят по сторонам кожаные доспехи, одежды, как вырываются из плена на свет вольный обнаженные руки, груди полные, живущие, казалось, своей жизнью, упруго колышющиеся при каждом движении, округлые влекущие бедра, длинные стройные ноги... Смотрел, и потихоньку утрачивал остатки

рассудка, забывал о тревогах и сомнениях, обо всем вокруг. Она! Одна! Больше никого не надо! Никого!

Уже когда он сдал ее крепко-накрепко, не давая шелохнуться, Яра откинула назад голову, заглянула в серые, горящие страстью глаза, попросила тихо:

— Прости его.

— Кого? — не понял Жив.

— Брата нашего, Талана!

— Нет! — лицо Жива искажил гнев.

Яра напряглась в объятиях, одеревенела.

— Прости ради меня!

Жив понял, что она не повторит своей просьбы, не попросит еще раз, и что она не оттолкнет его, он будет любить ее, они будут любить друг друга... но это его «нет» так и останется тенью неизгладимой меж ними, на долгие времена, до тех пор, пока они живы. Значит, прощение этого подлого существа, этого негодяя, который им со дня предательства вовсе не брат, что-то означает для нее. Что? Неважно. Ради нее, ради них обоих, чтобы не было этой тени меж ними.

— Хорошо, я прикажу отменить казнь! — еле шевеля губами, вымолвил Жив. — Я сошлю изменника на край света, к Яровым столпам, дальше — туда, где только океан и небо, да клок камня под ногами. Пусть он будет меж водой и сводом небесным, пока они не раздавят его... коли прежде его не раздавит совесть*.

— Спаси тебя Род, — прошептала Яра. Она снова была живой, горячей, трепетной. Она очистила свою и его души от ненависти, от черного духа мщения. Да, они теперь не те, что были прежде. Они должны быть великодушными, всепрощающими. И он поймет ее... потом. Обязательно поймет. Господи, спаси их обоих!

Узкое окно-бойница было задернуто плотной, не пропускающей света дерюгой. От стены до стены —

* Талан стал прообразом одного из мифических титанов, которого за прегрешения его сослали поддерживать небесный свод. В «древнегреческую» мифологию он вошел как Атлант.

десять шагов. В углу стояла широкая дубовая лавка. На ней лежал ворох шкур, плохо выделанных, вонючих, и набитая соломой подушка. Посреди темных покоев стоял низкий стол с кувшином козьего молока на нем, ковригой хлеба, куском сыра и насыпанным прямо на столешницу сушеным виноградом.

Крон сидел у стола на грубом поскрипывающем стуле. Молчал. Думу думал, не притрагиваясь к пище. Второй день его держали здесь. А может, и третий — потемки, ни отсвета восходов и закатов.

Искал славы или смерти. А обрел темницу. Доброе обретение, особенно когда тебе под восемьдесят. Тяжелые цепи на руках и ногах не давали забыть ни на мгновение — узник, не князь ты Великий, не воин, не вольный смертный, но обреченный узник! Плакать бы о судьбине своей горькой. Но слезы не текли из сухих старческих глаз, не осталось их, повиытекли все, полностью за долгие годы. Не было и злости, яри черной — улетучилось все к вечеру первого дня. Осталась одна отрешенность. Да еще какая-то пустота в груди осталась, будто вспороли ее безбольно и вынули сердце, ничего не положив взамен. И рядом никого — ни бояр ближних, кого посекали, кто в порубе сидит, кто в бегах, ни советников, ни волхвов седых. Волхвов? Сбылось предсказанное! Воля богов оказалась сильнее его воли. Что ж, ничего не поделаешь. Не жалко себя, жизнь на закате. Жалко иного — задуманное не сбылось, кануло в Лету, реку забвения. А ведь такое было задумано — единая великая Держава, мир, порядок, вольная жизнь для всех русов, для всех иных племен, коих прибывает с каждым годом. Конец разбоям и воровству, мятежам и сварам. Праведная чистая жизнь на века. И его имя доброе — тоже на века в памяти людской. Так должно было быть. И так не будет... Видно, и впрямь, много грехов на душе его, тяжек груз недоброго, перевесил он все чистое и светлое на весах Суда. Так получилось. Не его вина. И не ему страдать много и долго, он свой век отжил. Им страдать — люду русскому. Для него жил, для него себя не жалел. Все попусти.

Крон встал, прошел к стене, волоча медные цепи.

Потом к другой. Как зверь в клетке. Сколько ходил из угла в угол, не знал, не помнил. Грудь пуста. Времени нет. И боли нет. Одна маята. Пустая, ненужная.

Когда снова сел, увидел напротив свечение легкое, белое. Он не слышал скрипа двери, не видел ничего. Откуда в узилище появился старец, было непонятно.

— Что надо, Буд? — спросил Крон грубо.

— По зову твоей души пришел, — ответил волхв.

— Нет во мне души, пусто.

Старец не согласился, покачал укоризненно головой седовласой.

— Душа в каждом есть. Вот такая она — другое дело. Не греши, княже, ни на кого не греши. Сам себя ты извел. И в темницу сию сам себя заключил. Мог бы и ныне на престоле сидеть. Не послушал нас.

— Своим умом живу! — оборвал волхва Крон.

Они сидели один против другого — оба седые, морщинистые, высохшие, похожие. Но одного туга незримая гнула к земле, давила тяжестью несоразмерной с плотью человека. Другой был будто бесплотен, только свет тихий, невесомый. Два старца, изжившие свой век.

— Ну и не печалься тогда, — сказал неожиданно Буд, — много ты крови пролил, много горя принес. Но не для себя жил, оттого забудется тебе многое. Праведный Юр не забудется только, да ребенок дикий, дите безвинное. Этого хватит, Крон.

— Я знаю, хватит, — согласился князь. — На десятерых таких как я хватит. Попрекать пришел? Знаешь, что больше сил нет у меня, на слабого излить обиды прежние хочешь?

Волхв не ответил. Чего говорить попусту: обиды таят дети и неразумные. Не для того он путь проделал от Священной рощи до узилища под Олимпом, в заставе старопрежней, полузабытой. Не для того.

— Пришел сказать тебе — дай душе отдохновение. Прости всех...

— Что?! — не понял Крон. — Это я в заточе-

нии, я в руках палачей своих, это меня надо прощать, а не мне! Заговариваешься, старый!

— Нет, ты простить их должен. Детей своих. И Жива первым. Ты им долю определил тяжкую, несправедливую. Ты на них надавил. Они лишь гнев твой сбросили... На силу сила, таков закон Мироздания, княже. Прости их!

Крон ударил кулаком по столу.

— Простить? Предателей?!

— Сам знаешь, не предатели они.

— Все равно. На отца руку подняли! — не унимался Крон. — Нечестивцы!

Буд тихо улыбнулся. Что спорить с тем, кто сам ведает правду, лишь боится признаться в ней.

— Они твое дело продолжают, — сказал он буднично и спокойно, — что ты начал. За одно это прости их!

— Продолжат ли... — в раздумии произнес Крон. Гнев быстрый схлынул с него. Пришло понимание — так было, так есть, так будет, пока род Русский, пока род людской на земле обретается, — младшие будут сменять старших. И нет предательства, нет измены. Есть только одно: те, кто разрушают содеянное отцами, и те, кто продолжает их созидание. Только это! Все остальное пустота, суeta суeta, мелочи, о которых незачем и говорить. Волхв мудр, недаром он волхв, а не вой, и не князь.

— Понять могу, — сказал Крон, — простить — нет! Уходи!

— Я уйду, — смиренно изрек волхв, — но не простив их, ты никогда не обретешь покоя душевного. Помни об этом на пороге в мир иной. Мы не юноши, Крон. А о том, что замыслы твои не воплотились в Явь, скорблю вместе с тобой. Значит, время не пришло покуда, рано еще... Да и что будет после, разве знает кто? По кирпичику возводят здание огромное, стоит оно долго, смертным кажется, может вечно стоять, а оно рушится в одночасье, не удержишь его руками, а вот под обломками погибнуть можно, засыпят, следов не останется. Ты и сам все знаешь. Смириться не хочешь!

— Силой смирили, — вставил Крон. Ощерился

недобро. Широко развел руки, пробуя цепь на прочность — не порвешь медь, хоть и мягкая, да человек мягче. — А мне бы пяток лет всего-то!

— Упустил ты свое время. Смирись!

Крон резко подался вперед, набросил цепь на шею волхву, скрутил концы, потянул. Ярость снова овладела им.

— Убью... Убью! — хрипел он, не помня себя.

Так и рухнули вдвоем на пол — один, ослабевший от удушья, другой — от нахлынувшего, удушающего гнева безумного.

Дон распахнул дверь, замер на пороге, ничего не понимая. Потом подбежал к окну и быстрым ударом меча рассек дерюгу. Рассеянный свет залил темницу, выявляя из мрака лежащих на полу.

— Зверь, — выдавил Дон, глядя не на бесчужденного Крона, а на Жива, стоящего в дверном проеме, — чистый зверь!

Жив стоял недолго, подошел к отцу, присел, разорвал ворот рубахи, приложил ладонь к сердцу. Оно еле билось.

— Это ты зверь, брат, — сказал он тихо, — в эдакую клеть мрачную родного батюшку засадил. Совесть не гложет?

Дон промолчал. Они победители, им пристало быть великодушными, прав младший брат. Но всему есть мера. После смерти Айда он стал иначе смотреть на жизнь. Прав Жив, убить проще простого, хрупок смертный. Вот убедить его в твоей правоте не просто, ох как непросто!

— А это зачем?! — взъярился Жив, увидав цепи. — Обезумел ты, Дон. Тебя в цепях не держали!

— Мне неволя хуже цепей была, что ты понимаешь! — сорвался и Дон. Побагровел весь, налился дурной бешеной кровью. — Я обезумел?!

В один прыжок он преодолел расстояние, отделявшее его от Жива. Обрушился на него сверху всей тяжестью тела, вскинул руку, ударил, еще раз. Жив, не ожидавший эдакого приступа злобы, опаматовался не сразу — ударил сам, потом уцепил брата за кисть, рванул на себя, сграбастал, поднял над полом, но не устоял — и они клубком покатались по полу, сши-

бая стол, стулья, ломая ребра в смертных объятиях, словно два диких зверя сцепились в лютой схватке. Они уже не отдавали себе отчета, ничего не понимали, и не хотели понимать... да и они ли это были? Многое, невысказанное копилось в их душах, копилось — и вдруг вырвалось наружу диким, звериным рыком, жаждою убить другого — беспощадной, черной ярью.

— Стойте... — чуть слышно просипел Крон. Он приходил в себя, вырывался из липкого тумана забвения. Но он все видел, все понимал — два его единокровных сына убивали друг друга, безжалостно, люто. И глядеть на это смертоубийство не было сил. — Остановитесь!!!

Он поднялся на слабых, дрожащих ногах. Отпихнул волхва, пытающегося удержать его — ожил старец бестелесный, невесомый, видно, и впрямь дух его был сильнее плоти. Отпихнул. И бросился на дерущихся ухватил верхнего, не разбирая, то ли Дон это, то ли Жив, сам упал, но и его оторвал на миг.

— Хвати-ит!!!

Оба опешили, уставились на него, отца родного, не видя его, будто насквозь пронизывая Крона налитыми кровью глазами. Уже собирались снова кинуться один на другого. Но Крон успел, поднялся, встал меж ними.

— Не смейте! — прохрипел грозно, властно, потцовски.

И оба как-то разом обмякли, затихли. Взоры их начали проясняться. Оба оглядывали себя, словно впервые увидали — разорванные одежды, синяки, царапины, кровь... еще немного, и было бы поздно.

— Прости, брат, — первым повинулся Дон. — Помутнение нашло!

— И ты прости, — нехотя отозвался Жив. Он дышал тяжело, с натугой. Все еще не верил в случившееся. Потом добавил: — Порешили мы поделиться, так тому и быть: твоё море, острова. Разойтись нам надо. Нечего больше Судьбу испытывать!

— Твоя правда, не уживемся вдвоем, — согласился Дон. И подумал — слава Роду, что не было оружия при них. Потом неожиданно повернул голову

к отцу, стоящему у стены бревенчатой — изможденному, страшному, закованному по рукам и ногам. — И ты прости, батюшка! — Подумал, добавил: — Коли дашь слово крепкое не воевать Олимпиа, будь свободен, на все четыре стороны, верно я говорю, Жив?!

Жив не успел ответить.

— Не будет вам слова от меня! — выкрикнул Крон. Помог подняться волхву, проводил до двери. — А ты иди, ступай, молись за нас, грешных, богам. Молись!

Когда старец вышел, склонил голову, нахмурился, сказал с натугой:

— Прощения у вас прошу, за все зло... — не договорил, горло перехватило, судорожно дернул кадыком прежде, чем слова снова потекли, — и вас прощаю.

Коротко сказал, а столько всего было за словами этими, что и не передать. Будто скала каменная скатилась с плечей, с груди, с души. Вздогнуло и снова забило за ребрами сердце вынуженное прежде. И стало легко, неожиданно легко. Теперь не он за все, за люд русский, за Державу в ответе, не он. А ему на покой пора, прав был волхв тихий.

Дон опустил на колени перед Кроном. Прошептал, будто выдавливая из себя силой слова покаянные, горькие:

— Это ты прости нас! Прости меня, ведь смерти твоей желал, ночей не спал, все грезилось, как расправу над тобою вершу за обиды. Прости! И за Жива прошу — прости и его!

Жив стоял истуканом. Не ему прощать отца. Но и прощения просить не за что, мать убиенная не позволяла просить прощения, мать Рея Праведная, которую он никогда не видел, мать его родная, чей пепел он похоронил в сестрином кургане погребальном, на родной земле. Горько! Страшно! Тяжко... было. Да перегорело все. Только тоска светлая осталась.

— Ты, отец, подымайся наверх. Твое княжество... пусть и будет твоим! — сказал неожиданно Жив. — А я уйду. Видно, не срок мне. Твой трон. Твоя Держава! Твоя власть! Все твое!

Жив опустился на широкую лавку, устланную шкурами. Закрыв лицо руками. И привиделось ему, как мальчишкой готовил себя к борьбе будущей за Олимп, не щадил, как по свету белому рыскал, маялся, обретая выносливость, силу и ум, как бился на Скрытне с отцовыми дружинниками, как плыл на струге в неволю и обливался потом в рудниках, как изнемогал в ученье ратном, желая стать первым, пробиться в стражу... вся жизнь проплыла пред его мысленным взором, каждый день и каждая ночь, во тьме которой мечтал об одном, о мести праведной, о власти. Вот он добился ее. Но не нужна она. Не сладость в ней и радость, а бремя тяжелое. И еще — не предатель он, не изверг. И пусть весь мир за него, весь род Русский. Но коли один против, а один этот — отец родной, стало быть, не место ему на троне, не место на Олимпе.

Крон подошел, присел на лавку, обнял Жива, положил сухую руку на плечо.

— Нам бы раньше встретиться вот так... — голос его был тих, чист, словно у волхва ушедшего. — Только власть мне теперь не по чести будет. Власть и Держава, сын, не дар случайный, который запросто из рук в руки передается. И русы меня не примут душой. Подчиниться-то подчинятся, а вот душой и сердцем не примут.

Он поднял горестно руки. Жив снова увидал цепи медные, кольца, стягивающие кисти. Ухватился, разогнул одно, сбросил. Потом другое. Встал на колени пред отцом и так же сорвал цепи с ног его, отбросил в угол. Крон качнул головой, дивясь силе сына. Продолжил.

— Коли решили не казнить меня за прегрешения черные, — выговорил он смиренно. Помолчал немного, ожидая, не опровергнут ли, ведь заслужил казни, сам знает, что заслужил, — отпустите на реку Ра Восточную, дальнюю, там, в Тартарии* дикой, от

* Кронос был сослан победившим Зевсом в Тартар. Этимология данного слова четко говорит нам об этнопринадлежности данной местности. Но на Волге ли находилась прародина татар или в иных краях, пока однозначно сказать нельзя, скорее всего значительно дальше, в глубинной Азии.

людей подальше, в скиту уединенном за размышлениями и молитвами, — он усмехнулся вдруг, сам не узнавая себя, — доживу, сколь Род позволит. Или рубите голову при всем народе... ваша воля, сыны мои!

Жив не ответил ничего, горло перехватило. Они вдвоем с Доном вывели отца из клетки под руки, повели наверх, к терему. Повели, не обращая внимания на удивленные взгляды бояр, воевод, челяди дворцовой.

Собирали Крона в путь долго, три недели ушло. Припасов наготовили в дорогу немало — семь подвод с ним двинулись в дальний путь, в ссылку. Двенадцать воевод верных, поклявшихся не поднимать меча на нового князя, порешили идти с тем, кому присягу давали. Жив не противился. Сам вышел провожать на крыльцо красное. Шел до ворот стольного града. Там и распрощались. Обнялись.

Крон прошептал на ухо с какой-то странной, застенчивой надеждой, с болью неизреченной:

— Может, у тебя получится. Прощай, сын!

Отвернулся. Сел на подводу, устланную мехами уральскими. Прямой, высохший, без шапки — с развевающимися по ветру седыми волосами... Долго глядел Жив вослед, до окоема самого. Но не обернулся Крон, ни единого раза. Обрубил прошлое, как мечом булатным обрубил.

Небо было синее-синее. По нему плыли белые пушистые облака. Там, на этих невесомых сказочных облаках, и дальше, за хрустальной синевой на прозрачной небесной тверди обитали светлые души достойных. Оттуда глядели вниз молчаливые предки — пращур, прадеды, отцы и матери. Оттуда смотрели на смертных ушедшие из Яви братья. Смотрели и ждали, ибо с вершин Светлого Ирия было им видно все — и град стольный, и склоны чистые, и тысячи чад их русских, застывших у огромной, почти достигающей белых облаков священной крады. Ждали близких своих и родных, чтобы принять их в объятия для жизни вечной, неземной.

Ворон лежал на вершине занимающейся огнем крады, лежал с тяжким булатным мечом на груди. И смотрел вверх. Его единственный, широкооткрытый, мертвый для остающихся в мире Яви глаз отражал все бесконечное небо и всю светлую заоблачную вселенную. Ворон видел кореванов лесных, братьев, протягивающих ему руки, видел светлую улыбку на лице госпожи своей Реи, видел иное — чудное, недоступное оку смертных. И он шел к ним, к тем, кто его ждал — шел вместе с ярым, вздымающимся к хрустальным небесам очищающим пламенем.





Колыбель Зевса

Середина Средиземноморья — остров Крит, земля обетованная древних русов, сказочный край, окруженный и защищенный от недругов окиян-морем. На Крите русы не строили вокруг своих великолепных дворцов высоких каменных стен, не окапывали княжьи хоромы глубокими рвами, на Крите жили привольно и открыто, щедро и весело, нараспашку и не та-ясь, ибо изначальное имя, данное переселенцами-русами чудесному острову, само говорило за себя — Скрыт, Скрытень — бархатисто-синей водной гладью сокрыта была былинная земля, давшая приют нашим далеким предкам тысячелетия назад и оставшаяся в памяти народной мифическим раем-ирием...

Не всегда в Средиземноморье, на землях нынешней Италии, Греции, Малой Азии, Северной Африки и Переднего Востока жили греки, итальянцы, турки да иудеи. Бывали времена иные, все изменчиво и непостоянно в нашем тленном мире, народы кочуют с места на место, нарождаются и вымирают, даже великие нации, наделенные, по Л. Гумилеву, сверхпассионарностью, дряхлеют, теряют память и не могут вспомнить по прошествии десятков веков, где они появились на свет белый, где жили и

творили тысячелетиями, откуда их злая судьба забросила в края нынешние на прозябание в дряхлости и немощи, беспамятстве и вырождении. Наш добрый старый читатель, по монографии «Дорогами Богов», вышедшей в издательстве «Мысль», знает, что загадка индоевропейцев — есть этап пройденный, что она разрешена мною (кому-то подобное заявление может показаться нескромным, но факт есть факт, вещи надо называть своими именами, а не играть в прятки) — прародителями почти всех европейских и части азиатских народов были наши прямые и непосредственные предки — русы. Они же стали создателями сказочной исполкинской индоевропейской, арийской цивилизации, которая в своем бурном и вихреобразном развитии разбросала, расчленила первород русов-индоевропейцев, породивших своих меньших братьев — хеттолувийцев, кельтов, романцев, германцев, балтов... Русская мифология стала основой мифологий всех народов, вычленившихся из огромного русского этнодрева.

В нынешних местах своего обитания народ наш русский живет совсем недавно, не более трех тысячелетий, а до того, на протяжении ста веков водило его по белу свету от арктических широт, через сибирско-азиатские просторы и до Срединного Русского моря, на берегах которого — в Малой Азии, на Ближнем Востоке, на Балканах и Пелопоннесе, Апеннинах и в Палестине, не говоря уже про Срединную Европу и Прикаспийские стены — провел он большую часть своей легендарной и исторической жизни. Практически все боги и герои античной мифологии — русские боги и герои, топонимика перечисленных регионов — в основе своей русская... И если сейчас есть о чем спорить, так это о периодизации русской истории X—I тыс. до н. э. и о пребывании конкретных родов и племен русских в конкретных местах — например, нам еще только предстоит выяснить, какие русы участвовали в знаменитой Троянской войне XIII века до н. э. (а воевали именно русы с русами, представительство так называемых «ахейских греков», чье существо-

вание вообще под большим вопросом, было незначительным).

В этой статье я начинаю постепенно переходить к более точной и верной терминологии, отказываясь от прежних терминов «славяне», «славяно-русы» и т. д., по той причине, что все следует называть не по устоявшейся «научной практике», а просто своими именами. Этноним «славяне», «словени» появился сравнительно поздно, в I тыс. н. э. Самоназвание народа «рус», «рос», «рыс» с корневой основой «р-с» существует с незапамятных времен и присутствует уже у протоиндоевропейцев, то есть, у прямых предков наших прямых предков, а следовательно, у наших русских прародителей, живших за пятнадцать и двадцать тысячелетий до нас. Кому-то может показаться странным, что в столь отдаленные времена, когда еще и в помине не было ни германцев, ни кельтов, ни шумеров, ни латинян, ни «древних греков», русы уже жили и творили на нашей Земле-матушке. И тем не менее, это так. Но надо помнить: не русские (производное, как лингвистическое, так и этно-антропологическое), а именно русы, называвшие себя также и «яриями», «ярами», «ариями».

Вот с этим мы в своей рабочей командировке на Крит и столкнулись с первого же дня. Если верить Г. С. Гриневицу, талантливому русскому ученому, расшифровавшему письмена знаменитого Фестского диска, наши предки-трипольцы приплыли на Крит во II-ом тысячелетии до н. э. Нет сомнений, что переселение XVIII—XVII веков до н. э. было реальностью, оно оставило свой внушительный след не только в пластах земли, но и в пластах духовной культуры мира. И все же, изучая древнейшие экспонаты археологического музея Ираклеона (столица Крита), я пришел к выводу, что переселенцы шли на остров Скрытень уже знакомым, проторенным путем. Роспись архаической керамики, характерные формы, переходящие друг в друга спирали декора сосудов IV—II тысячелетий до н. э. и все прочие детали доступные лишь опытному, наметанному глазу специалиста, говорили, что

связь Крита с Триполем, и шире, со всей русской ойкуменой, несомненна, постоянна на протяжении десятков веков и почти неразрывна. То есть, переселение не было единичным. Мы имеем право говорить о множественном, волновом переселении русов на Крит, а также о движении обратном, менее значительном, но бесспорном — континентальные русские племена-роды, разумеется, не все, но какая-то часть их, связанная с Триполем и родственными ему культурами, имели с Критом постоянную (не в нынешнем понимании) связь. Более того, сам Крит-Скрытень играл какую-то еще не до конца понятую мною, но чрезвычайно существенную, если не центральную роль. И здесь не лишне вспомнить, что по народным верованиям и легендам, сохранившимся нынешним населением острова и всей античной мифологией, верховный бог древних русов Зевс, он же Зив, Жив, родился не где-нибудь, а именно на Крите — в сказочном рае-ирии, в земле обетованной, сокрытой за синим морем-окияном. Верховные боги народов, да еще такие как Зевс-Жив, не рождаются где попало. Из этого следует лишь одно, для людей того далекого времени Крит был не просто островом, затерянным в море.

24 августа 1996 г. минуя Малию с ее знаменитым «малийским дворцом», на развалинах которого мы побывали ранее, полностью доверившись местному лихому водителю, не снижавшему скорости даже на самых крутых поворотах горного «серпантина», мы поднялись от побережья Крита в его возвышенную часть, перевалили через хребет и, поставив свечи за здоровье всех живущих в старинном монастыре Святой Марии Магдалины VI века н. э., выбрались на плато Ласити. Целью нашего путешествия в этот день была знаменитая Диктейская пещера, та самая, в которой скрывался от гнева своего жестокого отца Кроноса новорожденный Зевс. По северному склону горы Дикти пришлось подниматься на мулах... Но наши старания не были напрасными, нам удалось намного обогнать праздных туристов, спешащих к знаменитой пещере и обычно толкущихся возле нее и в ней весь день. Мы успе-

ли провести замеры и сделать необходимые съемки. Проводник нам попался неназойливый и спокойный, без его фонаря даже с нашей осветительной съемочной аппаратурой во мраке пещеры можно было бы заблудиться. Рея родила Зевса у входа в Диктейскую пещеру, только потом он был опущен вниз, рос там, вскармливаемый стекающим молоком волшебной козы Амалфеи... Я не стану пересказывать всех многочисленных деталей мифа. Не в них суть. Важно, что в самой пещере были обнаружены алтари и культовые предметы древнейшего периода, то есть, она не была заурядной пещерой, одной из тысяч, по которым путешествуют спелеологи в поисках острых ощущений и новых своих спелеологических данных. Диктейская пещера была насквозь пронизана духом многотысячелетнего присутствия в ней человека.

Именно там, в глубине, над мертвым и тихим подземным озером, во мраке, разрываемом лучом осветителя нашей камеры (проводника по завершению работ мы отпустили наверх), под глухой звон падающих со сталактитов ледяных капель родился в моей голове замысел этой книги — сразу, будто по воле кого-то незримого и потустороннего. Для этого надо было оставить сияющий, шумный, райский поверхностный мир, опуститься в холод и сырость отрешенных, пропитанных историей недр.

За предыдущие две недели напряженных, порою утомительных до самоистязания изысканий было познано, впитано в себя столь многое, что нужны были минуты этого мрака, тишины, отрешенности, чтобы накопленное количественно перешло в новое качество. Да, переселенцы шли на Крит волнами. Все началось не с князей Мины и Родамата (в греческой транскрипции, цари Минос и Радаманф — по имени первого английским исследователем Артуром Эвансом цивилизация Крита II-го тыс. до н. э. была названа минойской). Эпоха Жива-Зевса предшествовала эпохе князя Мины, Дедала и Икара, Тесея и Минотавра... И безусловно, Жив-Зевс имел какой-то прообраз — возможно, собирательный, возможно, и нет. Люди эпохи Мины и Родамата хранили па-

мать о предшественнике-герое, о русском князе, вожде Живе — уже для них он был богом, небожителем, давно усопшим и обожествленным предком. Мы не можем пока устанавливать датировку событий. Но по всей видимости, надо говорить о конце III-го — середине IV-го тысячелетий до н. э. Скорее всего, в те годы, в те века княгиня или царица одного из могущественных племен русов бежала от гнева своего всесильного супруга на Крит, где и произвела на свет Жива, трансформировавшегося позже в Зевса. Мы сейчас знаем точно — древние ничего не сочиняли, не вымышляли, они передавали из уст в уста предания, былины — были, то, что было. И это подтверждается не только археологическими находками, но и самым точным инструментом историка — лингвоанализом.

Ни одна княгиня, ни одна царица даже от самого страшного гнева не побежит в землю незнаемую. Рея со слугами, приближенными, челядью прибыла на Крит, где, наверняка, прежде жили люди ее племени, родня. Дорога на остров, образно выражаясь, была протоптана значительно раньше. Протоптана русами. И если ее царственный муж не знал этой дороги, можно предположить, что он не принадлежал к ее племени, что ее, как это и бывало всегда, выдали замуж за государя иного племени-рода. Это только предположение, ничего не меняющее ни в истории, ни в наших изысканиях. Но надо помнить, что история делалась и делается людьми, живыми людьми. В тишине и сырости нижнего зала пещеры, где ничто не мешает проникновению в толщи тысячелетий, я представлял путанные, извилистые пути этой истории. Я видел прошлое открывающееся мне здесь, вдали от суеты и шума. И я уже чувствовал, как облекается в плоть замысел, как становятся осязаемыми, живыми сюжеты тех исторических романов, что были задуманы давно. Да, именно романов. Монография, и не одна, дай Бог, будут написаны обязательно — там я изложу все последовательно и досконально, сделаю полный анализ и т. д., это необходимо. Но научные монографии выходят маленькими тиража-

ми, доступны только специалистам, — а в нынешних условиях они обречены на полное замалчивание или, в лучшем случае, на сокрушительную, но не аргументированную критику в узких кругах. Роман доступен каждому. Да, именно каждый русский, каждый потомок древних русов, создавших самую великую цивилизацию Земли, должен узнать хотя бы малую толику о своих славных предках, о их деяниях — должен узнать Правду! В подавляющем большинстве «исторических» романов правды нет — как пример могу привести то, что чисто внешнее даже описание русского человека X, XII, XV веков, как и любого другого, в романах ложное — везде нам дают образ лубочного «мужичка» конца XIX — начала XX века, не пытаюсь даже представить себе каким был наш предок двести, триста, пятьсот лет назад — это я утверждаю как профессиональный историк и как профессиональный писатель. Про русов, живших до нашей эры, про то величественное и могучее племя предков наших, вообще никто еще не удосужился написать ни строки. Сейчас, когда наша страна утратила свою независимость, да, именно сейчас писать нашу подлинную историю необходимо, потому что может сложиться так, что скоро ее вообще некому будет писать, величайшая нация человечества вырождается, гибнет на глазах — нынешняя наша Россия пропитана духом тления.

Совсем иной дух царит над Критом. Даже сокрушительнейшее извержение вулкана Санторин, на котором мы также побывали, извержение обратившее во прах и пепел прекраснейшие русские дворцы минойской цивилизации, не могло выжечь, испепелить того вселенского по мощи духовного поля, что пронизывает остров со стародавних времен, того подлинно русского духа, что вбирает в себя и наполняет огромной жизненной силой даже нас, далеких потомков, прибывающих сюда. Ничем иным я не могу объяснить того, что целые дни мы проводили на сорокоградусной жаре, под палящим солнцем, среди раскаленных слепящих развалин, практически без пищи и питья... и силы не убывали как в прохлад-

ном и уютном московском кабинете, а напротив умножались. И было такое ощущение, что ты вернулся в эти развалины, в этот дворец-терем после долгого, трехтысячелетнего отсутствия, вернулся в родные палаты, и отчая кровля, возвышающаяся шатрами над тобой, защищает тебя от раскаленного светила... нет, никакой кровли не было. Мы почти не заходили под восстановленные своды — там была новая кладка, новый камень, там уже не было того великого духа. Прежние колонны теремов в Кноссе были тоже красными — это любимейший цвет русов: красный, значит, красивый — но они были деревянными, они сгорели. Сгорели давным-давно. Важен сам факт — на Крите, каменном острове, где почти нет дерева, русские зодчие в «период старых дворцов» четыре тысячи лет назад и в «период новых дворцов» три тысячи лет назад по заказу русских князей ставили расширяющиеся кверху деревянные колонны, ставили привычные хоромы... Кносский дворец! Да, за тысячелетия там смешалось многое — стили, декор, нравы, языки. Русы не были единственными жителями Крита-Скрытня. На сохранившихся фресках мы видели белокожих, светловолосых людей и темнокожих, черноволосых. Со временем последних прибывало, русов становилось все меньше, они постепенно растворялись в новой этносреде. Так было и в Палестине, так было и в далекой Индии, куда приходили (также волнами) русы-арии, принося свой язык, свои мифы и легенды, свою культуру, и постепенно растворяясь среди местных племен, несмотря на соблюдение кастовости в средах жрецов, воинов и земледельцев. В Кноссе, во дворце князя Мины, я шел по плитам, по которым ступала когда-то нога Ярослава-Геракла, сидел на каменной скамье, где наверняка доводилось сживать и ему — ведь Хараклеос (так переиначивали на свой лад «древние греки» нашего Ярослава) совершил один из своих двенадцати подвигов именно на Крите-Скрытне. Это были плиты и скамья подлинные, древнейшие, туда не пускают простых посетителей, которым, кстати, более интересны раскрашенные «новострои». Я

прижимался к древнему камню, к превращающемуся в известняк мрамору ладонями — и не ощущал холода. Я чувствовал тепло рук русских воинов и мастеров, тех, кто прикасался к этим камням, кто ступал по ним, кто опирался на них. Дух русов жил в них, он продолжает жить в них и сейчас — в виде сгустков особой, незримой энергии, и надо только настроиться определенным образом, чтобы уловить его, проникнуться им. Дворец Мины стоит далеко от моря в чаше невысоких гор, в пяти километрах от Ираклеона (столица Крита названа так в честь Геракла, т. е. в русской транскрипции город должен зваться Ярославлем). Дворец совершенно незащищен. У русов той эпохи не было равных соперников на море, недаром египтяне прозвали русов «народами моря» — любой потенциальный враг уничтожался русским флотом еще на подходе к Скрытню. Именно здесь, в нынешнем Кноссе, было найдено чрезвычайно много нынешних экспонатов археологических музеев не только Ираклеона, материковой Греции, но и прежде всего Англии, США, Франции, Германии... Надо видеть эти экспонаты, чтобы понять, кто их создал. Мы часами ставили перед глиняными уточками, амфорами-кувшинами, братинами, фигурками коров и бычков, украшенными свастиками-солнцеворотами, восьмиконечными и четырехконечными крестами, перекрещивающимися двойными спиралями... Эти формы, эти узоры и знаки, подобных уточек и бычков, вылепленных из глины или вырезанных из дерева, можно увидеть в российских этнографических музеях — традиции сохранялись вплоть до нашего времени. Ковши в форме утиц, казалось, были взяты из Оружейной палаты, братины тоже. И везде и повсюду, практически на каждом изделии древних критских мастеров был запечатлен во множестве типично русский символ плодородия (магический знак, описанный академиком Б. А. Рыбаковым) — ромб с внутренним перекрестием и четырьмя точками в нем — «засеянное поле». Разумеется, могло быть одно, два, десять совпадений. Но сотни, тысячи совпадений во всем и повсюду имеют уже совсем иное название —

одна школа, одна традиция, один народ-созидатель. Съемки и работа в музеях стоили нам особой затраты нервной энергии — экспонатов, доказывающих нашу правоту, было во много раз больше, чем наших сил, времени, фото- и видеоленты. Археологическому музею Ираклеона, как и многим другим музеям Крита и материковой Греции вполне можно было присвоить название «Музей русской традиционной народной культуры» или «Русский этнографический музей». Я сейчас ничего не стану писать про обилие солнцеворотов-свастик (исторического символа индоевропейцев на протяжении двенадцати тысячелетий) на керамике и в древней бронзе. О свастиках в «античном наследии» надо писать отдельный огромный труд, для помещения же репродукций всех экспонатов понадобятся тысячи объемных альбомов. Что поделает, русский мастер второго или первого тысячелетия до нашей эры старательно, с любовью вырисовывал свой родовой знак-оберег на горшке, так же как русская крестьянка XIX века вышивала тот же оберег на рушнике, а русский иконописец XVII века украшал им орнамент иконы. Не единожды видели мы в музеях Крита, как шумливые и громогласные немецкие туристы, подходя к стендам с изделиями, украшенными свастиками, смолкали, терялись, отводили глаза и быстро уходили. Это и понятно, «мировое сообщество» выработало у немцев по сей части комплекс неполноценности и вины. Но нам надо понять одно — древние ни в чем не виноваты. Впрочем, не только свастики, кресты символы плодородия, трипольские спирали-двойники и спирали-солнцевороты. Чрезвычайно часто на изделиях и на камнях, плитах дворцов встречался нам знак «трезубца» — исконно русский знак-тотем, знак «рарога», присвоенный ныне единолично самостийной Украиной. Княжий трезубец на стенах княжих палат в Кноссе, Фесте, Малии... на братинах, на амфорах, на мечях и щитах... Что ж тут такого? А какой еще знак могли ставить русы на своих вещах и на своих постройках? В самом музее стоят два сокола-рарога, высеченные из камня. Там же

висят щиты русских воинов с умбонами в форме голов барса-леопарда, по-русски «рыси». Рысь, также тотем древних русских племен с корневой основой «р-с». Рысь, волк, медведь, бык, утица, петух — русские животные. Они и присутствуют на всех стендах... Но об этом надо писать отдельно, много и основательно.

Да, Зевс родился на Крите-Скрытне. Где еще было родиться верховному русскому божеству, куда еще было бежать русским родам-племенам со своих земель, подвергавшихся нападениям варваров, только к своим, только в место надежное, привольное, богатое, укрытое, огражденное синим морем-океаном.

Р. С. И до Крита, и позже, странствуя по следам своего «божественного» героя по Средиземноморью, под сенью Олимпа и Балкан, в археологических музеях Афин и Рима, Каира и Стамбула, Трои и Хаттусы, на развалинах древних Язылыкая и Алачи, Чатал-уюка и Саккары, поднимаясь по Нилу к нубийским пустыням и блуждая в оглушительной тишине Синайских гор, повсюду, прикасаясь ладонями к свидетелям тысячелетий и вдыхая в себя дух Прошлого, я убеждался — да, так было, везде и повсюду запечатлены следы предков наших, русов, и не видеть их может только слепой или не желающий видеть их.

Невероятно трудно, преодолевая чудовищное сопротивление среды, прокладывать путь первому. Но я верю: пройдут годы, десятилетия — и то, о чем я пишу, попадет на страницы справочников, энциклопедий, учебников. Подлинная История не должна быть уделом избранных. Человечество имеет право знать о себе Правду.

Ю. Д. Петухов

Содержание

Громовержец. Битва Титанов	
Роман	7
Колыбель Зевса	420

в 2005-2006 гг. в альбомном сериале «Good as Gold»
выйдут альбомы «Миры Юрия Петухова в иллюстрациях лучших
графиков России», а также «Энциклопедия «Звездной Мести».
С 2004 г. все произведения Юрия Петухова переиздаются в мягкой
обложке «карманного формата» (серия ПФ)
по общедоступным народным ценам (24 выпуска).

Литературно-художественное издание
Серия «Good as Gold»
«История» вып. 6 Индекс 71505

Юрий Дмитриевич Петухов
Громовержец
Битва Титанов

Редактор Д.А. Андреев

Подписано в печать 10.11.2004г. Формат 84х108/32.
Объем 13,5 п.л. Заказ № 11070

Издательство «Метагалактика»
111123, Москва, а/я 40
metagalaktik@mail.ru

Отпечатано с оригинал-макета
В ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

В уникальной серии
«Good as Gold»

вышли книги Юрия Петухова:

«ЖИЗНЬ №8. Охота на президентов», 400 с.

«ПРОКЛЯТЫЙ. Полтора года в Аду», 480 с. ил.

«РЕЗЕРВАЦИЯ. Наваждение», 480 с. ил.

«ЗАПАДНЯ. Черное Знамя», 480 с. ил.

«ИЗМЕНА. Ты у меня одна», 480 с. ил.

«ГРОМОВЕРЖЕЦ. Битва Титанов», 432 с. ил.

В 2005 году выйдут романы:

Легендарная эпопея **«Звёздная Месть»** в 5 томах:

«СИСТЕМА», **«ПРИСТАНИЩЕ»**,
«КАТОРГА»,
«БИТВА», **«ОСВОБОЖДЕНИЕ»**
- по 420-520 с., с ил.

«НЕПОБЕДИМЫЙ. Убить Змея», 400 с.

«БЕЙ ПЕРВЫМ. Через две весны», 400 с. ил.

Книги можно приобрести в книжных магазинах Москвы:
«Московский Дом книги», **«Библио-Глобус»**, **«Молодая Гвар-
дия»**, **«Москва»** и других. Заказать по почте.

Телефон Издательства: 176-20-24

E-mail – metagalaktik@mail.ru

111123 Москва а/я 40

Сканирование и обработка:
AlexeiPetrov (Lion)





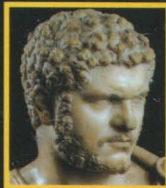
Их называли богами и титанами. А они были людьми ... Настоящими людьми. Все великие мессианские идеи, весь космизм русской философии, вселенская отзывчивость и всечеловеческая восприимчивость в нас — от них. Мы сохранили их внутренний мир, мы их сыновья, дети богов и титанов. Но мы утратили их ярь и ярость, их волю и силу. Мы устали ... потому что мы остановились и устроили привал, отдых. А они не знали отдыха, они были неостановимы, неудержимы — люди как боги, поколения воинов и созидателей, титанов, богов и героев, о которых окрестные племена слагали мифы, легенды и былины.



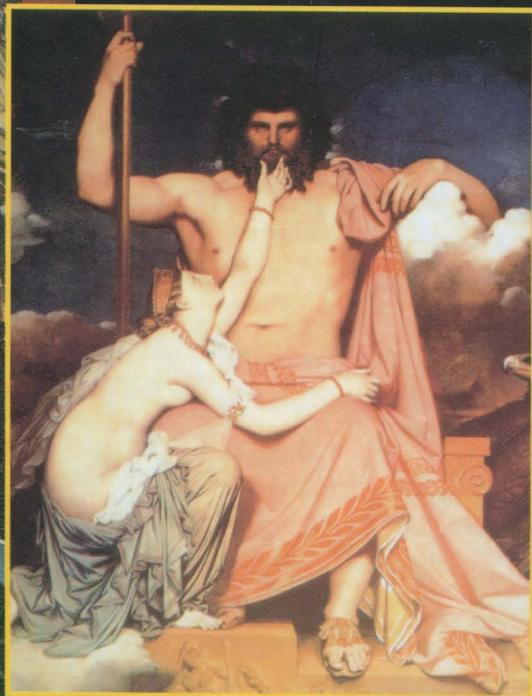
ГРОМОВЕРЖЕЦ

Битва Титанов

ЮРИЙ
ПЕТУХОВ



Звон мечей, сражения, неистовая борьба за престол... Да, русы 4 тыс. до н.э. были богами и героями. Но они умели любить и прощать. Крон и Зевс. Отец и сын. Битва титанов, изменившая мир. Богом быть не трудно, трудно быть человеком.



ГРОМОВЕРЖЕЦ

